

ISSN 0320-0337

ЛИТЕРАТУРНОЕ



НАСЛЕДСТВО

4
ТОМ

СИБИРИ

1979

707 3126



04

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО СИБИРИ

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

✱

Редакционная коллегия:

Е. И. БЕЛЕНЬКИЙ, Е. Д. ПЕТРЯЕВ,

Ю. С. ПОСТНОВ,

В. П. ТРУШКИН, Н. Н. ЯНОВСКИЙ (главный редактор)

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ЛИТЕРАТУРНОЕ
НАСЛЕДСТВО
СИБИРИ

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
ЯДРИНЦЕВ

✱

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

✱

ВОСПОМИНАНИЯ

✱

НОВОСИБИРСК
1979

ИЗДАНИЕ ОСНОВАНО В 1969 г.

Л 70202—079 58—79. 4603000000
М 143(03)—79

© Западно-Сибирское
книжное издательство, 1979

ОТ РЕДАКЦИИ

Настоящий том «Литературного наследства Сибири» целиком посвящен жизни и творчеству Николая Михайловича Ядринцева, известного ученого, общественного деятеля и писателя.

Первая попытка собрать произведения Н. М. Ядринцева была осуществлена В. М. Крутовским в 1919 году. В Красноярске он издал «Сборник избранных статей, стихотворений и фельетонов Николая Михайловича Ядринцева». Книга была небольшой и не исчерпывала даже наиболее ценных художественных произведений писателя; впрочем, публикатор и не ставил перед собой такой цели. В подавляющем большинстве они так и остались разбросанными в периодической печати России.

До последнего времени творчество Ядринцева-писателя не изучалось. Существует огромная литература о нем как об ученом и общественном деятеле. Но почти ничего не было написано о нем как о прозаике и поэте, о публицисте, о литературоведе и критике. Лишь сравнительно недавно появились такие работы, как Г. П. Раппопорта «Публицист и поэт» (1958), Н. А. Атамановской «О фельетонах Н. М. Ядринцева» (1966), Е. Ю. Хваленской «Фельетоны Н. М. Ядринцева в сибирской печати 70—80-х годов» (1969), А. Г. Кандеевой «Общественная и литературная деятельность Н. М. Ядринцева в первой половине 60-х годов XIX века» (1971), «О прозе Н. М. Ядринцева 70—80-х годов XIX века» (1974), «О литературно-критической деятельности Н. М. Ядринцева» (1975). Очевидно, наступила пора тщательного монографического исследования многообразной деятельности Н. М. Ядринцева, в том числе и литературной. Названные статьи и исследования, давая более или менее подробное представление о художественных и литературно-критических произведениях Н. М. Ядринцева, свидетельствуют, что мы имеем дело с незаурядным явлением русской культуры и литературы. Это отчетливо ощущали уже и современники писателя и ученого Г. И. Успенский, М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. К. Михайловский и др. Кроме того, нам известно теперь отношение к Н. М. Ядринцеву В. И. Ленина и А. М. Горького.

В 1918 году Лев Николаевич Ядринцев, сын Николая Михайловича, присутствовал в качестве корреспондента «Правды» на заседании Совнаркома, Владимир Ильич, узнав фамилию корреспондента, спросил: «Вы не сын ли Николая Михайловича Ядринцева?» И получив утвердительный ответ, сказал: «Я высоко ценю деятельность вашего покойного отца и рад, что вы работаете в нашей газете...» (см. воспоминания Н. Вержбицкого — «Советская печать», 1958, № 4).

В 1895 году М. Горький написал небольшую рецензию на книгу Б. Глинского о Н. М. Ядринцеве. «Жизнь таких крупных провинциальных деятелей,

как Н. М. Ядринцев и А. С. Гацисский, является в высокой степени интересной и поучительной для русской интеллигенции. Чем шире, глубже и ярче освещается деятельность этих лиц, тем, конечно, полезней и ценней труд, посвященный их памяти... Данный очерк прочтется с большим интересом всяким, кому дорога память о бескорыстном и светлом деятеле далекой Сибири, рыцарски-честно работавшем всю свою жизнь для суровой родины. И этот очерк имеет тем более глубокое значение, что в данное время — как нельзя более своевременны и нужны... напоминания о таких цельных, ясных и глубоко веровавших в будущее людях, как покойный Николай Михайлович» («Самарская газета», 1895, от 10 марта).

Посвящая очередные тома Н. М. Ядринцеву, редколлегия «Литературного наследства Сибири» тем самым выполняет завет великого писателя.

В предлагаемый том включены произведения, печатавшиеся преимущественно в периодике. Некоторые из них, например, очерк «Петербург в его прелестях», публикуются впервые. Первый раз в нашей стране печатается памфлет «Иллюзия величия и ничтожество. Россию пятят назад».

Материал тома расположен в хронологической последовательности, в соответствии с датами написания (за исключением раздела «Воспоминания»).

В произведениях Н. М. Ядринцева в ряде слов сохранены орфография того времени (напр., «эксплоатация», «придти»), а также принятые тогда формы словоупотребления.

Слова или части слов и фамилий, пропущенные Н. М. Ядринцевым, взяты в квадратные скобки — [].

Сноски от редакции не оговариваются; под сносками Н. М. Ядринцева стоит в скобках помета «Примечание автора».

В подготовке тома принимали участие:

А. Г. Кандеева — публикация очерков, рассказов, фельетонов «Петербург в его прелестях», «Козни злонамеренных», «Сибирская Швейцария», «Очерки общественной жизни на окраинах», «На чужой стороне».

Ю. С. Постнов — публикация статьи «Сибирские литературные воспоминания».

А. А. Спундэ (внучка Н. М. Ядринцева) — публикация книги «Иллюзия величия и ничтожество. Россию пятят назад».

Е. Д. Петряев, В. П. Домаевский — подготовка иконографических материалов.

Ю. М. Мостков, Н. Н. Яновский — комментарий к статьям, воспоминаниям, фельетонам.

В. К. Кречетникова — именной указатель.

Редколлегия намечает в 1980 году выпустить очередной, 5-й, том «Литературного наследства Сибири», также посвященный жизни и творчеству Н. М. Ядринцева.

В этот том будут включены стихотворения Н. М. Ядринцева, его литературно-критические и литературоведческие произведения, письма к писателям и общественным деятелям.

В том войдут воспоминания современников о Н. М. Ядринцеве и хроника его жизни и творчества.

К характеристике сибирского общественного движения второй половины XIX века

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СУЩНОСТЬ «ОБЛАСТНИЧЕСКОЙ ИДЕИ»

Вопрос об «областнической идее», т. е. идее, основанной на «особых интересах» Сибири, уже давно является дискуссионным. Была ли эта идея реакционной или, быть может, исторически прогрессивной? Всегда ли оставалось неизменным ее объективное содержание? Совместима ли она с принципом демократизма, и если да, то на каких этапах и почему? Эти и многие другие вопросы до сих пор не нашли окончательного решения и служат предметом оживленных споров в исторической литературе*.

Отрадно отметить, что в последние годы получил преобладание подлинно диалектический подход к оценке как самой «областнической идеи», так и ее носителей — сибирских областников. Целый ряд исследователей (С. Ф. Коваль, Я. Р. Кошелев, Н. А. Лапин, В. Г. Мирзоев, Т. П. Прудникова, Е. Ю. Хваленская, М. Б. Шейнфельд и др.) рассматривают областничество как явление сложное, неоднородное, претерпевшее в своем развитии весьма существенные метаморфозы. Такой же взгляд проводится авторами пятитомной «Истории Сибири». Думается, подобный подход к проблеме и является единственно возможным.

В настоящей статье нам хотелось: 1) кратко, с учетом имеющихся в литературе данных, охарактеризовать условия возникновения «областнической идеи» и ее будущую эволюцию; 2) выяснить, как выражена данная идея в трудах ее главного «автора» — Н. М. Ядринцева.

Областничество представляет собой очень интересное явление, вызванное к жизни условиями сибирской и общероссийской действительности. Сибирь в XIX веке была отсталой окраиной царской России. Царизм проводил здесь ярко выраженную колониальную политику — в интересах помещиков, а затем и буржуазии центра. Огромный край служил поставщиком золота, пушнины и других

* Основные точки зрения на областничество были указаны нами ранее. См.: «Сибирские огни», 1971, № 12, с. 138—140; «Известия СО АН СССР», 1972, № 11, с. 69—70; «Ученые записки Кемеровского гос. пединститута», вып. 33. Кемерово, 1973, с. 45—47.

богатств, а во второй половине XIX в. он превратился еще и в рынок сбыта для промышленности европейской части России.

В. И. Ленин в работе «Развитие капитализма в России», характеризуя положение южных и восточных окраин страны, указывал, что они «представляют из себя, в экономическом смысле, колонии центральной Европейской России...»* В других трудах В. И. Ленин писал о причинах, делающих невозможным быстрое развитие производительных сил «ни в центре, ни в колониях (на окраинах России)», причисляя сюда Сибирь, Среднюю Азию и т. д.; он также подчеркивал: «Юг и юго-восток Европейской России, Кавказ, Средняя Азия, Сибирь служат как бы колониями русского капитализма и обеспечивают ему громадное развитие не только вглубь, но ивширь»**.

Колониальная эксплуатация Сибири наносила ущерб всем слоям местного населения. С одной стороны, трудности испытывала сибирская буржуазия — ввиду конкуренции «российских» капиталистов. Однако этот антагонизм не следует преувеличивать. В большинстве своем местная буржуазия, торговая по характеру, мирилась с существующим положением. «Ее жизненные интересы, — справедливо пишет М. Г. Сесюнина, — связанные с чрезвычайно прибыльной посреднической торговлей товарами из центра страны, ставили сибирскую буржуазию в зависимость от буржуазии Европейской части России и царизма»***.

С другой стороны, от экономической эксплуатации Сибири страдало и в несравненно большей степени) трудовое население края — крестьяне и рабочие, являвшиеся производителями сырья и основными потребителями «мануфактуры». При существовавшем положении они неизбежно должны были сбывать свою продукцию и приобретать привозную на самых невыгодных для себя условиях. К этому добавлялись многочисленные налоги и повинности в пользу казны.

Экономический гнет сочетался с политическим. Беззаконие и произвол царских властей в Сибири вошли в легенды, злоупотреблениям и бесчинствам «сибирских сатрапов» не было границ. Даже кучье реформы 60-х годов в большинстве своем на Сибирь не распространялись.

Сибирь, далее, была превращена царизмом в место уголовной ссылки, что препятствовало гражданскому и экономическому развитию края, порождало высокую преступность, развращало население. Наконец, правительство делало все, чтобы не допустить развития просвещения в Сибири: школ и училищ было ничтожно мало, они владели жалкое существование.

Реакционная, колонизаторская политика самодержавия являлась главным тормозом в развитии Сибири, она же обрекала на бедствия ее трудящееся население. Вследствие этого, а также ввиду отсутствия помещичьего землевладения и недостаточного развития местного капитализма, *противоречие между трудовой массой Сибири и царским самодержавием было основным социально-политическим противоречием в крае.*

Понятно, что в Сибири нарастал протест против существующего режима: происходили крестьянские волнения, «бунты» на приисках, выступления интеллигенции. Конечно, трудящиеся вели борьбу и с «местными» угнетателями —

* В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 3, с. 593.

** В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 17, с. 152; т. 4, с. 86.

*** М. Г. Сесюнина. Г. Н. Потанин и Н. М. Ядринцев как идеологи сибирского областничества 2-й половины XIX в. — Автореферат кандидатской диссертации. Томск, 1967, с. 13.

буржуазией, кулачеством, однако острие их протеста направлялось против царского государства. «...борьба крестьянской бедноты против сельской буржуазии отступала еще на второй план перед борьбой всего крестьянства против гнета царского бюрократического аппарата и его произвола*», — указывается в «Истории Сибири».

На почве протеста сибирского населения против колониальной политики царизма и возник «местный патриотизм» как идеология небольшой части передовой сибирской интеллигенции. Первым его глашатаем стал историк П. А. Словцов (1767—1843). Его поддержали некоторые другие интеллигенты, в том числе и поэт П. П. Ершов (автор знаменитой сказки «Конек-Горбунок»). И хотя их патриотизм не пошел дальше заявлений и планов, брошенные ими семена все же принесли всходы.

«Сибирский патриотизм» как общественное течение (областничество) возник в начале 60-х годов, когда наступило общее оживление русской жизни и когда, в частности, началось «пробуждение» окраин, вызванное потребностями их дальнейшего экономического и общественно-политического развития. Наиболее видными представителями начавшегося движения выступили Г. Н. Потанин, Н. М. Ядринцев и С. С. Шашков.

Областники исходили из того, что Сибирь — колония Европейской России. Следовательно, рассуждали они, интересы Сибири как целого противостоят интересам «метрополии», политике которой определяют ее господствующие классы. Выделив «сибирские интересы», областники, естественно, выделили и «сибирские задачи», к решению которых они и призвали местное общество.

Несомненно, областники преувеличивали как степень противоречий между центром и окраиной, так и «местный» характер стоявших перед Сибирью задач. Но в условиях 60—80-х годов, когда главными непосредственными врагами сибирского населения выступали «российские» господствующие классы, позиция областников в значительной мере отражала интересы самых широких слоев местного общества и являлась, следовательно, общедемократической.

Однако областники были демократами не только в силу объективных условий, но прежде всего осозанно, по убеждению. Это приводило к тому, что, противопоставляя Сибирь царизму как «целое», они в то же время не считали это «целое» единым. Все их симпатии были отданы крестьянству как трудящемуся классу и «надежде будущего». Интересами крестьянства областники и стремились руководствоваться в первую очередь. Горячо защищали они и обездоленных «инородцев». Что же касается буржуазии, то отношение к ней у областников (как и вообще у шестидесятников) было сложным. С одной стороны, они пытались использовать буржуазию в интересах края, а с другой — вели против нее непрерывную жестокою войну. И именно эта, вторая тенденция одерживала у областников решительный верх, что проявилось, в частности, в планах социалистического переустройства общества на базе крестьянской общины. С ненавистью относились областники и к кулачеству, которое они также неустанно разоблачали.

Не ошибочное противопоставление Сибири Европейской России, а стойкая защита интересов трудового народа и борьба с его угнетателями — и «россий-

* История Сибири с древнейших времен до наших дней. В 5-ти томах, т. 3. Л., «Наука», 1968, с. 150.

скими», и «своими», а также исключительно большая и плодотворная культурная работа — вот историческая заслуга первых областников.

Но со временем обстановка в Сибири менялась. К началу XX века успехи капитализма привели не только к сильному росту местной торговой (а также и промышленной) буржуазии, но и к большому расслоению крестьянства, к возрастанию местного пролетариата. Теперь, в XX веке, классовые отношения и антагонизмы выступили явно, классовые интересы четко определились, развернулось рабочее движение, возникли организации различных партий, в том числе — большевистские организации.

В этих условиях противопоставление Сибири «как целого» и выделение «местных задач» приобрело иной смысл. Это стало выгодно теперь тому, кто во имя своих интересов стремился затушевать классовые противоречия, — т. е. буржуазии. Поздние областники, цеплявшиеся за «наследство стариков», не имели уже демократической почвы и оказались в роли защитников буржуазии. Сближение областников XX века с кадетами было вполне закономерно.

Но дело, опять-таки, не только в объективных условиях. Позднейшие областники (А. В. Адрианов, П. М. Головачев и др.) откровенно порвали с демократическими традициями своих предшественников: они прекратили борьбу против буржуазии, перестали замечать расслоение крестьянства, расстались с социалистическими идеалами.

Все это свидетельствовало о том, что областничество превратилось в буржуазное течение. Областники еще делали немало полезного в области просвещения и культуры, но их политическая деятельность все более становилась тормозом развития революционного движения в Сибири.

Буржуазное перерождение областничества закономерно привело его в 1917 году в лагерь крайней реакции. Враждебно встретив Октябрьскую революцию, увидев в большевиках очередных «централизаторов», стремящихся возродить в Сибири «диктатуру Москвы», лидеры областничества оказались попутчиками колчаковщины. Сибирская контрреволюция, со своей стороны, воспользовалась областническими лозунгами, чтобы противопоставить Сибирь новой, революционной России.

Разгром контрреволюции и интервенции, победа Советской власти в Сибири означали одновременно и конец областничества; утратив прогрессивные черты, изжив себя, оно сошло со сцены, отвергнутое историей.

Областническое движение, таким образом, нельзя рассматривать как нечто неизменное. Нам представляется наиболее обоснованной следующая периодизация данного течения: 1) 60—90 годы XIX в. — демократический период; 2) 1900—1916 годы — период буржуазно-либеральный; 3) 1917—1920 годы — переход областников к союзу с контрреволюцией и крах областничества*.

Как уже упомянуто, у истоков областничества стояли Г. Н. Потанин, Н. М. Ядринцев и С. С. Шашков. Но Шашков быстро отошел от движения; Потанин с середины 70-х годов (и до начала XX в.) отдавал предпочтение науке. Роль лидера и идеолога областничества в 70—90-х годах выпала на долю Ядринцева, сумевшего совместить научные изыскания с необычайно кипучей и разносторонней общественно-публицистической деятельностью. Ядринцеву в первую очередь и принадлежит разработка основополагающих принципов област-

* См.: В. Г. Мирзоев. Историография Сибири. Домарксистский период. М., «Мысль», 1970, с. 300.

ничества, в том числе обоснование самой «областнической идеи». Как же представлена она в его трудах?

Политику царизма в Сибири Ядринцев справедливо считал главным препятствием в развитии края, как и основной причиной бедствий его трудового населения. Понятно, что он искал пути к ликвидации такого положения. Но незнание верных средств борьбы с самодержавием плюс наличие в Сибири известных областных особенностей привели Ядринцева к сложной и противоречивой концепции, которую, собственно, и следует рассматривать как «областническую идею». Хотя эта концепция во многом неопределенна и туманна (прежде всего — в сознании самих областников), мы все же думаем, что основные ее положения можно выявить и свести к следующему:

1. Сибирь — угнетаемая колония Европейской России.

2. Сибирь имеет свои, особые интересы, а следовательно, и задачи («сибирские вопросы»). Решение этих задач необходимо как для ликвидации колониальной зависимости края, так и для его развития вообще.

3. «Сибирские вопросы» могут быть решены только усилиями местного общества, т. к. лишь оно жизненно заинтересовано в этом. Следовательно:

а) общество должно сосредоточить внимание на решении именно местных, сибирских задач;

б) этому обществу должен быть предоставлен возможно больший простор деятельности.

Указанные положения — сгедо областничества, краеугольный камень его идеологии. Оценивая их, отметим следующее:

1. Памятуя слова В. И. Ленина о том, что Сибирь представляла собой «как бы колонию русского капитализма», что она была «колонией в экономическом смысле», мы должны признать, что исходный пункт областнической концепции не лишен оснований.

2. Как уже сказано, областники XIX века, в отличие от позднейших, не только в силу объективно-исторических условий, но и сознательно исходили из интересов трудящихся масс Сибири. Поэтому содержащиеся в данной доктрине идеи «о местных вопросах» и необходимости их решения на практике означали борьбу за нужды народа и в этом смысле сыграли положительную роль.

3. Признавая полезность пунктов о «местных», или «сибирских», вопросах, мы делаем это, конечно, в определенных границах. Необходимо учитывать следующие обстоятельства. Во-первых, не все «местные вопросы» были на самом деле местными. Крестьянский и «инородческий» вопросы, вопрос о просвещении и некоторые другие не имели выраженной сибирской специфики и являлись лишь проявлением общероссийских проблем на сибирской почве. Во-вторых, неверным и даже порочным был курс на решение только местных задач, которые, к тому же, могли быть решены, по мнению областников, только местными силами. Можно было подумать, что Сибирь в безвоздушном пространстве, но кто-кто, а областники-то знали, что это не так! Названные положения ориентировали сибирскую общественность на отрыв (и в целях, и в средствах) от общероссийского движения, а это приносило вред прежде всего самой же Сибири.

В общем следует сказать, что данная концепция (областническая идея), будучи в условиях XIX века исторически оправданной и демократической, страдала в то же время местной ограниченностью, которая в значительной мере парализовала ее положительные моменты. А между тем эта концепция и

являлась исходным пунктом политики областников в отношении Европейской России.

Стремясь придать своей доктрине солидное основание и подвести под нее теоретическую базу, Ядринцев развивает — очень обстоятельно и детально — целую *областническую теорию*. Эта теория претендовала на освещение не только сибирских проблем, но также общероссийских и даже мировых. Создавая ее, Ядринцев пропустил через «областническую призму» идеи многих мыслителей, но наибольшее влияние оказали на него федеративные идеи русской демократии 60-х годов, и особенно А. П. Шапова, земско-областные построения которого стали важнейшей теоретической предпосылкой областничества.

По мнению Ядринцева, любое государство представляет собой совокупность областей (провинций), имеющих свои, местные интересы (экономические, политические, культурные). Эти интересы, как и сами границы области, определяются единством географических, этнографических, культурных и других условий. Жизнь общества, государства — это жизнь его частей, и только развитие этих частей является источником развития целого. Общий прогресс поэтому состоит в дифференциации жизни целого, в обособлении функций, в самобытном совершенствовании каждой отдельной части. Иначе говоря, провинциям должна быть предоставлена возможно большая самостоятельность; это позволит им решить «местные вопросы», обеспечит их развитие, а значит, послужит и ко благу всего государства. «...Без развития местной жизни и самостоятельности и без уразумения отношений частного к общему невозможно правильное развитие общества...»* — утверждал Ядринцев. Централизация, по его мнению, дело прошлого; «провинция — будущее».

Но мы изложили пока лишь схему, не затронув того содержания, которое, собственно, и придает ей жизнь. В чем же состоит это содержание? «...Провинция, — говорит Ядринцев, — есть народ, главная масса народа, которой принадлежит все...»** Это не случайное высказывание; эта мысль повторяется Ядринцевым постоянно и буквально пронизывает его областническую теорию. Ратую за права и нужды провинции, Ядринцев ратовал за права и нужды *народа* — так, как он в состоянии был их понять. Областническая теория Ядринцева поэтому так же демократична, как и другие элементы его мировоззрения.

Однако, сводя развитие целого к развитию частного, теория Ядринцева, несомненно, страдала ограниченностью и узостью. На это указывали ему современники. Отсюда попытки Ядринцева связать «местные» вопросы с «общими» и доказать, что курс на областное развитие не только не противоречит, но даже содействует разрешению «общечеловеческих проблем». Они, эти «общечеловеческие проблемы», получают реальное содержание, по мнению Ядринцева, только на «местной» почве; иначе, без определенного объекта, они — не более как абстракция. С другой стороны, сами «местные вопросы» суть не что иное, как проявление «общих» вопросов в данных условиях места и времени. Ядринцев проводит следующую идею: «Имея точкою исхода общечеловеческие потребности, общий идеал для всех людей***, они (общие вопросы.— В. К.) должны сводиться в частную практическую сферу, к вопросу времени и пространства, в

* «Сибирские записки», 1917, № 6, приложение, с. 222.

** Там же, с. 227.

*** Таким фразеологическим оборотом Ядринцев зашифровал понятие «социализм».

известную среду, к данной исторической стадии, иначе человеческие вопросы не могут рассматриваться*». Мысль в высшей степени глубокая, но она по-истине «заслуживает лучшего применения»! Ибо все эти рассуждения нужны Ядринцеву, главным образом, для того, чтобы доказать приоритет «местных вопросов», успокоив оппонентов указанием на «связь» этих вопросов с «общими».

Рассматривая теорию Ядринцева, нельзя не обратить внимание на один очень показательный момент: он смешивает областное движение с национально-освободительным, недвусмысленно приравнивает одно к другому. Более того, национальное выглядит как одно из проявлений областного. Надо думать, делается это намеренно: ставя в один ряд национальное и областное, Ядринцев стремится очевидную закономерность и оправданность первого перенести и на последнее.

Областническая теория Ядринцева страдает, таким образом, очевидной тенденциозностью. Но при этом не стоит забывать, что в истоке ее лежит отрицательное отношение к самодержавию, и, протестуя против «централизации», Ядринцев, хоть и с областнических позиций, выступал против царизма. Следует помнить и то, что эта теория отразила происходившее в России оживление народной провинциальной жизни и стремилась повернуть внимание общества к этой стороне действительности. Мы не говорим уже о том, что, придавая своей теории демократическое содержание, Ядринцев использовал ее как орудие борьбы за народные интересы.

Итак, «областническая идея» находила обоснование в теории, основы которой мы изложили. Теперь посмотрим, к каким *практическим выводам* толкала данная идея Ядринцева и других областников. Иными словами — к чему сводилась их программа по отношению к «метрополю»?

Цель, как явствует из областнической доктрины, состояла: 1) в ликвидации угнетенного положения Сибири и 2) в достижении возможно большей свободы для сибирского общества. Эту цель Ядринцев преследовал на протяжении всей своей жизни. Но форма (или лозунги), в которую облекалась эта цель, не была постоянной, она со временем менялась. Проследить эту эволюцию очень интересно, да и необходимо.

В начале 60-х годов Ядринцев и его друзья пережили кратковременную «сепаратистскую горячку», мечтая *об отделении* (в отдаленном будущем) Сибири от России и образовании самостоятельной демократической республики. Жизнь быстро показала беспочвенность этих надежд; охладев и занявшись серьезным изучением Сибири, областники быстро убедились, что подобная идея совершенно неосуществима.

Ядринцев отказывается от сепаратизма и больше никогда к нему не возвращается. Это совершенно очевидно из его работ и писем; это же единодушно подтверждают его современники, биографы. Более того, Ядринцев (начиная с 70-х годов) неоднократно подчеркивал, что Сибирь — неотъемлемая часть России** и что в единении с Европейской Россией Сибирь не только теряет (от эксплуатации, гнета), но и приобретает (ибо изоляция обрекает на застой).

* «Сибирские записки», 1917, № 6, приложение, с. 226.

** См., например, Н. М. Ядринцев. Сибирь как колония. СПб., 1882, с. 427. Его же. Из судебной хроники Сибири. — «Русская жизнь», 1894, № 92.

Неудивительно поэтому, что в работах Ядринцева появляется мысль о желательности сближения с Европейской Россией*.

Показательно, что, толкуя о выгодах этого сближения, Ядринцев противопоставляет интересы трудящихся края (которые он, как всегда, отождествляет с интересами Сибири) расчетам буржуазии. Так, касаясь предстоящего соединения Европейской России и Сибири железной дорогой и призывая смотреть на это «не с точки зрения коммерсантов, а в интересах целого края», он указывает: «Выгодно ли Сибири оставаться в положении страны отдаленной, замкнутой в самой себе и лишенной всякого общения с цивилизованным миром? Действительно ли ее отчуждение от цивилизации и отдаленность будут побудительным средством к основанию собственного заводского производства?.. Слабые стороны купеческого протекционизма разоблачались не раз, и не подлежит никакому сомнению, что деятельность разных мануфактуристов и заводчиков имела в виду не столько благо народа и выгоды потребителей, сколько свои собственные барыши**».

Таким образом, Ядринцев отказался от сепаратизма. Но он не отказался от областничества. Какую же новую форму обрело его требование ликвидировать угнетение и предоставить права самостоятельности сибирскому обществу? Это выяснилось в период пребывания Ядринцева в ссылке в Архангельской губернии, в начале 70-х годов. Такой формой стало теперь провинциальное самоуправление, или *автономия* Сибири в составе России. Эта идея была развита Ядринцевым в его письмах Г. Н. Потанину***, и навеяна она, по признанию самого автора, взглядами П. Ж. Прудона.

Но автономия, по Ядринцеву, дело более или менее отдаленного будущего — хотя бы потому, что необходимой ее предпосылкой он считал проникновение данной идеи в самые широкие массы. В качестве же первоочередной «внешней» задачи Сибири Ядринцев выдвигал уравнение ее в правах с Европейской Россией, т. е. распространение на Сибирь реформ 60—70-х годов, уничтожение всевозможных «особых» правил и институтов, ущемляющих Сибирь, и т. д.

Как же обстояло дело позднее — в 80-е и 90-е годы? Есть основания считать, что Ядринцев постепенно отказывается от мысли об автономии — по-видимому, она представляется ему все менее и менее реальной. По крайней мере, он уже никогда эту идею не выражает; зато за несколько недель до смерти он пишет следующее: «Какова будет судьба нашей родины через 100, 200, 500 лет? Кто это может предугадать? Каковы будут отношения между дочерью (колонией) и матерью (метрополией), как обе они разовьются и выступят, как образуются гражданские интересы и вопросы той и другой стороны? Этого не могут предсказать ни мечтательные дети, ни умудренные старцы-философы****. Вместе с тем, Ядринцев по-прежнему, и очень горячо, вел борьбу за *уравне-*

* См.: Н. М. Ядринцев. Сочувствие к науке на Востоке.— «Камско-Волжская газета», 1873, № 129; его же. Успехи Западной Сибири.— «Голос», 1878, № 88.

** Н. М. Ядринцев. Судьбы Сибири.— «Неделя», 1873, № 5.

*** См.: «Сибирские записки», 1917, № 1, приложение, с. 73—76; № 4—5, приложение, с. 179—180. Тогда же были изложены Ядринцевым и основные положения его областнической теории.

**** Н. М. Ядринцев. К моей автобиографии.— «Русская мысль», 1904, кн. VI, с. 156—157.

ние прав Сибири и Европейской России. Следовательно, *только к этому* сводилась теперь его программа ликвидации колониального гнета. А идея самостоятельности сибирского общества, в соответствии с этим, укладывалась в требование *земского самоуправления* (которое, по Ядринцеву, в условиях Сибири должно быть крестьянским самоуправлением, т. е. институтом демократическим).

Таким образом, программа Ядринцева в отношении Европейской России становилась со временем все менее «радикальной»: от независимости — к автономии, а от нее к уравниванию в правах. Характерно, что параллельно (начиная с конца 70-х годов или немного позже) происходит «увядание» областнической теории: она начинает терять былую боевитость и определенность, ее положения становятся расплывчатыми, да и выражаются автором не так часто и настойчиво, как прежде. Причина этих перемен ясна: жизнь не подтверждала областнических установок, российская (в том числе сибирская) действительность развивалась совсем не в духе предначертаний областников*, и это не могло не повлиять на взгляды и требования идеолога движения.

Но Ядринцев слишком увяз в областничестве, чтобы от него отказаться. Теряя почву в теории и делая уступки жизни в практических требованиях, он, однако, оставался верен основе областнической идеологии — ее главной концепции (областнической идее). В этом состояла его трагедия. Проповедуя самобытное развитие Сибири, делая упор на «местные вопросы», призывая сибирское общество заниматься только сибирскими делами, он в то же время не мог не видеть, что Сибирь не только не усиливает, но теряет свою «самобытность», что «местные вопросы» все более растворяются в «общих», что лучшая часть сибирского общества — молодая интеллигенция — склоняется к общероссийской деятельности и увлекается «несибирскими» теориями — народничеством, марксизмом. Ядринцев, далее, видел и то, что гнет «из-за Урала» не только не ослабевае, но растет, а сил, способных противостоять этому гнету, он не находил.

Но какими бы ошибочными ни были областнические установки Ядринцева, он всегда вкладывал в них демократическое содержание; под областным развитием он неизменно разумел демократическое развитие. Между тем Сибирь быстро шла по пути капитализма. Это и нанесло Ядринцеву тот удар, который не в состоянии были выдержать не только его установки, но и он сам.

Нередко приходилось слышать, что ранние областники — это прежде всего «сепаратисты», что «сепаратизм» и есть главная черта этого движения. Подобный взгляд — наследие тех времен, когда много говорили об областничестве, но мало его изучали.

Не являясь неотъемлемой чертой областничества, сепаратизм не может рассматриваться и как его главный недостаток. Порок областников XIX века не в сепаратизме. Он в другом: в том, что они призывали решать *только* местные вопросы и в этом видели задачу *всех* сибиряков, и *только* их. Вот здесь-то, в этом направлении, и должна быть сконцентрирована критика раннего областничества.

В. К. Коржавин

* Письма Ядринцева последних лет его жизни полны сетований по этому поводу.

Проза Н. М. Ядринцева

До ареста в мае 1865 года Н. М. Ядринцев успел написать и напечатать немного — три фельетона для знаменитой «Искры» В. С. Курочкина да несколько публицистических статей в «Томских губернских ведомостях». Все они показательны для общественно-политических и эстетических воззрений начинающего писателя и ученого.

Очувтившись в конце августа 1860 года в Петербурге, семнадцатилетний Ядринцев со всем пылом юности окунается в напряженную идейную жизнь столицы в период зреющей день ото дня революционной ситуации в России. Наряду с «полным» Белинским, издаваемым в России, он приобретает «полного» Герцена, вышедшего в Лондоне, читает «Колокол», следит за «Современником», где, по его определению, «статьи Чернышевского превосходны», знакомится с людьми, имена которых адресат — Н. С. Щукин — предусмотрительно вычеркивает после получения письма из Петербурга. Ядринцев не только взволнован, захвачен тем, что происходит в стране, он с жадным интересом следит и за всем, что творится в мире. Характерно, что в самый канун освобождения крестьян, в октябре 1860 года, Ядринцев полон неверия в способность царя и помещиков дать крестьянам волю, а стране — конституцию.

«Носятся слухи,— пишет он Н. С. Щукину,— что крестьянский вопрос он хочет к новому году закончить. Говорят о конституции, будто бы сочиняют в сенате. Но думаю, что это так же сбыточно и верно, как скорбь по умершей Александре Федоровне в России».

Речь идет непосредственно о царе и его матери, известной своим мотовством, а фразы из письма так и просятся в памфлет для «Колокола» и явно им и «Современником» навеяны.

В самом начале 1861 года Ядринцев и пишет свой первый памфлет «Петербург в его прелестях», так и не увидевший тогда света, потому что события после 19 февраля 1861 года захлестнули все и всех, потребовали других слов и действий. Но сам по себе этот памфлет в письмах к бедному другу в провинцию, счастливо сохранившийся в бумагах Ядринцева, показателен и может быть поставлен в ряд произведений революционно-демократической литературы, представляемой «Современником» и «Искрой».

Автор памфлета обращает внимание прежде всего на ужасающие его социальные контрасты города — с одной стороны, богачи, живущие в роскошных особняках и дворцах, с другой — «десятки тысяч работников с своих душных фабрик»; первые говорят не по-русски, чтоб не походить на своих лакеев, бездельничают, развратничают и мечтают о наградах; вторые работают и голодают. Далее Ядринцев создает тип современного ему прожигателя жизни, петербургского денди, опустившегося до последней черты нравственного падения.

Перечисляя все то, к чему равнодушен его журирующий герой, автор тем самым свидетельствует, как потрясен он сам и люди, ему подобные, событиями мировой политики: стонет Италия под австрийскими каблуками, трепещет француз перед наполеоновскими лакеями, умирает Мексика под французскими штыками, обливается кровью далекая земля, где падают остатки рабства. Здесь все звучит остро и актуально, особенно победоносная война Севера против рабовладельческого Юга в Америке.

Юноша несомненно владел пером публициста-памфлетиста. Это скоро заметил В. С. Курочкин, и Н. М. Ядринцев в 1862 году пишет и в январе 1863 года публикует боевые, зло-сатирические фельетоны в «Искре»: «Наша любовь к народу», «Россиянин на пути к прогрессу», «Козни злонамеренных».

Не без влияния «Современника» и «Искры» занята самая крайняя позиция по отношению ко многим явлениям общественной жизни и литературы. Прежде всего, естественно, речь заходит о крестьянстве, о его новом положении и состоянии, об отношении к нему различных слоев русского общества, особенно так называемых «народных» органов печати. Первый фельетон Н. М. Ядринцева в «Искре», печатавшийся в нескольких номерах, так и назывался «Наша любовь к народу» и имел эпиграф, взятый из журнала «Народная беседа»: «Ближайшие народу деятели суть чиновники, мешане, хозяева (?) и в особенности семейства сельских священников». К слову «хозяева» поставлен вопрос, то есть сразу берется под сомнение официально-угодническое суждение «Народной беседы» на этот счет: «А может ли помещик-хозяин быть ближайшим народу деятелем?!» В соответствии с этим сомнением и строится весь фельетон, который начинается так:

«У нас развилась необыкновенно сильная любовь к народу: все идут за народ, все делают во имя народа. Наша журналистика в этом случае представляет самое умильное зрелище. Посмотрите, как горяча, как бескорыстна эта любовь, начиная с Виктора Ипатьевича Аскоченского и Каткова до Льва Камбека и журнала «Время». Одни гонят прогресс во имя народа, другие требуют английских реформ, уверяя, что это угодно народу и что он не послушает как этих, так и тех... Третьи пишут «Ерунду» или кричат: «От почвы оторвались, народности держитесь, народности!» Четвертые вдруг провозглашают, что народ требует, чтобы его секли, пятые еще что-нибудь... Таким образом, все мешается, видна только общая любовь к народу. Ну не умилительно ли это зрелище?!»*

Далее идет убийственно-издевательская критика «Народной беседы» и ее назиданий народу, составленных из прописных истин: не дерись, не воруй, не пьянствуй... В преамбуле названы наиболее одиозные имена ревнителей «нового курса» правительства, нацеленного на разгром революционно-демократического движения. Журнал братьев Достоевских упомянут, потому что в нем участились прямые нападки на позицию «Современника», особенно в статьях Н. Страхова. Блестящий фельетон «Козни злонамеренных», появившийся в апреле 1863 года, примечателен не только своим остроумием, неподдельным юмором, но и обобщением определенных явлений в жизни, созданием сатирического образа «благонамеренного», прототип которого вскоре займет место в охранительной беллетристике. К благонамеренным причислены теперь и сотрудники «Времени» — Н. Страхов, выступавший под псевдонимом Косица, И. Долго-

* См.: «Искра», 1863, № 2.

1073126

мостьев, писавший под именем Игдев. Они начали поход против «старого» «Современника», руководимого Н. Г. Чернышевским, и с удвоенной энергией против «нового», в котором значительную роль приобрел М. Е. Салтыков-Щедрин.

Живейший практический интерес к революционным идеям Герцена и Чернышевского, активное участие в студенческом движении в составе кружка сибирского землячества, первые творческие выступления в «Искре», в журнале революционной демократии, личное сближение с Г. Н. Потаниным, С. С. Шашковым, В. С. Курочкиным, Г. З. Елисеевым и другими деятелями эпохи формировали молодого Н. М. Ядринцева как писателя-шестидесятника. Возвратясь осенью 1863 года в Сибирь, он почувствовал себя полномочным представителем революционных сил России, и этим объясняется его убежденность, его смелость в публичных и печатных выступлениях в Омске и Томске. Если коротко охарактеризовать известные нам ядринцевские печатные работы 1864—1865 годов в «Томских губернских ведомостях», то следует сказать, что они наполнены жаждой решительных перемен в общественном строе страны («принципом нового будет мир, цивилизация и свобода»), духом интернационализма как необходимого условия равноправия народов («быть может, скоро настанет век, «когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся»), гордостью за русский народ, который в исторически кратчайшие сроки сумел «пройти» огромные сибирские пространства и утвердиться на них, наконец, верой в неиссякаемые силы народа.

В 1865 году Н. М. Ядринцев арестован. Но, находясь в Омском остроге, он не прекращал своей литературной работы: вел дневник, который стал основой его последующих произведений, исследовал омский архив, продолжал печататься в «Искре» (1866) и даже в сибирской печати опубликовал некролог о Чокане Валиханове.

Однако широкая и планомерная литературная деятельность Ядринцева началась только после перевода его из тюрьмы в ссылку в 1868 году, когда ясно определилось, что крестьянская революция 60-х годов не состоялась и все разрешилось половинчатыми реформами «сверху». Перед лучшими людьми России встал вопрос: как и чем жить дальше?

Решающей причиной, определившей осмысление событий и выработку линии поведения, был тот факт, что Россия пошла по пути капиталистического развития, заторможенного остатками крепостничества. В 1860—1890 годы крестьянство, самый многочисленный класс России, перестало быть однородным. В результате бурных событий 60-х годов, затронувших все слои русского общества, в его передовых кругах родилось и окрепло убеждение в необходимости уничтожения самодержавия, которое силой оружия сохраняет остатки крепостничества. И какие бы ни предлагались средства практического осуществления этой основной задачи времени — хождение в народ, террор с целью вынудить правительство на уступки, развитие науки, просветительство, нравственное самосовершенствование и т. п. — целью всех прогрессивных программ был демократизм, приобретающий разные формы, обусловленные той или иной концепцией человека. В русской литературе критического реализма все чаще и чаще народная жизнь становится основным предметом художественного исследования. Концепция: «народ — решающая сила истории» — завоевывает все больше и больше сторонников; идеи гуманизма, внимание к судьбе отдельной личности, независимо от ее национальности и социальной принадлежности, приобретают исключительное

значение в постижении перспектив исторического развития страны. О необходимости добиться социального равенства думает вся передовая Россия.

В литературоведении долго господствовало простое противопоставление идей Чернышевского идеям так называемого «антинигилистического» направления и разным другим ответвлениям в литературе пореформенного времени без дифференцированного к ним отношения. Резко отрицательная оценка некоторых произведений Лескова, Писемского, Достоевского современниками, которым подчас были недоступны реальные многосложные идейно-нравственные основания этих произведений, в первоизданном виде дошла до наших дней. Между тем такое противопоставление, объяснимое для своего времени, нередко было лишено веских оснований, так как в те годы общественная мысль мучительно и неотступно искала пути воздействия на события в новых исторических условиях. Эти условия исключали немедленную крестьянскую революцию с установлением социалистического строя и требовали потому выработки новой программы действий.

Величие Чернышевского в том, что он с неуклонной последовательностью исповедовал идею революции «снизу», считая ее исторически наиболее необходимой для будущего обновления России, даже если она окажется в данный момент безуспешной, и в этом отношении он был недосягаемым образцом для многих деятелей последующего тридцатилетия. Однако некоторые, в том числе важные его идеи в условиях капитализирующейся России требовали пересмотра, уточнения, углубления.

Начать с того, что революционные народники 70-х годов, потерпев неудачу с хождением в народ, фактически отказались от опоры на крестьянство; в литературе ближайшие к Чернышевскому писатели Некрасов и Щедрин ощутили пассивность чудовишно отсталых крестьянских масс, в теории Чернышевского многое не удовлетворяло Достоевского, Л. Толстого и других писателей второй половины XIX века, хотя политическая позиция автора «Что делать?» в период революционной ситуации вызывала искреннее преклонение, а его личная трагическая судьба — глубочайшее сочувствие.

В этом свете водораздел проходит не между Чернышевским и Достоевским, если брать крайние точки отсчета в давнем и недавнем противопоставлении, а между всей демократической литературой России и ее откровенно охранительным крылом, представляемым не К. С. Аксаковым, Писемским или Лесковым, а Катковым, Крестовским, Ключниковым, Леонтьевым, Вас. Ив. Немировичем-Данченко и прочими защитниками и панегиристами самодержавия. Это не означает, что нет существенной разницы между ролью в общественной жизни и литературе, скажем, Щедрина и Аксакова, но было бы ошибкой из этой разницы делать далеко идущие выводы о проблематичной или весьма относительной ценности творчества Аксакова или, в другом случае, Достоевского. Определяя место Ядринцева в литературе 1860—1890 годов, мы должны исходить не из пресловутой идеи «сибирского сепаратизма», вокруг которой обычно разгорается спор, когда речь заходит о Ядринцеве, а из той реальной расстановки общественных сил, которые характеризуют эпоху, из того действительного положения литературы критического реализма, которое заняла она своим подлинно демократическим направлением. Мы не можем сказать, что мировоззрение Ядринцева, в том числе его политические взгляды, отличалось в эти годы цельностью и последовательностью — десятилетие, проведенное в тюрьме и ссылке, не могло не повлиять на определение и направление его

интересов, к тому же это были годы революционной ситуации, сменившейся околотелой реакцией. Торжество охранителей царизма вызвало сомнения, колебания, разочарования, глубокую духовную драму не у одного Ядринцева. В этих обстоятельствах верность шестидесятника своим идеям определялась не только тем, участвовал или не участвовал он непосредственно в революционных событиях времени, но и тем, что в повседневной деятельности своей он, как и прежде, продолжал защищать интересы народа, был искренним демократом и ненавидел царизм. Именно эти особенности Ядринцева и ставили его как писателя в ряды представителей критического реализма.

Первым крупным результатом творческих устремлений Н. М. Ядринцева, писателя и ученого, в годы бессрочной ссылки в Шенкурск Архангельской губернии был выход его книги «Русская община в тюрьме и ссылке» в 1872 году. Она состояла из очерков о жизни в остроге, в которых, по личным наблюдениям, запечатлены живые типы тюремных обитателей, и из статей по тюремно-ссылочной системе в России в ее сопоставлении с системами других государств. Этот характер книги — художественно-очерковый и научно-публицистический — не мог обеспечить ей широкий читательский резонанс, но известно, что почти все очерки и статьи книги были опубликованы в лучших демократических журналах того времени — в «Деле» Г. Е. Благосветлова и в «Отечественных записках» Н. А. Некрасова, следовательно, вошли в круг чтения разных слоев русского общества.

«Записки из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского, появившиеся в 1861 году, по огромной силе своего воздействия оставили в тени две наиболее значительные книги на ту же тему, вышедшие почти одновременно — С. В. Максимова «Сибирь и каторга» (1871) и Н. М. Ядринцева (1872). Но это были книги, продолжавшие вслед за Достоевским исследование проблемы, которая после катастрофического разорения деревни и правительственных репрессий 60-х годов приобрела исключительное значение и требовала от писателей подлинного гражданского мужества. Через десять лет после выхода книги Достоевского эти писатели с неопровержимыми фактами в руках свидетельствовали, что ссыльнокаторжное население Сибири не уменьшалось, а колоссально увеличивалось и что условия содержания ссыльных не улучшились, а сохраняли формально-бездушный характер, приобретали ужасающе-устойчивые свойства. Неоднократно оговариваясь, что статистические данные далеки от полноты, Ядринцев, однако, отчетливо фиксирует, что если за тридцать лет (с 1822 г. по 1852) в Сибирь сослано около 200 тысяч человек, то лишь за последние пореформенные восемь лет, с 1860 по 1868 год, сосланных оказалось более 100 тысяч! Страшный мир каторги, о котором с такой болью рассказал Ф. М. Достоевский, и в «обновляющейся России», как не без иронии отмечает Ядринцев, не перестал быть таким же страшным, бессмысленно жестоким и требующим незамедлительного вмешательства общества.

Первое преимущество книги Ядринцева перед книгой Максимова заключается в том, что Ядринцев изучал каторгу изнутри, так как он почти три года просидел в том же омском остроге, где Достоевский отбыл четыре (Достоевский «вышел» из него в 1854 году, Ядринцев «вошел» в 1865). О втором преимуществе Ядринцев сказал сам в рецензии на книгу Максимова, опубликованной без подписи в журнале «Дело» (1871, № 3), и в статье «Преступники по изображению романтической и натуральной школы», опубликованной за его подписью в том же журнале (1872, № 6). Выделив неоспоримые достоинства

книги Максимова, автор собрал обширный и убедительный материал о каторжной Сибири, живо рассказал о «горькой действительности»,— Ядринцев доказательно определяет, что в ней все-таки нет ясно осознанной цели, выводов, что способ обработки услышанных и собранных автором фактов, рассказов и анекдотов из жизни каторги, «приобретя достоинство занимательности», «теряет в достоверности» и что в его изображении «антипатия к преступлению» переносится «на личность преступника», и автор «уверяет нас, что в преступнике нечего искать человеческого образа».

Создавая свои очерки о ссылке и каторге, Ядринцев взял за образец «Записки...» Достоевского: их демократизм, их гуманистический пафос становится идейным стержнем его книги. Он прямо ссылается на Достоевского, неоднократно цитируя наиболее яркие высказывания писателя, обращаясь к его картинам, сценам, образам, как к достоверным и неопровержимым фактам действительности, необходимым ему в ходе его собственных размышлений и выводов. Вслед за Достоевским он скажет, что в этой острожной массе «можно было ближе всего познакомиться с жизнью простого народа и его судьбою», потом подчеркнет, что «здесь среди людей, во многом действительно преступных», можно было «видеть порывы искренних чувств и любви к ближнему». Видеть в преступнике человека, перевоспитывать его трудом, развитием самосознания — определяющая идея книги Ядринцева, если брать ее лишь в одном криминалистическом разрезе. Но в том-то и дело, что появление книги «Русская община в тюрьме и ссылке», как в свое время «Записок из Мертвого дома» Достоевского, вызвано более широкими настроениями и интересами русского общества, настойчиво и неутомимо искавшего тогда существенных преобразований во всех сферах жизни.

Ядринцев, как и Достоевский, избирает очерковую форму, всюду он ведет повествование от первого лица, стремится к той же доверительной интонации непосредственного наблюдения, к естественности разговора с читателем, которому сообщаются только точные факты. После описания разнообразных ощущений от одиночного заключения Ядринцев, как и Достоевский, начинает с первого знакомства с острогом, затем идет целая галерея типов острожных жителей. Достоевский создает блестящую сцену о театральном представлении в остроге, своеобразно использует фольклор в прямой речи, в индивидуальной характеристике персонажей, у Ядринцева целая глава названа «Острожная поэзия, музыка и тюремное творчество». И это не только исследование тюремного репертуара, как можно судить по названию, одновременно это и колоритные образы самих исполнителей тюремных песен, тюремного фольклора.

«Как-то вечером,— рассказывает Ядринцев в главе «Жиган»,— я сидел у решетки моего окна, смотря на унылый, поросший мелко травкою острожный двор. Легкие тучки неслись по темнеющему небу. Ветки зелени качались за белой высокой стеной и напоминали о лете. Вечер был свежий и пахучий... С верхних этажей острога видно было, как расстилалось далеко зеленое поле и мелкие дальние огни цыганских костров. В окнах внутреннего фасада высывались арестантские лица, обвеваемые ветром; многие сидели, прижмурившись к решеткам и высунув наружу голые ноги. Местами слышалось мурлыканье разных заунывных песен, то вдруг обрывавшихся, то вновь настраивавшихся. Но вдруг где-то посреди смешения звуков вырвалась сильная нота; громче всех разлилась эта песня в воздухе и могуче и стройно воцарилась над всеми остальными звуками. Пелась популярная в остроге песня разбойника Латыше-

ва — прощание с жизнью и родиной. «Теперь бы я помчался к родной стороне, с друзьями б повидался... — залился голос и внезапно разразился такими плачущими, тоскующими нотами, что глубоко потряс весь острог, и без того грустно настроенный».

Это пел, по воровской терминологии, «жиган» — карточный игрок и фальшивомонетчик, образец «веселости и ухарства» для людей его круга и его, так сказать, «профессии»; он дан Ядринцевым как характер, со своим лицом, со своими манерами и языком, со своей замысловато-запутанной, хотя и обычной для таких типов, биографией. И горечью окрашены последние строки небольшой главы, вместившей невеселую судьбу весельчака-жигана и талантливого певца:

«Я не знаю, бывало ли ему когда-нибудь скучно и грустно, выходил ли он когда из шутовской своей шкуры. Если находило на него что-нибудь подобное, то как будто невзначай. Взберется он в верхний этаж, присунется к окошку, взглянет вдаль на город, на церкви высокие, на голубое небо и вольно несущиеся облака и — залетят песни и сердечные ноты зануют и заплачут в его голосе; но прошла минута, и где-нибудь он уже пляшет, бьет в шапку, как в бубен, поет развеселую песню и шлепает туфлями или фигурирует перед окнами женской половины, вызывая: «Ффь-ю! Павилька!»

Жиган — не единственный образ «тюремного жителя», запечатленного Ядринцевым столь безыскусно и лирически-проникновенно; их много на страницах книги — простых и естественных, всегда своеобразных. Это и «первый человек в Сибири» Петр Решето, и дедушка Абрамов, и «тюремный сказочник» Петр Алексеевич, и «фармазонский купец», и «острожный Брут», и десяток других эпизодически появляющихся лиц. Ни тени романтических преувеличений, сентиментальности, нарочитой занимательности, подсказываемой самим материалом. Трезво о красоте и язвах, о чистоте и грязи. Это — правда жизни, воссоздаваемая с любовью и болью, с верой и гневом. Его реализм бескомпромиссен и беспощаден. Народ он понимает и любит, но относится к нему без сюсюканья, критически; он отдаст должное, когда люди из народа выявляют свои лучшие качества, но не скрывает их недостатков, порожденных веками рабства, невежеством или ожесточением борьбы.

Есть в книге Ядринцева интереснейшая глава — «История этапного странствия обыкновенного смертного». Она, как и все главы такого рода, написана от первого лица (подзаголовок — «Из записок беспаспортного»), по-своему живописна и лирична. «Беспаспортный» с этапом попадает в среднюю, наиболее благополучную полосу России, и ему чрезвычайно интересно было узнать, что же произошло с крестьянином после реформы 19 февраля, после введения земства, учреждения мировых судей и тому подобных новшеств. Но деревни, как назло, попадались хилые, мужики обтрепанные, забитые и решительно ничего не знающие о культурно-правовых нововведениях. «А барыня в округе хорошая, добрая, вот только при разделе покоса...» — Женщина не договорила: то ли цензор помешал, то ли и без того ясно стало, что помещица себя не обделила.

Несмотря на тюремные реформы 1864 года, загнали утомленный этап, как и прежде, до земства, в какой-то теснейший и удушливый хлев и бессмысленно закрыли на замок. Но более всего поразила рассказчика в обновленной после всяческих реформ России сцена самосуда над провинившимся. «Срочно-отпускные солдаты», то есть те же крестьяне, наказали своего товарища из-

давня испытанным способом — поркой, словно ничего и не случилось в последние годы в многотрадной России.

И не один раз Ядринцев, то прямо, то косвенно, с такой же искренностью и взволнованностью будет подвергать в книге критике реформы правительства 60-х годов. Это полностью соответствовало духу времени и отвечало новым потребностям русского общества. Книга оказалась актуальной, злободневно-полемичной.

Критика пореформенных изменений в стране шла у него с позиций народничества 70-х годов. Он проявлял наивность, когда утверждал, что в тюремных артелях господствуют те же принципы, что и в крестьянских общинах. Однако наивные по отношению к примитивным и малоустойчивым организациям в тюрьме, его мысли зазвучали иначе, когда он приступил к изложению основных Положений этих общин, нацеленных на борьбу с администрацией.

«Установление общественных законов на началах справедливости и обоюдных выгод казалось бы невозможным в среде нравственно падших людей, а между тем тут есть и чувство справедливости, и глубокое сострадание к ближнему. Но еще поразительней самый строй этой общины, основанной на строгой равноправности и взаимности. Творцом ее был русский простолюдин, поэтому в складе ее тот же дух общинной жизни, каким отличается русский народ во всех сферах своей деятельности, когда он действует самобытно...»

Это уже прямая пропаганда народнических взглядов, тем более весомых, чем доказательней звучит его тезис: «...на первом плане представляется мне острая жизнь русского крестьянства — сословия, которое платится наиболее значительным процентом тюремного заключения». Анализ сложнейшего явления, каким были каторга, ссылка, бродяжничество, с точки зрения наиболее радикальных кругов русского общества и отличал книгу Ядринцева от книг Достоевского, Максимова и других, писавших тогда о тюрьме и ссылке.

Пожалуй, никто, кроме Ядринцева, не писал тогда о бродяжничестве так подробно и страстно. В книге этому вопросу посвящена обширнейшая глава «Ссыльное бродячее население Сибири», где дана история бродяжничества в России, вскрыта социальная природа этого российского бедствия, запечатлены типы бродяг разных категорий, выражен протест против бесчеловечно-равнодушного отношения русского общества (читай: правительства) к этим группам людей, исчисляемых тысячами. Ядринцев ясно говорит, что «общая основная причина скрытной бродячей жизни есть неудовлетворительность окружающей обстановки, в которую поставлен человек, — бедность, нужда, голод, желание избежать наказания за преступление и т. п.» Многочисленные факты и цифры, приводимые в этой главе, ярко выписанные характеры бродяг, события, связанные с борьбой против бродяжничества как самого правительства, так и сибирского крестьянства, борьбой жестокой и обоюдно ожесточавшей, заставляли Ядринцева делать такие решительные выводы:

«Судебный процесс, как и уголовные наказания ссыльных бродяг, не достигает своей цели. Весь процесс остался формальным, и жизнь выработала для него всевозможные фикции; усиления же наказания, по существу своему, действовали обратно и только развивали побег. Устрашение здесь не играло никакой роли, кроме той, что воспитывало личность черствую, загрубелую, которую затем уже ничто не могло потрясти...»

О полной безвыходности для людей этой категории хорошо рассказано в повести «На чужой стороне», написанной не ранее того же 1871 года (первые

главы ее опубликованы в журнале «Азиатский вестник», 1872, последующие в «Литературном сборнике», 1885, так как «Азиатский вестник» на первом номере прекратил свое существование). Повесть органично примыкает к некоторым главам книги «Русская община в тюрьме и ссылке», и есть страницы из нее, которые вошли в повесть без изменений, но были теперь подчинены определенному сюжету.

Партия ссыльных прибывает в Сибирь. Автором выделяются люди разных сословий, разных профессий и состояний. Тут есть дворяне, служилый чиновный люд, лакеи, мастеровые, крестьяне. Все они много месяцев идут этапом на поселение, и решительно никто не подумал об их трудоустройстве, об их хотя бы минимальном обеспечении. Сибирская деревня может предложить им только сезонную работу в поле, работу, к которой они не имеют привычки, не знают ее и нередко относятся с презрением. Те же, кто может или пытается работать у крестьян, попадают в такую кабалу, что не знают, как от нее избавиться, и прибегают к давно испытанному средству — к побегу. Далее неизбежно знакомство с бродяжьим миром и постепенный переход в бродяжеское сословие, так как других источников существования у них нет.

Ядринцев рисует ссыльных по-разному. Одних — с жалостью, как крестьянского пучеглазого парня Михейку, других — с нескрываемым презрением, как семерых дворянчиков, осужденных якобы «за дерзость против начальства», третьих — с иронией за их важничанье перед обыкновенными людьми, хотя сами они — не более как проворовавшиеся лакеи, четвертых — с уважением к их свободолобию и смелости, с болью за их несчастную судьбу.

Есть люди, которые и в нечеловеческих условиях ревностно охраняют свое человеческое достоинство. Это прежде всего Улинька, «молодая сильная девушка, закаленная в бродяжничестве», старый бродяга, в редкие дни испытывавший «все чары лесной жизни». Они смелы, мужественны, независимы и достойны лучшей участи. Страницы, посвященные гордой Улиньке, поющей грустные или бесшабашно-залихватские песни, лучшие в повести.

Но как бы ни были различны биографии старых или только начинающих бродяг, конец у них один: или гибель, как это случилось с незадачливым Михайлой, или снова острог, этап, принудительный труд на рудниках и заводах, как это случается почти с каждым, исключая по преимуществу одних дворян, у которых есть и деньги, и связи, и покровительство властей. Речь, собственно, идет о трагедии огромной массы народа, поставленной в безнадежно отчаянное положение. Этим, в конечном счете, объясняется и вражда между бродягами и крестьянством. Те и другие страдают, оттого что власти не имеют желания упорядочить законы о каторге и ссылке.

«Из года в год у многих потянется эта жизнь то в бегах, то на каторге, — напишет в конце повести Ядринцев. — Такая жизнь будет богата множеством подвигов и приключений, много придется пережить и перечувствовать. В ней отразится жгучая тоска по родине, истинное горе и личные страдания так же, как много ядовитой злобы и мести. Невинная сибирская почва поэтому не раз еще примет крестьянские и бродяжеские жертвы в свои недра».

Повесть «На чужой стороне» стоит в ряду тех обличительных произведений, которые были тогда созданы Н. Наумовым, Г. Успенским, Н. Златовратским и другими писателями, только материал ее был исключительным по своей специфике и тем самым расширял и обогащал картину жизни пореформенной России.

Последующее десятилетие у Н. М. Ядринцева связано в основном с обширным исследованием «Сибирь как колония» (1882), которое он будет продолжать и пополють до последних своих дней. Но этот географический, этнографический и исторический труд не исчерпывает всей его огромной работы. Именно в это время он выступает с наибольшей интенсивностью как публицист и поэт, как очеркист и ученый.

Участие в «Камско-Волжской газете» было блестящим началом публицистической деятельности Н. М. Ядринцева. В ней он, можно сказать, разработал те основополагающие идеи, которые определяют всю его деятельность до конца жизни. Это была широкая постановка вопроса о значении провинции в жизни государства, в жизни страны, в судьбе миллионов, живущих, как известно, не в одних столицах. Дело шло не об одной Сибири и ее якобы необходимым отделении от метрополии, а обо всех окраинах России, будь то Кавказ или Сибирь, Украина или Польша. О самом отделении он, спустя несколько лет, писал так:

«Сепаратизм — термин, взятый из чужой истории, посторонний нам, в силу бессмысленного употребления стал острым словом клеветы для всякой местной привязанности. Собственно этот термин никогда не имел даже смысла в применении к русской жизни. Сепаратизм предполагает силу, серьезное политическое движение, но какая из областей сильного и могучего государства могла и может думать об этом?»* Как и в случае с изучением системы торговли и ссылки в стране, Ядринцев изучает вопрос о провинциях в прямом сопоставлении с передовым европейским опытом и убеждается в прогрессивности постановки вопроса о развитии «мертвых», по его определению, российских провинций. Свои цели он формулирует в частном письме к товарищу по ссылке А. С. Пругавину от 27 июня 1873 года:

«Говорят, что провинциальные вопросы слишком мелки. Да, конечно, так как они понимаются ныне. Но свяжите их с жизнью народа, крестьянства — и они не будут мелки. А облегчение народа, помощь даже в самой ничтожной степени есть благородная, от которой не следует отказываться»**.

Как бы мы ни оценивали потом эволюцию взглядов писателя, сколько бы раз он ни ошибался, увлеченный правительственными тюремными реформами или просветительской деятельностью генерал-губернатора Сибири, как бы страстно ни обосновывал теорию некапиталистического пути развития России, мы не можем не признать, что Ядринцев относился к тем деятелям эпохи, к тем лучшим людям, которые в то время стремились разбудить спящие крестьянские массы.

Свои размышления о значении развития провинций в системе практических дел эпохи он выразит в целом ряде статей, в том числе и опубликованных — это весьма показательно! — в журнале «Отечественные записки», руководимом М. Е. Салтыковым-Щедриным. Эти статьи, исследовательские и очерковые, насыщенные злободневно-острым, взрывчатым материалом, несомненно, относятся к жанру художественной публицистики.

В 1876 году Салтыков-Щедрин печатает статью Ядринцева под характерным названием «Нужды и условия жизни рабочего населения Сибири» («Ис-

* «Областная история и областной историк». — «Восточное обозрение», 1885, № 16.

** М. Лемке. — Н. М. Ядринцев. Биографический очерк. СПб., 1904, с. 82.

следование о сибирской кабале, монополии и мироедстве)». Она относится к числу первых исследовательских работ о рабочем классе Сибири — сельском и промышленном. В статье-очерке прежде всего создается образ некоего реально существовавшего Ивана Степановича Новикова, сибирского толстосума и самодура. Рассказывается о нем так же гневно и обличительно, как рассказывал о подобных типах Н. Наумов в очерках «Деревенский торгаш» и «Юрская», лишь короче и прозрачнее, с последующей прямой характеристикой типично капиталистического образования богатства, сосредоточиваемого в одних руках. Показательно, что Ядринцев здесь же недвусмысленно говорит о разложении крестьянской общины, в недрах которой рождаются и кабала-барачество, когда «покупаются за бесценнок труд бедняков», и кабала торговая, когда «производителю дается задаток за будущий продукт или он снабжается товаром». С особенным негодованием обрушивается Ядринцев на монополистов-мироедов, нещадно эксплуатирующих сибирских инородцев. «Методы обогащения,— пишет он,— не походят на методы европейской буржуазии, ибо над инородцами по существу учиняется расправа — экономическая и физическая. Нечто подобное как норма входит и в промышленность Сибири». И все это подкреплено яркими, убедительными примерами, в которых мы снова узнаем наблюдаемого и легко воспламеняющегося шестидесятника.

Есть еще в этом смысле показательная статья Ядринцева — «Современная мания к путешествиям», написанная живо и энергично, со свойственным ему остроумием и публицистически-обличительным пафосом. Она тоже опубликована Салтыковым-Щедриным — и в том же 1876 году. Начинается статья с мысли, когда-то высказанной А. И. Герценом, что это русский народ, перейдя на свой страх и риск океаны льда и снега, освоил огромные пространства от Перми до Восточного океана. А затем Ядринцев высказывает следующую мысль:

«У нас огромное историческое наследие, но мы не знаем ни его природы, ни свойства, ни ценности. В наших границах находится масса местностей, которые открывать и исследовать нам достанет еще надолго. Целые поколения ученых могут трудиться здесь. Надо же когда-нибудь разобраться с этим имуществом. На нас лежит даже некоторая нравственная ответственность за известные пространства на земле, которых не касалась еще ни географическая наука, ни культура, ни промышленность...»

Это не что иное, как обоснование своих будущих, всегда результативных и всегда бескорыстно-самоотверженных, путешествий, обоснование исторически назревшей проблемы по изучению и освоению огромных и богатейших областей. Налицо стремление по-государственному подойти к решению важнейших для России задач, налицо историзм мышления и подлинный патриотизм во всероссийском масштабе. Описав шум, поднятый в Петербурге в связи с приездом Норденшельда и Виггинса, то есть подчеркнув внимание общественности к путешествиям, Ядринцев создает образ безвестного тогда сорокалетнего путешественника Г. Н. Потанина. Именно образ, потому что здесь и выразительные факты биографии Потанина, и характер человека, до самозабвения преданного науке и живущего впроголодь, и все муки организатора путешествия к границам Китая на ничтожные, особенно по сравнению с тысячами, отпускаемыми иностранцам, средства: приходится экономить каждую копейку и впрягаться в яляку обыкновенного грузчика. Прикинув полученную субсидию от Географического общества на количество участников экспедиции и на рас-

стояние, которое ей предстоит преодолеть, Ядринцев пишет: «Мы все-таки должны прийти в некоторое недоумение: чем будут содержаться члены предприятия целых три года». А далее он без обиняков обвиняет «общество», которое «со спокойной совестью» пользуется услугами энтузиастов-исследователей, так как не исключено, что «снаряжение таких дешевых экспедиций окупились жизнью». Представление о накале ядринцевского гнева и его обличительного пафоса, направленного против «общества», то есть власть имущих, может дать окончание всего содержательного рассказа о Потанине:

«Могло бы казаться, что именно здесь-то время и место, когда могло бы общество прийти на помощь; но общество, увлеченное мыльными пузырями, никогда не способно замечать подобные явления — и благо ему! Не одни скромные путешественники вроде Потаниных, но и Белинские гибли в нашем обществе».

По силе выражения и беспощадности это не просто близко Салтыкову-Щедрину, а полностью соответствует всему духу деятельности писателя-демократа. Михаил Евграфович, видимо, знал, что он делал, когда публиковал в своем журнале такие публицистические статьи Ядринцева или писал Некрасову: «Почему Ядринцев не участвует у нас? Я в «Вестнике Европы» читал его статью («Положение сыльных в Сибири». — Н. Я.) — очень хорошая»*. К этому необходимо добавить, что в то время, как печатались статьи Ядринцева в «Отечественных записках», сам он уже уехал в Сибирь и, следует подчеркнуть, бескорыстно, из одних патриотических побуждений.

Хотя на работу его пригласил только что назначенный генерал-губернатор Западной Сибири Казнаков, Ядринцев вынужден был уехать за свой счет и более полугодом терпеть с семьей нужду, так как возник вопрос о «правах» его на государственную службу. А для того, чтобы отправиться в свою первую экспедицию на Алтай, ему потребовалось взять отпуск. Именно в это время он напишет горькие слова: «Трудно делать дело народное и быть в положении просителя». Изображая мытарства Потанина, организатора экспедиций, он тем самым как бы предвосхитил собственные. Между тем, почти каждая его поездка имела общероссийский или общеевропейский резонанс. Но какие бы открытия он ни делал как ученый, географ, этнограф и археолог, Ядринцев прежде всего сосредоточен на судьбе русского крестьянина, на судьбе многочисленных национальных меньшинств, на судьбе рабочего угнетенного человека. Одна из первых объемных работ после пятилетней «службы» в Сибири — публицистическая статья «Судьба русских переселенцев за Урал», опять-таки опубликованная Салтыковым-Щедриним в «Отечественных записках» (1879). По существу, это социально-экономический очерк с цифрами и сценами, доказывающими, насколько значительно по своим последствиям движение крестьян на свободные земли в стране. В нем неприкрыто звучит обвинение правительства, «регламентирующего» все, только не жизненно важные побуждения народа.

«Привыкши к явлениям регламентации, руководства и опеки народной,— язвительно пишет Ядринцев,— мы иногда задавались вопросом: на каких юридических основаниях происходят наши переселения? Но ответить на этот вопрос с первого раза решительно не могли... Нам представлялась только ши-

* М. Е. Салтыков-Щедрин. Собр. соч. в 20-ти томах, т. 18(2). М., «Художественная литература», 1976, с. 248.

рокая картина народного движения, совершающегося по нужде или другим жизненным мотивам, но не имеющая никаких формальных рамок.

Иначе сказать, в системе необходимого народу освоения окраин господствуют стихия, произвол и беззаконие. Именно это утверждают рассказы о выносливости и героизме русских крестьян, идущих за тысячи верст в надежде на обетованные земли; автор рисует людей, вынужденных преодолевать «узаконенные» при таких порядках препоны и помехи, а главное, не имея достаточных средств, чтобы совершить этот путь по-человечески, без жертв. Потрясающими картинами народного бедствия завершается этот очерк.

«Беспомощное жалкое положение русского переселенца-новосела, совершающего историческое призвание — заселение русской земли, заставляет задуматься... Создается ли помощь переселенцам в других странах?.. Там на переселенца смотрят как на государственную силу, как на драгоценное приобретение и культурное средство. Почему же русский переселенец не имеет никакой помощи и поддержки для облегчения своего подвига?!»

Сказано точно и убийственно по отношению к царской бюрократической машине. И нет никакого сомнения в том, что правительственные органы, выражавшие свое неудовольствие «Отечественными записками», имели в виду и ядовитые, насыщенные неопровержимыми цифрами и фактами публицистические и исследовательские статьи-очерки Ядринцева.

Внешне очерк «Сибирская Швейцария» («Русское богатство», 1880) не имеет такого публицистического накала. Он о красотах и богатствах Алтая, который Ядринцев любил необыкновенно. «Мои глаза,— писал он однажды друзьям патетически и взволнованно,— обращены постоянно к синющим вершинам Алтая, где оставлено мое сердце». И завершается очерк вполне оптимистически спокойно: «Алтай переживает еще переходную эпоху, но заря новой жизни уже золотит вершины его прекрасных гор...» Основное в содержании очерка — это рассказ о жизни и быте рабочих горного алтайского района.

Об ужасающем положении рабочих в России писал, как известно, Ф. Шетников, затем Н. Наумов в очерке «Паутина» («Дело», 1880). Очерк Ядринцева непосредственно примыкает к этим в свое время нашумевшим произведениям. Написан он деловито, с цифрами, с обобщениями и отступлениями. Тип мастерового тех лет с его бледным, тусклым лицом, с его робостью и принужденностью в движениях, с его лихорадочным бегающим взглядом, отыскивающим выход из безвыходного состояния, схвачен верно и обрисован красочно. При этом прослеживается сама «механика» возникновения именно такого типа рабочего Кольванских фабрик. Вот только одна чрезвычайно емкая фраза, хорошо определяющая направление размышлений писателя, охватившего негодованием и чувством бессилия хоть чем-нибудь помочь людям:

«Несмотря на то, что рабочий получает самый скудный заработок в 6 и 8 рублей на фабрике, около него появились своего рода пауки и эксплуататоры, эти спутники нужды и неудовлетворенных потребностей, акулы экономического беспорядка, носящиеся везде, где ожидаются трупы рабочих».

Вслушайтесь и вдумайтесь в эту фразу, перенеситесь на сто лет назад, когда рабочий класс России только-только формировался, и вы сразу почувствуете, о каком «экономическом порядке» мечтал Ядринцев и какая сила гнева руководила им, когда он создавал этот очерк, когда писал о «живых полу-сгнивших трупах» — старых мастеровых:

«Если среди здоровых рабочих вы встречаете обыкновенные признаки

бедности, то отставные мастера — голый пролетариат завода и уличные нищие, оставленные здесь как наследие крепостного права. Это беспомощные старики в отрепьях, изможденные, с высохшими руками, иногда выгнувшими глазами, выкрикивающие хриплые жалобы, валяющиеся в ногах и молящие о протипании».

Как объективный исследователь и бытописатель народной жизни, Ядринцев не мог пройти мимо первых попыток рабочего протеста. Он замечает, что рабочие рудников и железоплавильных заводов, прозванные бергалами, отличаются от фабричных мастеровых.

«Тип настоящего бергала контраст робких мастеровых Кольванской фабрики... Бергал в работе зверь. Пустую, но напрасную обиду ни за что не снесет. Слыша над собой вечно брань, он сам — олицетворенная хула. Человек давно без собственности, без будущности, он беззаветен, беспечен, разгулен, дерзок; вечно с насмешкой на устах; он не привык к жалости, ибо он не видел ее; озлобленный и беспощадный, он гроза, куда появляется. Этот заводской пролетарий давно потерял образ мирного, благодушного крестьянина».

Портрет выразительный, данный с ясными и социально обоснованными объяснениями, отчего эти люди такими сделались. Затем Ядринцев подробно излагает «легенду» о бергалах, взбунтовавшихся и ушедших «разбойничать» под руководством силачей братьев Белоусовых. Слово «разбойничать» следует взять в кавычки, потому что вслед за ним идет весьма показательный диалог с рассказчиком легенды:

«— Зачем же, дедушка, ушли они? — спрашиваете вы маститого рассказчика.

— Свое царство хотели в Белках основать.

— Какое же они царство в Белках могли основать?

— Воли захотелось, работа не под силу стала».

Надо ли напоминать, что эти слова «маститого рассказчика» уже поднимали на забастовки и стачки рабочих не только в одной Сибири. Ядринцев отыщет и приведет здесь документы, подтверждающие, что «легенда» основана на реальных событиях, еще и еще раз выскажет свою надежду на «русского пахаря», которому с плодоносящих полей России «надо же снять когда-нибудь полную жатву» не только в прямом, но и в переносном, социально-правовом смысле этих слов! Создание образа приниженного и задавленного нуждой рабочего Кольванской фабрики и образа рабочего-бергала необыкновенной силы и отваги, восстающего против социального гнета, является безусловной заслугой Ядринцева-художника.

Итак, в семидесятые годы Ядринцев выступает с «очень хорошей» статьей о положении ссыльных, пишет работы о разложении крестьянской общины и рождении мироедства, кулачества, обвиняет правительство в его преступном невнимании к науке, способствующей освоению пустующих земель России, рисует трагедно-русского крестьянина-переселенца, наконец, создает картины ужасающего бедственного положения рабочих и картины их протеста против социальной несправедливости. Он требует срочного вмешательства в судьбу инородческого населения, физически уничтожаемого обнаглевшим предпринимателем. Что ни работа, она обязательно касается самой жгучей проблемы современности, она обязательно направлена на защиту интересов угнетенного народа России.

А. П. Чехов совершил подвиг, преодолев на лошадях огромный путь на

Сахалин, переписав его ссыльнокаторжное население, создав очерк о Сахалине и его ужасах. Никто не смеет обвинять его в реформизме, в буржуазности и тому подобных вещах. Ядринцев отдал всю жизнь изучению и просвещению Сибири, описал ад не одного Сахалина, вскрыл язвы общественного устройства, порождающего каторгу, ссылку, массовое бродяжничество, осудил существующую систему наказаний, лишенную и тени гуманности, гневно возвысил голос в защиту нещадно истребляемых народов Сибири, в том числе и русских крестьян-переселенцев, и русских рабочих, тем не менее авторы иных работ продолжают изображать его панегиристом сибирской буржуазии, чуть ли не сторонником Каткова и Суворина.

Вся Россия, особенно Сибирь, вправе гордиться своим сыном, талантливым ученым и пламенным писателем-публицистом.

* * *

1882 год для Н. М. Ядринцева был знаменательным: вышел его обширный исследовательский труд «Сибирь как колония», одновременно ему удалось добыть средства и получить разрешение на открытие в Петербурге собственного печатного органа, о котором он мечтал с юных лет,— газеты «Восточное обозрение». А с 1885 года он начал издавать приложение к этой газете — «Сибирский сборник», ставший фактически периодическим журналом литературы и науки. Более двух десятилетий газете суждено было быть передовым и авторитетнейшим органом печати Сибири, закрытым черносотенными силами сразу же после революции 1905 года.

С 1882 года и начинается подлинный расцвет деятельности Ядринцева-писателя. Однако сопровождался он постоянной нуждой и постоянным все усиливающимся гнетом цензуры, гнетом реакции, наступившей в годы царствования Александра III.

Первого апреля 1882 года вышел первый номер газеты, а в октябре Ядринцев уже получает от министра внутренних дел предупреждение за тенденциозность в освещении некоторых текущих проблем и непрерывные нападки на сибирскую администрацию. В 1885 году он получает третье предупреждение за те же провинности, после которого, согласно «Временным правилам» 1882 года, у министерства возникло «право» вообще закрыть газету без нового предупреждения. Если к этому добавить неоднократные привлечения газеты к суду за «оскорбление личности» или «клевету» со стороны подвергнутых критике администраторов, чиновников, купцов и промышленников Сибири, то можно легко представить, в каких условиях работал Ядринцев.

«Открывая газету,— писал Ядринцев в письме к меценату В. П. Сукачеву,— я мечтал соединить все литературные силы Сибири, привлечь наши таланты, дать выход научным работам, статистике, истории Сибири, предпринять ряд изданий».

Широкая, благородная, истинно просветительская задача, продиктованная как возникшими общественными катаклизмами в России, так и собственным определением значительной и растущей роли литературы в деле преобразования Сибири.

«Я чувствовал,— продолжает он объяснять Сукачеву,— что наступает момент, когда нужно напрячь усилия и помочь родам нашей литературы. Мы чувствуем ее присутствие и в нашей желчи, и в лирике, и в бе-

зумных мечтах, наполняющих сердце, и в невыразимой тоске, иногда теснящей грудь. Она должна вступить, наконец, в жизнь нашего общества, осенить его мрачное существование, пробудить совесть, создать мысль, быть компасом грядущего»*.

Эти задачи и эти убеждения относительно целей и назначения литературы, в конечном счете, и превращали газету «Восточное обозрение» в трибуну, обличающую язвы общественного устройства и пропагандирующую необходимость перемен существующего строя жизни.

Для газеты Ядринцев пишет передовицы, нередко на злободневные темы, исторические исследования типа «Жизнь и труды А. П. Щапова» или специальные научные статьи, как, например, «Физическое воспитание детей у разных племен в связи с историей культуры». Но как писатель он прежде всего выступает в роли сатирика. Если при создании очерков о каторге и ссылке Ядринцев находился под обаянием «Записок из Мертвого дома» Достоевского, то теперь он идет за Салтыковым-Щедриным. В его фельетонах и рассказах то и дело мелькают «чумазы», «господа ташкентцы», «пенкосниматели», имена щедринских героев, ставшие нарицательными. Вдруг «проглянет» знакомая по Салтыкову-Щедрину интонация, знакомый «ход» обличений. На этом основании говорили о несамостоятельности Ядринцева, о его прямой зависимости от литературных источников, ибо в его произведениях упоминались часто и молчаливы, и хлестаковы, и чичиковы.

При внимательном взгляде на сатиры Ядринцева с этим нельзя согласиться. И прежде всего потому, что они у него насыщены непосредственными наблюдениями сибирской жизни, по-своему неповторимой. Ядринцев выступал с сатирическими произведениями преимущественно в газетах, поэтому часто основывался на подлинных фактах, использовал подлинные имена, привязывал их к определенному месту — городу или селу; обобщения Грибоедова, Гоголя и Салтыкова-Щедрина помогали ему сразу, по-газетному немногословно, обозначить смысл подмеченного явления. Это был сознательный прием, а не эпигонство. Ядринцев выработал свои интонационно-стилистические приемы, которые наиболее полно выражали именно его отношение к изображаемым событиям и людям. Лучшие его сатиры покоряют доверительным тоном, авторской открытостью, беспощадностью к живым носителям зла. В своих многочисленных фельетонах, обличающих конкретных людей, Ядринцев стремится также и к художественным обобщениям. Наиболее крупная фигура в его сатирах — Кондрат, тип сибирского воротила, фантастически разбогатевшего, фанатически осатаневшего. Есть фельетоны, посвященные Кондрату специально, — «Кондрат у себя дома», «Кондрат благодумствующий и Кондрат утешающийся», «Кондрат на поприще литературы» или «Беседа с Кондратом и его потомством», есть «Очерки общественной жизни на окраинах», где Кондрат — тоже главный герой, и есть сатиры, где Кондрат лишь эпизодическое лицо. Словом, он сквозной герой многих сатирических произведений Ядринцева.

Кондрат — не обычная индивидуальная особь человеческого рода с именем, отчеством и фамилией, это — собирательный образ. Художник проследовал за ним через несколько поколений и показал, что встречается он в самых разных обликах — от первоначального убийцы и дикого самодура до образованного хапуги-живоглота, разоряющего край и всю страну. Но в том, другом и треть-

* ЦГАЛИ, ф. 1769, оп. 1, ед. хр. 7.

ем сконденсированы основные черты сибирской буржуазии — с момента ее зарождения до полного выявления ею своей социальной сути.

Писатель изображал Кондрата непосредственно действующим лицом, например, в своей лавке. Рассказчик весело толкал Кондрата в брюхо и говорил: «Ну, что, Кондрат, все обираешь народ?» — на что Кондрат отвечал, снисходительно улыбаясь: «Ничего, грабим-таки, сударь, понемногу»: автор публицистически обобщает: «Сибирский Кондрат есть имя нарицательное — крупный вымирающий тип. Создался он в первобытном хаосе грубых, чисто животных эгоистических интересов, буржуазного обмана и эксплуатации».

Публицистика входила необходимым элементом в ядринцевские сатиры. Писалось «вымирающий» и тут же объяснялось, как рождалась «кондратовщина», рассказывалось, как Кондраты разгульно жили, какое выморочное племя воспитали, каких наследников оставили. И дано это чаще всего через призму личных переживаний рассказчика. Вот он встретил когда-то коробейника, торгующего «душевным товаром» — книгами, и порадовался, а спустя несколько лет этот «коробейник», бывший приказчик Кондрата, начал «кабальить Сибирь привозным товаром», и даже типографию для тех же целей соорудил. «Так вот она откуда, цивилизация-то пошла!» — с горечью восклицал рассказчик. «Так вот они, истинные наследники Кондрата!» — думал читатель ядринцевского фельетона и, возможно, вспоминал щедринского Дерунова, но с какими колоритными сибирскими свойствами, с какими характерными сибирскими приметами!

Ядринцев создал во многом оригинальный образ реально существовавшего в Сибири буржуа-накопителя, выразил ненависть, презрение к нему.

Не всегда такой образ дается Ядринцевым в броско-фельетонной, публицистически-обнаженной форме. Рассказ «Простодушный Сосипатр» — в другой, спокойно-аналитической тональности. Живет богач Сосипатр со славой недалекого, пожалуй, глуповатого предпринимателя, действующего нередко явно себе в убыток. Автор пишет о нем с мягкой улыбкой. Но за простодушием Сосипатра виден делец с мертвой хваткой, за улыбкой автора чувствуем злую иронию. Еще сложнее образ Анатолия Адамовича в рассказе «Драма из жизни Ушаковского».

Анатолий Адамович умен, образован, культурен. Когда-то он был блестящим офицером, жившим на широкую ногу, следовательно, имел доходы, богатство, потом, после отставки по болезни, стал управляющим богатых золотопромышленных фирм, следовательно, еще больше разбогател (вполне возможно, «честно» по отношению к хозяевам фирм, бесчестно эксплуатиروавших рабочих).

Оставшись по болезни без ног, Анатолий Адамович доживал свои дни в Ушаковске. Но не бездельничал, а активно участвовал в «общественных делах» людей своего круга. Кто эти люди и что это за дела? Клика спекулянтов, рвачей, проходимцев и всяких других «темных личностей». Интриги, обман, вымогательство. Старик «отлично понял среду паразитов, крупных и мелких, бегавших к нему, он презирал их и играл ими. Он знал могущество золота и звенел им, бросал червонцы, как поэт бросает их в воду, чтобы заметить, как глубоко они падут на дно человеческой грязи».

Старик назван добрым, он старается перехитрить какого-то магната. Но читателя постепенно охватывает чувство омерзения как от скопища паразитов, так и от игры с ними самого Анатолия Адамовича. Недалеко ушел

он от них, прожил ту же никчемную жизнь, оставив после себя только у них «добрую память»: «Неоцененный человек был! Других не найдешь таких!» Эта признательность новоявленных Плюшкиных, заключающая драму Анатолия Адамовича, и превращает рассказ в обличение представителей капитала, в том числе «добрых».

«Драма из жизни Ушаковского» — тонкий рассказ о безуспешных попытках встать как бы выше своей среды, выломиться из нее, найти какую-то свою обособленную цель. Ядринцев показал иллюзорность этой задачи, но он подметил явление, которое со временем будет занимать писателей все настойчивей и настойчивей.

Ядринцев не ограничивается изображением одного отвратительного сибирского буржуа. Рядом с ним живут и процветают людишки различных сословий и профессий — полицейские, адвокаты, артисты, содержатели игорных и публичных домов, ссыльнопоселенцы разных родов и рангов, даже либеральничавшие помещики средней полосы России. По количеству верно схваченных типов сибирской жизни он далеко оставляет и Омурзевского, и Наумова, в Кушевского...

«Бойкий мужчина и сто тысяч несчастий» — большой рассказ о высланном из столицы пройдохе, вообразившем себя истым цивилизатором и культуртрегером в отсталой Сибири. Ядринцев последовательно и зло срывает с него все цветистые оперения, в которые он обрядился. Но Ядринцев им не исчерпал своих живых наблюдений — в рассказе изображена целая галерея представителей «черной банды», осевшей в крупных городах Сибири.

Рассказ «В деревню!» от начала до конца лиричен. Герой поехал отдохнуть к приятелю-помещику, жившему в одной из внутренних российских губерний. В деревне, напомнившей рассказчику дворянские усадьбы в изображении Тургенева и Гончарова, он нашел почти то же общество, какое можно встретить в Петербурге, с той, быть может, разницей, что здесь определенной и ясной вырисовывались подлинные взаимоотношения крестьян и помещиков после реформы. Добродушный с виду, либерально настроенный хозяин имения захватил, как видно по всему, лучшие земли, нарезал крестьянам надель так, что им ни ездить, ни воду брать, ни скот пасти негде или неудобно, а потом еще и жалуется, какие же крестьяне «подлецы» и «свиньи» неблагодарные, воры и потравщики помещичьих угодий. В первую же ночь рассказчик услышал лай и вой сторожевых собак, стрельбу, точно из пушки, для устрашения мужиков-воров, топот захваченного на поле скота, плач старухи... Чтобы не было сомнения в авторской позиции при изображении деревенской «идиллии», Ядринцев так изображает этих господ, организовавших для крестьян в их родных деревнях «осадное положение»:

«Здесь я нашел тучного дядюшку моего знакомого, бодрого краснощекого старика, у которого шло отлично хозяйство, благодаря тому, что он спускал ежегодно то один, то другой участок леса... Московский агроном был тощий болезненный человек, он весьма хорошо рассуждал о плугах Эккерта, но ни одного поля в свою жизнь не видел; остальное общество состояло из молодого соседа в русском костюме и шелковой рубашке, из соседки в пунцовом капоте, выдававшей себя за замечательного энциклопедиста и уверявшей, что она отлично делает простоквашу и пишет превосходно французские стихи».

Издательское отношение автора вне сомнения, а если еще вспомнить, какой он увидел деревню, въезжая в богатую усадьбу — «проехали через

жалкую деревню с хижинами, крытыми соломой, или, скорее, навозом,— то станет ясным, что элегия, господствующая в рассказе, какая-то недоговоренность в беседах с приятелем и его гостями, даже признание: «Я ничего не понимал в этой деревенской жизни»,— тоже художественный прием сатирика, действующий на читателя неотразимо.

Фельетон о полицейском Звяконове и помощнике исправника Плевакине начинается так: «Куда ни взглянешь,— везде невеселые картинки. На каждом углу кражи, убийства, всевозможные проделки ссыльных мазуриков...» Но продолжается сценами трагическими, «уголовщиной» административного происхождения:

«Через город идут одна за другой партии переселенцев. Изнуренные и больные, они останавливаются здесь, чтобы передохнуть и ориентироваться: они просят помощи, просят совета и не находят их... Одна из недавно прибывших партий привезла труп умершей старухи, а вместе с ней эта партия в городе похоронила еще пять человек, умерших в каких-нибудь два дня... Гибнет пришелец, будут гибнуть, быть может, от занесенной болезни и старожилы, а администрации как бы нет дела до этого».

На этом фоне художества, чинимые полицейскими Звяконовым и Плевакиным, выглядят обвинением не только против частных лиц, имеющих склонность к выпивке.

Сатирические произведения Ядринцева не были простым повторением произведений Салтыкова-Щедрина. Лучшие из них по своим идейно-художественным качествам соответствовали уровню народнической литературы восьмидесятых годов, уровню произведений Каронина-Петропавловского или Наумова, например. И естественно, что Ядринцев много пишет непосредственно о крестьянине, о его состоянии и положении.

Пусть это будет маленькая зарисовка, как часто у Ядринцева, газетного свойства — «Майские впечатления». И первая мысль его по весне о беднейшем пахаре, едва-едва пережившем зиму и встречающем весну с одним еле бредущим конягой. А тут еще — главная забота: нужны семена. «Где занять их, где взять? — вот вопрос». Коняга же между тем не вынес тяжелой весенней работы, обессиленный, он пал на полосу.

Еще крохотный лирический рассказ — «Странник на Золотом озере». И снова — жалкая судьба российского переселенца, молящего предполагаемого чиновника только об одном: «Позволь поробить!» В частном случае Ядринцев разглядел общую трагедию крестьян-переселенцев, которым несмотря на их героические усилия, так и не дадут «поробить» нормально, как следует, потому что в «колонизационных местах» господствует неразбериха, «каша», по определению писателя. «Мать-пустыня! — с тоскою и гневом восклицает Ядринцев. — Когда же, когда ты дашь приют этому труженику!»

Особенно много внимания уделяет Ядринцев сибирскому крестьянину, то есть давнему русскому жителю Сибири, отнюдь не идеализируя его. Этот крестьянин у него не прочь поэксплуатировать инородца, нетерпим в вере, подчас нарушает некоторые общепринятые принципы нравственности. Неоднократно показывая, как из хозяйственного мужичка рождается кулак, Ядринцев рисует сибирского крестьянина чаще всего как человека сильного, энергичного, независимого по характеру.

Зарисовка «В тайге» интересна именно таким изображением сибирских крестьян, хлебопашцев, ямщиков и охотников. Перед нами крепкий, рослый,

сметливый народ. Пожалуй, наиболее ярко запечатлены сибирские крестьяне в очерке «Раскольничьи общины на границе Китая». Русские крестьяне, беглецы и раскольники, обосновавшиеся где-то в Алтайских горах, на границе с Китаем, буквально поразили и восхитили писателя своей внешней и нравственной красотой, силой и энергией, настойчивостью и умом. Одна из глав называется «Земледелец, дипломат и воин». Уже само название показателью, отлично характеризует и богатырскую силу крестьян при освоении ранее непривычных для них горных мест, и незаурядную силу интеллекта, которая помогает им жить в мире и в чуждой среде. Г. И. Успенский в публицистическом очерке о переселенцах «Письма с дороги» назвал эту работу Ядринцева «прекрасно, живо написанной статьей» и, приведя большие, выразительно звучащие извлечения, заключил:

«Таким образом, исключительно своим умом, умением и исключительно только при помощи самого простого человеческого побуждения «жить» на белом свете, и притом жить в «мире», крестьяне, поселившиеся в Алтайских горах, представляют собою в высшей степени замечательное явление».

Об этом «замечательном явлении» необходимо было знать тогда, в 1887 году, еще и потому, что оно все-таки внушало какую-то надежду на лучшее будущее, столь необходимую в годы реакции. Успенский выразил ее осторожно, и поводом была работа Ядринцева.

«Общее впечатление, вынесенное г-ном Ядринцевым из его поездки по Алтаю, по горным крестьянским деревням,— пишет здесь Успенский,— оказалось самым светлым и ободряющим: «можно жить на белом свете» — вот какими словами можно бы выразить сущность всего, что рассказал нам г-н Ядринцев»*.

Однако этот исторический оптимизм, связанный с верой в неисчерпаемые силы крестьянских масс, непрочно держался и в сознании Ядринцева. Все чаще и чаще врываются в его произведения ноты разочарования, тоски по годам молодых порывов и юношеских надежд, т. е. по шестидесятым годам. Настроение это будет выражено в его путевых очерках и особенно в воспоминаниях, которые он начинает писать в восьмидесятых годах.

Путевые очерки Ядринцева многочисленны. Можно сказать, они у него преобладают. Не было путешествия по стране, чтоб он его не описал. Названия очерков говорят за себя: «По чужим и родным полям», «На Урале», «Два соседа — Екатеринбург и Тюмень», «По дороге в Сибирь», «Путевые картины Монголии», «Письма сибиряка из Европы» и т. д. и т. п. В них писатель и точен, и живописен, иногда многословен и расплывчат: впечатления словно подавляют его, и он торопится их передать, не заботясь об отделке. Но в любом из них виден зоркий наблюдатель, страстный человек и гражданин, постоянно взволнованный судьбою родины, судьбою человечества. Сибири он во всех случаях отдавал свои лучшие чувства, даже если находился далеко за ее пределами, в других странах.

В 1885 году Ядринцев впервые выехал за границу. Он был переполнен и подавлен впечатлениями. Шквал первого восторга он выразил в первом же письме, можно сказать, в первой же фразе, динамичной, заразительно-взволнованной, передающей его истинный характер.

* Г. И. Успенский. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 7. М., «Художественная литература», 1957, с. 378, 379.

«Я проехал уже Берлин, Висбаден, объехал волшебный Рейн, прорезал Германию, Швейцарию, теперь я у ног белоснежных Бёрнских Альп, близ Оберланда, а третьего дня я был на Женевском озере, в Монтре, созерцал Шильон, наконец, видел Женеву. Таким образом, я в центре Европы, масса впечатлений толпятся в моей голове, мысли путаются и перегоняют друг друга, я жадно пью свободный горный воздух неведомой страны, я чувствую негу другого климата; виноградники, платаны и каштаны окружают меня, солнце так ослепительно блещет, синеющая даль так восхитительна, жизнь кипит кругом и брызжет разнообразием европейских див и красот...»

Но эти «дива и красоты», которые он с присущей ему экспрессией и эмоциональностью потом изображает, ни на минуту не могут отвлечь его от забот и дел России, от главного, чему он отдал жизнь,— от Сибири. То он вспоминает некоего «знаменитого вояжера и сибирского цивилизованного янки», который хорошо познал за рубежом «одну цивилизацию — венских стульев, парижских зеркал и водопроводных труб», а если завидовал, то только «европейским биржам и биржевой игре». То приходит ему на память Кондрат, «довольный, спящий на своем пуховике, нажравшийся пельменей», когда рядом бедствуют его должник и новосел-крестьянин. То с прекрасных берегов Рейна он переносится на берег Иртыша и, подробно сопоставив эти могучие реки, восклицает: «Закипит ли когда жизнь в наших пустынях, прорежут ли когда тоннели Нарымский хребет и Алтай, выдвинутся ли если не виллы, то чистые домики переселенцев-крестьян!..» Путешествуя по отличным дорогам Швейцарии, он снова загорится сопоставлением: «Я вспоминал нашу несчастную Чуйскую дорогу, которую мы не можем преодолеть, хотя разработать ее нужно только несколько верст. Вспомнил печальный финал этой дороги и отчаяние моего друга, молодого инженера, который тщетно строил планы и остановился не перед скалами, которые так легко было сокрушить, но пред канцелярским равнодушием, которое сильнее самих скал.»

Во всех сравнениях и сопоставлениях чувствуется ядринцевская энергия, ядринцевская образная сила и хватка подлинного публициста.

Однако отношение Ядринцева к Европе более сложное, чем может сначала показаться. Когда-то он восторгался великим полководцем, совершившим труднейший переход через Альпы, теперь для него идеал — швейцарский крестьянин, который не перешел, а просверлил эти горы, преодолел их своим трудом, своим искусством. Ядринцев создает колоритный образ своего проводника по горам Сибири киргиза Джолбогая, которого он когда-то обидел невольной шуткой образованного господина, заведомо чувствующего свое превосходство. Скоро он понял, как неуместно и несправедливо пошутил. Но вот что странно, заметил Ядринцев, живя в Европе, «в этом обширном и блестящем обществе я почувствовал себя посторонним, чужим; мне казалось, что с своими думами, с своим внутренним миром я был непонятен им, как когда-то непонятен я был для Джолбогая». И теперь острее, чем когда-либо, он почувствовал необходимость равенства, требуя немедленного освоения лучшего в европейском опыте. Мягко, но настойчиво возражает он народническим теоретикам, за которыми сам недавно следовал:

«Ты веруешь, что Россия — страна молодая перед Европой, потому, может быть, даже ближе к этому чистому идеалу будущего, чем Европа, несмотря на свою культуру... Одно останавливает меня: ...эта вера, этот идеал есть еще нечто загадочное, а мне нужна настоящая жизнь и действительность... Мне

хочется не веры, а труда, я жажду работы над своей жизнью, живого творчества, а не одной мечты».

В дни крепнувшей в России реакции, в дни возникновения волны «безнадежного спокойствия» так необходимо было для Ядринцева и людей его типа, склонностей и взглядов сознание продуктивности их труда и видимой цели их борьбы. «Чувством бодрости, веры, ободрения веяла кругом трудовая жизнь человечества вместо подавляющего, безнадежного спокойствия,— писал здесь же Ядринцев, улавливая и в самом себе эту подавленность.— И я невольно чувствовал обновленные силы и находил здесь неостывшую старую веру в человека и человечество».

Таков здесь Ядринцев, человек и художник, публицист-обличитель и проповедник, яростный защитник своей любви и веры. Невольно он запечатлел в «письмах» свой портрет восторгающегося, сомневающегося и творчески ищущего писателя, сына своего времени. Таким он предстает и в других путевых очерках.

Как бы хорошо ни рисовал Ядринцев в путевых очерках природу Западной Европы, России, Монголии и родной Сибири,— а он рисовал ее всегда с любовью, с подъемом и восхищением,— уже тогда, сто лет назад, говорил и писал о ее охране и сбережении. Очерки у него непременно содержательны и актуальны в постановке социальных, национальных, общественно значимых проблем и вопросов. Небольшой, красочный, на едином дыхании написанный очерк,— точнее стихотворение в прозе,— «На обетованных землях» с подзаголовком «Из путешествий по Алтаю» завершается так:

«...Озирая всю эту бродячую колонизацию, я часто задумывался и невольно спрашивал себя: «Где же лучше?» С этим вопросом я стоял у берегов обширных и прекрасных озер на привольной степной Барабе... с этим вопросом я стоял среди цветущих боров на берегу Оби на благословенных местах Карасука; его же задавал я и там, где серебрятся вершины Алтая, любясь с высот бесконечно волнующими горами и широкими долинами; его я задаю и теперь: «Где же таится крестьянское счастье, под каким кустом залегло оно, под каким камнем оно запало, притаилось?!»

Многие литераторы России, представители критического реализма, тоже бились над этим неразрешимым для них вопросом. Бедствия крестьянства были источником их горя, страданий и мук.

Для Н. М. Ядринцева наступала новая трагическая полоса жизни и творчества. Она нагрянула не сразу, ее приближение мы ощущаем ныне по разным признакам, перечитывая произведения писателя. В период, когда создавались бодрые, полные веры в правильность избранного пути «Сибирские литературные воспоминания» (1884), пишутся и «Письма о Родине», где обращение к воспоминаниям будет объяснено так: «Мне хочется воскресить в памяти иные дорогие образы, чтобы не потерять окончательно веры в жизнь и не утратить последней опоры надежды». В умном и горьком очерке-воспоминании о Ф. В. Любимове, о человеке безукоризненной честности («Смерть и дорогие могилы», 1887), Ядринцев с негодованием заговорит об «общей испорченности, царствующей теперь в Сибири», и о том, что на смену людям с «благородным сердцем и высшим долгом» идут люди «без чести и совести», которые «явились играть роль, руководить общественным мнением». В «Воспоминаниях о Томской гимназии» (1888) эта мысль заостряется, усиливается, превращается в вопль души: «На нашу долю выпало испытать и порывы во-

сторга, и мрачную бездну разочарования: темная ночь часто окружала наше существование, и мировая скорбь, и бессильная тоска за будущее грызли душу. Нужны были великие силы перенести это. Великие страсти и разочарования выпадали на долю нашему несчастному поколению. Тяжелая историческая эпоха выпала на долю нашего существования».

В 1904 году Т. М. Фарафонтова опубликовала рассказ Н. М. Ядринцева «Люди шестидесятых годов», датировав его 1889 годом. Рассказ, по всей вероятности, не окончен; в нем изображены также люди конца восьмидесятых годов, которых поразила смерть «последнего столпа своего поколения» М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Василий Иванович, обеспеченный человек, балующийся литературой, рисуется явно в сатирическом плане, его постоянные завсегдатаи в доме изображены с достаточной долей иронии: «молодой беллетрист, выступавший с романами газетного свойства», седенький библиограф, много переживший на своем веку и всегда готовый выдать справку о любом писателе, какие-то неведомые студент и юнкер; наконец, «чудак и старый знакомый хозяина» Максим Максимович, любивший ораторствовать. Словом, это люди, хотя и жившие рядом с только что умершим писателем — некоторые из них даже лично знали его и работали с ним, — но помельчавшие, потухшие, изменившиеся. Все вместе они дают верную, можно сказать, пронизательную оценку великому сатирику, но тон был задан в рассказе авторской позицией.

«Смерть этого писателя, — повествует автор, — не была неожиданностью, [он] давно хирел. Однако всюду она произвела впечатление, как будто не ожидали ее, ибо внезапно не стало такого человека, такого ума, такой души, которая согревала общество, давала ему жизнь и импульс и без которого оно, это тело, т. е. общество, становилось не то чтоб бездыханно, но словно без руководящего ума, обрекалось на какое-то сонное, вялое, будничное, довольно беспечное и бессмысленное существование...»

«Общество обрекалось...» И сразу возникает ощущение, что не только скорбь об утрате великого человека потрясла автора, он удручен еще и состоянием современного общества, которое со смертью этого писателя окончательно утрачивает освободительные идеалы прошлого.

Небольшое собрание за обеденным столом невольно прониклось этим ощущением, так как в самом деле ушел из жизни едва ли не последний самый верный и последовательный представитель шестидесятых годов. «Это был человек прошлого поколения, и никто лучше его не понимал современные недуги и современные потребности. Кругом люди портились, как гнилые яблоки, опускали руки, робели, а он стоял как железная статуя, оставаясь неизменным со своими традициями». Чем выше оценивался вклад писателя в общественное богатство страны, тем убийственной звучала оценка состояния текущей жизни. Максим Максимович с воодушевлением начал вспоминать то давнее благословенное время, когда «всякий чувствовал какое-то торжественное, блаженное настроение», и вдруг осекся: «После этого-то времени кто ожидал, что совершится фокус: белое станет черным, а черное белым, что вылезут все эти тенета, весь этот гад...»

Всею острим своим рассказ направлен против правительственных акций, рассчитанных на удушение свободной мысли, и одновременно это своеобразный реквием людям шестидесятых годов, реквием мрачнейший, ибо автор его уже терял необходимые идейные опоры для продолжения активной борьбы с выползшими гадами реакции.

Рассказ «Люди шестидесятых годов» свидетельствует: писатель и чтит великого сатирика и все эти годы неотступно шел за ним. Ведь и о себе сказал Ядринцев, когда заставил своего героя определить роль и место М. Е. Салтыкова-Щедрина в жизни общества, в жизни каждого мыслящего человека эпохи:

«Как к мерному бою часов, мы привыкли прислушиваться к звуку этого голоса в каждую нужную минуту, голосу, звучащему подобно трубе в час общественного суда».

* * *

Творчество Н. М. Ядринцева-писателя вообще автобиографично. Даже в фельетонах он нередко идет от непосредственных впечатлений, от воспоминаний. Об очерках и говорить нечего — лирика существенный компонент их содержания, и главный герой их чаще всего сам наблюдатель, сам исследователь. В 1884 году Ядринцев задумывает цикл воспоминаний о людях, с которыми он начал жизнь. Возникли «Сибирские литературные воспоминания». Потом он приступит к автобиографии и напечатает «Воспоминания о Томской гимназии». И до конца жизни не оставит этот жанр — напишет «Детство», «К моей автобиографии», воспоминания о друге С. С. Шашкове, о Ф. М. Достоевском, о женах двух писателей-сибиряков — Е. П. Елисейевой и О. И. Щаповой, несколько автобиографических рассказов... Автобиография Ядринцева так и не сложилась в цельную самостоятельную книгу, но то, что создано им в этом жанре и дошло до нас, представляет не только исторический интерес. В них автор выступает как художник, создавший свой, в чем-то неповторимый мир, рассказавший о людях, о которых никто другой не мог рассказать с такой правдой, с таким проникновением и пониманием.

Автобиография, воспоминания возникли из потребности оглянуться на пройденный путь и воскресить в душе ту веру, которая владела им в самом начале. Ядринцев вслед за многими лучшими людьми эпохи остро ощутил историческое значение 60-х годов и последовавших за ними событий, которые он активно пережил как участник общественной борьбы. В исследованиях, посвященных областничеству, историки непременно обращаются к автобиографическим произведениям Ядринцева, находя в них слова, фразы, формулировки, подтверждающие их концепции. Но никто пока не взглянул на них как на произведения художественные, в которых важны не только формулировки, но и образ времени, не менее существенный, чем прямые высказывания писателя.

Написаны «Детство», «Воспоминания о Томской гимназии», «Сибирские литературные воспоминания». Перечтем все вместе и сразу почувствуем, что это предельно искренняя, правдивая повесть о формировании юной души, повесть о людях Сибири и Петербурга, повесть о тех обстоятельствах и условиях, которые способствовали рождению ядринцевского бунтарского характера, выработке у писателя передового, по тогдашним временам, мировоззрения. Передового, ибо даже идея служения окраинам России, не говоря о всем другом, находила подтверждение в трудах Герцена. Это же Герцен, а не Ядринцев, требовал: «Земля крестьянам, самобытность областям».

«Детство» написано с подкупающей бесхитростью и простотой. О матери и отце, о своеобразном укладе семьи, о своих первых впечатлениях и

переживаниях, о первых уроках в пансионе, похожем на печально знаменитую бурсу.

Мать Ядринцева из крепостных. Факт известный и в биографиях Ядринцева часто повторяемый. Однако значение его для Ядринцева мы можем постичь, лишь ознакомившись с характером матери в его изображении. Крепостная Феврония Васильевна вдруг стала свободной и богатой. Она обучилась грамоте, приобрела другие, по ее понятиям, светские манеры, наняла работников и слуг, решила воспитать своих детей, как воспитывали на ее глазах барчуков. Появилась спесь, высокомерие, повышенные требования, проводимые до поры до времени с деспотической непреклонностью. Эпизод с племянницей, выкупленной у помещика, характеризует ее как воительницу за господствующие сословные предрассудки. Как, племянница влюбилась в писца, почти лакея! Виновница получила отповедь, юноша был уволен. Трагическая судьба Калмычки в семье Ядринцевых (прекрасный рассказ «Калмычка» органично примыкает к воспоминаниям о детстве) дает исчерпывающее представление о характере матери, об укладе семьи, о средствах воспитания, наконец, о самой среде в назревающую переломную эпоху. Калмычка — автор не помнит ее настоящего имени, потому что иначе ее в доме никто не звал — была куплена у погибающих с голоду родителей. Девочка имела обязанности — помогать няньке в детской и быть на посылках всего дома, т. е. выполнять самую грязную работу. «Барчук», ее сверстник, подружился с Калмычкой, поверял ей свои тайны, увлеченно играл, вместе с ней начал овладевать азбукой, случалось, и обижал ее, как и многие в его доме.

«Мать,— рассказывает Ядринцев,— заметя раз, как Калмычка возится с моей азбукой, вырвала ее и ударила Калмычку.

— Как ты смеешь брать барича книжку?!

Калмычка села на сундук, задумалась.

Я объяснил матери, что мне веселее учиться с Калмычкой, и тогда мать стала снисходительней, но Калмычка не брала моей азбуки в руки никогда».

После такой сцены, созданной художником на склоне лет, вряд ли усомнишься в его демократизме. Читая дальше этот откровенный рассказ-воспоминание, мы видим, как глубоко потрясло его бессмысленное насилие над девушкой, когда она подросла: ее выдали за старика-пьяницу, и она повесилась. Однако потрясло совсем не тогда, когда все это почти на его глазах совершалось, а много позднее, когда осознал, что рабство отвратительно. Потому-то так беспощадно к себе завершался рассказ:

«Мне хотелось сходить на ее могилу. Но что скажут обо мне окружающие, если я пойду ее отыскивать? Я должен бояться показать ей сочувствие даже после смерти. Я, единственный друг ее, должен был скрыть свое человеческое чувство к ней».

В «Детстве» появляются, кроме самого автора, разные ярко очерченные люди — декабрист Штейнгель, няня, трогательно тоскующая о сыне-солдате, несчастный поэт-слепец, преподававший Ядринцеву первые уроки грамоты, и, конечно, отец писателя, обрисованный с глубоким уважением. Выразительный портрет — одна из сильных сторон воспоминаний Ядринцева. Об отце он напишет немного, но внутренний мир его будет раскрыт в самом главном — в его отношении к делу, к богатству. Большого капитала он так и не нажил, а денежная профессия откупщика начинала его тяготить бессовестностью купеческих сделок.

В «Сибирских литературных воспоминаниях» подробно рассказано о Н. С. Щукине. Не внешний портрет занимает Ядринцева, он передает существо характера, особенное в поведении и деятельности. Определяя значение Щукина в жизни провинциального сибирского города, Ядринцев всеми образно-публицистическими средствами приводит читателя к выводу: «Это был тип Рудина, как тип общественный, превосходный студент-товарищ и невообразимый Дон-Кихот в своих приключениях. Он жил кипуче и будил жизнь других».

В дополнение к тому, что Ядринцев раньше рассказал о Потанине-путешественнике, Потанине-ученом, в воспоминаниях мы знакомимся с Потаниным — организатором сибирского землячества. В каждом эпизоде виден человек редких качеств, высокой образованности и большой общественной активности. Внимательно присмотревшись к тому, как изображены Щукин и Потанин, невольно всю историю объединения сибиряков в Петербурге начинаешь представлять не в упрощенно-областническом духе. Их, конечно, объединяла любовь к родине, любовь к Сибири, желание служить ей, но прежде всего их объединяли идеи освобождения, носившиеся в воздухе конца 50-х и начала 60-х годов. Щукин и Потанин, например, каждый по-своему, были, по Ядринцеву, страстными пропагандистами необходимости перемен в общественной жизни страны, «новой эры», как тогда выражались, и в тот момент находились в стадии поисков практического применения своих сил во имя высоких целей. Сам Ядринцев, деятельный участник землячества, не спешит объявить объединение сибиряков актом особой значимости, он ставит его в один ряд с распространенными тогда студенческими кружками: «Когда общественный пульс так высоко был поднят, не могла не разделить той же жизни восприимчивая молодежь. Студенческая группировка тогда не была редкостью, как и студенческие кружки». А затем с объективностью историка он, рассказав, чем они занимались в земляческом кружке, засвидетельствует, что в 1862 году «первый жар и впечатления от этого сближения исчезли и выступила прозаическая жизнь кружка, превратившая его в обыкновенную буршскую корпорацию». Недаром в определении значения земляческих собраний в Петербурге Ядринцев выделит не одну любовь к Сибири, но и другое их качество: «...пробудились лучшие человеческие стремления и идеалы». В момент создания «Сибирских литературных воспоминаний» Ядринцев свое служение окраинам России, в частности Сибири, считал в ряду тех практических дел эпохи, которые осуществлялись лучшими людьми — одни занимались «крайностями», т. е. террором, другие обрели себя в нещадной критике царизма, в просвещении народа посредством слова, посредством искусства, третьи — в науке, Ядринцев и Потанин — в служении Сибири. «Наше поколение,— писал Ядринцев,— в общих теориях осталось на грани между 60-ми и 70-ми годами. Не восприняв крайностей последних, унаследовав самые светлые и лучшие верования первых, писатели моего времени перенесли эти лучшие надежды на свою родину и взлелеяли их». Так, по существу, завершался образ Потанина-организатора землячества, на этот раз не очень преуспевшего,— кружок распался из-за внутренней неопределенности и под ударами внешних грозных событий. И начал полнее вырисовываться сам Ядринцев, прошедший «школу» Щукина, бурно переживший петербургские волнения 1860—1863 годов и жадно нажившийся на подлинно революционную литературу того времени.

«Литература и наука,— торжественно и трепетно пишет в воспоминаниях

Ядринцев,— являвшиеся во всем ореоле, покорили навеки наши сердца, ибо мы видели их в самых лучших проявлениях... Мы считали человеческое слово за лучшее из средств для победы знания над невежеством, для торжества идеи, для завоевания человеческого права».

Ясно, что это слова Ядринцева-просветителя. С высоты этого тезиса он сурово изобразил учителей Томской гимназии, быт этого учебного заведения, его нравы, методы обучения и воспитания, что в совокупности способно было лишь калечить людей. Ядринцев отмечает, что плебс, дети бедных родителей, если они попадали в гимназию, оказывались выносливей, чем дети богатей, они находили в себе силу противостоять растлевающему гимназическому влиянию. И. Кушевский, рисуя в романе «Николай Негорев...» ту же гимназию, что и Ядринцев, полагал, что ее учителя являются естественным слагаемым в воспитании лицемеров, ренегатов, предателей, равнодушных ко всему, кроме собственного благополучия. Николай Негорев и назван «благополучным россиянином». Ядринцев, приступая к изображению своей гимназии, упоминает роман И. Кушевского и сетует, что в нем немало писательской фантазии. Однако правда Ядринцева не менее страшна, чем «фантазия» Кушевского. Очерковая деловитость Ядринцева потрясает в такой же степени, как и живопись Кушевского. Вместе с этим Ядринцев рассказывает о злосчастной судьбе учителей и объясняет ее «мертвым» состоянием общества. «Это были люди,— повествует Ядринцев,— из бурсы, семинарии и старых аракчеевских гимназий, как били их и угощали «кокосами», так они угощали нас. Это была уже общерусская принадлежность воспитания». «Глухая жизнь», собственная натура, отягощенная палочным воспитанием, не позволила им подняться над обществом сибирских купцов и чиновников, даже лучшие из них опускались, спивались, попадали в дома умалишенных.

С тем большим воодушевлением рассказывает Ядринцев о том, как, независимо от гимназии, вопреки ей, развивалось у них стремление к знаниям, как пробуждался их ум. Решающим фактором было время перед освобождением крестьян, когда гимназия оказалась неспособной заглушить дух свободы. Кроме того, Томская гимназия к тому времени была уже достаточно демократизирована — в нее попадали и дети крестьян-переселенцев, и дети городских мещан. «Демократическая среда гимназии воспитывала равенство,— скажет Ядринцев.— Эти инстинкты равенства, заложенные школой, это уважение к честной бедности и поклонение труду и таланту, откуда бы он ни выходил, облегчили восприятие впоследствии общечеловеческого идеала». Здесь, обходя цензурные рогадки, автор имеет в виду социальное равенство, уничтожение эксплуатации и национального угнетения — идеи социализма. Наконец, пришли живые носители освободительных идей, как Н. С. Щукин, и на столе вместо опостылевших учебников появляются новые книги и журналы, передовая литература.

«Воспоминания о Томской гимназии», казалось бы, не содержат развернутых картин и характеров, сюжетно они слабо организованы, тем не менее создают впечатляющую картину времени, рисуют выразительные портреты, прежде всего Щукина и самого Ядринцева, ибо это по существу искренняя и волнующая исповедь писателя, тоскующего в условиях жесточайшей реакции о пережитом и невозвратном, как ему кажется, взлете общественных действий и общественной мысли.

Исповедальность — характеристическая особенность мемуаров Ядринцева,

она прорывается и в сжатом перечислении биографических фактов (см., например, «К моей автобиографии»), она же господствует в автобиографических рассказах этого времени. Исповедальность последних произведений продиктована и свойствами художественной манеры Ядринцева — он всегда был лиричен, — но в большей степени той духовной драмой, какую он переживал в последние годы жизни. Говорят, что его духовная драма была прямым отражением исторической драмы областничества, которое эволюционировало вправо. На самом деле все определялось еще и общей атмосферой в стране, и состоянием западной демократии. Рассказ «Ночь в Avenue de l'Орегa» и памфлет «Иллюзия величия и ничтожество...», написанные одновременно, показательны в этом отношении.

Главный герой рассказа — пожилой человек (по имени он не назван), приехавший во Францию через 20 лет после первого ее посещения. Тогда в ней жили такие представители русской эмиграции, как Герцен и Бакунин. Тогда все восхищало молодого человека в республиканском Париже, и он уехал домой, заряженный энергией практических дел на родине. Он работал много — строил мосты, школы, больницы, вводил рациональное земледелие, заводил фермы, открывал ссудные кассы, банки. Но за «тысячей будничных дел» неизменно «стояла русская действительность, выдвигалась русская нужда и беднота — привычная, безысходная, покорная, неизмеримая, как глушь родных полей, глубокая, как трясина болотная». Потому-то вдруг «вся работа оказалась как будто ненужной». А главное: «это не с ним одним случилось — охладели и другие. После периода увлечений начался едкий, разъедающий скептицизм». Возникла потребность отыскать утерянное, и он снова оказался в Париже. Великий город был таким же веселым и бодрым, как и двадцать лет назад. Но лавочник, узнав в нем русского, рассыпался в комплиментах и поинтересовался, какой договор заключен между Россией и Францией. Этот «мелкий» факт многое ему объяснил: «Могучая страна, повелевавшая когда-то Европой, обращает свои взоры и ждет спасения в союзе с Россией». Что он должен ответить французскому лавочнику? «Надейтесь! Мы вас не выдадим немцам!» Нет, положила руку на сердце, так он утешить французского буржуа не мог. И он понял, что «в этом великолепном городе, с его историей, он остается чужестранцем, принесшим свою тоску, свои неразрешимые вопросы, свой родной неизлечимый недуг. Теперь все уже раздражало его: и доносящийся уличный шум, и блеск фонарей, и довольная буржуазия, развезжающаяся после спектакля... Он чувствовал, что... жизнь сломлена, и это убивало последнюю энергию». Буржуазная Франция, как и царская Россия, угнетала и обезоруживала его. Правда, во Франции есть одиночки, вроде старичка Бланшо, и герой в конце рассказа испытывает «жгучий прилив сил», когда Бланшо приходит к нему, но весь минорно-исповедальный тон рассказа проникнут одним разочарованием, одним убеждением: «Ждать нечего, песня жизни спета!»

Публицистика Ядринцева в это время тоже направлена не только против сибирской буржуазии и сибирской администрации, она касается пороков всей России, направлена против царизма, против русской буржуазии. В доказательство можно привести многие работы, опубликованные в русской печати, но все их превосходит блестящий памфлет «Иллюзия величия и ничтожество. Россию пятят назад», изданный нелегально в Женеве в 1891 и переизданный в 1897 году. В нем нет положительной программы, но в нем пламенно и страстно, с ядринцевской силой убеждения подвергнуты бескомпромиссной уничто-

жающей критике основы существовавшего правопорядка Александра III и их, так сказать, теоретическое обоснование. Образное выражение мысли — отличительное полемическое качество ядринцевского памфлета. Он касается едва ли не всех аспектов внутренней и внешней политики самодержавия и наносит ей чувствительные удары. Ядринцев издевается по поводу того, что реформы Александра II, отмена крепостного права и прочее, признаны «ошибкой», но ведь это означает, что «машина дала задний ход, и неизвестно, куда движется. Теперь это поезд без разумного машиниста и с множеством тормозов, которые, однако, не предупредили крушение царского поезда. Словом, старые иллюзии совершенно исчезли, во внутренней жизни обнаружился азиатский застой. Чем же теперь хвастаться перед Европой и где прежний богатырь?!»

Снова Ядринцев берет на вооружение убийственную сатиру М. Е. Салтыкова-Щедрина.

«Покойный Щедрин прекрасно изобразил этого богатыря,— пишет Ядринцев.— Богатырь лежал в лесу, и кто его видел, дивился его росту и комплекции. Вот где силища-то, говорили! Слухи о богатырстве богатыря даже в чужие земли проникли. Но вздумалось кому-то подойти ближе и коснуться богатыря. Глядь, а он давно иструх: голова отвалилась, руки тоже. Вот этот-то богатырь, которого давно изъели муравьи и всякие гады, богатырь, от которого осталась только труха,— это и есть нынешняя Россия!»

Обыватель, зло обобщает Ядринцев, просится в кутузку, так как в маленькой камере легче, чем в большой тюрьме — России.

Или еще один образ в том же щедринском ключе:

«Студенчество и университеты только повидимому спокойны. События показали, что нет-нет где-нибудь и раздастся плюха, как выражение глубокой признательности за систему педелей и шпионства. Студенты и студентки в прежнем положении, под особым надзором полиции. Мало того, они отданы под надзор дворников и хозяек... Проституция гораздо более пользуется в России покровительством, чем учащееся сословие».

«Мундиры не спасли университетов, как доказали периодические студенческие движения. В Москве панихида по Чернышевскому показала, что система педелей и полиция не изгладил воспоминаний и уважения молодежи к великим людям своего отечества».

Таков эмоционально-образный стиль всей книги Ядринцева-публициста, пишущего без цензурных оков. И надо думать, что именно это глубоко осознанное им бедственное, трагическое положение всей России (в том числе, разумеется, Сибири) и привело писателя к личной духовной драме.

В центре научных, публицистических и художественных исканий Н. М. Ядринцева постоянно находились проблемы борьбы с социальным злом, обличения реакционных охранительных сил, уничтожения национального и религиозного насилия в любом его проявлении. И мы вправе гордиться тем наследством, которое он нам оставил. Николай Михайлович Ядринцев был и остался выдающимся гражданином России и патриотом родной Сибири.

Н. Н. Яковский

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ПЕТЕРБУРГ В ЕГО ПРЕЛЕСТЯХ

(Письма)

I

Я осуществил мечты свои, я нашел предел своим желаниям и положил конец своим юношеским, доходящим до бреда, надеждам. Я въехал в Петербург, в столицу русского мира, в центр жизни, от которой ожидал спасения, вынырнувши из глубины болот моей вязкой родины. О, как я был счастлив! От радости я чуть не запрыгался до смерти, друзья мои, на его гранитных панелях. Мне хотелось сжать в своих объятьях его каменные громады, которые я бы, наверное, раздавил, если бы природа одарила меня большими силами к горю всех петербуржцев.

Ты не можешь представить, бедный собрат мой, обитающий в далеких болотах нашего отечества, в каком величии представился мне этот город. Да и где тебе представить это, тебе, копошащемуся где-нибудь в грязном захолустье и разгуливающему по микроскопическим переулкам своего чуть заметного на свете города. Где тебе понять его величие, не видевшему ничего, кроме луж и покосившихся домишек, где тебе понять его роскошь, не видавшему ничего, кроме своего нанкового халата и дырявых сапог.

Но постой, невежественный собрат мой, я покажу тебе этот прославленный город. Хочешь, я поведу тебя с собой? Смотри! Видишь ли там, в дали, в конце необъятно раскинувшейся земли, на берегу залива громадный, чопорный город? Смотри, как он барски раскинулся на своей болотистой почве, заплывшей зеленоватыми болотными туманами. С одной стороны он подозрительно смотрит на приближающиеся к нему иностранные корабли, с другой гордо озирает, как будто свое поместье, лежащий за ним континент. Видишь, как усиленно направлены к нему движения с самых далеких мест. Сколько кораблей и пароходов несетя к нему по широким морям, сколько тянется судов и барок по длинным рекам континента, сколько мчится вагонов к нему по железным дорогам и движется тяжело нагруженных обозов. Вон и из твоего городка тащатся возы, нагруженные какою-то рухлядью. Необыкновенной силой притягивается все к нему. А он только молча и холодно, как гидра, пожирает все, что к нему направляется. Удивителен этот всепожирающий город!

Пойдем к нему ближе. Взгляни на его широкие улицы и каналы, красиво выложенные каменными глыбами. Взгляни на его ве-

ликопепные дворцы и стройно выравненные ряды палат, которые вмещают то тысячи подобного нам народа, то одного, имеющего более чем тысячи нам подобных. Ты удивляешься, невежественный друг мой? Да, удивляйся. Они возникли по мановению ока. Многие миллионы положены тут, но дороже миллионов тут положен труд твоих собратьев, которых много, много ушло вместе с сваями в эту болотистую почву. Хочешь ли ты взглянуть на этот город во всем его великолепии? Тогда я прикажу осветить его, и вот он явится тебе, обвитый целыми гирляндами огней, сияющих в тысячу раз светлее сального огарка, пиликающего в фонаре твоей убогой улицы.

Видишь эти залитые блеском магазины и лавки? Любуйся на эти драгоценные вещи, выставленные на показ голому человечеству, на эти брильянты и золото, на эти тончайшие материи, на эти изящнейшие мебели и бронзы. Ведь тебе никогда не обладать этими вещами, мой бедный друг. Знаешь, что ценою иной вещи можно скупить целый твой город? Да, можно, а ты все-таки не будешь иметь их.

Пойдем вон в то большое здание с стеклянной кровлей, тут еще больше блеску, еще ярче горят выставленные в окнах драгоценности. Туда не ходят бедняки, подобные тебе, может быть, потому, что их не пускают; но мы войдем, оно будет доступно нам. Видишь, сколько ходят и любуются там народу, как они жадно смотрят на выставленные дорогие вещи. Вон какой-то франт впился своими оловянными глазками в брильянтовый браслет. Знаешь, он завтра пойдет и украдет его, а ты все-таки не будешь ничего иметь. Посмотри на эти освещенные улицы, какими массами движется народ там, сколько проносится с громом экипажей, один лучше другого. Ух, как несется офицер на своем великолепном рысаке! Но вот слышен крик, какая-то старуха попала под его щегольский экипаж. Она стонет, ее повезли в госпиталь, а офицер дальше несется на своем чудном коне. А на панели сколько кишит народу, тут вечером много гуляют и веселятся. Видишь между ними бегающих женщин, не смотри, что они так нарядились, они просят хлеба, а за ними бегают весельчаки. Вон седенький старичок с орденом хватает 14-летнюю девочку. Ее личико немного искривили судороги, но это ничего, она идет. Весело старичку!

Поздно. Улица начинает редеть, только изредка гремят кареты возвращающихся с веселья богачей да мелькают тени несчастных женщин, все еще ищущих *людей*, но встречающих только весельчаков.

Утром снова поднялся народ, снова кипит этот гигантский муравейник, где выбегают из палат и вбегают в свои каменные палаты петербуржцы. Но ты хочешь, может быть, полюбопытствовать, что кроется в этих палатах; тогда скажи мне. Мы обойдемся, мой друг, бесцеремоннее с этим городом. Мы сорвем с любого дома крышу, отодвинем толстые стены. Зачем людям скрываться за ними? Вот тебе чердак, какие-то бледные, истощенные сидят люди там. Вон и мы сидим с тобой в узкой каморке; далее копошится какой-

то ремесленник с семейством, там бедный чиновник, а тут голодный литератор. Кипит постоянно под руками у всех работа у них, как будто вечно носится над ними песня Гуда, с роковыми словами своими:

Работай, работай, работай, работай...

Они из угождения к большим господам живут в этих клетках, мой невежественный друг. Шутники говорят, что и им есть возможность сделаться в жизни большими господами; но я считаю это слишком обидною шуткой. Скучно смотреть на эти худые, желтые и зеленые лица. Взглянем в следующий этаж. Тут пошире клеточки, пополнее лица, помедленнее работа. Ниже еще лучше. По опрятным комнатам бродят люди с несколько отвисшими подбородками, с трубками, в довольно просторных халатах. А вот спустимся ниже, ниже, там увидим и бельэтаж. Видишь, эти великолепные квартиры, блещущие неимоверной роскошью. Видишь, этот шелк и бархат, эти дорогие мебели, эти лампы, люстры и жирандоли, залитые серебром и золотом, эти белые, как сахар, мраморные каминны с этрусскими вазами и саженными зеркалами. Тебе и не снились такие роскошные, благоухающие тропическими растениями комнаты? Да, много в этих квартирах богатств и драгоценностей, много людей работают для этих квартир. Вон в конце города тащатся десятки тысяч работников с своих душных фабрик. Слышишь ли, поют они песни? Они рады, что угодили богатым господам. Но ведь они грустные песни поют? — спрашиваешь ты. Они глупы, мой друг, они не знают, что за песню им нужно затянуть.

А какие важные господа живут в этих богатых квартирах, в таких чинах, которых тебе достигнуть, все равно что достать носом верхушку вон того собора, который виднеется из окон этих квартир. Славно живут знатные господа. Видишь, какие веселые у них лица, слышишь, как гордо звучит их голос, только они говорят не по-русски; но это потому, скажу тебе, мой невежественный друг, что иначе они боятся сравниться с своими лакеями. Между важными господами есть занятые очень важными делами. Вон, например, сидит задумавшись действительный статский советник, он думает получить другую звезду и никак не придумает, за что бы себя наградить. Вот богач, скупивший пол-Петербурга для того, чтобы в своих домах призывать бедных. Он думает, как бы облагодетельствовать другую половину Петербурга. А вон мечтает бывший откупщик, и знаешь, о чем он мечтает? Он мечтает о тебе. Ему хочется во что бы ни стало стянуть у тебя полтину, которую ты не успел снести в его кабак.

Весело идет жизнь богачей. Посмотри-ка на нее. Вон они садятся обедать. Какие дорогие вина расставлены на столах, какие вкусные кушанья, тебе не ощутить этого в целую жизнь. Полюбуйся на эти заморские плоды, как будто сейчас упавшие с своих деревьев в серебряные вазы и еще сочащиеся своей свежей влагой. Полюбуйся, но боже тебя сохрани дотронуться до них. Берегись, ты отравишься. Отведавши этих вкуснейших яств, тебе захочется услаждаться ими целую жизнь, и тогда ты погиб. Да, ты погиб, ты

не подорожишь ничем, мой неопытный еще друг, ты не остановишься ни перед каким средством добыть себе денег. Ты не пощадишь ни мать, ни отца, ты продашь любимую женщину, ты не содрогнешься от стона угнетаемого тобой твоего же брата-бедняка и холодной рукой капиталиста свершишь не одно злодейство. А они? Эти люди? О, они умеют наживать деньги! Обед кончен. С радостью рассыпаются эти господа по столице. Одни в громадные театры, где будут дремать после сытного обеда под раздрающую душу музыку или смотря на полную человеческого горя драму. Другие едут по знакомым, где на мягких диванах будут рассуждать о величайших человеческих гениях, Штраусе¹ и Леотаре², об изумительном диэзе какого-нибудь певца, о вкусе вновь привезенных устриц и тому подобных высоких материях. Третьи кинутся на знаменитейшие балы, где, услышав одно слово важной особы, будут вертеться от восхищения до тех пор, покуда сонные лакеи не заберут их и не свезут по домам в их богатых каретах.

Назавтра они опять примутся принимать гостей, интриговать, замышлять новые балы, завтракать, кататься, обедать, а вечером снова вертеться до истощения своих сил.

Ты не можешь понять, невежественный друг, этого наслаждения, этой жизни во всей ее красоте и разумности, лучше ее нет жизни на земле.

Так-то идет веселье в этих богатых квартирах! А ниже? Ниже, в подвалах, там опять желтые и зеленые люди, опять бедняки, работающие и голодующие, опять в грязных конурах, как и на чердаках, чахнут люди из угождения любимым господам своим и хозяевам. И вот из великолепных палат вместе с знатными каретами тянутся целой процессией убогие гроба, размещаясь по обширным кладбищам чудного города.

Много есть таких палат, мой друг, в этом городе, в которых среди торжественных пиров и музыки слышатся рыдания погибающих жертв.

Да, много среди домов веселья домов плача и горя. Среди светлых дворцов стоят остроги и тюрьмы и мешаются клики радости с безнадежными стенаниями, звон бокалов с звоном цепей и отрыжка сытно наевшихся — с хрипом умирающих от голода.

Но довольно. Ведь Петербург город веселья!

II

Весело тебе, петербуржец? Весело. Да, я вижу, как от удовольствия ты подергиваешь своими ножками, готовясь оттрепать самый лихой канканчик. Веселись, петербуржец! Я узнаю тебя, беспечное дитя, воспитанное, вместо молока, на кроновском пиве, излеровском шампанском и палкинских бутербродах. Я знаю, отчего тебе весело. Тебе угодил твой папаша, Иван Иванович Излер. Не правда ли? Да, я вижу, как ты к нему ластишься, милое дитя. Впрочем, и есть за что: вон какая щегольская зала приготовлена им для тебя, какими разноцветными огнями горит сад, какой бо-

гатый буфет, где ты лакомишься разными яствами, вроде коньяков, киршвассеров и мараскинов, милый ребенок. Это твой, в некотором смысле, Олимп. На нем ты представляешься в полном величии своей славы. Вот ты подъезжаешь к «заведению» твоего папаша в богатой коляске (правда, взятой в долг), щегольски одетый (правда, тоже в долг) и с толстым бумажником ассигнаций (впрочем, взятых опять в долг). Ты величественноходишь в свое святилище, где встречают тебя твои друзья Накатников и Бирюков, вы садитесь с ними за бутылки вина, и ты начинаешь рассказывать (т. е. иногда, собственно, врать) о своих знакомствах с знатью и о необыкновенных клубничных победах над княгинями и графинями. О, как ты в это время велик, петербуржец! С каким благоговением слушают тебя друзья твои. Вы наслаждаются, пред вами артисты и фигляры, шарлатаны и продажные таланты, пред вами разгуливают камелии, как удавы выгибая свои талии и выбирая себе жертву своими змеинными глазками. Вот одна из них подходит к какому-то толстяку, утыканному брильянтами и представляющему на этом пиршестве нечто вроде *beaucoup à-la mode** Она немедленно ослюнявит его своими любезностями и проглотит его со всеми богатствами. Бедный *beaucoup à-la mode!* Но чу! Музыка грянула фолишон. Твои масляные, сладострастные глаза, петербуржец, закатились под лоб от благоговенья. «Браво! Браво!» — кричишь ты в детском восторге и, забыв нечаянно свои джентельменские привычки в буфете, начинаешь колотить стекла. Но попечительный папаша, во время подскочив к тебе, сует тебе какую-то чухонку Амалью Карловну. И ты, совершенно довольный, накачав ее вином, закатываешься с пей, с Бирюковым и Накатниковым на целую ночь на Петровский или в Хуторок канканировать и скандалить. Какое блаженство! Природа тебя умела величественно создать, петербуржец, а портной одеть. Ты холоден ко всему. У тебя нет отечества, ибо излеровский сад нельзя назвать им, у тебя нету семьи, ибо несколько содержанок и куча детей в воспитательном доме не составляют ее, у тебя нету друзей, хотя ты и имеешь тысячу приятелей. Ты невозмутим в своем равнодушии, потому что, несмотря на эфирный жилет и тончайшее белье, в твою грудь не проникло ни одно человеческое чувство. В тебе не залегала ни одна тяжелая дума, хотя может быть потому, что ты тогда не стал бы так легко канканировать. Под твою модную прическу не залезла ни одна дельная мысль, вероятно, боясь растрепать ее. Твою легонькую головку не обременяют умственные процессы, а их нужно тебе, когда ты занят преимущественно процессами другого рода. Впрочем, что тебе за дело, чего у тебя нет. Ведь у тебя есть фрак, жилет, перчатки и прочий самый щегольский костюм. Чего тебе еще нужно? Ты денди от носков твоих сапог до крепа на твоей шляпе, денди петербургский, т. е. почвенный русский денди, и я горжусь тобой, так же как и другими произведениями моего отечества, так же как розенгеймовским патриотиз-

* Последнего крика моды (фр.).

мом, майковской поэзией, вяземскими пряниками и риторикой и суждальскими картинами.

Да, я люблю тебя, петербургский денди. Ты не похож на английского денди, гордого, неприступного, на лице которого написано могущество и слава его Британии, ты не похож, я говорю, на него, потому что ты не такой гордец и при случае на первом бале в парижском мобиле постараяешься отбожиться всеми богами от своего отечества, чтобы тебя не выгнали в шею. Ты не похож и на француза, беззаботного, веселого до того, что другим делается даже как-то неловко за его веселость, хотя я вижу в твоей душе (находящейся в пятках), петербуржец, как ты силичишься подражать его веселью. Итак, посмотрим на твой идеал.

Вот он раскрывается предо мной, этот французский Вавилон, этот прославленный Париж, раскрашенный, разубранный, веселый, прыгающий за своим повелителем, которому он вверил судьбу свою, получивший взамен от него великое право публично развратничать. «Отчего ты рад, топ cher? — спрашиваю я француза. — Тебя тешит, что бесцельно гибнут сыны твои на мексиканских полях, завоевывая и грабя землю у народа, который, проклиная тебя, в свою очередь умирает за свою независимость? Ты рад, что из сына свободы ты сделался рабом деспотизма и насилия. Или ты рад, что под знаменами твоими держатся итальянские разбойники и страдает несчастный народ, мечтая о надежде надежд своих — Рима и Венеции? А может, ты счастлив внутри своего государства, где с жандармами отняли у тебя свободу голоса на выборах? Где на месте глашатаев свободы сидят подкупные Лагероньеры³, а ты, как запуганная собака, смотришь в глаза наполеоновскому полисмену. Да, смотри, смотри, счастливый сын Франции! Твои предки, напрасно орошая парижские улицы своей кровью, тебя хотели сделать счастливым, ты стал счастлив в разврате *bal mobil'a** и в разврате гражданском. Это ли твой идеал, петербуржец? Впрочем, я знаю, что напрасно заподозреть тебя в каких бы то ни было гражданских доблестях и недостатках. Тебе ли, невинному птенцу, порхающему по излеровскому саду и ефремовскому шпиц-балу, понять гражданские чувства! Тебе ли заботиться о них, мой милый какаду Невского проспекта! Ведь тебе все равно, стонет Италия под австрийскими тисками, трепещет ли француз пред наполеоновскими лакеями, умирает ли Мексика под французским штыком или обливается реками крови та далекая свободная земля, где падают последние остатки рабства пред цивилизацией. Тебе все равно, воскресает ли освобождающееся человечество или мертвое падает под ударами палачей⁴.

Нам с тобой какое дело, хоть бы моря крови затопили землю, хоть бы ее пространство не вмещало горя, а человеческое ухо стонов, потому что, потому что ведь чрез это не вздоржают устрицы.

— Да полно, начни что-нибудь веселенькое! — прерывает меня

* Танцевальных телодвижений (*фр.*).

петербуржец, вдруг вообразивший с чего-то, что перед ним стоит шарманщик с Кулерберга.— Изволь, мой милый,— отвечаю я,— ты хочешь веселиться, так поедем на шниц-бал или гулянье, мы там навеселимся вдоволь. Нам не будут слышны ни вопли народные, несущиеся из конца в конец мира, не будут слышны эти стоны земли от совершающихся по ней злодейств, оркестры Штрауса и Лунду нам заглушат их. Итак, начинай снова веселье, тра-ла-ла, тра-ла-ла...

ГАОО, ф. 3, оп. 15, д. 18759, лл. 30—34.

Публикуется впервые. Написаны не ранее начала 1861 года.

¹ Штраус Иоганн (1825—1899) — австрийский композитор, в 50—60-х годах гастролировал в России, его «легкая музыка» вошла в моду.

² Леотар Жан Мари Жюли (1830—1870) — французский цирковой артист, воздушный гимнаст, создатель номера «полет с трапеции на трапецию». В 1861 году гастролировал в Петербурге.

³ Лагероньеры — Альфред (1810—1894), Луи (1816—1875) — братья, французские литераторы, часто менявшие политические взгляды.

⁴ Перечисляются важнейшие международные события эпохи, особенно выделяется война Севера с рабовладельческим Югом Америки.

КОЗНИ ЗЛОНАМЕРЕННЫХ

(Нечто о погибающих)

Знаете, у некоторых людей есть преподлая замашка — разбивать всякие милые иллюзии, розовенькие мечты и разные детские надежды бедного человечества. Я ненавижу этих людей. Скверные это люди, неблагонамеренные это люди. Они иногда самые возвышенные предметы разоблачают и показывают, что это не более, как куколки, статуэтки, цветочки и тому подобные игрушки человеческого рода. И зачем?

Кажется, живешь, веришь во что-нибудь, любишь что-нибудь, а тут вдруг — трах! И разобьют все, так-таки злодеи и разобьют!

Верите, положим, вы в абсолют, хоть гегелевский абсолют, уважаете, положим, Павла Ивановича Чичикова, любите пироги с луком, — эти злодеи все разобьют, над всем насмеются.

Позвольте, господа, абсолют есть, об этом говорят очень почтенные люди, скажете вы. Об этом говорит Иван Иванович Довгочун, скажут вам. Но согласитесь, что Павел Иванович Чичиков — очень приятный человек. Подлец, скажут, Павел Иванович. Как хотите, а пироги с луком — очень хорошая вещь, возрадите вы. Дрянь пироги с луком, ответят вам и прибавят, что страсбургские пироги гораздо лучше.

Да, так-таки и разобьют наши милые обольщения, разобьют и мечты ваши. Вы мечтаете, вот сколочу под старость деньжонок да откупщиком сделаюсь, а тут — трах! Откупа¹ лопнули, оказывается, что злонамеренные люди откупа оклеветали.

Или, положим, вы взяли взятку; думаете, никто не узнает, и вы останетесь на счету бескорыстного и благородного чиновника... Но злонамеренные люди пронюхали, что вы взяли взятку, и кричат,

что вы взяточник. Правда, что из этого ничего еще не следует, вы еще возьмете взятку, и еще, но все же скверно,— зачем злонамеренные люди кричат?!

А то представьте себе такой пример: положим, вы какой-нибудь начальник города или губернии, вы хотите, чтобы знали, что у вас все хорошо, все благоденствуют, права всех граждан соблюдаются.

Положим, у вас в городе было торжество, вам бы хотелось видеть «в газете» про это торжество такую статью, что вот, дескать, город весь торжествовал и умиленные граждане собрались в храме, возносили молитвы за того, кто сам городом управляет, то есть за вас; ну-с, и хотелось бы, вы даже заставили об этом своего секретаря написать статью в «Пчелку»², но вдруг какой-то неизвестный злонамеренный человек пишет в газету письмо, что умиленных граждан около храма чистили по рылам. Ну ведь гадко, согласитесь. «Аспид!»,— говорите вы в гневе про автора злонамеренной статьи. Вы бы аспиду дали трепку, но аспид неизвестен. Где аспид? Черт его знает где! Вы заподозрили г-на Х. Но Х. заставляет газеты дать отзыв, что писал не он.

Вышел скандал. Аспид же все-таки неизвестен. Или хорошо, вы нашли аспиду; дали трепку, но ведь в газете напечатанное осталось, и не один, другой аспид явится. Все гадко, гадко и гадко.

Вы видите, что аспиды вам мешают, аспидов надо преследовать, надо бить, надо уничтожать. Но где же они? Ведь они неизвестны, под псевдонимами. Фи, черт! Но ведь наконец невыносимо, аспиды нас разоблачают, аспиды жить не дают нам. Правда, аспидам иногда достаются трепки, но аспиды растут день ото дня, от аспидов не уберешься. Хоть бы мышьяком их, проклятых! Хоть бы они на лбу надписи у себя сделали, что они аспиды!

Да, я знаю, много есть злонамеренных людей. Злонамеренные люди разрушают наши мечтания, наши надежды, злонамеренные люди разоблачают нас, вообще пакостят и пакостят. То разуверят нас в корейшевских кадилацах³, то обнаружат, что Чичиков нехороший человек, и разобьют наши надежды о том, что за дружбу с ним мы получим генерала, то объявят нам, что мы едим щи с тараканами и дрянные пироги с луком, тогда как на свете есть щи без тараканов и какие-то страсбургские пироги. А какое нам до этого дело! Оставьте нас, не разоблачайте, это неприлично, это «халатность», как выражается «Время». Оставьте нас в наших халатах и колпаках, с нашими халатными побуждениями и колпачным мышлением. Но злонамеренные разоблачают и разоблачают...

Ведь это грустно и грустно, мало того — глупо, скверно, подло и вообще злонамеренно.

А день ото дня все больше и больше злонамеренные отнимают у благонамеренных надежд и верований, больше и больше отрывают от сердца милых ему предметов. Ведь какие, например, были милые сердцу предметы откуп или «Русский вестник»⁴. Откуп злонамеренные оклеветали, и откуп пал. Про «Русский вестник» же злонамеренные говорят, что он хочет не прогресса, а дегтя.

Разве это не злоумышление?

Теперь хоть сказать про профессора Чичерина⁵; к чему было говорить, что он издал не разбор современных (т. е. XIX столетия) вопросов, а ханскую грамоту XIII столетия, найденную им в одном московском архиве? А между тем ученому профессору положительно известно, что она хотя и в XIII столетии составлена, но именно для разрешения вопросов XIX столетия.

Тоже вот про Памфила Иосафатовича Юркевича⁶: злонамеренные утверждают, что Памфил Иосафатович, желая разбить Бюхнера⁷, сам об него разбился, и разбился на кусочки, так что редакция «Русского вестника» долго принуждена была собирать остатки почтенного профессора философии, и только после долгих трудов г. Леонтьев⁸ успел собрать несколько таковых и поместил их в редакцию на полке между антиками древнего Рима и жезлом покойного Ивана Яковлевича⁹. Так вот как: а я-то все думал, что вот Памфил Иосафатович поддержит нас и наш корейшевский... (неразборчиво). Ужасно, когда разбиваются самые лучшие надежды.

Вот так, например, на одного господина подействовало разочарование.

Этот почтенный муж прочитал в каком-то журнале, что методы западных педагогов не привьются и не годятся в наших школах, на нашей почве, и что один хороший педагог именно отрицает всякие выводы западной педагогической науки и желает, чтобы произросла и процвела наша почвенная педагогика, о чем и заботится в своей школе¹⁰. Поехал почтенный муж посмотреть, что у нас произросло. Приехал; глядь, а наместо школы с русским почвенным методом что произросло? Винокуренный завод. Как так? Так, потому что наша почва более способствует произрастанию винокуренных заводов. Почтенный муж до того был озадачен, что немедленно написал проект о преобразовании всех школ в винокуренные заводы с русским педагогическим методом. Это невероятно, вы думаете. А между тем так-с, сей почтенный и любознательный муж сошел с ума от разочарования.

Козни злонамеренных видны везде.

Видны они и в литературе. Недавно еще мы были разочарованы в одном журнале «Время»¹¹. Мы думали, «Время» нас поддержит. Мы надеялись на Михаила Михайловича, но и тут злонамеренные разоблачили, и тут напакостили, да и как разоблачили-то, разбойники. Сняли и колпак, шитый философом Страховым¹² из гегелевских категорий, сняли и парик, выбили из него почвенную пудру, отвязали Косицу и обнаружили дуракову плешь¹³. Начали разоблачать далее. «Халатность, халатность! — закричало «Время». — Это халатность с распахиванием халата»*. Но не пощадили злодеи, распахнули и сдернули халат: халат оказался чужой, он принадлежал Илье Ильичу Обломову и был скуплен где-то с аукциона Михаилом Михайловичем Достоевским за очень сходную цену.

* Слово из одной полемики «Времени». (Примечание автора.)

Под халатом оказалась груда печатной бумаги. Начали раз-
вертывать бумагу, тут были и трактаты об антиспатах и несколь-
ко томов размышлений о почве, написанных чиновником особым
поручением при редакции Косницей¹⁴, нашлось и несколько листов
(листов тысячи две, кажется) перепечаток из «Москвитянина»¹⁵.
Развертывали, развертывали, трудились, трудились. И что же во
всем этом оказалось завернутым? Что бы вы думали? Папироска¹⁶.
Каково-с? Публике-то каково? Ведь хоть бы что-нибудь, а то па-
пироска, одна папироска! Что же после этого приходится делать?

Ведь злонамеренные эти до конца дойдут, ведь они ничего не
щадят, ни почтвы, ни халатов, ни даже фабрики редактора, ведь
они окончательно разоблачат и последнее достояние, сапоги всмят-
ку и те снимут. Приходится самим разоблачаться, куда другие
не разоблачили.

«Время» решилось прибегнуть к этой благоразумной мере.

«Время», имея поползновение раскрывать псевдонимы и доис-
киваться имен настоящих авторов статей, намерено ныне занять-
ся этим разоблачением у себя¹⁷ и, слышно, вскоре объявит, что
г. Игдев не есть г. Игдев, а есть Агьло, сотрудник «Русского ли-
стка», написавший в 14 № пасквиль на женщин по поводу рома-
на г. Чернышевского*. И что столь загадочный доселе г. Косица
есть не что иное, как комета, усмотренная недавно астрономом Ви-
ниске с Пулковской обсерватории, близ Пегаса, о чем уже и изве-
щена Академия наук¹⁸.

Во-вторых, «Время» заказало Федору Бергу¹⁹ всякий месяц до-
ставлять сатиры на свой журнал, потом выписало с планеты Энке
настоящего антиспата для сочинения юмористических стихотворе-
ний.

И вот в третьей книжке «Времени» появилось следующее, оче-
видное, антиспатам сочиненное, стихотворение:

Ре, ро, ре, ро!
Молодое перо!
Усь, усь, усь,
Какой же он гусь!**

Успех превзошел все ожидания. «Время» достигло своей цели —
разоблачило себя вполне перед своими читателями. Эти бессмерт-
ные четыре стиха послужат эпитафией к гробнице «Времени», на
которой самое «Время» будет изображено в виде Сатурна, пожи-
раемого своими же детьми, антиспатами. Да, ужасное время, чита-
тель. Вот до чего довело «Время». Я рад за одно, что свистунам
нечего будет делать. «Время» само решило себя освистать, раз-
бить и расхлестать. Не доставайся, дескать, наше добро злонаме-
ренным.

Больше ничего не остается, куда деваться? Что делать? Ра-

* «Русский листок» тоже со своей стороны своевременно объявит: Агьло —
не лошадь, как предполагали читатели, а есть просто г-н Игдев. (Примечание
автора).

** См. «Время», март, «Современное обозрение», с. 163. (Примечание авто-
ра.)²⁰

зоблачают и разоблачают! Ничего не уважают, злодеи! Ни Павла Ивановича Чичикова, ни пирогов с луком, ни журнала «Время». Что же после этого, если ни к каким священным предметам уважения не питают, что если у людей ничего священного нет, что тогда? Я вас спрашиваю. Трепку? Но поймите же, читатель, что трепку положительно нельзя дать потому, что злонамеренный неизвестен; дашь трепку, но не тому, кому следует. Мы гибнем, читатель, поймите вы это. Наши все гибнут, одно средство — самим себя разоблачать. Но как же, спрашиваете вы, если мы разоблачимся из халатов и колпаков, мы останемся в натуре, как журнал «Время» или как Иван Никифорович в летние месяцы? Что же делать, читатель! Так и останемся!

Фельетон опубликован в журнале «Искра», 1863, № 14.

¹ Откупа — монопольное право на взыскание государственных налогов, переданное частному лицу.

² «Пчелка» — «Северная пчела» (1825—1864) — официальная политическая и литературная газета, издававшаяся в Петербурге под редакцией Ф. В. Булгарина, с 1860 г. — П. С. Усова.

³ «Корейшевские кадилицы» — от имени известного в первой половине XIX в. московского юродивого Ивана Яковлевича Корейши. В полемической литературе 60-х годов его имя служило олицетворением бессмысленных высказываний.

⁴ «Русский вестник» — журнал литературный и политический, издавался с 1856 г. в Москве под редакцией М. Н. Каткова.

⁵ Чичерин Борис Николаевич (1828—1904) — историк русского права, философ, профессор Московского университета, публицист либерального направления.

⁶ Юркевич Памфил Данилович (1827—1874) — философ-идеалист, профессор Киевской духовной академии, с 1861 г. профессор Московского университета, сотрудник «Русского вестника». Выступал против Н. Г. Чернышевского. Ядринцев производит отчество Юркевича от имени Иосафата Кунцевича (1580—1623), иезуита, жестокими мерами насаждавшего церковную унию в Белоруссии, что вызвало к нему всеобщую ненависть. Был убит восставшими горожанами и крестьянами.

⁷ Бюхнер Людвиг (1824—1899) — естествоиспытатель, вульгарный материалист, после перевода его книги «Сила и материя» в 1860 г. стал популярным в России.

⁸ Леонтьев К. Н. (1831—1874) — философ-идеалист, мистик, публицист и литературный критик. В «Русском вестнике» была опубликована его статья «О судьбе землевладельческих классов в Риме», вызвавшая полемику.

⁹ И. Я. Корейша.

¹⁰ Вероятно, речь идет о статье Н. Страхова в журнале «Время» (1863, № 1, статья за подписью Н.) «Жрецы науки для науки (по поводу статьи «Наука и гениальные люди» в «Учителе», 1862, № 24)», в которой говорилось в частности: «Мы предпочитаем успехи образованности на нашей родине всем успехам науки на Западе...».

¹¹ «Время» (1861—1863) — литературный и политический журнал, издававшийся в Петербурге Михаилом Михайловичем Достоевским при активном участии Ф. М. Достоевского, орган почвенников, утверждавших, что «национальная почва» — основа социального и духовного развития России.

¹² Страхов Н. Н. (псевдоним Н. Косица, 1828—1896) — философ-идеалист; сотрудник журнала братьев Достоевских «Время», идеолог почвенничества, выступал против журнала «Современник».

¹³ В ответ на статью в «Современнике» — «Наши толки о народном воспитании» — журнал «Время» выступил с полемическим «Сказанием о «Дураковой плещи». Выражение взято из хронике «Современника» — «Наша обществен-

ная жизнь». В этой хронике М. Е. Салтыков-Щедрин писал о людях (сотрудниках «Времени»), которые лезут из «Дуракова болота» на «Дуракову плешь».

¹⁴ Н. Страхов-Косица опубликовал в журнале «Время» огромное количество статей и заметок, в том числе псевдонаучного содержания, как трактат «Жители планет». Именно такие работы Н. Страхова имел в виду М. Е. Салтыков-Щедрин, когда писал, обращаясь к журналу «Время»: «Как бы опять «антиспаатов» не наврать!» («Современник», 1863, № 3).

¹⁵ «Москвитянин» (1841—1856) — научно-литературный журнал, издавался М. П. Погодиным в Москве. Намек на активнейшее участие в журнале «Время» Ап. Григорьева, бывшего ведущего сотрудника «Москвитянина».

¹⁶ «Папироска» — намек на редактора журнала «Время» М. М. Достоевского, державшего табачную фабрику.

¹⁷ Обострение полемики двух журналов началось с заметки М. Е. Салтыкова-Щедрина «Литературная подпись» в «Современнике». В заметке высмеивалась «хлестаковщина» «Времени»: А. Скавронский (псевдоним Г. П. Данилевского, сотрудника «Времени») упрекал Н. Скавронского (псевдоним А. С. Ушакова) в «злоупотреблении его подписью».

¹⁸ Игдев — таким псевдонимом И. Г. Долгомостьев (ум. в 1867 г.) написал статью «Сказание о «Дураковой плеш», направленную против «Современника». Участие Игдева-Долгомостьева в еженедельной газете «Русский листок» (1862—1863) установить не удалось. Пасквиль на роман Н. Чернышевского «Что делать?» опубликован под заглавием «Фельетон», им открывается номер «Русского листка». Ядринцев называет Косицу кометой, потому что «астрономическая» статья «Жители планет» подписана полным именем — Н. Н. Страхов.

¹⁹ Берг Ф. Н. (1840—1909) — поэт, переводчик, сотрудник «Времени», его неудачные стихи часто пародировались; высмеивал поэта и М. Е. Салтыков-Щедрин, утверждая, что «он пишет самую язвительную характеристику того самого журнала, в котором помещает стихи свои». («Тревоги «Времени» — «Современник», 1863, кн. 3).

²⁰ Н. М. Ядринцев пародирует стихи Ф. Берга, но сноски его относятся к анонимной статье журнала «Время» «Опять „Молодое перо“». Ответ на статью „Современника“ „Тревоги „Времени“¹» (написана Ф. М. Достоевским). В ней Достоевский обвиняет Салтыкова-Щедрин в отступничестве от идей Чернышевского и Добролюбова: «Какой же он гусь!»

ИСТОРИЯ ЭТАПНОГО СТРАНСТВИЯ ОБЫКНОВЕННОГО СМЕРТНОГО

(Из записок беспаспортного*)

Теперь мы опять повернули на побочный тракт и под надзором инвалидных солдат пошли пешком. Первая станция была особенно мучительна. Мы вышли довольно поздно и прошли около 36 верст до ночлега. Солнце пекло невыносимо; дорога была песчаная,

* Записки эти принадлежат лицу, прошедшему значительный путь за просрочку паспорта. Таких лиц вообще пересылается огромное количество. В пять лет через один Петербургский замок прошло их 36 527 человек. Лицо, делавшее подобный путь, на сей раз обладало способностью занести свои впечатления. (Примечание автора.)

Этим лицом был сам Н. М. Ядринцев, высланный по этапу в Архангельскую губернию. «Беспаспортный» — камуфляж, так как не мог он говорить в печати о высылке политической. Предлагаемый текст — отрывок из главы в книге «Русская община в тюрьме и ссылке» — свидетельствует, что добрая половина этой книги подлинно-художественный очерк. (Примечание редакции.)

ноги тяжело брели по песку, а некоторые из нас тащили еще кандалы. Сапоги начали сбрасывать. После тяжелого перехода на пути давали отдыху не более пяти минут, потому что вышли поздно, а солнце все более и более припекало; голова кружилась, ноги подкашивались, пыль лезла в горло, и жажда томила невыносимо. Чаще и чаще тянуло пить, что, впрочем, благодаря частым, почти сплошным деревням под Нижним, было делать довольно сподручно. В это-то время выскакивали из домов староверов женщины с холодным квасом и давали возможность хоть немного освежиться партии. Но только немного проходили, как жажда еще сильнее мучила, и мы опять искали колодца.

— Погодите, погодите немного,— говорили солдаты,— вот сейчас будет деревенька: староверы живут. Тут будет один дом: они уж всегда встречают арестантов, никогда не пропустят. У них и лавочка около дому выстроена; квас отличнейший, холодный!

И только начинали подходить к дому, как действительно краснощекая сильная молодуха вытаскивала громадное ведро с холодным, ледяным квасом и с деревянным ковшом. Посуда эта была нарочно приготовлена для проходящих: свою они держат про себя.

— На здоровье, на здоровье, батюшки! — кланялась молодуха и уходила. И как предусмотрительно и скромно все это выполнялось!

К вечеру жара начала немного спадать, и мы почувствовали; ощущалось только утомление и разбитость. Когда стемнело, мы вошли в Балахну. В каком-то особенно приятном свете представился мне этот тихий городок, или я устал и был отуманен. Веяло кругом тишиной и прохладой; веселые дома, необыкновенно красивые лица детей и женщин кинулись в глаза. На тенистом бульваре еще прохаживалась публика. В остроге мы заснули как убитые. На другой день мы отдыхали: здесь была дневка. Городок и самый замок был скромный и патриархальный; около острога виднелся бульвар и зелень; в остроге, довольно чистом, текла скромная жизнь; к нам доносилось пение священника из маленькой острожной церкви, легкий дым ладана, а кругом тихо качалась и лепетала зелень. Покой, забвение и тихая грусть веяли кругом, как на мирном сельском кладбище.

Отдохнувшие и свежие, мы двинулись дальше. Только теперь я заметил, что мы находились среди густого населения около самого центра России. Деревни были особенно часты, местами выдвигались красивые рощи дубов и кленов. Еще вчера мы проходили мимо очаровательного фруктового сада, из которого пахло таким букетом цветущих лип, яблонь, сирени. Этот сад, как мы узнали, благоприятно расцвел на соленой почве, а владелец его испытывал уже горькую участь заключения в Нижнем. Около деревень были засеяны колосистые поля. В одном месте под горой открылся ослепительно-зеленый покос; близ дороги стояли в ярких рубашках мужики и в мускулистых, засученных руках их блестели поднятые косы.

— Вот бы кого заставить поработать! — замечал кто-нибудь из них. — Карманников!

Это относилось к нам. Но это было несправедливо: в партии было несколько людей в оборванных пальто, но мазуриков не было. Состав партии был более скромный. На телеге больных ползал сумасшедший нищий, которого препроводжали из Нижнего до ближайшего уезда; подле сидела вологодская зырянка, ходившая в Пермскую губернию на заработок, но заболевшая там сухоткой и отправлявшаяся умирать на родину. От этой молодой девятнадцатилетней женщины остался только скелет; глаза слезились, она едва ползла. Скоро ее по болезни оставили в маленьком городке на пути, там она, вероятно, и умрет. Шла в партии другая зырянка, здоровая и выносливая баба, тоже из Пермской губернии, бывшая на заработке и просрочившая паспорт. Еще шел костромской парень, ушедший в бурлачество и живший в Перми в маркерах. Пропустивши срок паспорту, он работал на пристанях и после облавы полиции взят был с целой ватагой другого беспаспортного народа. Он был в старом суконном пальто, в портах, босиком и почему-то в оковах. Далее шел мальчик четырнадцати лет из Петербурга, живший в учении у красильщика, заболевший и очутившийся без вида, бойкий парнюга, с большой рыжей головой, в одной старенькой рубаше с манишкой и в коленкоровом картузе. Он постоянно баловал и рвал наручни к досаде конвойных, которые все его пристрачивали, но пристрашать не могли. Еще шла какая-то авантюристка, солдатка Аришка, бегавшая постоянно от мужа и часто гулявшая по этапу. Наконец, несколько мужиков: это были лица, пересылаемые обществом. И таких людей пересылается у нас громада...

Под вечер мы приблизились к маленькой деревне с черными избами.

— Где же этап? — спрашивали мы.

— А вот в конце деревни.

Мы остановились около маленькой гнилой избушки, полувросшей в землю; подле находился хлевок шагах в шести: это был как будто дворик. В скосившейся, развалившейся избушке была темнота: ее едва освещали два узеньких слуховых окошка, перегороженных крест-накрест железными прутьями. Это была низенькая и узенькая клетка шагов в восемь длины; кроме того, она была отгорожена, и за перегородкой жил старик нищий, карауливший этап. На полу грязная солома. Тут приходилось разместиться двенадцати человекам да еще конвою.

— Как же мы тут влезем? — спросил кто-то.

— А как-нибудь влезем! — ответил солдат.

И действительно — влезли. И вспомнил я анекдот, рассказанный в дороге. Солдат рассказывал про необыкновенных пчел, водившихся в его губернии.

— Вот какие пчелы! — говорил он, сжимая два кулака.

— Ну, а ульи? — спрашивали его.

— Что ульи? Ульи — обыкновенные!

— Как же такие пчелы влезают?

— Да у нас хоть тресни, а полезай! — с энергией промолвил рассказчик.

Ночь в этом маленьком котухе была неприятная! Люди разлеглись подряд, тесно сжавшись друг подле друга на грязной соломе; дверь заперли на замок, как следует по уставу, часть солдат ушла в хлевок, а человека три осталось с арестантами. Один из инвалидов сидел, приткнувшись к дверям, на кукорках и зажег лучину. После летней жары воздух сперся. Тучи комаров и мошек нахлынули и вились около голых тел; лучина чадила около заснувшего солдата, насекомые кусали и жалили, заснуть было невозможно; в каком-то бреду раскидывались тела, в ухах звенело, дыхание сперло, казалось, это была агония асфиксии.

Такой этап находился в центральной губернии, в шестидесяти верстах от богатейшего города! Таким он оставался и в руках земства, которое уже существовало в этой губернии.

* * *

Мне в первый раз доводилось видеть внутреннюю Россию с ее густым населением, с ее садами, усадьбами и деревнями. Я знал ее только по книгам. Теперь мне вдобавок еще пришлось видеть «обновляющуюся Россию». Здесь на меня повеяло воспоминаниями давно прочитанного, чего-то идеального, мечтательного. Вот эти помещицы дома, сады, усадьбы, которые столько раз рисовались и Пушкиным, и Гоголем, и Тургеневым. На красивых дрожках прокатила по дороге седая, сухопарая помещица, с желтым, сморщенным лицом, держа в руках роскошный букет оранжерейных цветов. Открылся в тени помещичий дом, и за решетчатой оградой, на крыльце, стоял старичок в халате, с трубкой и длинным чубуком, какие теперь, вероятно, нигде не встречаются. Перед ним без шапки, по старой памяти, стоял крестьянин. Старичок — помещик, но как он осунулся и поседел после 19-го февраля! Вот и пруд, и сад с душистыми яблонями, с темными арками и аллеями. Не здесь ли бродила мечтательная Татьяна? Не здесь ли разыгрывались похождения героев Тургенева? Там, на обрыве, под этим старым дубом слышались трепетные речи любви. Здесь на берегу мечтали о Гете и Шиллере, в этой беседке звучал поцелуй, по темному саду в полумраке таинственно пробегали тени, а из окна сладко замирала соната Бетховена и страстно дрожал женский голос итальянской мелодией.

Пустынен теперь стоит этот сад: зацвел пруд, покрытый когда-то лебедями, и старая липовая беседка покачнулась, и романтический балкон на доме, ободранный, полуразрушенный, смотрит старым чепцом, надвинутым на плешивой старушечьей голове. Старые Лаврецкие стоят с горькою думою над этими развалинами. Может быть, новые сцены разыгрываются здесь из романа «Молодая и старая Россия», и идет современная драма. А может быть, иная жизнь уже копошится и проникла сюда; может быть, рассу-

дают и тут о современных вопросах, и в эту минуту в прохладных библиотеках, посреди кучи газет, слышится спор юнцов и лихорадочно бьющийся пульс новой жизни... «А хорошо бы теперь взглянуть, что тут делается!» — мелькнуло у меня в голове. А партия бренчит и проходит мимо нового блестящего летнего домика с отворенной стеклянной дверью на балкон, выходящей в цветники.

— Ведь хорошо бы теперь в таком доме побывать! — коварно обращаюсь я к длинному шагающему подле меня приказчику из Юрьевца, идущему за какую-то продерзость начальству в Кострому.

— Да, очень бы теперь приятно в привилегированном доме с прекрасными девицами привилегированные танцы танцевать, вести привилегированные разговоры и пить вина лучших сортов! — отвечает он, вздыхая.

Этот милый коробейник и приказчик своим живым юмором постоянно развлекал меня. Откуда он приобрел столько мудреных слов? «Ну, вот мы и отдохнем теперь с прокламацией (т. е. с прохладой)», — говорит он, располагаясь на травку на растахе*...

Идти легче. Вечерняя прохлада охватила свежестью. Дорога стала песчанея, бор становился гуще, выше поднимались вершины синего леса, места дичают, и скоро охватило нас величественною тишиною и покоем: повеяла «темная дубравушка». Люди шли бодрее.

— А что, не гаркнуть ли нам, господа часовые? — говорит удалый арестант Соловьев, из костромских крестьян, русский гулящий человек, побывавший везде, от Сибири до волжских пристаней, веселый и неунывающий.

И ах, ты, чернобровая моя да с крапинками,
И за что ты меня высушила?..—

вдруг звонко подхватил Соловьев, и голос его заметался, зазвенел с самой беззаботной удалью и полился по роще. Понемногу это настроение перешло к партии: затянули хор, а два молодых живых солдата сбросили шинели, обнялись и начали выкидывать ногами. На минуту живые чувства охватили и конвойных и конвоируемых, и никто бы не узнал теперь, что это партия.

А между тем на каждом шагу мелькает «обновляющаяся Россия». В городках попадает земская управа с новой золоченой вывеской. По тракту видно, как проскачут бойкие земские деятели и сеятели на красивой, уютной тележке с бубенчиками, в гарибальдийке, в пенсне, с деловым видом, и скроются в облаке пыли. Это уже не то, что старый становой в колымаге! Попадаются мужики и старосты с большими медными бляхами. Проехали какие-то сельские власти в приличных сюртуках; один из них с важной бородой.

— Кто это такие? — спросили мы попавшегося мужика.

— Писарь с приказчиком палку с набалдашником отыскивают: вчера проездом потеряли.

* Р а с т а х — короткий привал арестантов.

Побывал я раз случайно, [идя] за билетом на подводу, около земского собрания. Проходили какие-то молодые чиновники, осанистые, гордые, в вицмундирных фраках, которые сидели на них так же ловко, как и на чиновниках особых поручений; физиономии в независимых бородаках и усах. Сбросив пальто, чиновник небрежно взбивал назад волосы и входил развязно. Писаря были молодые мальчишки, одетые прилично, с хорошо завязанными галстучками. Я стоял в прихожей с благоговением и припоминал слова либерального старичка, когда-то мне сказанные: «Ведь это, батюшка, сельфговерnement* пахнет!» Даже на нас, этапных, отразилась новизна: плакаты на подводу под больных были новенькие, чистенькие, желтенькие...

В одной деревне при покупке яиц я пристал к мужику.

— Что ваши земские порядки? — спросил я.

— Какие? — отвечал худенький, отрепанный мужичишка.

— Ну, известно какие: ведь у вас теперь земство... выборы есть в собрании...

— Не можем знать.

— Да как же, братец! — начинаю я объяснять. — Теперь у вас и раскладки другие, и повинности иначе исполняются.

— Не можем знать; нам это неизвестно.

— Ну, вот мировые судьи, чиновники новые.

— Это действительно, что чиновники есть новые!

Мужик ничего и не слышал о земстве. А может быть, это исключение. В другой раз и на красивом обрыве около помещицкой деревни, когда пришлось покупать молоко, я спрашиваю:

— Как ваша барыня? Вы ходите к ней в усадьбу?

— Добрая барыня: сахару детям дает! — отвечает баба.

— Что ж, это очень хорошо!

— Да вот только покос при разделе...

— Ну, это другое дело!

Деревни попадались хилые. Те же черные закопченные избы. В лавочках, однако, продают коральки, колбасы и папиросы. На дороге посреди лесу встречаются щегольские экипажи — легкая коляска с целым цветным букетом дам в шиньонах, одетых по последней моде и болтающих по-французски. Я иду и на дороге нахожу недавно кинутый французский билетик — клочок газеты, коробочку от английских спичек с надписью «Лондон, Пиккадилли» и т. п. Да, мы все-таки в центре цивилизации, кругом дает себя знать другая жизнь: шутка ли... с улицы Пиккадилли спички!

А вот на этой же дороге иная сцена: встречаются какие-то бессрочно-отпускные солдаты. Около них целая ватага баб, вопиющих о чем-то. Оказывается, какое-то дело о краже сарафана этими проходящими. Бабы угрожают, обещают приехать с обыском. Бессрочные идут по нашим стопам и, когда крестьяне удалились, начинают друг друга обыскивать. Сарафан находится в мешке одного

* Сельфговерnement — самоуправление, в противоположность монархии.

подгулявшего отставного. Начинается «хлоп, хлоп!» А потом идут и учреждают суд: товарищи очень возмутились поступком негодяя.

— Что нам теперь делать с ним? — говорили они. — Надо его заковать да сдать в партию. Этого мы не потерпим: он позорит...

— А не лучше ли, братцы, своим судом? — вступаются некоторые.

— И то, братцы, своим судом, потому как пойдет он под суд, должен лишиться всего, всей своей службы, а лучше...

— Это лучше! — подтвердили многие.

— Так согласен своим судом? — обратились они к виновному. Полупьяный солдат, угрюмый и тупой, покачал головой.

— Ну, как хочешь... Худо будет тебе!

— Тебе же лучше будет! — кто-то уже начинал убеждать. — Сейчас нарежем прутьев, — как будто в виде утешения говорил оратор.

— Эх бы, я как принял: с удовольствием! — восклицал какой-то молодой.

— Согласись! Потом ведь все забудем: ничего тебе не будет, и поминать не будем! — умоляли другие.

— Это как есть... Потом молчок, братцы!

Шли дальше. Желание судить разыгралось.

— Пятьдесят только... Согласен?

— Двадцать! — глухо проговорил виноватый.

И вот на большой проезжей дороге, в то время, когда партия стояла в стороне, растянули тело на самом том месте, где валялся лондонский пакет от спичек, и — свершился русский самосуд! О ежели бы в это время проехала аристократическая коляска с шиньонами — какой пассаж! Я лежал в эту ночь на этапе и долго не мог заснуть, ибо хотя этап уже был новый, но летний удушливый воздух как-то теснил меня. А в голове теснились земство и несчастный этап в хлеве, мировые судьи и расправа на большой дороге, коляски, шиньоны, улица Пиккадилли и ужасный свист розг! Черт знает, какой сумбур! Все это мешалось в голове, а голова была тяжелая, глаза не поднимались.

Из книги «Русская община в тюрьме и ссылке», СПб., 1872, с. 301—310.

НА ЧУЖОЙ СТОРОНЕ

(Из нравов поселенцев в Сибири)

Глава I

На роздыхе

Европа — Азия.
Надпись на Урале.

На дороге между Екатеринбургом и Пермью, на перевале Уральского хребта вьется пологая песчаная дорога, то поднимаясь между густым и темным лесом, раскинутым иногда на грудах жи-

вописных валунов, то спускаясь в долины и горные котловины с светлыми голубыми прудами, с белыми каменными церквями на берегу, обнесенными изящными чугупными решетками, с группами заводских селений, среди которых виднеются, как чудовища, темные, вечно дымящиеся постройки заводов, откуда слышится грохот молотов, потрясающий горную окрестность. На этой дороге, в стороне от леса, стоит мраморный памятник, окруженный тремя одинаковыми соснами и украшенный золотой надписью — с одной стороны «Европа», с другой — «Азия». Памятник этот всегда останавливает внимание путешественников и вызывает их на размышление, он служит предвестником другой части света, как и предвестником далекой Сибири. В настоящую минуту мы просим читателей обратить внимание на группу путешественников, которая раскинулась около него отдыхом. Это была партия ссыльных, шедшая в Сибирь в начале осени, несколько лет тому назад, когда арестантов везли по этому тракту пешком. Ей дали несколько минут отдыха, что называется на партионном языке р а с т а х. Здесь можно было видеть самые пестрые и разнообразные личности, собранные со всей России, связанные одною цепью несчастья. Около дороги сидели запяленные каторжные, осматривая и поправляя кандалы, натершие ноги, они были в поту, глухо звенели цепями, раскинувшись на придорожной пыльной траве, и тяжело дышали усталую грудью. Другие ссыльные, собравшись группами, посматривали с любопытством на знаменательный памятник, отделявший их навсегда от родины. В среде этой партии виднелись хилые старики и молодые парни, женщины и дети, мазурики и воры больших городов, крестьяне и фабричные, дворовые люди, выбритые и в усах, разные бродяги, дезертиры и нищие, покрытые рубищами и арестантскими халатами с цветным вензелем своей губернии на спине, в толпе попадались инородцы: татары с грязными татарками, черкесы с огненными глазами, смуглые грузины в высоких шапках, лифляндцы в теплых фланелевых куртках, чухна с белыми отвисшими волосами, контрабандист-еврей с громадной семьей и много всякого другого народа.

Недавно, идя по этой дороге, партия вела еще оживленные разговоры и бойкие рассуждения. В одном месте громко хохотали над молодым парнем в длинном отрепанном по полам азяме, в измятой шляпенке горшочком, прорванной на верху, и с забытой, выражающей изумление физиономией. Подле него шли двое бойких арестантов — один щеголевато подстриженный, другой с высоко подбритым затылком, оба с лихо закрученными усами; это были маркер из Москвы и камердинер из Петербурга — два закадычных друга. Они то и дело тешились над деревенским парнем.

— Так за что же тебя все-таки сослали-то? — добивались от него.

— Ведь я говорю, что я его пхнув,— говорил парень картавя.

— Ха, ха, ха! Да как же ты его пхнул? — продолжали приятели.

— Да так и пхнув,— тихо произносил парень.

— Так и пхнул? — весело заливался маркер. — Ну да за что же, скажи, ты пхнул-то его?

— Ведь я ему говорил, чтобы не лез! — растягивал парень.

Взрыв хохота, и к парню снова с видимой серьезностью приставали с расспросами, но получали опять один и тот же ответ: «Пхнув!»

— О господи! Ой, живот надорвал! — долго повторялось в толпе, хохотавшей на разные лады.

Парня считали здесь самую неотесанною деревенщиной. Это был бобыль из какой-то глухой деревнюшки в отдаленной местности России. С детства он был уже забитым сиротой и считался почти дурачком. Мужики и соседи заставляли его даром работать на себя и при этом тешились над ним как над блажным. Когда он пришел в возраст, мужики вздумали его дразнить тем, что скоро его потянут на сходку и потребуют подати, а так как у него денег нет, то будут его драть. Парень вытерпивал самые грубые шутки. Однажды захмелевший на празднике богатый мужик-самодур вздумал устроить себе потеху и попер его за шиворот на крестьянскую сходку. Парень долго плаксиво кричал:

— Не лезь! Не лезь!

Но мужиков это только тешило.

Тогда, озлобившись и сопротивляясь, парень ударил своего преследователя обухом топора, который у него был с собой, по руке, но так сильно, что изломал руку. На дурака восстали и предали суду. Когда его с изумленными и выпученными глазами привели к становому, он ничего не мог понять.

— Ведь ты чуть не убил человека, — говорили ему.

— Я его пхнув, — отвечал он.

— Как же ты смел это сделать? Ведь ты его ударил топором?

— А я ему говорил, чтобы он не лез! — больше парень ничего не мог прибавить.

Так же с выпученными глазами и с полным недоумением он выслушал приговор старого суда и с тем же изумленным взором он остался и теперь, идя в Сибирь на поселение. На самом деле он не был совершенным дураком, он был только крайне неразвитым и забитым малым. Другие его два собеседника были уже люди высшего полета. Это был народ «полированный», «столичный», как они называли себя. Маркер судился за ограбление посетителя в одном из трактиров, а камердинер за то, что цапнул пакет ассигнаций у своего барина и спустил их в развеселых мещанских. Эти люди по своему воспитанию чувствовали себя выше всех остальных в партии и на все смотрели высокомерно.

Далее в партии слышались публичные препирательства двух каких-то нежных супругов.

— И не могу я, братец, теперича от этой холеры никуда избавиться, — говорил арестант другому, указывая на жену. — Она же меня уличила, с ней же мне приходится житье мыкать, так как я сослан на житье, и потому жена должна быть при мне.

— Ах, уж и я из-за тебя, подлеца, намаялась, да бог смерти не дает! — скрежетала около него жена в свою очередь.

— Да ты знаешь ли что? — увещевал мужа какой-то находчивый арестант. — Проиграй ты ее в карты на этапе бродягам — и делу конец! *

— Как же мне было им так не отвечать, коли сие ведется еще от Адама, — следовал за этим разговор неподалеку идущей пары. Старый раскольник, как видно, рассказывал про свои ответы на суде какому-то юркому и бойкому арестанту.

— Да ведь сказано тебе было: не распространяй, — возражал тот ему.

— Не распространять, друг мой, нельзя, ибо все ведется еще от Адама, — внушительно говорил раскольник, гремя кандалами и стараясь попасть в ногу с своим товарищем.

— И хоть бы что, а то ведь чуточку только и подскоблил, — рассказывал писарь про свою вину.

— За чуточку-то вашего брата и учат! — внезапно прерывает его сзади идущий мрачный арестант.

— Это что-с! — вступает в разговор, забегая перед мрачным арестантом, живой и расторопный юноша. — А я вот так действительно в своей вине ни при чем был.

— Ну? — возражает рассеянно мрачный.

— У нас комендантский писарь вздумал, знаете, архиву жечь. Нужно было ему какое-то дело утянуть. Искал он его, искал... Нет! Давай, говорит, всю мы эту архиву сожжем...

— Ну?..

— И стали мы ее таскать за крепость. И как, братец ты мой, она горела — страсть!

— Кто? — внезапно спрашивал не обращавший внимания на рассказ арестант, видимо, заинтересованный картиной пожара.

— Да архива-та!

— О будь ты совсем! — отвечал разочарованный. — Отвяжись, бормотала! — прибавлял он.

Между тем маркер и лакей рассуждали о месте, куда их ссылают.

— Необразованность, — говорил один.

— Я вам говорю, в этой Сибири, — подтверждал другой, — все олень! На оленье ездят, оленье едят, оленем одеваются и... оленем прокладываются!

— Фу ты пропасть! — восклицал камердинер.

— Тут какая жисть? Одно остается — уйтить! — говорил маркер.

— Да ты знаешь ли дорогу-то? — вдруг кто-то с усмешкой заметил сзади него. — Может, как пошехонцы, выйдешь отсюда, так и придешь в то же место...

* Этот иронический совет основывался на бывшем обыкновении у бродяг, сидящих по острогам, проигрывать любовниц друг другу в карты. (Примечание автора.)

— А ты знаешь? — высокомерно сказал маркер, взглянув презрительно на жалкую и отрепанную личность в кандалах.

— Молчи, соплюга! — отнесся презрительно и гордо человек в хламиде к обоим джентельменам. — Видишь? — он указал на свои тяжелые сибирские кандалы *. — А это? — сказал он и засучил свою черную руку, на ней стояло два раза С. Б. (ссылный бродяга), — заслужи! — сказал он с насмешкою, — а не бахвалься...

Тут два приятеля увидели, что это был человек опытный, и «полированные» люди решили с ним познакомиться.

В конце партии плелись инвалиды; это был седой, как лунь, обросший в дороге бородою, отставной солдат, ссылаемый, как он рассказывал, за подброшенные ему ворованные вещи, и старуха из Усть-Сыольска, тоже замешанная в какой-то краже.

— А жалко — думал отдохну! Тридцать лет!.. Все бы ничего, старуху жалко. Оставайся, говорю, в Расее нашей, умирай без меня, все лучше, куда пойдешь за мной! — отрывочно произносил солдат.

Старуха моргала глазами и постоянно куксилась, она тоже только что услышала какой-то жалобный рассказ о дочерях.

Вслед за всем этим народом, жалующимся, переговаривающимся и ругающимся, тянулись телеги с женщинами и детьми, завернутыми в лохмотья у матерей на руках, обоз арестантских мешков и телега, везущая больного дворянина с сидящей подле него женщиной.

Остановившись на привале, партия на минуту замолкла. Это был последний привал в России.

О ссылке обыкновенно думают, что перемещение людей из одной местности России в такую же населенную и удобную местность Сибири не должно бы производить ужасающего впечатления. Но на деле это совершается иначе. Приговор о высылке поражает большинство судимых внезапно, всякий до этого приговора еще питал какую-нибудь надежду. Приговор поражает в самое сердце, отрезывает человека разом и навсегда от родины. Не успевши очнуться от удара, узнать о своем новом положении, преступник быстро отправляется в партию. Под тяжким и смутным чувством расставания, в приготовлениях к дороге, среди суетливых прощаний со всеми близкими навсегда, он не успевает опомниться и сознать, куда он едет и что его ожидает. Поэтому ссылный в Сибирь, очутившись на дороге, имеет самые смутные представления об этой стране и о дальнейшей жизни. Русские крепостные крестьяне думали, что люди в этой стране ходят под землю и работают в ледяном руднике, среди вечного мрака. Другие представляют ее всегда сплошную снежную пустыню, где местами только живут дикари и где царствует вечная полярная ночь. Некоторые уверены,

* Сибирские кандалы отличаются тем от российских, что первые состоят из больших прутьев, они предпочитают бродягами и каторжными, так как их легче привязать к ноге, потому и легче идти. Русские кандалы, хотя и легче по весу и состоят из мелких колец, но постоянно болтаются и задерживают ход. (*Примечание автора.*)

что в этой стране нет солнца, иные воображают, что это один ссыльный город или рудник. Идущий в ссылку думает, что здесь нет никаких промыслов, никакой промышленности, что добывать средства к жизни приходится с неимоверным трудом, а люди питаются в этих местах только рыбою да оленьим мясом.

Что удивительного поэтому, если над будущей жизнью здесь задумываются не только люди, привыкшие к жизни и занятиям в больших городах, люди высших помыслов, но даже русские крестьяне и бедные работники, привыкшие к трудной и самой тяжелой работе. Это свидетельствовало как о невежестве и совершенном отсутствии каких-либо географических сведений в нашем простонародии, так и о том, что, приготовляясь в ссылку, они не получали ниоткуда сведений о той стране, где им суждено было поселиться. В прежнее время слово «Сибирь» перед русским простонародием даже особенно обставлялось грозной таинственностью. Помещики готовы были распространять о ней всевозможные предрассудки, чтобы устроить крестьян. Мелкие чиновники и решители крестьянских судеб произносили это слово в минуты сильнейшего гнева и в виде ужасной угрозы. Все это создавало то впечатление, что о ссылке в Сибирь распространялись самые диковинные и поражающие вещи. Под этим впечатлением выходил преступник из России. Ссылные, следовавшие в Сибирь, в минуту отправки находились поэтому в крайне печальном и угнетенном состоянии духа. В каждом ссыльном видна была какая-то особенная подавленность, какая-то сосредоточенная тоска, каждый человек носил отпечаток заботы, вместе с чувством страшной неопределенности и загадочности своего положения. «Куда нас пошлют?» — обыкновенно спрашивают арестанты, вздыхая, в пересыльной партии.

— А бог его знает, может, туда, где и жить нельзя! — отвечают мрачно.

— Есть ли там какие-нибудь занятия-то? Можно ли работать где-нибудь, хоть черную крестьянскую работу можно ли работать? — такие вопросы постоянно задаются в партии.

Но все немые кругом, все устремляют безнадежно взоры в таинственную даль... А между тем сменяются этапы, шум, гам, везде идет суетня, утомительные передрыги дороги, так что голова кружится. Новые впечатления то и дело проносятся перед арестантом. Не утешает его, однако, пестрая и разнообразная, проносящаяся перед ним панорама России с ее большими городами, золотыми куполами церквей, ни раздольная Волга с ее судами и пароходами, с раскинутыми живописными деревнями по берегам, не развлекает ссыльного и встречающееся разнообразие населения. Ссылный видит эту Россию, ее жизнь, но она ему чужда, она не для него существует со своими красотами, как мир божий для приговоренного к казни. Ссылный арестант сосредоточен в себе, он не видит, и не слышит кругом ничего, и понятно, потому что впереди его — какая-то темная ужасающая пропасть с одной яркой надписью: «Сибирь». Арестант идет в громадном обществе таких же приговоренных, как он, и у всех одинаково скребет на сердце.

Арестант стремится чем-нибудь забыться, чем-нибудь развлечься. В громадных пересыльных замках, среди многолюдных этапов, изобильных майданами и торговцами, он пьет с горя водку, доставленную за большие деньги, с горя он набивает желудок лакомствами и конфетами, продающимися услужливой этапной солдаткой втрядорога, с горя же заводит любовь с ссыльной же смазливой арестанткой, ища сочувствия своему горю, с горя, наконец, ссыльный кидается в игру и ощипывается догола московским карманником и нижегородским шулером, вышедшими в ссылку *omnia mea pesum porto**. Скопленный запас деньжонок и данный на дорогу родственниками истрачивается на вино, уступается взаймы без отдачи ссыльному приятелю, вышедший арестант сыплет деньги щедрою рукою, потому что он освобожден только что из острога, потому что он подавлен горем, потому что он неопытен и не знает цен, он попадает во всевозможные ловушки, поставленные против него, поддается всем соблазнам. Да и до денег ли ему теперь? Стоит ли ими дорожить, когда это последние дни его жизни! *Юа* что они ему теперь, ведь впереди — Сибирь, то есть почти смерть. Результатом этого выходит то, что, приближаясь к границе Сибири, к месту поселения, где прибывшему сильнее всего будут нужны деньги, арестант оказывается без копейки. Приятели его обобрали и обокрали, любезная его разорила и обманула, перешедши к партнеру, выигравшему у него деньги. Уже в Казанском остроге, где прежде сосредоточивались самые азартные игры, он спустил последний грош, шегольскую московскую поддевку, шапку, сапоги и облекся, вытащивши из казенного мешка, в презренный халат с тузом. Тут же он узнал этапный опыт, формулированный в песне:

От Москвы и до Казани
Идем с полными возами,
От Казани до Тобола
Идем с горькими слезами.

Арестанту пришлось изжить и изведать горькую чашу, не удовлетворив своему горю. Окончательно разочарованный, обманутый, потрясенный всевозможными коллизиями, измученный бессонными ночами за игрой, одиноко и в рубище, с разбитым отчаянием сердцем, стоит теперь этот путник на границе Сибири.

Приходится вдобавок расстаться и с Россией. То сознание, которое он отдался, которое он душил в себе и развлекал всеми силами, стало перед ним ясно. Развязка незаметно приблизилась. Наступает минута — последний раз переступить родную землю. Смутное и таившееся чувство потери отечества навсегда, не выступавшее еще с полною силою, в настоящий момент нахлынуло разом со всею своею болью и дало себя почувствовать. Приходилось вырывать из сердца глубочайшую привязанность для человека. Торжественная минута прощания приближалась.

С таким чувством стоял ссыльный у монумента на Урале, отде-

* Все мое ношу с собой (лат.).

ляющем Европу от Азии. Вот почему ссыльная партия замолкла и находилась в положении тяжелого раздумья.

У монумента весело толковали только маркер да петербургский лакей, так как у этих людей, кроме гостиницы да прихожей, не было другого отечества, да еще старый бродяга, стоя на одном колене, хладнокровно чертил углем на памятнике: «Иван Долгой прошел опять на кару такого-то числа, поклон старичку Миките»*. Этот человек давно пережил острую болезнь расставания с родиной, но и он жил еще надеждой побывать в ней.

— Ну что ж, в поход! — неожиданно прервал молчание партии старший конвоир.

Партия поднялась, зашевелилась, загромыхала. Наступило минутное колебание.

Ссылные вполборота еще смотрели по дороге на Россию-матушку, которую им не видать больше. Сконцентрированное чувство тоски со всею силою в эту роковую минуту теснило грудь ссыльного, что-то приступило к сердцу, что-то душило его томительной, тупой болью...

В конце партии из толпы поднялся старик; голова его была обнажена, лицо торжественно и страшно, как у мертвого, он поднял седую голову и произнес глухим голосом на всю партию:

— Ну, прощай, Расаеюшка! — старик сделал земной поклон и припал на землю.

Несколько ссыльных повалились на колени за ним.

— Матушка-Расаеюшка! О проклятая Сибирь! — гремело среди ссыльных вместе со звуком кандалов.

Тихо подвигалась партия по темному и мрачно зеленеющему бору. Прошло только несколько минут, как она двинулась, царствовало в ней молчание, как несколько сильных мужских голосов сначала тихо и мерно затагнули какую-то песню, но понемногу голоса присоединялись — и вдруг подхватила ее вся партия. И потрясающим гулом понеслась эта песня по темному бору, поощаясь не одной сотней народа, потрясенного еще неизгладившимся, неизмеримым горем.

На кровле филин прокричит,
Раздастся по лесам...

С неимоверною силою гудели эти слова, поднимаемые страшными басами, и вдруг опускались рыдающими звуками:

Занает сердце мое, загрустит,
Меня не будет там.

Глухие вздохи, рыданья женщин сливались с этой песней, как

* Такими бродяжескими надписями прежде украшались как монумент, так и памятник на границе Пермской и Тобольской губерний, на них ставились условные знаки и указания знакомым, это заменяло ссыльным «poste restante».
(Примечание автора.)

и гул шагающей партии с лязгом кандалов, скрипом телег и окликом конвоя...*

Скоро, наконец, эта песня потерялась в темном уральском бору, как и самая партия, след которой заметали темные облака пыли. Изредка только в прорезывающих косвенных лучах солнца посреди этой пыли виднелась тележка с кучей высывающихся из нее детских головок да старая кляча тащила телегу с фигурой, обращенной лицом назад, на знакомую дорогу, подле которой, склонившись и закрывши совсем лицо, сидела какая-то женщина.

Глава II

Тюмень

С этого времени, когда с грустным чувством ссыльная партия оставила перевал на Урале, перед ней постепенно выдвигалась Сибирь с своею длиною, бесконечною дорогою, с высокими мохнатыми горами, с высокими и темными борами елей и сосен, с осенним пронизывающим северным ветром.

На границе Тобольской губернии, недалеко от Тюмени, закрутил маленький снежок, первый предвестник осени. Арестанты закутались в свои сермяжные казенные халаты.

— Эх она крутит! — говорил один молодой арестант, натягивая халат на голову, причем обнажил ноги и живот. — Вот она, Сибирь-то пошла! — прибавил он, недовольный своей операцией и перевертывая халат по другому способу.

— Ну, парень, замерзнешь совсем, когда не выдадут полушубков, — замечал другой, дуя в кулаки.

— И мерзнет довольно вашего брата! — повторил мрачный мизантроп, который, как мы видели ранее, обидел своими грубыми ответами двух самых почтенных писарей, вызвавшихся с ним поделиться чувствами.

— Полно? — скептически заметили этому суровому прорицателю несколько арестантов.

— Что полно? Еще не так будет, такие начнутся морозы, — говорил мрачный, — что у нас только в крещенский бывают. Она, брат, Сибирь, она покажет себя очень прекрасно...

Как эта реплика донеслась до баб, то здесь поднялся уже целый вой.

— На погибель мы пришли сюда, бедные, горемычные!

— Замерзнем мы здесь, сложим мы здесь свои головы!

— Господи, холод-то какой, царица небесная!

— О проклятая Сибирь! — поддерживали их мужчины хриплыми басами, справляясь с ненадежными рукавами халатов, перенадеваемых на разные манеры. Проклятия новому отечеству, в кото-

* Песня эта известна среди острогов и в русском народе «Последний день красы моей». Ссыльные выражают в ней свое прощание с Россией. Она поется особенно партиями от Перми и Тобольска. (Примечание автора.)

рое вступили ссыльные, теперь преобладали у большинства в партии.

— Вот что я вам посоветую, вы этих еще манеров не знаете,— вступился какой-то низенький арестант в жалчайшем бродяжеском армячишке с дырой на груди и с еще большей дырой на спине, отчего он казался как бы просверленным. Этот субъект шел брюхом вперед, довольно благодушно и развязно, нимало не ругаясь на снег, сыпавшийся ему за пазуху.— Вот что я вам посоветую. Когда мы, бродяги, ходим под осень и погонят нас морозы, мы сейчас же под поддевку или азиям напихаем сена — что твой мех, чудесно! Я вот наберу его на следующем этапе.

В партии слышались презрительные и насмешливые возражения.

— Это, должно быть, сибирский мех,— желчно сказал маркер.

— Он самый и есть,— ответил, не смущаясь, бродяга.— Для кого другого есть иной, а для нас с тобой этот самый...

В партии возбудился хохот и много остроумных замечаний, а бродяга продолжал повествовать, что этим брезговать нечего, так как многим идущим придется пойти в бродяжество.

На следующем этапе этот рыцарь бежал уже впереди партии с двумя большими клочками сена, видневшимися из его дыр спереди и сзади.

Погода скоро, однако, переменилась, и настал жаркий осенний день, так что арестанты обливались потом. Приходилось дивиться этим быстрым переменам.

Перед партией в то же время предстал первый сибирский город Тюмень и первый сибирский острог. На улицах раздался бой барабана, а суетящаяся любопытная партия, теснясь, начала знакомиться с сибирскою гражданственностью. Тюмень — это красивый город с деловым, торговым и промышленным населением, с каменными рядами лавок, заваленными товарами, с падающими местами каменными массивными домами, запертыми, как крепости или как богатые кладовые, и с целой панорамой чистеньких и необыкновенно опрятных домиков ремесленного населения, занимающегося кожевенным и шорным производством. В этих домиках живут, обыкновенно, бойкие и красивые мешанки — черошницы*. Многие из них держатся старообрядчества, и потому богомольны, и вот они-то и составляли прежде источник особой благотворительности для арестантов.

Только в начале улицы медленно забил барабан, как бойкие ремесленницы, оторвавшись от работы и опутанные иногда дратвою, высыпали на улицу, чтобы раздать подаяния проходящим. Хозяйки тащили белые пшеничные булки, сибирские шаньги, калачи, оладьи, рыхлые и сердобольные купчихи высылали иногда мясо — обильные сибирские пироги. На базаре попадались приехавшие на базар горожанки за покупками, и потому тут же вручали партии вя-

* Черок (чарки) — сибирская обувь, род башмаков, черошницы — мастерицы.

занки баранок. Напыщенный и самоуверенный тюменский купец вылезал из лавки и с гордостью английского лорда выдавал двугривенные и гривенники «несчастному человечеству». Несомненно то, что булки всевозможных размеров валялись на телеги, и маленькие дети торчали теперь из-за крупчатых королек, а серебро, пятаки и даже бумажка, данная на всю партию, падали в шапку зоркого, запыхавшегося и кидającegoся, как угорелый, старосты. Тюмень славилась подаяниями.

Бойкий городок, каменные строения и беспрестанно летевшие пятаки в шапку, вместо ожидаемого безмолвия и скупости пустыни, на первый раз озадачивали арстанта.

— Так вот она, Сибирь-то! — говорил, тараща глаза, один из новоприбывших, засовывая огромный пшеничный калач за щеку, видимо, подкупленный как неожиданным видом города, так и собственным желудком. Пшеничный калач, сибирский пшеничный хлеб, как его ни бранят путешественники, питающиеся в гостиницах исключительно сахарными сухарями и московскими привозными сайками, все-таки несравненно лучше для простого человека, чем черный тяжелый хлеб. И так несколько задобренный арстантский желудок возбудил довольно веселые, оживленные беседы, когда партия приближалась к тюремному замку.

Это было каменное величественное здание, собственность и гордость хозяйственных тюменцев, очень гордящихся всеми своими общественными сооружениями и зданиями.

Широко отворились ворота пересыльной тюрьмы, и партия ввалила сюда шумною толпою. У ворот между тем ее уже ожидала целая куча проворных тюменских торговок со всевозможными съестными припасами, которые и были мгновенно расхвачены новоприбывшими.

Это был первый сыльный замок для прибывающих из России. Здесь они ожидали впервые получить сведения о Сибири, как и встретить земляков, ранее сосланных в Сибирь, которые могли бы им дать полезные наставления. В этом и другом отношении желание прибывших могло быть совершенно удовлетворено. Во всех сибирских замках, начиная с тюменского, тобольского и вплоть до Забайкалья, считая все уездные, — в числе содержащихся всегда множество и даже большинство поселенцев, попавших за новые преступления, сыльных бродяг, взятых в окрестностях городов, бегло-каторжных. В этих сыльных тюрьмах они проводят много лет и создали здесь свою гражданственность. Поэтому сыльные, идущие из России, сейчас же находят земляков в сибирской большой тюрьме, а те, в свою очередь, отыскивают родичей из пересыльных, могущих им сообщить множество новостей не только о «Расее», как они называют, но и об их губернии. Вследствие этого, не успели только новые расположиться со своими мешками на нарах, как к ним из другого корпуса уже ввалили разные поселенцы со всех русских губерний, как и бродяги, побывавшие на всех полосах Российской империи.

— Эй, есть у вас петербургские? — гаркнул, входя, прежде все-

го, в пересыльную камеру бойкий поселенец, живший в Тюмени поваром и находящийся теперь в тюрьме по какому-то казусу. Этот поселенец, родом петербургский, не пропускал ни одной ссыльной партии, чтобы не справиться о том, как поживает «Санк-Петербург».

— Есть, вот они! — отвечали арестанты, указывая на камердинера и маркера.

Камердинер расшаркался и очаровательно улыбнулся своею писаной физиономией.

— Ну что, как у нас Санкт-Петербург теперь? — важно заговорил поселенец, садясь с озабоченным видом.

— Петербург нынче в значительное улучшение приходит... — вежливо ответил камердинер, облакачиваясь о косяк и грациозно закидывая ножку за ножку.

— Да, да, ну, как Тучков мост? Все попрежнему? — как-то не находя вопроса, потирая лоб, продолжал старый дворовый человек. Камердинер так же легко удовлетворил любопытство вопрошавшего, объявив, что Тучков мост — в совершенной исправности и на прежнем месте.

— Ну, а Николаевский как?..

Камердинер так же обязательно удовлетворил и этому вопросу. Николаевский мост тоже стоял довольно крепко.

Справились об Александровской колонне, и колонна тоже оказалась благополучной, а затем перешли к новостям.

— У нас теперь в Петербурге *дилижанс* пошел в ход, — сообщил камердинер. — Знаете, это с Невского прямо на дачи в Новую деревню, в Лесной...

— Ага, га, га! — радостно говорил поселенец из Петербурга.

Скоро и маркер нашел своего земляка из Москвы, чуть ли даже тоже не из маркеров. Тот тоже вопрошал, потирая руки: «Как наша белокаменная?»

— Наша столица теперь к значительной обстройке приводится... Теперь сколько новых трактиров пооткрыто, бильярды первеющие... — сообщил прибывший маркер и перечислил все трактиры и бильярды.

Беседовали земляки-саратовцы. Саратовец, проживавший в Сибири, оказался бродяга, а потому вопросы его носили своеобразный характер.

— Как теперь наш Саратовский замок? — задавал он прямой вопрос.

— Саратовский замок ничего-с, маленькие только перестройки были, отхожие места, знаете, теперь перенесены... — отвечал новоприбывший молодой парень.

— Тэк-с... Это, значит, во избежание побегов.

Тут же два костромича, один сосланный уже лет двадцать назад, а другой только что прибывший, упорно отыскивали общих знакомых, которых никак не могли найти.

— Бабулева, мещанина, не знали? — уныло спрашивал поселенец.

— Нет, никак нет...

— Гм! Может, мещанина Сигунова помните, он еще на рынке торговал? — уныло вопрошал земляк. — Купца Жолобова, чиновника Миронова не слышали ли?

— Нет, я таких не знаю.

— Вы ведь в самом городе нахождение имели?

— Точно так, — отвечал прибывший.

— Дом-то большой, каменный, от рынку-то, тут на правую руку, знаете?..

— Какой же это, который дом? — попрежнему недоумевал новоприбывший.

— Господи! Да к церкви-то идти — первый... тут и есть.

— Какой же?.. Ну, да, есть тут, действительно, каменный дом, — решил, наконец, согласиться новоприбывший костромич, хотя и смутно понимая, о каком, собственно, доме его земляк говорит.

— Во, во, он самый! — внезапно восторжествовал поселенец, хотя этот дом ему был совершенно чужд, но он помнил только, что есть тут дом, и рисовал себе его, как часть Костромы, ему родственной. На этом пункте поселенцы оживились, они нашли-таки общего знакомого, хотя и дом, скоро они еще лучше познакомились и нашли уже обоим много знакомых улиц и т. д. В то время, когда совершались эти знакомства, сближение и даже заключалась дружба, благодушное настроение пересыльной камеры было прервано на минуту следующим замечанием двух новоприбывших.

Два российских мужичка, люди смиренные и простые, ссылаемые на поселение и ранее напуганные рассказами о Сибири, решились передать друг другу свои впечатления.

— А ничего — этот Тюмень, — говорил один мужичок другому, — город как есть, вот и Тоболь тоже и Томска будут, сказывают, города немалые!

Это, повидимому невинное, замечание произвело в среде старых поселенцев, беседовавших с новыми, совершенно ужасающее действие.

— Эх, вы! — вскинулся на них какой-то старый поселенец. — Чему рты разинули! Тюмень — презрительно пожал он плечами. — Да знаешь ли ты, что Тюмень — это самый последний мерд в сравнении с Расеей. Возьми ты теперь Москву или Нижний! Дома-то, дома, господи твоя воля! Торговля-то со всей, значит, Расеей! А то Тюмень!..

— А Санк-Петербург? — заметил, коварно улыбаясь и мотая головой, камердинер.

— Вон — наша Кострома, — с жаром хлопал по плечу костромич другого, — мы сейчас только говорили, церквей-то одних сколько, монастырей! Что супротив здешнего!..

— Волга-то, наша матушка, одна чего стоит! — прибавил еще кто-то.

В это же время саратовец впадал в совершенную поэзию и тихо напевал своему другу:

Эх, распрекрасный наш Саратов
На реке стоит большой,
В нем народ живет богатый,
Развеселый, продувной!

— Так-то! — говорил парень, отвешивая своему земляку полный удар в ляжку.

Таким образом соглашались вполне все, и старые и новые ссыльные. Казалось, согласие и доброе расположение должно было быть восстановлено, но у старых поселенцев затронута была болящая струна.

— Сибирь, Сибирь! — желчно говорили некоторые. — Что здесь есть? Есть ли здесь, примерно, фруктовые сады, а у нас — яблонь, груша! Возьми ты людей. Разве здесь люди живут? Сибирячье, *чалдоны желторотые... азиятия* живет!

— Народ неполированный! — подтверждал, важно улыбаясь, камердинер, как будто он знал этот народ вдоль и поперек.

Так понемногу сливались в своих отзывах прибывшие поселенцы с земляками и усваивали компетентные воззрения ссыльного острога.

После этих разговоров даже сами защищавшие города сибирские мужички пришли к заключению, что, верно, в самом деле, здесь больно худо, а первое впечатление от сибирского города совершенно утратилось, как и его калачи, остались только некоторые воспоминания в кармане в виде поданных пятак, но и они должны были скоро исчезнуть на майдане.

— Пойдемте к нам чай пить-с! — приглашал петербургский житель камердинера.

— Мы тоже майданчик завели здесь, — говорил он дорогою. — Ну и насчет карт и прочего — как следует... Можно сказать, даже ресторация, *близир* своего рода...

Но среди этой вежливой и деликатной беседы наши приятели были чуть не сбиты с ног быстро несущимся на них громадным ушатом, из-за которого виднелись одни ноги.

— Постой, постой, дьявол! Куда ты лезешь?! — вопиял петербургский поселенец и старожил острога, в то время как камердинер прижался к стене коридора, чтобы не быть раздавленным, и вдобавок ощущал страшно неприятный запах кадки, очутившейся перед его носом.

— Куда ты на людей-то, собака! — продолжал свирепствовать старожил.

Из-за кадки показалась громадная голова рыжего мужика.

— Это он, чалдон, сибиряк, людей не видит! — окрысился на него петербуржец.

— Да вы-то людей разве видите, мы с делом, а вы что — прохвосты, карманники московские! — внезапно загудел басом тюменский арестант и еще выше поднял грозный зловонный сосуд.

— Да вот я тебя с *паращей-то*... — погрозил взбешенный маленький поселенец, но не успел окончить, как кадка сделалась опять на двух ногах и из-за нее раздался грубый бочечный голос:

— Берегись, окачу! — и кадка пронеслась стремительно над присевшими приятелями.

— Разбойник, — проговорил маленький поселенец-петербуржец, осматривая свой халат. — Вот у них образование-то какое!

— Учтивость! — пожав плечами, иронически заметил камердинер, едва опомнившись и все еще крутя носом от неприятного запаха. Он признавал, что первое столкновение с местным элементом было крайне неприятно.

Скоро они натолкнулись еще на тюменских арестантов, подмывавших пол в коридоре; в них пустили «язвой сибирской» за то, что они ходят не в своем месте. Обрато было пущено несколько «чалдонов», «желторотых» и т. п. снарядов. Все это убедило петербургского камердинера окончательно в необразованности Сибири. Оба приятеля утешились только на майдане, где они, кроме чаю, достали и еще кое-что. Здесь старожил-поселенец сообщил своему приятелю, что он в Петербурге когда-то очень важное место занимал и что по происхождению он обер-офицерский сын. Камердинер открыл, в свою очередь, что он купеческий брат и что дяденька его имеет лавку. Маркер, присоединившийся к ним, тоже решился не ударить в грязь лицом и сказал, что у него сестра за генералом в Москве. Беседа скоро шла уже о каких-то князьях. Знатное происхождение многих поселенцев, впрочем, сейчас же обнаружилось по пришествии их в Сибирь и при заведении новых знакомств... Так, какой-то очень серый арестантик, выстриженный догола, как стригут в России в арестантских ротах, сообщил на этой же кухне, что у него «тятенька генерал финансов». Эти новые биографии поселенцы усвоили себе на все дальнейшее пребывание в Сибири.

* * *

В то время, когда прибывшие поселенцы знакомились со своими земляками и расспрашивали про Сибирь, пучеглазый деревенский парень, которого мы видели в партии, ходил и дивовался на ссыльный острог и вмещающую им массу народа. Как широкая пасть, поглощал этот пересыльный замок постоянно прибывающие партии. От этих партий было так тесно, что люди теснились в камерах во всех корпусах, в подвалах, в коридорах, во дворе. До полутора, иногда до двух тысяч народу скоплялось в этом остроге, ожидая отправки в Тобольск. Народ кишит на всех дворах острога, представляя серые фаланги,двигающиеся туда и сюда; здесь раздаются крики, хохот, остроты, а в глубине острога, на заднем дворе, как в аду, гремят цепями скопища каторжных, бритых, в куртках с цветными рукавами и в уродливых серых шапках. Передний двор острога представляет самую оживленную картину. Здесь разгуливали всевозможные национальности и самые пестрые личности. Все искали новых знакомств, связей и какого-либо общества. Ссыльный, естественно, стремился приткнуться куда-нибудь, пришедши в Сибирь, найти людей из своих, поддержать друг друга

и воодушевить себя. Поэтому по двору пестрели всевозможные группы людей, ведя оживленную беседу. Между прочим, внимание нашего пучеглазого деревенского парня обратила на себя группа ссыльных дворян. Это были личности в разных дорожных костюмах, пледях и с саквояжами; они, видимо, несколько привыкли к своему положению и беседовали как бы в вокзале железной дороги.

Поглазев на приличное и благородное общество острога, пучеглазый парень поплелся было уже к себе в камеру, раздумывая по поводу давешнего спора: «Что это за Сибирь такой, больно ли в ней худо, али и здесь робить можно?» С таким неразрешимым вопросом и с разинутым ртом парень натолкнулся на выходящего из кухни камердинера с маркером и несколькими старыми поселенцами, где все они разрешили этот вопрос довольно положительно.

— Ну что, еловая голова? — обратился к нему подкутивший камердинер. — Видишь, *пхнул* — так и попался в Сибирь.

— Аль здесь робить нельзя? — решил произнести, осклабясь, парень, довольный, что с ним заговорили и он может разрешить свой вопрос.

Как вдруг петербургский друг камердинера, поселенец-старожил, покачнувшись, залился самым неудержимым смехом.

— Ты хочешь робить! Ха-ха-ха! Слышите, ребята, робить захотел в Сибири! — указывал старожил другим поселенцам на изумленного парня.

— Что ж, сибирский-то мужичок его приберет, — заметил поселенец с носом хищной птицы.

— Он его прижучит! — послышалось с другой стороны. — Пусть поработает, из него кишки-то повыматывают. Он ему, чалдон-то, задаст!

— И ух, братцы, только подстегивать будет!

Среди угроз, хохота и острот парень стоял совершенно ошеломленный.

— Он те шапку-то надвинет! — крикнул на него в заключение какой-то поселенец и одним ударом нахлобучил ему дырявый колпак прямо на глаза.

Так и остался парень в недоумении и с нахлобученным колпаком среди хохочущего острога...

Глава III

Перед выходом на поселение

В тесной камере одного из губернских сибирских замков, которым должно было завершиться странствие многих ссыльных, достигших назначенной им губернии, шел гулкий разговор, в котором играли видную роль поселенцы-старожилы и бродяги из ссыльных, постоянно осаждаемая новичков.

В этом же последнем замке, ожидая вызова в губернскую

«экспедицию» ссыльных, пребывали наши столичные друзья — маркер и камердинер. Несмотря на свое высокомерие, они тоже приблизились к роковому вопросу, как они будут жить в Сибири. Лежа на нарах и покуривая, они решили несколько посообразовать насчет своего нового положения.

— Теперь бы можно было очень вольготно в какой-нибудь гостинице пристроиться, потому как здесь, я полагаю, настоящих маркеров нет, — размышлял довольно громко и с некоторой гордостью маркер.

— Вам-то так, — сказал камердинер, — ну, а вот я, так уж, право, не знаю, по какому званию найдется место, потому как здесь настоящих господ нет, помещиков в этой Сибири не живет, знатных господ не служит, все мелкая сошка... У купцов служить мне очень будет низко. Разве по торговой части дернуть, али кухмистерскую, буфет завести. Все-таки в городах это можно; какие бы ни были, да города! — сделал на этот раз уступку Сибири, в видах собственного утешения, гордый столичный камердинер.

— Ты говоришь — в города. Но кто ж тебя пустит, милый человек, в города? — заметил в это время какой-то отрезвляющий голос старожила, важно покоившегося на нарах.

— Как кто пустит? А где же мы жить будем? — спросил презрительно маркер.

— А припишут вас, милые други, в сибирскую волость, не угодно ли там, у сибирского чалдона, сначала работы поискать, из милости пашню пахать да свиней попасти... — с насмешкою произнес поселенец.

— С чего же ты это взял, как же это может быть, когда я к крестьянской работе с измальства несроден, когда я сохи не видел? Я такое, может, деликатное воспитание у папеньки получил, черной работы видеть не могу! Я ведь не из мужиков! — гордо воскликнул камердинер.

— Это — как вашей чести угодно, — ответил саркастически арестант, — а теперь ефти привычки придется бросить, да-с! А не угодно ли к мужику в услужение, да на покос, на съедение сибирским комарам? Ух! как едят — анафемы!

— Как же теперь поселенцам, которые желали бы в городах в услужении остаться? — сказал, видимо, сконфуженный камердинер.

— Был для нашего брата прежде в Сибири, в губернских городах, «цех слуг» при экспедиции, — продолжал поселенец — да уничтожили давненько; то ли потому, что много чести будет вашему брату местов приискивать, а может быть, потому, что наш брат, поселенец, услужить — послужит хорошо, только посуду больно чисто прибирает, после обеда никогда ложек недосчитаться.

Раздался хохот. Камердинера это взбесило.

— Да как же жить-то после этого, коли по своим способностям никакого привилегированного занятия здесь найти нель-

зя? — презрительно сказал камердинер, решаясь перейти в наступательное положение.

— Мы с Пахомом об этом вот уж тридцать лет думаем, — иронизировал поселенец, толкая под бок соседнего бродягу, — да все ничего не придумали, кроме как за простакишу сюда попали*.

Такие разговоры глубоко кололи самолюбие гордого камердинера, они наводили на него грусть, и пухлые щеки его как будто бы начинали опадать, а усы элегантно уже не закручивались с прежней тщательностью и торчали щетиной.

Маркер тоже задумывался над своими занятиями в деревне и вскоре беседовал на дворе с каким-то юрким и опытным поселенцем. Поселенец этот выдавал себя за особенного знатока сибирской жизни.

Это был молодой бродяга, одетый в красную рубаху и в какую-то порванную, со шнурками чамарку, малый с чрезвычайно озабоченным выражением и с плутовскими бегающими глазами над огромным носом. Он, важно размахивая руками, пересчитывал нашему маркеру все поселенческие профессии.

— Теперь бы вам по фельдшерской части превосходно! — говорил он, нахмураясь.

— Как же так, я ее не знаю, — отвечал озадаченный маркер, — ведь тут нужно обучение!

— Небольшое-с, так, сноровку, потому я тоже этим делом занимался по бродяжеству. Наболтаешь чего-нибудь в бутылку — и давай мужику, он верит. Опять же они любят кровь пускать. Чем больше ему выпустишь, это ему всласть...

— Ну, нет, тут, пожалуй, уморишь, — говорил ему задумчиво маркер. — Черт с ними, ответишь!

— Конечно, — говорил парень, — мы этим по бродяжеству занимаемся: сегодня здесь, а завтра там. Ну еще «по конной части» можно, — продолжал серьезно и сосредоточенно советчик.

— Это что же такое?

— А лошадей лечить. Больше всего наговором. Прочитаешь что-нибудь, плюнешь на четыре стороны и говоришь, что лошадь будет здорова. Тоже верят и этому, а где падеж скота бывает, так в этом очень нуждаются...

— Нет, тут тоже надо знать... Да и шею наkostenяют, как узнают, что врешь.

— Ничего-с, безопасно, довольно лечил, — продолжал парень, как видно знавший эту профессию. — А то можно «по ворожейной части»...

— А это что такое?

— Бабам ворожить, с «Соломоном» ходить, яйца дают за это, опять «порчу» отвораживать — икоту, значит. Действовать надо заговорами, известно, так — белиберду какую-нибудь придумать.

* «За простакишу» — за бродяжество и собиранье подаяния. Насмешливое бродяжеское выражение. (Примечание автора.)

— Да ведь все это надо придумать, да того и гляди, что обманщиком назовут — и в шею.

— Известно-с, сноровку нужно иметь, мы по бродяжеству знаем,— говорил учитель.

Однако маркер не удовлетворился этими профессиями и пошел в крайней задумчивости в камеру.

На дворе острога, где местные обыватели зубились целый день в орлянку, в чехарду или любезничали через решетку с дамами своего сердца, разные новоприбывшие то и дело приставали с подобными вопросами к старожилам.

— А можно здесь какую-нибудь фабричную работу найти?— спрашивал мастеровой с московской мануфактуры у прохаживающего по двору острожного жителя в халате, в арестантских портах и башмаках на босу ногу.

— Дай-ка сигарку,— не отвечая на вопрос, говорил абориген острога, бесцеремонно вытаскивая свернутую бумажку с махоркой из зубов прибывшего мастера и считая это совершенно законным, так как к нему имели надобность. Затянувшись и обведя гордым взором новичка, старожил важно замечал:

— Какую же тебе фабричную работу? — как будто ему приходилось определить этого малого на свою фабрику.— Есть тут у нас одна фабричная работа, да ты умеешь ли ее?

— Какая же-с? — спросил живо заинтересованный мастеровой.

— *Блинки* фабриковать! — ответил тюремный старожил.

— Это что же такое? — спросил недоумевающая мастеровой.

Старожил улыбнулся.

— По части государственных бумаг, казне помогать; умеешь ты эту работу — будет тебе хорошее житье в Сибири, нет — ищи другую.

Хозяин фабрики сплюнул и подал докуренную до конца сигарку мастеровому, нерешительно улыбавшемуся над этой шуткой.

— Нет-с, я хотел спросить насчет частных фабрик и заводов, потому что я на хлопчатобумажных фабриках служил.

— Ага! — сказал арестант.— Понимаю. Но частных заводов не могу указать, а казенные есть отличные. Петровский завод около Иркутска, Усолье, опять нерчинские заводы. Я там три года жил, пища первый сорт: мурцовка — хлеб да вода, обувь — кандалы, а награждение — плетьюми... Жалко, вас, поселенцев, туда не принимают. Ты просись!

От этих ядовитых шуток новичку приходилось нелегко, он совершенно терялся перед своим положением.

Во всех сибирских острогах, снабженных озлобленными каторжными и бродягами, можно было слышать одно: жить на поселенье в Сибири невыносимо.

— Как же вы живете здесь? — спрашивали новички.

— А живи здесь черт, а не мы! — отвечали бродяги.— Мы на поселенье не хотим сибирскому чалдону кланяться, чтоб он нас в

свою соху впряг, на нас ездил; на приисках хуже каторги, в городе никакой подходящей наживы нет, да и без паспорту жить нельзя. Одним словом, проклятая сторона, *немшоная*, необразованная и необтяпанная!

— Проклятая! — подтягивали арестанты.

Изредка вступался разве честный, правдивый и добродушный седовласый поселенец, враждовавший постоянно с бродягами.

— Что галдите-то, что мутите людей, язвы, непосидни! Сами сбегали, как собаки, маетесь, других учите, прокаленный народ, отпетое отродье, чужую душу хотите заедать! Что хайте Сибирь? — говорил он хриплым и прерывающимся голосом. — Сибирь — страна богатая, хлеба в ней благодать, земля — благословение божье, удобрять не надо. Места слободные, лесу ли тебе надо, трав ли, зверя, рыбы — бери без запрету — божья пазуха! Что хайть! Земля хорошая, она всех нас кормит. Не подавали бы нам, бродягам, мы бы здесь с голоду подохли... Кто хочет работать здесь, и земли много и работа есть... да мы сами не хотим этого — ишь, работа нам не с руки, артисты мы, с формом жить хотим, крестьянской работы не любим. Побродяжить, *бирюка тянуть* по деревням — вот это наше дело! Нас под *березку тянет да к дядиному дому* на казенную *мурцовку*. Осторожного хлеба попробовали, так по нем брюхо тоскует.

— Что ж ты в своей Сибири не жил, если больно ее хвалишь? — озлобленно, искривив губы, говорили бродяги этому единственному адвокату за Сибирь.

— И я, старый черт, — продолжал в раздумье старик, не обращая внимания на эти слова, — девятнадцать лет прожил здесь... Жену похоронил, сына лишился на приисках, закрутил с горя, да дернуло на свою сторону на старости... А жить бы да жить! Дом имел, а вот поди ж! — старик в недоумении развел руками, не умея передать свое загадочное чувство, понесшее его шестидесяти лет от роду в бега, в Россию.

— То-то и есть, что своя сторона! — решили в свою сторону бродяги и поселенцы.

— Как же, неужели отсюда можно уйти? — задавали новички вопросы старожилам.

— Эва! Да кто же тебя на поселенье держать будет? Возьми шапку да и вали!

— А паспорт?..

— На кой ляд его! По Сибири этого заведенья нет, иди прямо в деревню, проси милостину. Бродяга, мол, говори прямо. Дадут. Всю Сибирь пройдешь, не тронут. Ну, а к Расее подходя, сам умудряйся, паспорт приобрети, деньжонок размысли, пошарь где, что ли, и — с богом через границу. Да что тут толковать! У нас и с каторги идут. Теперь придешь ты в завод. Сейчас тебя начальник спросит: хочешь оставаться работать — оставайся, одежду тебе, паек выпишут. Хочешь бродяжничать, — так и говори. Начальство говорит, коли не намериваешься остаться работать,

так и убирайся к черту!* Ну и идут. Другой только переночует в заводе и опять в дорогу. Так вот оно, милый человек, как уходят!..

Такие рассказы производили совершенно новое впечатление в душе новичка. «Да и мне, видно, нечего делать здесь»,— думал пересыльный после таких рассказов. И в первый раз трепетная надежда — воротиться на родину — начинала шевелиться в нем после того, как он с мрачным отчаянием и безнадежностью вступил на незнакомую землю... Эта надежда начинала тлеть теперь незаметным, робким огоньком, но и она, сдержанная и слабая, охватывала сердце ссыльного какую-то замирающей негою.

* * *

Ночь. Беспорядочно раскидавшиеся тела арестантов тяжело дышали на тесных нарах. Было душно, спертый воздух, тяжелые испарения, запах ночной кадки делали воздух жарким, удушливым, вонючим. Изредка слышался скрип нар, ожесточенное почесывание, изредка вздох. Некоторые арестанты, утомленные суетой, спали крепко, другие лежали с открытыми глазами, устремив взоры в тьму, грудь их высоко подымалась, лицо горело, слышно было немолчное сильное биение сердца. Но у спавших и не спавших арестантов мысль одинаково блуждала где-то далеко, а страстное воображение рисовало знакомые картины. Сны и грезы тюремных жителей удивительно ярки, они почти действительность. Под влиянием навеянных надежд в эту ночь один был на широком берегу Волги. Слышен был знакомый плеск волн, перед ним раскидывалось знакомое село, видел он и красивый берег с пестрыми новенькими домами, развешенные сети на берегу. Тяжелые барки проплывали по реке, щегольские пароходы с шумом метали свои искры, и легкие лодки резали тихую гладь реки. Он сам плывет в лодке, а тихий нежащий ветер обвеивает его лицо. И так тут хорошо, так свободно! Другой видит тихо шумящий знакомый лес, около него раскидывается молодой весенний орешник, из садов несется тонкою струею аромат яблони, слышен весенний лепет птиц, но еще страстнее и звончее этого лепета доносилась из этого леса какая-то песня, нежная, тоскующая. И голос был знакомый, любящий... И сонный арестант, как ужасленный, хватается за сердце. А тому грезятся громадные города, золоченые куполы церквей, широкие улицы и праздничные толпы народа, звон колоколов. А в большом доме за столом, покрытым белой скатертью, сидят его родные. Сегодня большой праздник, как все веселы и счастливы, какой живой разговор идет у них! Сколько знакомых лиц! Здесь они, и отец, и братья, и сестры, и он попрежнему среди своих, будто бы ничего не было и ни-

* Рассказ этого переселенца основан на том, что прежде на заводах мало обращали внимания на побег и заботились только, чтобы бродяги и намеревающиеся уйти не брали одежды, иногда, впрочем, эта одежда выводилась в расход. Порядки такие были только прежде. (Примечание автора.)

чего не случилось! Видится третьему деревня, вся заросшая желтыми золотистыми хлебами, старые два дуба торчат у конца ее, тянутся светлые благоухающие липы. Как все это знакомо! И дома знакомы с резными крышами, и церковь белая с поросшим зеленью двором, где когда-то он играл среди больших лопухов. Подкрадывается теперь к этой деревне странник, запыленный и босой, в ветхой арестантской одежде, ноги у него изрезаны, от усталости едва двигается, голоден он, расслаблен и болен. Обогнул он конопляники, тихо-тихо пополз по ним. Видит, наконец, маленький домик, на крылечке сидит седенькая старуха, лицо у нее как у мертвой, бледное, неподвижное, руки костлявые лежат на коленях, и все она смотрит на конопляник, а глаза такие тоскливые, тоскливые... Подполз незаметно странник к избушке, встал, а сам шатается, что-то у него на сердце щемит. «Это я, мать, пришел к тебе»,— говорит он. «А, это ты, сын»,— отвечает старуха, и голос ее дрожит такой мягкой, нежной, всепрощающей любовью. Протянула она к нему костлявые руки и положила их на его больную измученную голову, припал он к ней...

И вдруг сладкие, облегчающие душу рыдания разразились на нарах в тяжелой темноте ночи.

Все в эту ночь видели что-нибудь. И даже бедный, бобыльный, пучеглазый парень и тот видел свою глухую деревнюшку, он там попрежнему робил, и какая-то нищая старуха кормила его молоком. Маркер в эту ночь стоял у своего бильярда в старом московском трактире, где было множество посетителей, играл орган и было ужасно накурено. Он попрежнему держал свой жезл — державную «машинку» — в руках и выкрикивал: «Два и ничего!», «Пять и очень мало!», «Двенадцать и очень интересно!» и т. д. А его друг, камердинер, целую ночь катался на извозчиках, заседал в разных ресторациях, курил папиросы и на дворе громадного петербургского дома любезничал перед вертявыми горничными и пел им романсы с аккомпанементом гитары...

Только рокот резко выбивавшего утреннюю зорю барабана разогнал сладкие грезы арестантов и призвал их к суровой действительности.

Наступило утро. Ссылные ворочались и отправлялись из экспедиции. Одних отправляли назад за нерозыском списков, другим назначали место жительства по волостям. Ссылному предстояла решительная перемена положения. Он скоро должен был очутиться в новом месте, в новом обществе, где уже сам должен был снискивать пропитание.

Не особенно радовал поселенцев этот выпуск на волю на чужой стороне, он нагнал на них новую заботу. Надо было идти в дальние волости, к чужим людям. А как-то их там еще примут! Большинство ссыльных ругали деревни. Кому приходилось тащиться 100, кому 200, 300 и более верст по широким сибирским расстояниям, в дальнюю тайгу, в захолустье, в такую странную с полуазиатским названием волость, которую ссыльный в первый раз в жизни слышал. В то же время приходилось расставаться

со своим обществом. Ссылные во время полугодичного, а иные и годового странствия по этапам успели акклиматизироваться в острогах. Здесь он завел свои связи, выучился приятно препровождать время на майданах, в игре, постиг все тайны «едны», «юлки», тюремного лото и т. п. У ссыльного за время дороги была своя артель, сходки, свои общественные дела, он устраивал здесь хозяйства, сдавал майданы на откуп и создавал некоторые удобства общежития на этапах и в пересыльных камерах острога. При этом эта среда была близка ему, потому что здесь были все *российские* ссылные. Создав свою тюремную гражданственность, он находил здесь свой мир, свое утешение взамен всех других привязанностей в жизни. Иные здесь завели любовь с пересыльною смазливою арестанткою, иные имели друзей, другие просто привыкли к известному порядку в жизни — *обострожились*...

— Что же я теперь? — говорит какой-то забубенный арестант Юлка, известный игрок острога. — Теперь я, братцы, покуда хоть между своих время препровождал, здесь мне пишшу хоть казенную давали, а там куда же я очнусь? Что я там?..

— Молодец Юлка! — говорили с хохотом старые бродяги. — Приходи опять к нам, душа!

— Прощай, Улинька, сердце мое! — кричал на дворе арестант острожной красавице. — Эх, не удалось нам с тобой дальше в партии пройти!

— Куда тебя, Сергуша, в Енисейской губернии запрячут! — говорил третий арестант, положи обе руки на плечи и смотря в глаза расстающемуся с ним другу. — А ведь из одной деревни были. Во всей Сибири я теперь такого земляка не найду.

— Не говори, чумак, пропаду где-нибудь, — говорил друг, чувствуя, что при своей бесхарактерности и без поддержки приятеля он теперь совсем смотается.

На дворе между тем появились возвратившиеся также из экспедиции ссылные: камердинер, маркер, пучеглазый деревенский парень, фабричный мастеровой и еще несколько поселенцев, назначенных в одну волость.

— Что ж, дадут нам какое платье или на обзаведение что? — спрашивал маркер.

— Есть на тебе платье! Чего ж тебе надо? Такова заведенья у нас нет, — говорил насмешливо проходивший поселенец.

— Как это так? Ведь мы на вольное поселение, — говорил камердинер. — Куда же я теперь в этой хламиде? Как я, примерно, в город по паспорту явлюсь? Кто узнает, что я кипельдинер?

У ворот перед смотрителем тюрьмы стоял воротившийся из земского суда еще более горемычный арестант Юлка в старых обтрепанных и порванных портах, в кургузом обрезанном халате, без рукавов и воротника, в изношенных опорках и без шапки. Он, как известно, по дороге все спустил, что мог, из казенной одежды.

— Куда же я, ваше высокоблагородие, в этом виде-с! — говорил он зрителю.

— Я-то, братец, чем же виноват, ты, верно, казенное проиграл, а кто приписан в здешнем округе, тому одежды не выдается.

— Ваше высокоблагородие, сделайте божескую милость, куда же я так денусь? — плакался Юлка, кланяясь в ноги.

— Не могу же я из казенной одежды тебе выдавать, поверь мне! Шапку старую из чехауза, так и быть, дам. Ступай, ты свободен.

Юлка вышел во двор, глупо улыбнулся, посмотрел на арестантов и сказал:

— Братцы, что же, я теперь «Иван Иваныч», что ли, выхожу!

Это рассмешило арестантов.

Целой вереницей стояли во дворе готовящиеся в путь поселенцы. Все они были в серых халатах, в арестантских шапках, с худенькими засаленными мешками, с одной пайкой хлеба за пазухой, без гроша денег, с заботой о завтрашнем дне, с горькою безнадежностью в сердце... У всех шевельнулось в душе: «Что-то там будет, что-то там будет!»

Журнал «Азиатский вестник», 1872, № 1.

Глава IV

Профессии ссыльных

Глубокой осенью, в то время, когда начинал падать снег и пронизывал ветер, несколько ссыльных из губернского города было отправлено в сибирскую глухую волость. Проклиная Сибирь и сибирскую погоду, шли они в арестантских халатах на место водворения. Их привели в волость, а затем, не желая держать на квартирах, им отвели особую избу, давно предназначенную для поселенцев. Среди этих водворенных было два аристократа: маркер и камердинер.

Горько приходилось этим аристократам приучаться к сибирской деревне. Работать не хотелось, подаяние просить постыдно, а надобно было изыскивать легкие способы наживы. Пробовали из них некоторые заняться педагогической деятельностью, т. е. образованием деревенской молодежи, приучая их к сигаркам, наливке, а затем краже отцовских денег. Но дела шли плохо. Отцы пронюхали и вздули и педагогов, и учеников.

Прошла зима, наступила весна, а положение поселенцев, как видно, мало улучшилось. По крайней мере, маркер с камердинером пробирались раз под вечер в деревенский кабак в компании с старым поселенцем в крайне жалком виде. От казенного арестантского кафтана у них остались одни лохмотья, на ногах были какие-то опорки, у солидного маркера вдобавок под глазом

был большущий синяк. Камердинерская физиономия также не представляла прежнего приятного вида: она обросла бородой, а лицо не то обрюзгло, не то припухло от постоянного пьянства. Пробираясь по кучам навоза и грязи, лишь только приятели показали в деревне, как вдруг поднялся крик нескольких баб, сидевших за воротами.

— Ванюха, Аришка! Гусей-то, гусей-то скорей загоняйте! Опять варнаки идут!

Затем выскочившие ребята и женщины подняли суматоху и начали загонять кур и гусей по дворам.

— Анюшка, смотри ты, рубахи-то со двора не убрала. Гаркните* Анюшку из избы: у ней рубаха на дворе весится. Посельщики идут! — кричала какая-то женщина соседям. Тогда пошел переполох по всему переулку. Бабы загоняли скот, снимали наскоро белье и бежали в избу.

Когда ухмылявшиеся поселенцы поровнялись с одним из крестьянских домов, из-за забора поднялась огромная рыжая голова хозяина и крикнула им вслед:

— Эй вы, варнаки! Что вы шлаетесь? Опять нюхтите чего-нибудь!

Старый поселенец обернулся и, погрозив кулаком, озлобленно крикнул рыжей голове:

— Мы тебе покажем варнака!

— Попомнишь ты нас, чалдон! — прибавил, в свою очередь, обиженный маркер.

— Что грозишь? — ответил мужик. — Аль хочешь в тюрьму? У нас, брат, недолго!

Обмен этих любезностей показывал то крайне недружелюбное отношение крестьян к нашим ссыльным, которое развилось как следствие их отношений. Действительно, враждебные отношения между туземцами и ссыльными возникли уже давно. Целую зиму в деревне пропадали бараны и поросята из стаяк, утки и гуси из дворов. Точно так же нередко исчезало и вывешенное для просушки крестьянское платье и белье. В заключение еще недавно в соседней деревне была обкрадена кладовая у богатого крестьянина, откуда унесли платье и съестные припасы. В продолжение зимы то там, то здесь у крестьянина попадались грубо сделанные фальшивые бумажки, которые те немедленно жгли; некоторые крестьяне, испугавшись, по пути сожгли при этом несколько и настоящих, приняв их за фальшивые. Во всех этих проделках подозрение падало на поселенцев. Наконец, их начали подкарауливать, и крестьяне искали только случая уличить их. Проходя по деревне, поселенцы постоянно слышали вслед себе слово «варнак». Это было то роковое слово, которое кладет непримиримую вражду между ссыльным и крестьянином и образует целую бездну между поселенцем и тем обществом, куда он должен прорасти. Одно оно поднимает бурю негодования

* Сибирское выражение: кликните, созовите. (Примечание автора).

в озлобленной душе поселенца и вселяет ненависть к крестьянству, унижающему ссыльного. За это одно слово озлобленный поселенец покаянется вырезать крестьянских баранов, сжечь копы сена, крестьянский овин, а не то и пустить красного петуха по всей деревне.

Оскорбленные и суровые пришли поселенцы в кабак, где им назначил свидание поселенец Евстигнейко, обещавший сегодня угостить их. Кабак этот был теперь постоянным притоном ссыльных. Сиделец, хитрый еврей Хаимко, был с ними в большой дружбе, принимал от них разные предосудительные заклады.

Усевшись в кабаке, поселенец из бродяг спросил четушку и наливаев маркеру водки, озабоченно спросил его:

— Ну, так рассказывай, рассказывай, дружище, как ты получил эту самую царापину,— и при этом поселенец указал на сияк.

— Да что! Сперва как ты учил меня, так я и сделал,— начал мрачно маркер.

— Ну, да говори, как все это вышло?

— Пришел я это к нему и говорю: «Слышал, мол, что вам надо тараканов выводить, так я этот секрет знаю, всех выведу, потому в Петербурге обучался». Объясню, значит, я ему, что могу это сделать за самую сходную цену. «А много ли ты, говорит, возьмешь за это?» Скуп вижу, шельма, сибирский чалдон. «Да что же, говорю, я многого не возьму: полштофа водки да полтину серебра!»—«Ну, нет, говорит, водку уж на свои купи, а гривенник дам». Рядились, рядились, не дает больше, шельма. Я начал просить двугривенный и стакан водки, меньше, мол, не могу, потому секрет — надо на вине наговаривать.

— Что же он?

— А вот что! «Черт с тобой, говорит, я тебе уж дам двугривенный и стакан вина для ворожбы, только чтобы этот гад весь из мово дома вышел».— «Весь, говорю, выйдет». Сичас, как ты меня учил, взял я стакан вина и начал наговаривать в углу, потом этот самый стакан хлоп — и выпил. Тут мужик и осерчал. «Что же ты, говорит, смеешься, что ли? Взял вина для ворожбы, а сам и выдул! Разве так ворожат?» Ну, думаю, подлец, придирается, это худо. «Я говорю, ваша милость, это для наговору надо. Чтобы этот наговор в меня внутрь вошел, а теперь покуда не мешайте, смотрите, что дальше будет».—«Ну, ну, говорит, ворожи, посмотрим!» Попросил я затем у него чеку от оси и стал на нее наговаривать, а потом положил ее, как ты мне приказывал, за печку. «Теперь, я говорю, пусть эта чека у вас за печкой лежит, и все у вас тараканы изничтожатся, а теперь позвольте гривенничек за труды». Тут мой мужик и заартачился. «Как, говорит, так изничтожатся? Нет, ты так сделай, чтобы этот гад сам пошел весь при тебе из дому».—«Как же это, я говорю, так сделать, таракан без того погибнет».—«Нет, говорит, коли ты за это взялся, пусть при мне и при тебе этот самый гад ползет из избы вон, да весь!» Что же мне тут было делать, Степан Парамоныч? — обратился

маркер к поселенцу.— Как это сделаешь, чтобы гад пополз из дому!

— Ну, ну,— сказал мрачно поселенец,— что дальше-то было?

— Что дальше-с? Я сказал, что не могу, а он мне: «Так ты, говорит, обманщик!»,— да как засветит в это самое место и прямо потом в шею.

— Да ты со смекалкой человек, ты бы ему сдачи и— лата-та* задал.

— Ну, нет-с! С ним я тягаться не мог, потому он верзилице-чалдон, а я ведь видите какой. А бежать хоть я и пустился, так он успел меня на лестнице еще раза два хлопбыснуть. Видите какой от этого мне авантаж вышел! Она как глаз-то вздуло! Нет-с, я уж больше это ремесло не приму на себя. Черт с ними и с тараканами.

— То-то больно вы жидковаты! — сказал поселенец.— Да, наши дела как сажа бела! — промолвил он через несколько времени.— Вот придет Евстигнейко, надо о другом деле подумать, тоже худо!

— Что же такое? — озабоченно и робко спросили наши приятели, причем поджилки у них невольно затряслись.

— А вот что,— сказал тихо поселенец.— Видели вы у меня, с полгода назад, этого мужичонку-сибиряка, с козлийной-то бородкой?

— Ну, ну! — маркер и камердинер припомнили того плюгавенького мужика, который при их прибытии выдавал на выпивку поселенцам-старожилам деньги. После того, как маркер и камердинер были приняты в компанию, они его видели еще раза два. Он приходил ругаться к старшему поселенцу, долго упрекал его чем-то, наконец, они поссорились, и больше они этого мужика не видели.

— Ну, ну! — повторили маркер и камердинер.

— Так вот этот самый пошлец мужичонка,— продолжал поселенец,— пронюхал, что мы новоселам фальшивую бумажку сбывли. Какой-то новосел ему показал, а он и учит теперь эту бумажку самую представить и объявить, что он от нас ее получил.

— Ах он анафема! — воскликнул озабоченный маркер.

— Это дело совсем скверное,— промолвил побледневший камердинер.

— А вот как Евстигнейко придет, подумаем, нельзя ли поправить. Вы меня оставьте одного с ним поговорить. Мы это дело уладим.

Через несколько минут действительно явился ссыльный Евстигнейко; он бросил за прилавок большой женский платок и приказал целовальнику дать водки.

— Невестин? — спросил целовальник, пряча платок.

* Л а т а т а — тюремно-бродяжеское выражение «бежать». (Примечание автора.)

— Еще бы! не ворованный же! После обручения подарила мне на шею! — промолвил Евстигнейко.

— Вот как, Евстигней! — сказал старший поселенец. — Значит, у тебя дело слажено?

— Давно, братец, — сказал Евстигнейко. — После того, как я ворота своей невесте дегтем вымазал, никто за нее свататься не стал, и теперь как хочешь, а выдавай за меня. Третьего дня и сговор был, на неделе свадьба.

— Что же, ты с ней жить будешь? — сказал насмешливо поселенец.

— Кой черт! Мне бы только казенных на обзаведение 50 рублей получить, потом леший ее возьми, сибирячку эту!

— Ха-ха-ха! — залился поселенец. — Вот это по-нашему, по-бродяжески! А мне с тобой поговорить после надо по секрету.

— Ладно, — сказал Евстигнейко, — а сначала выпьем!

Распивши со штоф водки на невестин платок, старший поселенец мигнул маркеру и камердинеру, чтобы они немедленно вышли вон. Ночь была темная, собаки выли и оглашали лаем деревню, когда эти друзья направились, немного пошатываясь, из кабака.

— Ты куда? — спросил маркер камердинера, который начал удаляться в какой-то переулок.

— К своей полюбовнице! — сказал тот гордо.

— Смотри, осторожнее, Степаныч! — предостерег его маркер.

— Ничаво! Не бойсь! — крикнул камердинер и, удаляясь, даже запел во все горло какую-то лакейскую песню.

Между тем между поселенцем и Евстигнейкой в кабаке шла таинственная беседа далеко за полночь, они выпили еще с полштофа, пока решили вопрос о доносе мужика.

— Так, эдак и порешим! — сказал, вставая, наконец, поселенец.

— Лахман* да и баста, чего тут толковать! — сказал, пошатываясь, Евстигнейка.

— Чшш... пуля! — унял его, оглядываясь, поселенец. — Новичков я не возьму, они трусы, только дело испортят! — Эти слова, вероятно, относились к маркеру и камердинеру, который в эту ночь услаждался самым беззаботным образом у своей Дульцинеи.

Наступило утро. В деревне начинало брезжить. Деревенские петухи весело перекликались, выпущенные гуси гоготали, перебираясь через дорогу. На крестьянских дворах появлялись зевающие парни, подмазывающие телеги и запрягающие лошадей, чтобы ехать в поле. Скоро совсем рассвело, и из дворов слышался оживленный говор и скрип телег. Выпивший накануне камердинер долго проспал. Было уже совсем светло, когда его всклокоченная и залупшая фигура появилась верхом на одном из деревенских заборов.

* Бродяжеский термин, который объяснится впоследствии. (Примечание автора.)

— Это что такое? Смотри-ко, робя! Поселенец воровать лазил! — раздалось в одном из дворов.

— Держи, лови его! — крикнули два дюжих парня, кинувшись к забору.

Камердинер опешил, он пробовал бежать, но внезапно почувствовал, что сзади его сцепили сильные руки. Дух его замер.

— Эй, сюда! Поселенца поймали! Воровать ходил!

— Баранов резал! Кладовую подламывал! — раздавалось со всех сторон, и мужики, и парни все более стекались на улице.

— Ах вы, варнаки! совсем на грабеж пустились. Вот мы вам дадим! Вяжи руки! Веди на сход! в волость, в острог! Лупи его тут же! — раздавалось кругом камердинера, которого держали и крутили за руки.

— Какое, братцы, воровать! — наконец воскликнул упавший в ноги и трящийся как лист камердинер. — Обыщите, я ничего не украл! Я к полюбовнице ходил.

— Врешь, собака! К какой полюбовнице? К чужой жене? Говори, варнак!

— Я к солдатке, к вдове, что вот тут живет. Право, братцы, — промолвил камердинер.

— А, тебе наших баб отбивать! — заголосоило несколько парней. Камердинер почувствовал, что сильные крестьянские руки все более его сжимали, так что у него кости хрустели.

— Мы тебе дадим жару! Мы тебе дадим! Розог! Дрючками его! — слышалось кругом.

Получив несколько дюжих тумачков и видя, что добираются до его нижней одежды, камердинер возопил благим матом: «Караул!» — но внезапно почувствовал, что его нос и рот залепило что-то клейкое. В это время какой-то бойкий мальчик из молодых деревенских парней принес лагушку дегтю и, выхватив из нее мазилку, ткнул в самый нос оравшего камердинера и затем начал мазать ему всю голову. Благородная физиономия ловеласа приняла самый жалкий вид.

Через несколько минут камердинер, покрытый с ног до головы смолою, мчался по улицам, натыкаясь лбом на заборы, падая на кучи навозу, сбивая с ног прохожих, в то время, как отовсюду ему гудел оглушительный хохот толпы, а деревенские мальчишки гнались по его пятам.

Явившись в самом ужасном виде домой, этот джентельмен кричал, охал от принятых побоев, не мог отмыть ни лица, ни рук, сбросил всю выпачканную одежду и, валяясь на полу, как мать родила, клялся отомстить сибирякам самым ужасным образом. Подле него уныло сидел его друг с синяком, думая о том же.

Не было теперь поселенца, у которого бы не закипело злобы против крестьян. Вражда была уже открытая. Как только поселенцы показывались на улице, над ними или насмехались, или бранили их. Гусей и баранов совсем не выпускали из дворов. Куриц держали в избах. Бабы наделали из ребят часовых и шпионов. Эти маленькие шпионы следили за поселенческой избой и

подсматривали в окна, не варится ли что у поселенцев, чтобы дать знать о пропаже. Эта тайная полиция особенно бесила поселенцев, тем более, что надсмотрщиков решительно нельзя было поймать и оттаскать за вихры. Благодаря молодым ногам, они мгновенно исчезали. Взбешенные поселенцы с камердинером и маркером тщательно обдумывали план мести. Только один старший поселенец из бродяг стал мрачнее, молчаливее и чаще обыкновенного скрывался с Евстигнейкой. Евстигнейко между тем женился, бил жену не на живот, а на смерть и пьянствовал на выданные ему казенные деньги*.

— Что же он пьянствует с Евстигнейкой! — задумывались камердинер и маркер.— Что же нас не пригласят!

Но поселенец приходил трезвый и даже мрачнее обыкновенного. Раз он пропадал целые сутки: думали, что он ушел бродяжничать, но он воротился весь в грязи и с тех пор уже не отлучался. К нему-то и обратились наши новички за советом насчет отместки мужикам.

— Теперь делайте, что хотите; я скоро уйду в лес! — сказал, насупившись, поселенец и больше с ними не говорил.

Прошло еще немного дней, и план кампании против мужиков был обдуман при помощи остальных бродяг-поселенцев.

Глава V

Кампания ссыльных против крестьян

Раз в летнее утро, когда мужики пробудились, чтобы ехать на покосы, а сенокосение приходило к концу, вдруг деревня огласилась страшными воплями и криками.

У мужика, выводившего тараканов при помощи маркера, оказалось в стойле до полдюжины перерезанных и брошенных на месте баранов. Рыжий крестьянин, особенно недолюбливавший поселенцев, вывел свою лошадь из-под навеса и сам изумился, взглянув на нее.

— Да это ты ли, Серко? — пробурчал он.— Ровно лошадь моя, а ровно не моя! — подумал он. Лошадь оказалась с отрезанным хвостом, без гривы, без челки, и, кроме того, у ней были обрезаны оба уха.

— Что же это за напасть такая! — воскликнул мужик, когда около него собралась толпа, а глупые ребята хохотали около кургузой и совсем лысой, точно обритой лошаденки, понурившей голову.

В то же время с другого конца деревни бежала целая ватага баб и старух, голося на всю улицу. Около дома солдатки, у соседей, в двух, трех домах, ночью в кладовых перебиты были все крынки с молоком и простоквашей, перебиты яйца, вся глиняная

* Есть закон, по которому, для поощрения браков и обезаждения ссыльных, последним выдается вспомоществование, которое и употребляется, как указано. (Примечание автора.)

посуда, опрокинуто масло, выброшен мед и опакочено все, что только можно было опакостить. Деревня пришла в неопишумую ярость. Там и тут слышался говор и крик.

— Это варнаки, поселыщики! это их дело! — слышалось в толпе. — Довольно им баловать, тащи их в волостную да и в город! Веди их на сходку, там миром присудим деранцу задать варнакам! Посылай десятских за ними, староста! — кричали кругом.

Но поселенцев в избе не нашли, они заранее, как видно, убралась на целый день в соседние деревни или в лес. Вскоре у волостного правления скопились челобитчики с жалобами. Тут стояла телега с шестью зарезанными баранами, лысая, кургузая лошадь, понурившая голову, как будто чувствующая свое унижение. На крыльце голосили старухи с черепками в руках. Но на этих челобитчиков, повидимому, мало обращал внимания суетившийся писарь. Он разговаривал с какою-то нюнившюю бабою.

— Давно ли он потерялся-то? — спрашивал писарь.

— Да вот уж с неделю нет. Я думала, в город ушел, да мужики из города приехали, говорят: он вперед их один выехал, а в городе не бывал. Верно, что случилось. Ой батюшки, помогите! Разыщите, Степан Митрич! — баба голосила и кланялась в ноги. Это была жена плутоватого мужичка с козлиною бородкою, бывшего приятеля поселенцев, исчезнувшего несколько дней неизвестно куда.

В то время, как над головою поселенцев собиралось более и более подозрений и даже в волостное правление предстал встревоженный новосел с фальшивою бумажкой, всученной ему поселенцами, — в это время поселенцы лежали верст за пять от деревни, в глухой кедровой роще; не было между ними только одного из старожил-бродяг, он отлучился в деревню.

К вечеру в лесу раздался свист, на него ответили тоже свистом, и отлучившийся поселенец воротился.

— Ну, что Евстигнейко? — спросил его старший поселенец-бродяга.

— Что, братцы, Евстигнейко сказывает, в деревне большой был переполох, в волость жаловались...

— Ну, и пуцай их, — сказал старший поселенец.

— Это бы ничего само собой, да Евстигнейко видел и проклятого новосела, тот шел в волостное правление, должно быть, говорит, с бумажкой. Потом сказывал, что окуневские мужики верст за двадцать вчера видели в лесу мужичонку убитого, так хотят послать розыски.

— Какого мужичонку? — спросили вздрогнувшие маркер и камердинер, знавшие многое, но не слыхавшие о пропаже мужичонка.

— Тут Филин был мужичонко, пропал... — как-то рассеянно сказал пришедший поселенец.

— Да это не тот ли, что такой плутоватый, попервоначалу к нам ходил? — заикнулся камердинер.

— Какой к нам ходил! Что ты врешь, никакого мы не видели! — вдруг прервал его грозно старший бродяга, глаза его заблестели, и он, показав что-то камердинеру из рукава, промолвил: — Держи язык за зубами, баба!

Маркер отчего-то побледнел и задрожал всем телом.

— Евстигней сюда же хотел придти, что-то поговорить нужно; говорит, плохо!.. — прервал прибывший поселенец.

— Ладно! — сказал мрачный бродяга.

В лесу стемнело. Темные тучи пронеслись над ним, и вдруг брызгнул летний дождь. С шумом закачались вековые кедры, поднялся вихрь, и скоро сквозь ветви полились на поселенцев целые потоки воды. Они разбрелись и лежали под корнями на мокром мху. Через полчаса на некоторых не было сухой нитки, а ветер бушевал все сильнее. Наступила ночь. Изредка слышались раскаты грома, а темные кедры качали огромными вершинами. Промокшие поселенцы, дрожа от сырости, проклинали то свою участь, то сибирских мужиков, то, наконец, Евстигнейку, заставлявшего себя дожидаться.

Наконец, в лесу послышался хруст деревьев, новые поселенцы вздрогнули, прижались за деревья, они думали, идут мужики, но при свете молнии показался Евстигнейко. Он пришел, запыхавшись, весь в грязи, и принес ковригу хлеба.

— Ешьте, да надо о деле потолковать! — сказал он озабоченно.

Когда молния прорезала еще раз небо, то можно было заметить, что он был очень бледен.

— Да говори, что там еще? — сказал старший поселенец. — Мы и так всего наслушались — не испугаешь.

— Больше ничего, как теперь все на вас, да и на меня поупути, все валяют. Нечего говорить там уж о баранах и о кладовых, а главное новосел, как я узнал сейчас, в волости сделал объявку насчет билета и показал на вас.

— Ну, что еще? — спросил тот же поселенец. — Вали в кучу, после разберем!

— Да слышно, окуневские мужики этого найденного мужичонку в волость везут... — Евстигнейко заикнулся: — за заседателем, говорят, послали: завтра к утру будет.

— Так что же? — заметил старший поселенец тем же твердым и насмешливым голосом.

— Ничего. Сам знаешь, — сухо ответил Евстигнейко.

— Больше ничего, так к генералу Кукушкину пора, зажились мы! — сказал хладнокровно поселенец. — К тебе нельзя сегодня, Евстигнейко, переночевать да обсушиться?

— Никак нельзя, теперь мужиков страсть набралось к нам, все жену на меня жаловаться учат. Я и сам теперь домой не пойду! — ответил Евстигнейко.

— Ну, так пойдем к нам, — сказал поселенец, — только надо осмотреть прежде избу, не занята ли да караулу нет ли; ежели нет и деревня тепер спит, мы обсушимся, а там подумаем...

Поселенцы тихо двинулись из лесу. Дорога была скользкая. Крупные капли дождя еще падали с неба, вдали на темных тучах еще играла молния. Молчаливо шли они, вязня в грязи и шлепая по лужам. Никто теперь не говорил ни слова. Маркера и камердинера била лихорадка, может быть, оттого, что они промокли, но они также не смели сказать ни слова.

Подойдя к деревне, был послан один из прежних поселенцев осторожно осмотреть поселенческую избу. Он нашел ее пустую и без караула. Тогда ссыльные начали, как воры, пробираться задами к своему прежнему жилищу.

Но лишь только они подошли к дверям, как вдруг во мраке показалась темная фигура; поселенцы струхнули. Один старший поселенец кинулся на эту фигуру и схватил ее за шиворот.

— Кто такой? говори! удушю! — крикнул он, пробуя свалить неизвестного противника.

— Это я, Михейко. Пусти, дяденька, что ты, очумел! — пропел чей-то голос. В этом голосе поселенцы узнали пучеглазого парня, их приятеля по партии, жившего в батраках в соседней деревне. Он считался самым глупым.

— Я к вам шел, да вижу, вас нету, так воротился,— промычал, вставая с земли, парень.

— Чего же тебе надо, чучело? — спросил грозно поселенец.

— Да я теперь, дяденька, от места отошел. Меня вчерась хозяин всего избил...

— Ну, и черт с тобой! Чего ж ты шляешься? — спросил поселенец.

— Чего же ты пугаешь? — также вскинулись на парня до смерти перепугавшиеся камердинер с маркером.

— Да я еще шел сказать, что я видел, братцы...

— Ну, говори, что видел? — спросил маркер, предугадывая, вероятно, новую беду.

— Я, братцы, бродяг видел...

— Бродяг! — воскликнул старший поселенец.— Да ступай, черт, в избу! — прибавил он, втолкнув взашей парня и запирая крепко двери.— Огня, братцы, зажигать нельзя сегодня, неравно увидят,— сказал старший поселенец.— Надо обсушиться таким манером. Ну, так говори, чертова перечница, что ты видел?..

— Я вот хотел им сказать,— обратился парень к маркеру и камердинеру.— Вчера меня хозяин на займку посылал к одному крестьянину, верст с два десятка отсюда больше будет, так тутотки я на балаган наткнулся: вижу — бродяги, я хотел наутек, да вижу — знакомые все, в парте с ними из Расей шли, теперь этот бродяга старый, что с нами шел, тот, что в остроге сидел, черный, кривой, про Сибирь нам сказывал, баба с ним же, что в остроге в Томском видели...

— Не Улька ли?..— спросил камердинер.

— Ну, ну,— сказал парень,— она.

— Ну, что же они говорят? — спросил маркер.

— Поклон, говорит, скажи поселенцам. Не хочет ли кто с на-

ми идти, так мы, говорит, под Наварихиной, верст за 30 отсюда, дневку на мельнице будем делать.

— Ну,— заметил старший поселенец.

— Таково у них, паря, баско,— продолжал парень.— Вином меня поили; за это хозяин и бил-то меня. У того, старого-то бродяги, денег, говорят, много, так он с ножишшем спит-то. А баско у них в лесу-то. Меня в Расею звали.

— Что же, и ты хочешь идти, чучело, в сосновый батальон, к Кукушкину? — спросил поселенец насмешливо.

— Больно хотца в Расею-то,— сказал парень,— чего я здесь жить буду...

— Ну, пойдем в Расею,— с какою-то иронией в голосе заметил старый поселенец.

— Чего же, братцы, вот и случай есть, к своим же и примкнем. Кто согласен за самотейками*? Айда, ребята!

— Идет на латата! — слышались голоса.— Здесь теперь уж нельзя жить! Айда, да и кончено!

Маркер и камердинер даже почувствовали облегчение от этого решения. Они знали, что иначе их потянут теперь в острог и начнут судить. Побег и бродяжничество все-таки оттягивали это время.

— Так Улинька-то там? — приставал камердинер, когда у него отлегло на душе.

— Поет,— ответил парень,— и в бандуру играет...

Между поселенцами слышался смех.

— Ну, веселье же нам будет,— говорили поселенцы.

— Так, ребята, чуть свет, готовь мешки и в поход,— командовал старый поселенец.— Евстигнейко, ты с нами?

— Куда же я без вас. Да и что мне дома жить? Деньги получил, рублей десять еще не пропил, а жена? — пропадай она, мне ее не надо...

Глава VI

Побег и бродяжеская поэзия

Едва занималась заря, как наши поселенцы с мешочками пробирались через поля, удаляясь от деревни.

Утро было роскошное. После вчерашней грозы природа свежее смотрела и зелень блестела ярче. На высоких травах от показавшегося из-за горизонта первого солнечного луча загорелись крупные капли воды и постепенно осушаемые нивы тихо заколыхались. Спящая деревня на берегу речки была подернута легким золотисто-розовым туманом, постепенно рассеявшимся. Извилистая, огибающая деревню, пропадающая в зелени, река была в своем летнем наряде. Голубая ее гладь была покрыта громадными зелеными водорослями и водяными лилиями, так что вся она

* Отправиться за «самотейками» значит собирать хлеб в бродяжестве — бродяжеский термин. (Примечание автора.)

походила на заросшее озеро. Могучая растительность, раскидываясь по лесам, широко занимая луга высокими, в рост человека, травами, спускалась по берегам и, наконец, как будто хотела поглотить самую воду. Началась уже жатва лугов, и множество стогов и копен окружали деревню. На громадном пространстве, лежа на откосах, раскидывались желтеющие и наливающиеся крупным зерном хлеба. Вырисовывающиеся на буграх высокие мельницы тихо повертывали своими широкими крыльями, готовые принять громадные хлебные запасы с этих неизмеримых полей.

Из деревни, в облаках светлой пыли, потянулось, наконец, длинную вереницею стадо. Все дышало, казалось, кругом этой деревни сельским довольством и изобилием.

На другой стороне реки выдвигалось селение новоселов, крестьян воронежцев*, переселенцев из России. Оно отличалось тем от сибирского, что, по старому обыкновению, их избы были курные, крыши желтели, покрытые соломой, или зеленели, обложенные дерном, с торчащим горшком вместо трубы наверху.

В первое же лето эти трудолюбивые люди успели снять на зиму сено. Теперь у них были засеяны громадные поля на привольных сибирских землях, обещающие богатую жатву. Переселенцы не разочаровались. Их труд оплачивался с избытком. Эта деревня перед рассветом начинала оживляться, доносился откуда-то скрип отворяемых ворот, отдаленный голос, и из закоптелых горшков на трубах вылетали черные клубы дыма, тогда как в сибирской деревне дым из трубы вился голубоватыми и белыми струйками. За этуо заселенною и оживающею местностью, на берегу зеленой реки, в утреннем тумане виднелась кедровая роща, к которой и направлялись наши беглецы. Эта кедровая роща готовила к осени обильные плоды. Тяжелые шишки с орехами качались на ее ветвях. До осени никто не смел вступить в нее. И только в назначенный день домовладельцы и хозяева чуть свет примчатся сюда, обыкновенно всем миром, верхами и начнут впереводку занимать деревья. Затем потянутся возы с мешками, шум, гам, крики и смех раздадутся по всему лесу вместе с стуком палок, которыми околачивают стволы, причем тяжелые шишки, скача по ветвям, осыплют и почву леса, и людей. Вечером здесь под мраком деревьев зажигаются веселые костры, освещающие живописные группы. Каляются на кострах свежие шишки с орехами, дружные песни не смолкают до утра, смешиваясь с скрипом телег, отвозящих полные мешки в деревню, чтобы потом сбыть по городам и селам, улицы которых будут скоро усыпаны скорлупками каленых орехов, после праздников составляющими иногда целые наслоения по сибирским улицам.

Но пока в этой роще царствует какое-то благоговейное молчание. Отовсюду веет прохладой. Мягкие и пушистые мхи лежат

* «Новоселами» называют в Сибири переселенцев, добровольно явившихся из Европейской России, поселенцами зовут только ссыльных. (Примечание автора.)

у подножия леса. Таинственные тени пробегают по ним, в то время, когда вековые кедры задумчиво качают и шумят своими старыми вершинами. Не даром эти темные рощи, наводящие задумчивость и способствующие внутреннему созерцанию, у древних народов посвящались божествам, а старый русский раскольник проводит в них года в религиозном размышлении один, лицом к лицу только с могучею природою своего бога. В этот лес теперь вступили наши поселенцы, охваченные его молчанием и торжественностью. Они последний раз теперь взглянули на оставленную ими деревню. В это время сияющее солнце в полном блеске выглянуло из-за горизонта и ярким светом облило лежащую перед ними картину. Исчез мгновенно легкий утренний туман. Светлая голубая даль смешалась с лучезарным светом, залившим восток. Ярче заблистали луга своею зеленью. Желтеющие нивы залились ослепительным золотом, и дремлющий колос поднял свою голову. Веселее засверкал луг своими цветами. Пунцовые пионы, яркие, как пламя, сибирские «жаркие цветы», дикие гвоздики, лилии, незабудки, колокольчики, полевые астры подняли свои головки, осушив мгновенно ночные слезы, дрожащие в их чашечках, и свежие утренние ароматы еще сильнее понеслись в воздухе. В минуту под этими ослепительными и теплыми лучами летнего солнца ожила вся природа, как будто бы дохнуло на нее теплым дыханием. Воздух наполнился ласковою теплотою, ожили и лес, и луга, и веселые пашни. Шарахнулись птицы, встрепенулись жуки, зареяли в воздухе пестрые бабочки и насекомые, и все это запело, защебетало, затрещало и перемешалось в самых разнообразных мелодических звуках. Радужные цвета переливались в воздухе, сотни звуков неслись отовсюду. Торжествующая, светлая, играющая множеством нежных красок и тонов, проснулась праздничная природа в это утро, как разодетая красавица в праздничный день. Но наши ссыльные не любовались ею; этот свет и солнце и торжествующая природа пугали их, они бежали от нее, и, едва заглянув на ожившую картину, беглецы метнулись в темную чащу леса.

Все более они ускоряли шаги. Они вздрагивали, как только раздавался внезапно свист птицы, шорох ветвей, звук от треснувшего сучка под ногами или высовывался обгорелый пенек. Их пугала и тень набежавшего облачка, и прыснувший в дупло тарбаган, маленький лесной зверек.

Это было замирающее, тревожное и напряженное чувство беглеца, ожидающего преследования. Скоро они обогнули болото и ударились в темную тайгу. Здесь начиналась трущоба. Громаднейшие ели и сосны тесно сближались между собою, охватив друг друга широкими ветвями. Старые колоды и вывороченные корни виднелись там и здесь, заграждая путь. Спугнутая ящерица пробежала по ним, скрываясь в темных дуплах. Изредка поднимался встревоженный ястреб и с резким свистом пронеслся над деревьями. Тяжелый филин метнулся из-под корней. Прянула с дерева белка и исчезла. Лес все становился гуще и недоступнее. Но и в

этой темноте и глуши леса тревожное чувство не оставляло беглецов. Раз послышался страшный треск, так что ссыльные должны были на минуту остановиться, со страхом ожидая медведя, но это промчался сибирский лось. Он прорезывал чащу рогами, перебивал иногда сильными копытами молодые деревья и исчез вдали, оставив светлое, сияющее отверстие в конце бора.

— Эге! да тут поляна близко,— сказал старший поселенец, предводительствовавший отрядом беглецов.

Путники прибавили шагу, и через полчаса, усталые и облитые потом от поспешной ходьбы, поселенцы очутились на каком-то лугу. Их обдало со всех сторон светом, обширное место занято было пашнею, в стороне стояла хилая избушка и около нее накиданные стога сена. Тяжелые колосья низко нагибались, волнуемые ветром. Над полем высоко вился жаворонок, трепеща крыльшками, и цветные мошки, блистая на солнце, кружились в своих хороводах. Лучи взошедшего высоко солнца обдали жгучими лучами наших странников.

— Ну, верст 10 отмахали! — сказал старший поселенец, взглянув на солнце и измеряя его опытным глазом, как иной моряк не измерит его меридиана.— Это Емелькина пашня, твоего приятеля, что тебе синяк на память подарил,— обратился он к маркеру.

— Ах, чтоб его! — крикнул озлобленно маркер.

— Что же, не хочешь ли сибирякам память оставить? — сказал язвительно старый поселенец.— Теперь недалеко, скоро выйдем на дорогу,— прибавил он,— прорежем ее, да и пустимся через тайгу, этак ночью-то будем пировать у наших, на окуневской мельнице. Что же, ребята, память-то оставлять, что ли?

— Что же, поджечь, что ли, на славу! — сказал ободрившийся и набравшийся теперь бродяжеского духа маркер.— Эй, Михайко, высекай огня! — крикнул он пучеглазому парню.

Михейко повиновался. Огонь был добыт.

— Подкладывай! — крикнул камердинер.

Михейко разжег сухую траву и бросил под стог, сам хорошенько не понимая, на что это. Глупый, наивный, он попрежнему стоял с выпученными глазами, ожидая, что будет дальше.

— Теперь айда! — крикнули поселенцы и, как из лука стрела, помчались в лес.

Мигом охватило пламенем крестьянское сено и по пути избушку, широкий белый столб дыма вылетел и расползся на светлой синеве неба. Маленькие огни змейками бежали по траве, подбились к хлебам.

— Важно закрутило! — сказал черный бродяга-поселенец, остановившийся у опушки леса и с дьявольскою усмешкою посматривая на пожар.

А поселенцы давно уже мчались по лесу. Изредка из-под их ног улепetyвал заяц, какой-то зверок бросился в кущу. Белка-летяга быстро понеслась перед ними по высокоим елям и вдруг при конце леса с высоты обрыва ринулась в зеленую кущу кустар-

ников. Показалась большая дорога. Запыхавшиеся поселенцы на минуту остановились над нею, поджидая остальных, как внезапно раздался звон колокольчика и показалась тройка.

— Это, верно, заседатель! — крикнули ссыльные и кинулись снова в кусты. Тройка промчалась. В повозке ухарски сидел человек с огромными бакенами и усами, в фуражке с кокардой, подле него лежала толстая суковатая палка. Ежели бы испуганные поселенцы не дали стрекача, они, может быть, в этом господине увидели бы не заседателя, а старого своего спутника по партии в ссылке — «бойкого мужчину с ста тысячами несчастий».

Как видно, он начал также свои подвиги в Сибири. Выигравши несколько деньжонок в гостинице «Венецианская ночь», в Томске, он вздумал предпринять более обширный план, а именно обревизовать в качестве фальшивого ревизора, с поддельными документами, несколько глухих волостей, куда редко заезжает начальство. Он уже привел отчасти свой план в исполнение, а именно объехал несколько сельских управлений, напугал мужиков и сельских писарей своей суковатою палкою, опечатав сельские кассы, вынудив ловко при этом из них деньги, собрал множество контрибуций с писарей и теперь скакал в ту волость, откуда вышли поселенцы. Он мчался смело и бойко, не зная, что, может быть, через час ему будет суждено быть арестованным нагоняющим его заседателем. Впрочем, развязный мужчина, по всей вероятности, и тут не сконфузится. На заявление: «позвольте вас арестовать!» он ответит:

— Сделайте одолжение, monsieur, и очень рад с вами познакомиться, да, кстати, нет ли у вас с собой рому, мы бы выпили, да ежели есть карты, то переметнулись бы... а то ведь здесь глушь, скука страшная!..

Наступила ночь, когда наши поселенцы сидели, после дневного путешествия, в дружеской бродяжеской компании, около старой мельницы, где им назначено было свидание бродягами. Приветливо пылал костер, около которого располагалась бродяжеская группа. На огне жарилась громадная задняя четвертуха говядины и варился котелок. Приятный запах мяса щекотал ноздри бродяг. Старый бродяга, тот самый, который гордо показывал в партии маркеру и камердинеру клейма на руке, теперь с чувством собственного довольства лежал около балагана, сделанного из молодых берез, и как-то эпикурейски философствовал, как любит философствовать человек, отдыхающий после утомительного пути или после трудной работы.

— А ничего теперь этого мясца поесть,— говорил он, осклабясь.— Потому как, проходя той тайгой, у нас от проклятой черемши да брусники совсем брюхо подтянуло. Помнишь, Васька, как мы грибы-то жрали да брюхо у нас схватило!..

— Да, брат, чуть не померли! — заметил кривой бродяга Васька, переворачивая говядину.— Очинно тогда туго пришлось!..

— Ха-ха-ха! Верно, не любишь! — сказал старый бродяга, прибывший из деревни.— Ты, верно, впервой бродяжишь?..

— Какое, братец, восьмой год маемся,— заметил Васька, мигнув зрячим глазом.

— Отколь у вас это, братцы, сегодня пир такой? — спросил старший поселенец, приведший новичков.

— Известно, сибиряки угощают. Мы, брат, нынче за мелкой дичью не ходим. Даве наши молодцы целую корову сперли! — сказал клейменный бродяга.

— Вот это ловко! — заметил поселенец.

— Недавно вот до вас тут целая переполоха вышла, мужики наезжали обыскивать нас: ну да тоже, мое почтение, отъехали с носом.

— А что? — спросил поселенец.

— Да мы, как корову-то стибрили, сичас ее увели в лес, закололи, разрезали, да видишь вон тот ручей? — туда ее и спрудили по частям в воду.

— Как же водой-то не унесло? — сказал кто-то из новичков-поселенцев.

— Чудак-человек! на бичевках спустили,— сказал, добродушно улыбаясь, клейменный.— Ну, мужики, поискали кругом да окол, видят — ни коровы, ни мяса нет, так и уехали.

— А мужики вас не берут? — спросил камердинер, видимо, заинтересованный лично в этом вопросе, ибо, как беглец, он начинал ожидать каждую минуту, что вот придут да и возьмут их всех.

— Не берут. За что же им брать? — передразнил его бывший учитель-поселенец.— Бери, коли попался, с качеством. А то за что ж он меня возьмет? Нас не переловишь. А представь он меня без дела, ведь товарищи ему и деревню выжгут.

— Это верно, только тронь! — сказал старый бродяга.

— Что же, неужели так по всей Сибири? — спросил один из новых бродяг.

— Известно, по всей,— сказал старший бродяга.— Кто тебя тронет! гуляй, бродяга! Эх, братцы, однако, говядина поспела. Ну-ко, Васька, вынимай черепуху, что даве мельник принес. Улинька, затяните-ко нам, матушка, бродяжескую.

Около кустов показалась Улинька, бойкая бродяжка, с которою в это время беседовал маркер, питавший к ней особенно нежные чувства еще в остроге.

— Матушка, Улинька, гаркни нашу бродяжескую, разутешь душу, разгуляй тоску! — присоединились другие бродяги.

Улинька была смуглая и высокая поселенка, в последнее время постоянно осуждаемая за неоднократные побеги с любовником на заводы. Она была молодая девушка, сильная, мужественная и закаленная в бродяжестве. Лицо ее загорело, но сверх загара проступал яркий румянец; взгляд ее был смелый, пронизательный; вся фигура дышала отвагой и одушевлением. На ней была худенькая ситцевая юбка, платок вместо пояса, а на плечах одна рубашка, из-за которой выставлялись загорелые плечи и полная грудь; только на боку висела большая красная деревенская шаль,

завязанная через плечо. В этом костюме она напоминала цыганку.

— Улька, что же ты упрямисься, аль с поселенцами знакомство свела? — сказал один из мужчин высокого роста, с лихо закрученными усами, как видно неравнодушный к Улиньке.

— Молчи, самотеешник!* — отвечала бродяжка, обдав бродягу своим черным, жгучим взглядом.

— Ну, ну, Улинька, спой, матушка! — упрасивали ее поселенцы.

— Водочки, братцы, по чепарухе. Новички, ну-ка, бродяжеской! — крикнул в это время Васька, исполнявший должность кашевара и кравчего. Компания выпила и оживилась.

Молодая бродяжка взяла походную балалайку у одного из бродяг, встала в средину круга, откинула свои черные косы и, освещенная с ног до головы ярким пламенем костра, на который бросили целую охапку хвороста, очутилась в непринужденной и гордой позе привычной певицы. Камердинер даже залюбовался на нее.

— Что же вам, варнаки, бродяжескую, что ли? — плутовски улыбнувшись, сказала Улинька и, не дожидаясь ответа, откинувшись всем телом, запела:

Ох! вы бродяги, вы бродяги,
Вы, бродяженьки мои!
Что и полно ль вам, бродяги,
Полно горе горевать!
Вот придет зима, морозы,
Вы лишитесь гульбы,
Вы лишитесь, шельмы, гульбы!

В последних словах ее голос зазвучал насмешкой, вся фигура опрокинулась, засмеялась, а в глазах горели сарказм и ирония.

В этом голосе, звонком и насмешливом, отражался весь характер певицы, то страстный, увлекающийся, то гордый, насмешливый и независимый, могущий довести до бешенства своим коварством и надменностью.

Скоро голос певицы зазвучал мягче и симпатичнее. В этой песне развивалась целая драма бродяжеской жизни. Здесь было описано и наказание, и приговор на каторгу, и то, как наказанные «со коичек вставали, становилися в кружок» и рассуждали о своей участи.

Вдруг песня приняла веселый оборот, и бродяги грянули уже хором:

Мы Нерчинска не боимся,
Нам в Бобручке не бывать!
Путь-дороженьки тут близко,
Со пути можно сбежать.

Эта дружно подхваченная песня звонко, шумно и одушевленно понеслась по лесу вместе с разгоняемым ветром дымом все ярче и ярче пылающего костра.

* Самотеешник — от бродяжеского термина «самотейки», т. е. подаяние. (См. примечание на с. 97.)

Не один бродяга задумался над этой песнью, не одно бродяжеское сердце билось, смотря на молодую бродяжку.

Улинька, Улинька! сколько бедных бродяжеских сердец иссушила ты! С сколькими добрыми молодцами гуливала ты об руку по темным сибирским лесам, идя с заводов, сколько отваги, борьбы положили они за тебя, причиною какой жгучей ревности была ты у них и сколько, сколько в этих же лесах совершилось из-за тебя, может быть, кровавых сцен, и не один бродяга порешил другого, чтобы овладеть тобою! А ты все осталась независимой и попрежнему чаруешь своих друзей-бродяг, как будто смеешься над ними. Бог с тобою, гордая паленица*! Ты, может быть, не подозреваешь своей силы, вольная, вольная птица.

Целую ночь неслись бродяжеские песни. Бродяжеское веселье было беззаветное, широкое веселье, не думающее о завтрашнем дне, как будто бы это был последний разгул на вольной жизни, потому что никто не мог ручаться за то, что завтрашний день его встретит не в тюрьме. Новая картина этой жизни рисовалась пред новичками-бродягами.

Темная зелень, несущийся луговой запах цветов и свежей травы, ярко пылающий костер, освещающий группу отважных и смелых фигур, раскинувшихся на траве и подперших голову в каком-то раздумье, энергичная фигура певицы, ее раскрасневшееся лицо, горящие как уголь глаза, наконец, ее задушевный, сладкий, то убаюкивающий, то саркастический и насмешливый голос — все это действовало опьяняющим образом на наших пришельцев. Это была своеобразная поэзия бродяжеской жизни. Пред маркером и камердинером мелькало в эту ночь все виденное ими как сон. Судьба очень быстро перебрасывала их из одного положения в другое, так что они не успевали очувствоваться. По мере того, как пустела огромная бутылка пенной, вынесенная днем из соседней деревни, песня бродяг шумнее и шумнее разносилась по ветру.

Только к утру хриплые голоса начали прерываться, отяжелевшие головы понемногу склонялись, и бродяги один за другим заползли под ветви балагана. У камердинера и маркера тоже замелькало в глазах. После тяжелого и полного сильных ощущений дня их взяла усталость. Хотя они все еще пробовали таращить глаза, но силы их ослабели, дремота прерывала их бодрствование. Изредка перед ними мелькала еще не то во сне, не то наяву, пляска молодой женщины, мечущейся, как вакханка, около костра под звуки песен, то все ступшеывалось, и когда они открывали глаза, то видели круговую чарку и пестрые одежды бродяг, еще немного мелькнуло перед ними — два лица лобзающихся между собою приятелей, оканчивающих пиршество и укладывающихся спать, причем один положил голову на брюхо другому. Наконец, мелькал уже один костер, догорающий тихим пламенем, и около него лежала громадная фигура охмелевшего старого ка-

* Паленица — товарищ удалой вольницы, богатырка.

торжного. Когда костер вспыхивал, он освещал его клейменое лицо да жилистую руку, откинутую во сне, туго стянутую ремнем, на котором висел нож, во время сна бродяги выпавший из рукава. Наконец, все исчезло, и наши приятели погрузились в тяжелый сон.

Не спал только один вышедший сегодня из деревни старший поселенец из бродяг. Он лежал под зеленою «ракитою», которую так любят воспевать бродяги, лежал на спине и задумчиво смотрел в синее, безоблачное небо, на котором то вспыхивали, то потухали светлые и разноцветные звезды. Видимо, он наслаждался прохладой и тишиною ночи и этою парящею надо всем свободною, изредка прислушиваясь то к веянию по кустам тихого ветра, то к журчанью близ текущей речки, то к далекому, унылому и монотонному плачу кукушки, этой по преимуществу любимой бродягами птицы, может быть, за то, что она, так же как и они, не имеет своего гнезда и вечно оплакивает свою участь.

В эту ночь старый поселенец из бродяг испытывал все чары лесной жизни, о которой побывавший раз в бродяжестве мечтает в тюрьме, в руднике, на каторге и даже на поселенье, за которую он несет плети и ужасные физические муки.

О, только раз бы вздохнуть
Дыханьем лугов полевых!
О, только раз бы вздохнуть!

Эпилог бродяжества

Вставая рано поутру, новоприбывшие беглецы, в том числе камердинер и маркер, ближе осмотрели новых своих знакомых, с которыми приходилось им идти. Это была сборная группа ссыльных-страников со всех концов Сибири. Здесь был старый знакомый их по партии, каторжный с клеймами, 6-й раз совершающий побег, в том числе раза четыре бывавший за Уралом, наказанный и возвращаемый снова в Сибирь, на рудники, откуда он еще раз десять предполагал бежать. Были поселенцы, виденные новыми ссыльными в Томском остроге, успевшие после водворения пуститься в бега кто с приисков, кто из деревни.

В этой же среде находился известный бродяга, учивший ссыльную партию перед Тюменью одеваться сеном и на острогу камердинера предсказавший уже тогда им бродяжескую будущность. Были люди из арестантских рот, с каторжных заводов, арестанты, бежавшие с дороги и острогов. Был в этой среде старик, хилый и плешивый, который кончал свою жизнь в бродягах, скитаясь по сибирским деревням лет 30 и выпрашивая милостыню, но тут же виднелась цветущая здоровьем молодая пара любовников. Это была Улинька с молодым каторжным Калиной, молодцеватым, сильным и красивым парнем, отличавшимся необыкновенною дерзостью в побегах. Разлучаемые несколько раз ссылкою, они снова отыскивали друг друга на заводах. Эта была чисто бродяжеская пара.

Все эти люди соединились вчера в партию на перекрестке бродяжеского тракта около Окуневской мельницы, где бродяги поджидают обыкновенно знакомых, чтобы продолжать путь за Урал. Эта группа, состоявшая человек из 30-ти, должна была, однако, сегодня разделиться и пойти частями, так как по деревням необходимо пробираться только по двое. Больших бродяжеских шаек не любят ни крестьяне, ни земское начальство. Притом многие из бродяг, вероятно, двинутся на разные тракты.

В стороне от бродяжеского табора, по этому поводу, наутро советовались два главных бродяжеских вожака: старый каторжный и старый поселенец, приведший беглых ссыльных из деревни.

— Так вы, значит, от Колывани пойдете на Карасук, а потом по Иртышу на Тюкалу, а потом мимо Ишима к Ялutorовску и на Шадринск, здесь и перевал в Расею начнете? — говорил старый поселенец.

— Да, надо быть так, — отвечал каторжный, — к Камышлову теперь хоть не ходи: третий раз попадаюсь, чтобы его прахом взяло! Это теперь Пермская губерния год от году хуже: берут бродяг, что ты хочешь!

— Так-с! Ну, так уж и мы ударим на этот же тракт с новобранцами для компании, — сказал предводитель поселенцев.

— Дело!

Пока вожаки условливались, как идти по Сибири и где удобнее переваливать в нынешнее лето Урал, около одного костра, где в бродяжеском котелке варил кто-то кирпичный чай, а другие поджаривали оставшуюся говядину, сидели маркер и камердинер, понуриив голову и соображая насчет нового своего положения. Светлый день, шорох листьев, издали доносящийся лай деревенской собаки и крик петуха опять начинали наводить на них грустные размышления, некоторую робость и тревогу, ощущаемую новичком-беглым.

Увидя их нерешительный вид, какой-то добродушный краснобай-бродяга взялся воодушевить их.

— Эй, вы, новички, что насупились-то? Чего робеете! Ты смотри, какую мы развеселую жисть ведем! Нечего нос-то вешать. В Расею пойдем!

«В Россию!» — теперь только вострепнулись наши поселенцы, невнимательно слушавшие бродягу. «В Россию, на родину, а что в самом деле!» — шелохнулось в душе ссыльных. «В Россию!» — это магическое слово для ссыльного, все забыто: опасность, страх наказания, ожидающие впереди плети и каторга. Самые безумные надежды вспыхнули при этом имени: все забытое, старое, родное воскресло при одном звуке; что-то горячо прилило в сердце и охватило его страстным, замирающим чувством. Заветная мысль ожила из-под гнета безнадежности; какая-то тяжесть спала, которую долго носил поселенец, и его мысль понеслась неудержимо вдаль, туда, куда вечно стремилась подавленная и изгнанническая душа его. Давно затаенное желание теперь

могучим пламенем охватило все существо ссыльного. Он готов будет с этой минуты кинуться на все, чтобы удовлетворить этому желанию. Под влиянием заветной надежды пойдет отныне новый бродяга с облегченным сердцем. Что за нужда, что он нищий, без крова и места,— он идет оживший, смело и весело. Страдания голода, трудности пути, усталость, непогода, осенние дожди и зимние вьюги — все нипочем ему. Его греет неведомый внутренний жар, и одно сладостное чувство заставляет забывать всю боль страдания, все муки тела.

Таким образом, одно это слово решило судьбу поселенца на целую жизнь и сделало его мономаном. Почувствовав малейшую вероятность осуществить свое инстинктивное желание, он будет стремиться к этому безостановочно целую жизнь. Пойманный, может быть, в соседней же губернии и посаженный в острог, наказанный плетью и сосланный на завод, он не разуверится и будет попрежнему мечтать, как бы лучше осуществить побег, как бы осторожнее пробраться за Урал. Не удалось пять раз, удастся, как знать, может быть, в шестой, не удалось в шестой, удастся в седьмой и т. д. Вот почему эти мономаны совершали из Сибири по 18 и по 20 побегов. Они перелавливаются каждый год целыми сотнями уже в Тобольской и Пермской губернии. Их наказывают, ссылают в рудники, удваивая, утраивая каждый раз сроки, а они все бегут и бегут в свою Расею, как будто бы ослепленные, фанатически отдавшиеся одной идее, одному чувству, которое их фатально каждый раз ведет только к гибели.

В Сибири каждую весну к берегу раздольно разлившейся реки прибывают тысячные армии маленьких зверьков — полевых мышей. Они совершают свои переселения, гонимые, вероятно, тем же инстинктом, каким двигались целые народы, выкидываемые из недр Азии в Европу.

Эти маленькие зверьки-эмигранты не останавливаются ни перед чем: ни перед лесами, ни перед крутизною гор, ни перед болотами и небольшими речками, которые им удается переплывать. Держась одного направления и дойдя до громадной реки, под влиянием непреодолимого инстинкта идти вперед, их предводители кидаются в волны и скоро уносятся могучею рекою. Это не останавливает, однако, последующих, несмотря на гибель передовых; войско этих мирмидонов*-зверьков кидается за ними и погибает в реке. Такова судьба и сибирских бродяг. В этом заключается трагический *sercle vicieux*** их злополучной жизни!

Но что бы ни было впереди, что бы ни ждало их, в это светлое летнее утро, обогретые приветливо солнцем, ссыльные встанут веселее обыкновенного и со словами:

* Мирмидоны, или мирмидоняне — ахейское племя, погибшее, как повествует древнегреческий миф, от моровой язвы во время перехода из Эгены в Фессалию.

** Порочный круг (*фр.*).

— Ну, ребяташки, в путь. В Расею! — они двинутся дружною толпою в путь.

Каждое утро они будут вставать с этими словами и идти по обширным полям и долинам сибирским, по темным как ночь сибирским тайгам и дубровам, по высям гор и глубине оврагов, днем пробираясь по деревьям, а ночью зажигая веселые костры в лесу.

— В Расею так в Расею! — сказали и наши друзья — камердинер и маркер, видимо, оживившиеся, и двинулись последние за бродяжеской партией.

— Эх! Михейка-то где-то запропал! Ведь и он тоже хотел в Расею, — грустно заметил маркер.

— Поди, попался! Эх, Михейко, Михейко! — сказал, покачав головой, камердинер.

Деревенского их приятеля действительно с ними не было, и камердинер с маркером в первый раз пожалели пучеглазого парня.

* * *

Участь Михейки между тем была незавидная. Лишь только он увидел вчера, как закрутил на пашне огонь, он помчался со всех ног в лес, не обращая внимания, куда последуют поселенцы. Долго он под влиянием страха мчался в чащу леса, запинаясь о повалившиеся колоды, зацепляясь за ветви, за кочки, за обгорелые пни. Исцарапанный, оборванный, он все бежал дальше и дальше, пугаясь и своей тени, и ветвей, и собственного шума. Как отуманенный выскочил он на поляну, и удивленному его взору представилось болото, неподалеку лежащее, верстах в двух от деревни. Обессиленный, измученный, с разбитыми ногами, с исцарапанным лицом, очутившись перед деревней, он совсем перепугался. Хотел бежать назад, но сил не доставало, он бросился в кусты, покрывавшие болото, завяз в нем и упал под первым кустом, где в каком-то забытьи пролежал до вечера.

Между тем в деревне была страшная суматоха. По направлению к пашне мчались в одних рубахах на бойких лошадях сибирские мужики, завидевшие рано пожар. Они целый день тушили его, так как вся пашня занялась огнем, от нее чуть не загорелась тайга, и тогда огонь кинулся бы на деревню, а потом пошел бы гулять на сотни верст по всей тайге, поглощая леса и деревни, разливая везде огненное море лесных пожаров, которые в Сибири представляют грандиозное, потрясающее и страшное зрелище.

Целый день работавшие крестьяне только к вечеру успели потушить пожар. Усталые, по двое и по трое верхами возвращались они в деревню. Солнце закатывалось, когда двое из них на бойких, приземистых лошадах подъезжали к болоту. Один был низенький, плотный, с калмыковатым лицом и жиденькой бородкой, носивший след инородческой помеси и называемый в Сибири

карымом (метисом), другой, высокий, рыжий детина с большой окладистой бородой. Они были в высоких шапках, оба перетянуты крепко ремнем, за плечами у них висели винтовки, подле лошадей бежала чуткая собака, вечный спутник крестьянина в тайге. Иногда крестьяне останавливались на месте, черноватый из них крутил постоянно на одном месте лошадь и осматривал своими узенькими зоркими глазами кусты.

— А вот те Христос, Петрович, они здесь были, вишь, вон как сук-то надломило. Как он, значит, ступил, так оно и есть. Сучка, сучка, фю-фю-фю, благословенная! — подуськивал крестьянин бегущую подле собаку.

Низенькая, шершавая шавка нюхтила в траве и легонько бежала впереди. За нею следовал медленно хозяин.

— Да нет, Тимош,— сказал крестьянин с рыжей бородой,— ты это напрасно. Я ведь видел, где они через тайгу вдарили. Это они тут допреж были! Ну, только бы не пожар тушить, я бы их настиг.

— Ой, паря, ведь их много пошло, как бы ты один? — сказал калмыковатый мужичок.

— Так что, я бы их, варнаков, всех на одну пулю! Шутка ли, такое озорство наделали, чуть деревню не спалили. Нет, их надо было проучить!..

В это время крестьяне выехали как раз на горку перед болотом, раскинувшимся далеко под горою, за которой медленно уходило солнце. Собака завиляла и кинулась вперед. Рыжий мужик приложил руку к глазам и крикнул:

— Эво! Да в самом деле здесь кто-то есть! Мотри, ворон-то крутит!

Действительно, впереди их в одном месте летал над кустом ворон, и около вились несколько ворон. Это верный признак у сибирских крестьян, что здесь есть человек. По этой примете находят часто бродяг.

Всадники немедленно помчались по горе к этому месту, сбрасывая на бегу с плеч винтовки, и, остановившись недалеко от куста, начали крутить быстро лошадей.

— Эй! выходи, если жив! — крикнул рыжий мужик.

В кусте лежала черная масса.

— Выходи, а не то берегись! — крикнули опять мужики.

Из-за кочки медленно показалась бледная голова с выпученными глазами.

— Вылезай, вылезай, собака! — промолвил грозно рыжий детина.

Из куста, шатаясь, вылез помертвевший и дрожащий от страха парень. Он вышел на гору и прислонился к лесине, мертвенная бледность покрыла лицо его, и в глазах отразилась предсмертная тоска. Парень ничего не мог промолвить и стоял остолбенелый с выпученными попрежнему глазами.

— Кто из вас хлеб жег? Говори, варначий сын! — крикнул, выехав вперед, карым.

Парень вздрогнул на минуту.

— Говори! — повторил низенький мужичок и вскинул, в виде угрозы, винтовку к плечу.

Из груди парня хотел вырваться какой-то звук, но так на половине и замер.

В это время из винтовки рыжего мужика вылетел белый дымок, и парень, как бы с открытыми глазами, так и рухнул под дерево без звука.

Через несколько минут, бросивши парня в болото, мужики уже во всю прыть скакали по направлению к деревне. Михейко остался испугательной жертвой поселенцев за все их преступления. Долго еще бедный Михейко лежал на болоте, когда наши беглецы были уже далеко.

Мы не будем следить за дальнейшей их участью. Конец ее не трудно отгадать, хотя трудно сказать, где эти люди будут даже через день, не только через месяц. По всей вероятности, однако, что каторжный будет где-нибудь судиться за побег, взятый около Шадринска. Камердинер и маркер будут сидеть, может быть, в Омском, а может быть, в Тюменском замке, где они будут беседовать с своим петербургским земляком. Некоторые из них пойдут назад в Сибирь на заводы и в рудники, и, проходя по сибирским замкам в Томске или в Красноярске, некоторые из них, вероятно, найдут бойкого мужчину, судившегося за фальшивую ревизию. Иные, проболтавшись до осени, когда их застанут холода, сами придут проситься в тюрьму, а иные совсем пропадут бесследно, как бедный Михейко. Из года в год у многих потянется эта жизнь то в бегах, то на каторге. Такая жизнь будет богата множеством подвигов и приключений, много придется пережить и перечувствовать. В ней отразится жгучая тоска по родине, истинное горе и личные страдания так же, как много ядовитой злобы и мести. Невинная сибирская почва поэтому не раз еще примет крестьянские и бродяжеские жертвы в свои недра, в то время, когда девственная и могучая природа будет сиять своими красотою, одеваться цветными лугами, зеленеть и шуметь своими бесконечными лесами.

Поселенческое проклятие не раз раздастся в этих пустынях, когда молодая и богатая страна, казалось, сулит столько счастья, столько довольства человеку.

Литературный сборник. СПб., издание редакции «Восточного обозрения», 1885.

СИБИРСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ

(Из путевых записок об Алтае)

В странствиях по Сибири я давно искал случая посмотреть Алтайские горы с Бухтарминским краем, привольную местность, обладающую прекрасным климатом, которая вполне может быть названа Сибирской Швейцарией.

В 1878 году, проехав пространство монотонных и бесконечных сибирских степей на Бийско-Каменогорском тракте, я коснулся наконец предгорий Алтая. Прекрасная зеленая равнина Алея уступала место новой природе.

Подъезжая к этим предгорьям и впиваясь взором в лазурную даль летнего воздуха, дрожащего и волнующегося над почвой, разогретой лучами жгучего летнего солнца, мы внезапно увидели синие абрисы далеких гор, которые выступали как бы массивные пресс-папье на бесконечно стелющейся равнине. Приближение массивных величественных громад вместо обыкновенных гор, к которым мы присмотрелись, и производит особое тревожное и приятное ощущение. Я никогда не забуду первого подъема на горы и созерцание окружающего вида. Первое впечатление — самое живое впечатление.

Хотя горы едва обрисовывались, но место заметно становилось волнистое. Несколько раз в своем воображении я сравнивал эти волны, лежащие как продолжение далеких возвышенностей, со складками огромной зеленой мантии, спускающейся с царственных алтайских высот в долины.

К моему удивлению, в местном наречии я нашел совершенно тождественное название «подол горы». Множество алтайских деревень расположены на *подоле*, или на шлейфе, этой горной мантии. Среди видимых гор постепенно проступала темно-синяя или сизая сопка — это была Синюха Западного Алтая (название Синюхи, слишком распространенное на Алтае, применительно к покрытым хвоей горам); настоящая Синюха была исторической замечательностью Алтая. Пока горы были видны, верст за 20 или 30, на зеленых полях, там и здесь, начали появляться каменные обнажения — это были куски неправильных камней; чем далее, тем более их было набросано в самом причудливом беспорядке: они выступали остроконечными ребрами, валунами или накиданными кучами, но они не были безжизненными массами, порождавшими бесплодие каменистой пустыни; напротив, около каждого из них выбегала свежая зелень, ютилась березка, а иногда эти пирамиды осеняло величественное дерево, охватывая живыми корнями подножия камней. В этих сочетаниях камней люди живого воображения отыскивают сходство со стволами, мертвыми головами, профилями застывших животных, башнями, развалинами древних замков и т. д. Чем далее в горы, тем рельефнее выходят каменные обнажения; появляются скалы известняка, гранита, мрамора. Иногда это виды целых разрушенных городов и крепостей, целые поля каких-то немых и фантастических изваяний природы, перемежающихся с зеленью. Роскошная растительность осеняет их: здесь видна цветущая жимолость, акация, калина, черемуха, а поля усеяны пестрыми и яркими цветами. Такова местность близ деревни Саушки при приближении к Кольванскому озеру и Кольванскому заводу.

Кольванское озеро и гора Синюха с расположенной у подножия ее Кольванской фабрикою — две первые замечательные ме-

стности, останавливающие взор путешественников в преддвериях Алтая. Слово «Колывань» на большой сибирской дороге (от Тюмени до Томска) пользуется весьма незавидной репутацией: это дрянной заштатный городишко на утомительной грязной дороге; название «город» в применении к нему вызывает обыкновенно презрительную улыбку в проезжающем из России. Город этот, собственно, административная фантазия; назначенный быть городом, он беспрестанно то оставляется за штатом, то снова возводится в звание города. Однажды он сбежал и квартировал несколько лет в деревне, пока его не разыскали и вновь не водворили на предназначенных пустырях. Не то Колывань — Алтай. Когда-то это имя было дано первым Демидовским заводам, открывшим драгоценные залежи руды; впоследствии оно присвоено было целому наместничеству (в 1792 г.). Ныне оно сохранилось как традиция и дано в наследство гранильной Колыванской фабрике, о которой мы поведем речь. Это же название носит одно из живописнейших озер Алтая.

Колыванское озеро и Колыванская фабрика редко посещаются проезжими, потому что они расположены в глуши и вдали от главного сибирского тракта, но кто из путешественников заглядывал сюда, выносил самые яркие, самые неожиданные впечатления. Колыванское озеро, расположенное среди полуразрушенных, выветрившихся гранитных пород, перемежающихся с полями свежей зелени и живописными лесками, окружено романтическим пейзажем и производит фантастическое обаяние. Рассказывают, что одна девушка, привезенная сюда непредусмотрительными родителями для развлечения и лечения от душевной болезни, бродя среди уединенных скал и пропастей, совершенно помешалась. Люди более здоровые не могут не почувствовать своего рода припадка романтизма. Ребенок, воспитанный в этой местности, в лице дочери одного инженера, получил полный отпечаток романтизма в искании опасностей, в любви к скалам, пропастям, дикой отваге и склонности к фантастическому и оригинальному. Даже суровые и закаленные путешественники, весьма равнодушные иногда к красотам природы, не могут не почувствовать здесь восторга. В этом случае мы сошлемся на впечатление, вынесенное знаменитым нашим ученым Шуровским, доказавшим, что сердце геолога может быть столь же восприимчиво, как и сердце поэта.

«Чем более вступал я в этот гранитный хаос, тем скалы становились круче, громаднее, тем более располагались рядами, разделенными между собою весьма глубокими и лесистыми долинами. Вершины гор покрыты сосною и березою, а скалы их и самые долины поросли рябиною, черемухою, акацией, жимолостью и другими кустарниками. Спускаясь несколько раз в такие лесистые долины и поднимаясь на крутизны, я взъехал наконец на одну возвышенность, с которой открылось предо мною очаровательное зрелище.

Колывань-озеро, как огромное круглое зеркало, лежало в весьма фантастической раме, между самыми живописными гра-

нитными скалами. Без всякого преувеличения найдете тут всевозможные сравнения с древними замками, с развалинами готических зданий, с падающими башнями, со многими искусственными произведениями, с некоторыми животными и человеческими фигурами. При первом взгляде на Кольвань-озеро, на эту величественную картину, невольно обращается к нему все внимание.

Перебегая взорами от одного предмета к другому, ни на чем не можешь остановиться; хотелось бы одним разом все запечатлеть в своей памяти. Я долго стоял на берегу озера, прислушиваясь к шуму и плеску волн. Было довольно ветрено, волны непрерывно неслись к берегу и с пеною расшибались о гранитный утес, у подошвы которого я любовался картиною».

Здесь знаменитый ученый продекламировал «Утес» Бенедиктова и с сожалением оставил прекрасное Кольвань-озеро.

Мы видели это озеро в тихую погоду, когда розовые и голубые блики тихо скользили по нем; светлая зелень то там, то здесь обрамляла берега, уставленные причудливыми пирамидальными скалами, как бы из сложенных друидских жертвенников, за которыми виднелись целые парки, рощи, луга, уходя вдаль и сливаясь с синевато-зубчатых, причудливых гор. Местами на берегу лежали целые чаши и валуны гранита; чистые воды озера вымывали крупный гранитный песок. Безмолвие. Но тихие сменяющиеся переливы цветов, отражение причудливых контуров в воде делали вид действительно оригинальным. К сожалению, окружающее было пустынно: здесь нет швейцарских шале, беседок, скамеек, памятников, надписей; какой-то полуразрушенный навес около одинокой скалы сохранял след посещений местных любителей природы. Окружающие деревни слишком погружены в неустанные заботы о хлебе; среди горькой крестьянской жизни им не до прекрасных видов. Поэтому Алтай отличается от настоящей Швейцарии тем, что здесь, чтобы полюбоваться прекрасным берегом реки, приходится пробираться через грязную скотскую стайку — как не раз приходилось нам — или среди величественных, чарующих душу картин оставаться одинокому, подавленному природою. Это впечатление пустыни, грозной и торжественной, свойственное сибирской, не оживляемой присутствием человека природе, создает несколько грустно-меланхолическое настроение, но рядом с набожно-созерцательным. Вы видите, что пустыня здесь беседует только с богом.

Иногда вид угрюмых гор производит тягостное впечатление, испытываемое, когда темные горы, как синие чудовища или огромные киты, окружают, сдавливают долину. Порою кажется: вот-вот они дохнут, пошевелиятся; может быть, таково чувство зарождающегося в душе человека пантеизма*.

Близ деревни Верхне-Ульбинской, среди этих суровых громад, мы увидели грустное дополнение — мрачную скалу, украшен-

* Так возникла древняя религия. Доселе у алтайских инородцев Алтай — живое существо. (Примечание автора.)

ную крестом. Какой-то одинокий, закинутый судьбою мечтатель бросился с этой скалы. Крестьянка, свидетельница этого события, передавала нам его так: закинутый сюда чиновник собирался уезжать, сильно скучал и ходил ежедневно на скалу, где просиживал часы; раз он взшел, и женщина, работавшая в огороде, увидела летевшего со скалы несчастливца. «Как мотылек вился»,— говорила она. Он упал в трещину скалы. Говорили, что у него была несчастная любовь; но смерть не выдала тайны. Скала стоит среди местности, откуда открывается величественная панорама; у подножия ее лежит огромный луг, вдали — висящие громады, под ногами — бездна. Может быть, подобные бездны, как струящаяся река, имеют иногда безотчетно манящее и кружащее голову притяжение.

В различных местах Алтая попадаются эти кресты на скалах, как памятник гибели людей, как предупреждение, что эти прекрасные, очаровательные места скрывают свои бездны, которые поглощают жизни. Это должен помнить путешественник.

За несколько верст от Кольванского озера, у подножия Синюхи, лежит заводское селение с Кольванской фабрикой. Окружающая его местность представляет также не малый интерес. Около этих мест зародилось рудное дело Акинфия Демидова, поставившего в 1727 году, близ Синей сопки, первый плавильный завод в десять печей. Скоро, однако, за недостатком леса плавка была сокращена и осталось шесть печей. В 1766 году завод приостановлен, пока вырастет лес. В 1799 году завод был совершенно упразднен, и на место его переведена Локтевская шлифовальная фабрика. Здесь была открыта первая руда, а впоследствии — серебро.

Несмотря на то, что Демидов усеял заводами эту местность и открыл неисчерпаемые богатства, заводы не остались в его руках. Вскоре за открытием медных руд люди Демидова разыскали серебро; металлы отыскивались по старым чудским копиям и шурфам, где люди медного века проложили дорогу новой культуре. Предания гласят, что Демидов, открыв серебро, удерживал это втайне и тайком выплавлял его, что открылось благодаря измене штайгера. Тогда последовало высочайшее повеление императрицы Елизаветы Петровны — обревизовать рудники бригадиру Бееру, сделать пробы и отобрать рудники у Демидова. Так и было сделано: серебро нашлось, о чем уже заявил и сам Демидов. В 1747 году предписано было принять Бееру рудники и в уплату засчитать недоимки, следуемые с Демидова за его людей в казну (см. Паллас, Щуровский). С этого времени все рудники и заводы, в том числе и Кольванский, находятся в ведении Кабинета. Таким образом, около Кольванской фабрики началась история всего горного алтайского дела.

Синюха представляет красивую выдающуюся сопку, поросшую когда-то прекрасным темным лесом; у подножия ее раскинуто Белое озеро более скромного характера, чем Кольванское. Дорога к заводскому селению выложена и идет по шоссе. Сама фабрика

представляет хорошенькую игрушку; около нее есть живописная скала, гора Синюха для прогулок, увеселительный карбас с озером и архитектурная часовня в селении из цельного камня с мозаикой. Мы позволим себе, однако, остановиться более на трудовом и производительном значении этой единственной в Сибири гранильной фабрики.

Всем известно значение Екатеринбурга, славящегося каменными и гранильными произведениями,—они расходятся по всей России; уральские камни получили общую известность. Но едва ли многие знают о подобных же произведениях Алтая или, по крайней мере, видя их, не подозревают в блестящих, иногда удивительного размера поделках отдаленное происхождение их из недр далекой Сибири, из недоступных гор Алтайских, несомненно более величественных и прекрасных, чем Урал, и таящих не меньше сокровищ. В геологическом и минералогическом отношении Алтай представляет массу редкостей: «самоцветные камни» составили предмет древнейших изысканий. Гранильная мастерская была устроена сначала в Локтевском заводе на Алее и к концу прошлого столетия перенесена на упраздненный Кольванский завод. Понемногу здесь начали выделяваться чудовищной величины безделушки и украшения. В 1859 году здесь были выделаны три яшмовые колонны ценою в 13.147 рублей, в 1860 году—три колонны из зеленой яшмы на 10.183 рубля, в 1862—камень из зелено-волнистой ревневской яшмы и ваза из серо-фиолетовой карганской на 7.150 рублей, в 1863—один камень и чаша с прибором из карганской и другой камень из ревневской яшмы; в 1865 году приготовлены мелкие вещи из карганской и ревневской яшмы окаменелого дерева (агата), гольцовской яшмы и ваза в диаметре 16 вершков из карганской яшмы, все на сумму 11.570 рублей. Таким образом, Кольванская фабрика наполнила наш Эрмитаж и множество дворцов самыми дивными произведениями. Оценка этих предметов, произведенная на деньги, далеко ниже их действительной стоимости. Предметы эти производились при обязательном труде, так как к заводам было приписано все алтайское население и в распоряжение их рекрутировалось множество мастеровых взамен военной службы. Сюда свозились целые скалы и остовы камней из далеких неприступных высот алтайских хребтов. Ридерская ломка находится за 346 верст от фабрики, здесь выламывают зеленую с розовыми пятнами брекцию для выделки крупных предметов. В 140 верстах стоит Карганская каменоломня, немного выше Большого и Малого Карганов, впадающих в Чарыш в диком ущелье с отвесными скалами, утесами, безднами и вечно грохочущими ручьями, которые носят местное название «громотух», «шумилих» и т. п.

Выломать и вывезти отсюда камни стоило неимоверных усилий. Старожилы рассказывали, что камень для яшмовой чаши из Каргана тащили на себе 200 человек. Эти тяжести плывут по горным рекам, потом везут гужом. Чего стоит одна перевозка!

Затем камни начинали обделываться, граниться. Это продол-

жалось целые годы. Мы видели эту работу на фабрике. При нас создавалась чаша из мрамора и яшмы; ее работали уже два года, и она должна была по новым ценам стоить около 27.000 рублей. Это была действительно изящная чаша из зеленой яшмы. До сорока мастеровых ежедневно занято работой на станках. Все гранильные станки приводятся в движение одним водяным колесом, которое связано блоком и шкивом с отдельными станками; около каждого сидит со впалой грудью мастеровой и с утра до вечера направляет камень по точилу с наждаком. Чтобы оценить эту тяжелую работу, достаточно сказать, что сделать какую-нибудь ничтожную пепельницу — нужно неделю труда; огранить какое-нибудь пресс-папье нужно работы месяц и более — сколько же нужно было иметь времени для огромных поделок, требующих искусства! Для частных заказчиков мало-мало сносные вещи обходятся в 30—40 рублей, поэтому заказов почти нет. Жалование рабочие получают: при ежедневной работе лучшим мастерам 150 рублей в год; обыкновенные работники получают от 6 до 9 р. 30 к. в месяц, мальчики — 3 р. и 4 р. 50 к. в месяц. Поденная плата рабочим 20 и 25 к., мальчикам дают 10 и 15 к. Жалование это несколько ниже, чем платит в хорошее время крестьянин своему рабочему. Экономическое положение мастеровых поэтому крайне неудовлетворительно. Заводское селение представляет всегда крайне бедный вид: убогие, покосившиеся домики, иногда с брюшиною в окнах; хозяйства около этих домиков — никакого.

Видом и удобством отличается разве единственный дом — управляющего. Надо отдать справедливость: где мы ни заезжали в Алтайском горном округе, мы находили всегда в домах управителей казенным хозяйством самый изысканный комфорт, дорогую мебель, художественные произведения, прекрасных лошадей и т. д. Подобная жизнь стоила при выписке всего из столиц от 5 до 10.000 рублей в год. О получаемом содержании мы не имеем понятия.

Всегда около подобных домов разбиты прекрасные сады; их украшают клумбы цветов, уединенные беседки, иногда из соседнего пруда проведен фонтан. Здесь вы услышите фортепиано, увидите модный петербургский роман, встретите иллюстрированный журнал, найдете завтрак с прекрасными винами, вкусную сигару. Путешественники здесь никогда не жалуются, напротив, — рассыпаются только в благодарностях, и лично, в смысле улагодворения собственной особы, желать им нечего. Барнаул особенно любит угощать путешественников, и даже знаменитые желудки бременской экспедиции, отличавшиеся огромным истреблением яств и напитков, чему удивились даже сибиряки, остались вполне довольны, так как их угощали и дупельшнепами, и шампанским: подобные обеды стоили несколько сот рублей.

Казенное хозяйство Колыванской фабрики гораздо меньше других заводов, так как на содержание ее отпускается всего 20 000 рублей в год. Жизнь служащих здесь поэтому более скромная. Обыкновенно сносною жизнью пользуются нарядчики, мастера;

остальные рабочие влчат весьма жалкое существование. Не редкость семья, где хозяин или взрослый работник-сын, вечно сидя за станком, вкладывает в общий бюджет не более 6 рублей в месяц, а в семействе — беспомощная мать-старуха, сестры. Остаток времени от заводской работы ничтожный, сбыта сделанных на дому изделий нет. Между тем потребности мастерового шире крестьянских: он носит пиджак, семейство привыкло всякий день к чаю — и вот этот забитый, сухощавый человек всю жизнь борется за маломальское удовлетворение своего существования; вечно кругом его бледные лица, вечные вздохи, жалобы, безмолвие и монотонный звук колеса с раннего утра и далеко за полночь. Несмотря на то, что рабочих получает самый скудный заработок в 6 и 8 рублей на фабрике, около него появились своего рода пауки и эксплоататоры, эти спутники нужды и неудовлетворенных потребностей, акулы экономического беспорядка, носящиеся везде, где ожидаются трупы рабочих. Как бы ни были скромны потребности мастерового, но при скудном заработке, при разных случайностях необходим кредит и заем, и вот почти в каждом заводе является благодетель, открывающий лавочку или снабжающий нуждающихся в счет жалования. Такие лавочки на приисках и на заводах держат многие служащие или их жены. На Кольванской фабрике также свой ростовщик, он же и мелкое должностное лицо на заводе. Он успел закабалить рабочих так, что они имеют необходимость в получении жалования, не дослужив еще месяца, для того чтобы купить для своего многочисленного семейства жизненных припасов, без которых обойтись невозможно. Жалование проходит через руки этого лица, и благодетельная супружница его завела лавочку. Ростовщичество мелкое, на гроши, но тем не менее разорительное для мастерового. Нужны деньги, а ему навязывают чай, гнилую материю, предмет стоит один рубль, а стоят два. Но чай не нужен, нужны деньги; получив товар, остается продать его за полцены; самому же заемщику остается вместо нужного рубля — полтинник, а на счету два рубля, вычитываемых при жаловании. Эта запись «беда» рабочего люда: чем дальше в лес, тем больше дров. Прежде, когда был крепостной заводской труд, до 19 февраля 1861 года, мастеровой должен был работать лет тридцать обязательно за один паек. Теперь он свободен уйти с фабрики, но его связала уже специальность. Занялся бы он земледелием, да какой он земледелец, — нет силы в руках, грудь высохла, и он идет, понунив голову, к своему станку. Не много радостей, не много светлых минут в жизни у подобного человека. У девушки первые минуты весны, когда играет румянец, трепетно замирает сердце, блещет девичий глаз и чутко прислушивается девичье ухо: «Где он, милый, где желанный?» Он придет в виде лихого чернокудрого парня мастерового, подарит ей жгучий поцелуй; наступит праздник на несколько дней, шитье скромного приданого, девичьи песни, свадебный пир; а затем потянется монотонная жизнь труженицы-матери, горькая нужда, плач детей и плач над детьми. Отблеск первой зари скроется в свинцовых тучах безутешной жиз-

ни. Еще мимолетной минуты веселья мастерового. Развивается ли он вполне, цветет ли он, когда с детства за вечным станком,— мы не убеждены; но вот выровнялся парень, вышел молодецкой поступью в картузе набекрень с гармонией,— с ухарской песней вышел он в праздник на заводское село. Первый хоровод, первая любовь — это тоже его весна. Его встречает круг товарищей, залихватская песня и первая чарка, чарка зараз опорожненная, отуманившая голову, взбунтовавшая кровь, разгорячившая фантазию, распахнувшая дружбу. Но скоро пройдет это юное веселье, и станет эта чарка отравой рабочего: он кинется к ней забыть нужду, неприятности,— наступит дикий, безобразный разгул, циничная пьяная песня сорвется с уст, брань, проклятья; в эти дни солнце будет стоять над ним зловещим кровавым пятном... а потом еще скучнее, еще тяжелее потянется жизнь под монотонный звук рабочего колеса. Эта чарка сокрушит организм, работа пригнет, присутулит его, угрызения совести помутят взор и заставят опустить его долу, тревожный лихорадочный взгляд будет бегать, отыскивая бесполезно выхода; на бледном и тусклом лице выступит истома, появится робость и принужденность в движениях бедного человека. Таков путь мастерового.

Не удовлетворяемый заработком на фабрике, мастеровой пробовал искать выхода в работе на дому. Он собирает остатки яшм, порфиры, агаты и дома на станке гранит печатки, запонки, пресспапье. Вещи эти он готов сбыть необыкновенно дешево, но в бедном селении частных заказов нет, фабрика заброшена в глуши, о ней никто не знает, и обделанные яшмы, порфиры, агаты пестрой яркой мозаикой валяются так же, как и их первообраз — неотделанный камень, в глухих и безвестных пустынях Сибири. Екатеринбургские счастливицы соперничают на рынке и заняли дорогу. Неимение частных заказов, недостаток сбыта, отсутствие помощи рабочему, отсутствие правильного кредита при помощи ссудных товариществ, недостаток обучения мастеровых лучшим видам гранильного искусства (рабочие делают вещи по допотопным фасонам) — вот что останавливает развитие этого дела на Алтае. Заведение это поэтому находится на степени падения. Наступит ли другое время процветания промышленности на Алтае, образуется ли более выгодный сбыт труда, явится ли гуманная, благодетельная рука на помощь истощенному мастеровому вместо старого ростовщика,— это вопросы будущей жизни Алтая.

Горный алтайский район переживает еще переходную эпоху после крепостного заводского труда. Следы горького прошлого кое-где видны ясно; нередко в заводских селениях встречаются отставные мастеровые, хилые, старые и больные. Если среди здоровых рабочих вы встречаете обыкновенные признаки бедности, то отставные мастеровые — голый пролетариат завода и различные нищие, оставленные здесь как наследие крепостного права. Это беспомощные старики в отрепьях, изможденные, с высохшими руками, иногда выгнившими глазами, выкрикивающие хриплые жалобы,— валяющиеся в ногах и молящие о пропитании.

Отставной мастеровой не пользуется ничем, он потерял силы на работе, изболел. Некоторые из них добиваются трехрублевой пенсии, но это скудное награждение не пропитывает. Для них необходима была бы богадельня, но ее нет. Эти живые полусгнившие трупы производят тяжелое впечатление в заводских селениях. Вид этих людей, как и быта приниженных, хилых фабричных, составляет поразительный контраст с земледельческим населением окружающих деревень, где доселе сохранилась сильная раса. Тип заводских мастеровых и фабричных резко отличается от соседних крестьян. Фабричные мастеровые отличаются от рабочих рудников и заводов, последние исключительно заняты тяжелыми земляными рудничными работами и плавкой металла. Одна жизнь — циклопов, другая — саламандр. Эти заводские рабочие носят местное название «бергалов». Бергал — грозное имя окружных местностей. Тип настоящего бергала контраст робких мастеровых Колыванской фабрики. Необыкновенный физический труд развил у него некоторые органы в ущерб другим. От сильного напряжения рук пальцы толстеют; руки, выбрасывающие 1200 пудов земли в день, работающие киркой о камень — не руки, а лапы; кулак напоминает гирию; от усиленного постоянного работою кровообращения увеличиваются в объеме органы дыхания и двигателя крови — сердце, раздражительное сердце; грудь выдается колесом. Бергал в работе зверь. Пустую, но напрасную обиду ни за что не снесет. Выругает так, что любая барыня, услышав, упала бы в обморок, или еще хуже — угостит палкой или ломом. Слыша над собой вечно брань, он сам олицетворенная хула. Человек давно без собственности, без будущности, он беззаветен, беспечен, разгулен, дерзок; вечно с насмешкой на устах; он не привык к жалости, ибо он не видел ее; озлобленный, беспощадный, он гроза, куда появляется. Этот заводской пролетарий давно потерял образ мирного, благодушного крестьянина. Вот что писал про алтайских рабочих один бытописатель: «В заводских рудниках живут мастеровые. Мастеровые происходят от крестьян, поступающих по очереди в рекруты, разительно изменяют свой характер, делаясь по большей части грубыми и склонными к побегам, даже к убийствам. Особенно склонны к этому находящиеся в работе в горах, так что нередко посягают на убийство своих начальников. Вера их православная, и обряды религии они исполняют постоянно при наблюдении заводского начальства» (Данилевский, описание Бухтарминского края). К этой довольно казенной характеристике недоставало только одного объяснения: отчего такими эти люди делались? Как вырождались захудалые мастеровые или озлобленные из окружающего могучего и нравственного крестьянского населения, — это может рассказать только история.

Над Алтаем носят еще легенды о недавних прошлых временах крепостного заводского труда. Сядешь где-нибудь на зава-linkу под навесом в жаркий день и слушаешь от стариков повесть о бывших управителях, заводских распорядках, повин-

ностях возить руду, обжигать уголь. Нередко эти рассказы, ведущиеся тихо, незлобиво, пробуждают невольно дрожь. Страшное время, благо тебе, что ты кануло в вечность! Да не повторишься ты более над бедным русским народом!

Сильная алтайская раса, однако, не исчезла сразу. Память об алтайских богатырях сохранилась в рассказе о карганских разбойниках.

В конце прошлого столетия в самых дебрях Алтая, около Карганского хребта, по реке Каргану, впадающей в реку Чарыш, была поставлена каменоломня. Здесь начали ломать знаменитые яшмы, окружное крестьянское население, в том числе деревня Карганская, привлечены были к повинности. Дикая и грандиозная местность окружала Карган и соседнюю деревню Чечулиху. К югу от Чарыша тянутся Карганские белки, к северу — Башалацкие. Эти хребты доходят до снеговой линии, и белые пятна снега лежат на высотах целое лето; горные реки и ручьи летят здесь со страшным шумом; на каждом шагу вздымаются дикие скалы. Но окрестности представляют до того величественный вид, что заставляют забывать об опасности. Здесь-то в борьбе с природой развертывались могучие силы крестьянства. Они поднимались на горы, опускались в бездны и везли отсюда огромные камни. Что за порода людей воспиталась здесь, можно судить по силачам братьям Белоусовым, которые должны играть роль в дальнейшем рассказе. Старший брат поднимал, говорят, щуром (ломом) двадцатипятипудовые глыбы камней; младший брат был подобной же силы, а сестра их останавливала на бегу коня за гриву. Такие люди жили в Каргане. Долго там было тихо и смиренно, послушно доставлялся камень, чудодейственно добываемый из неприступных высот. Вдруг до заводского начальства в Кольвани донесся слух: «Карган взбунтовался и ушел разбойничать». Предводителями явились силачи братья Белоусовы.

Предание говорит, что было двадцать разбойников, все молодец к молодцу.

— Зачем же, дедушка, ушли они? — спрашиваете вы маститого рассказчика.

— Свое царство хотели в Белках основать.

— Какое же они царство в Белках могли основать?

— Воли захотелось, работа не под силу стала.

Силачи были Белоусовы и с ними Чахловы, никого не страшились; выйдут в долину, начнут стрелять, скот у крестьян забирали, порох, винтовки, а потом уйдут опять в горы; в пещерах спасались. Наконец, казака убили. Начальство согнало страсть народу: 400 человек крестьян было да 100 казаков. Разбойники кинулись в хребты, где невозможно было пройти; они взбирались сами, привязывали лошадей на арканы и поднимали их через белки. Но их повсюду преследовали. При переправе через одну речку убит был старший брат. Наконец, разбойников окружили — пришлось сдаться. «Не вяжите нас, так пойдем, веревки не помогут!» — говорил один из Белоусовых, зная свою силу.

Его связали сыромятными ремнями. «Крепче», — говорил он. Но когда был связан, он выпрямился и ремни лопнули, только огромные деревянные вилы остались надетыми на плечи и привязанные к ним руки спереди да деревянные колодки на ногах.

Усмирили эту силу. Белоусовы были жестоко наказаны и сосланы. Предание о Белоусовых подтверждается и рассказом ботаника Бунге, путешествовавшего в Алтае в 1826 году. Выходя из Колывани, он уже слышал, что в Каргане неспокойно. Карганскую деревню он нашел опустевшую «Жители деревни Карганской, служившие рабочими на каменоломне, были недовольны падающими на их долю трудами, покинули деревню и, удаляясь в соседние горы, образовали здесь разбойничью шапку. В деревне находились только старики и жены беглецов». (Путешествие д-ра Бунге.) Бунге даже удалось встретиться с разбойниками в деревне Чечулихе. А в довершение случайностей у него был даже проводник из Колывани, младший брат Белоусовых, как ловкий и сильный мастеровой. 12 апреля после ботанической экскурсии, один из рабочих, проживавший в Чечулихе и думавший возвратиться домой, принес известие, что на него напали близ деревни разбойники и взяли в плен его товарища. Бунге хотел послать своего проводника для переговоров, как вдруг около деревни раздался выстрел, произведший смятение. Проводник возвратился и объявил, что разбойники уже подле самой деревни. Далее мы передаем буквально рассказ Бунге.

Крестьяне ломились в комнату Бунге и просили его о защите, которой он не мог им оказать, потому что и сам находился в в беспомощном положении. Однако же он решил, что лучше всего идти ему самому к этим людям и отговорить их от всякого насилия как относительно крестьян, так и его самого. Двое из людей доктора последовали за ним. Он спустился с поката горы и с изумлением увидел двенадцать здоровенных человек верхами, из которых каждый был вооружен одною или двумя винтовками, парю пистолетов, саблею и длинным ножом. Один крестьянин, перед домом которого они остановились, принес ведерную бутылку водки, чтобы их умилостивить. Когда Бунге подошел к ним, они поклонились ему и назвали его по имени, желая этим показать, что хорошо его знают. Он стал увещевать их и просил от имени целой деревни не делать никакого насилия крестьянам, ни ему, так как впоследствии они будут строго наказаны. Они уверяли, что ему как доктору, который необходим для каждого, нечего их бояться, потому что они и сами раньше были обязаны своею жизнью искусству доктора, что они часто видели его во время экскурсий и готовы помогать ему во всем, в чем он будет нуждаться, делить с ним в горах пищу и питье, снабжать лошадьми для верховой езды, а где нельзя проехать, перенесут его на руках, потому что он, доктор, как они слышали, хорошо обращается с их братом. Затем они провозгласили его здоровье, выпили вина и просили его отвечать на провозглашенный тост. Отговорки Бунге ни к чему не послужили, а потому, желая облегчить положение крестьян,

он должен был исполнить желание разбойников. Только это также не совсем помогло. Скоро бутылка водки стала пуста, потому, что собравшиеся крестьяне тоже принуждены были выпить. Общество стало шумнее и пошло теперь из дома в дом. Добром или силою разбойники требовали и брали все, что им было нужно, а в особенности винтовки, порох, деньги и т. п. Хозяин Бунге, самый богатый крестьянин в деревне, которого они особенно имели в виду, должен был поплатиться 50-ю рублями и многими вещами. Вследствие усиленной просьбы разбойников доктор угостил их также вином и был очень рад, что отделался так дешево. Сделав обход по всей деревне, разбойники хотели сперва переправиться через Чарыш, но так как большая часть из них были пьяны, да и вода в реке прибыла, то некоторые из них решились переночевать на этой стороне и спросили на это разрешение Бунге. Шум делался сильнее. Крики их, беспрестанные выстрелы холостыми зарядами из пистолетов, их воинственный вид, рев ветра, плач женщины, лай собак, шум Чарыша — все это смешалось и составляло обстановку сцены, которая наводила страх. Бунге привелось прекратить еще сильный спор, возникший между некоторыми разбойниками и его проводником, которого они уговаривали идти вместе с ними.

Так как братья принудили его пить и он был сильно пьян, то прибег скоро к насилию, которое могло бы иметь дурные последствия, потому что это был человек необыкновенно сильный и, доведенный почти до бешенства, готов был убить кого угодно из разбойников.

С пособием одного из своих людей доктор успел, однако же, похитить у него нож и заряженную винтовку; потом при помощи других его утащили и заперли. Разбойники расположились около большого огня, а жители нанесли им всевозможных припасов на ужин. Шум продолжался целую ночь. Но некоторые разбойники, менее пьяные, смотрели за порядком, имея постоянно в виду неожиданное нападение: у них не только были заряжены винтовки и пистолеты, но приготовлены патроны и пули, чтобы в случае надобности скорее заряжать.

На другой день хозяин Бунге угостил их чаем, и они отправились далее. День был холодный и пасмурный; шел дождь, то снег; Чарыш сильно взволновался, так что было затруднительно переправиться. Многие разбойники уселись в лодки, которые часто черпали краями воду, но некоторые разделись и пустились вплавь, держась за хвосты лошадей. Быстрота течения уносила их далеко; часто лошадь и человек на минуту скрывались под водой.

Таким образом, рассказ очевидца-путешественника вполне подтверждает свидетельство о силе и выносливости этих людей.

До сих пор в горах на Бухтарме среди «каменщиков» охотников и на единенных трактах попадают люди необыкновенного сложения, крепости, полные отваги, смелости и отличающиеся полным крестьянским благодушием. В деревне Калкамонке на

Бийской линии мы видели сами девицу, имевшую 64 сантиметра, или почти один аршин, в плечах и поднимавшую, по словам отца, до 12 пудов. Это потомки алтайских раскольников, о которых мы когда-нибудь будем вести речь.

Самое мрачное время миновало для Алтая с освобождением подзаводского населения 19 февраля 1861 года. Алтай переживает еще переходную эпоху, но заря новой жизни уже золотит вершины его прекрасных гор более светлыми лучами будущего. Отовсюду в плодоносные долины Алтая спускаются трудолюбивые переселенцы-колонисты, стекаясь со всех сторон земли русской и ища здесь приволья после тяжкого малоземелья. Приветливы эти луга, бесконечны пространства, душисты и ароматичны травы, весело и ярко светит на них божье солнце, снует трудолюбивая пчела и несет пахучий мед в раскинувшиеся сотнями ульи алтайских пасек; желтеет нива на склонах мягких зеленых гор, шахматами красуются эти поля, наливаются пышно колос на девственной почве, дающей огромные урожаи. Да будет благословен новый труд твой, русский пахарь; надо же снять тебе когда-нибудь полную жатву!

8 мая 1880 г.

Журнал «Русское богатство», 1880, № 8.

СТРАННИК НА ЗОЛОТОМ ОЗЕРЕ

(Из путешествий по Алтаю)

Величественные, девственные леса покрывают весь юго-восток Томской губернии, они тянутся по всему Кузнецкому и восточной части Бийского округов. Здесь начинается пустыня, пред которой еще останавливается русская колонизация.

В 1880 году мы двинулись в эту пустыню. Проезжая по лесным тропинкам этих дебрей, мы были приятно изумлены разнообразием растительности. Осина, береза, рябина, тополь, черемуха перемежались в пестрой зелени. Когда из долины р. Наймы, цветущей и покрытой сочными травами, мы совершили через горы перевал к Поспоулу, нас окружили огромные кедры, травы, папоротники и репей, которые поднимались выше роста человека, сидящего на лошади.

Дикий хмель обвивал деревья, подобно лианам. Среди кедров и сосен разрастались рябина, акация, бузина; кусты черемухи, смородины, малины свешивали гроздья своих ягод. Местами выступал чистый лиственный лес. Когда мы поднимались на перевал, нас окружали прелестные парки из тополей, берез, сосен; зелень была свежая и сочная, эта зелень живописно сбегала по склонам. На вершине перевала шел дождь, и мы увидели радугу, опрокинувшуюся аркой, опершейся на соседние горы; вдали синели

вершины хребтов и выдвигалась сопка одного из них — величественного Чаптагана.

По дороге к Телецкому озеру, среди черни, мы следовали по узкой и грязной тропинке, которую заграждают буреломы, колоды, ручьи, иногда каменистые болота, так что всадник должен преодолевать различные препятствия.

Чудное волшебное озеро, которого с трудом достигают путешественники, но достигнув которое они испытывают неимоверное наслаждение неожиданных впечатлений, однако еще не появлялось перед нами, оно было скрыто от нас декорацией гор и темными лесами.

Мы находились в небольшой деревушке на отдыхе, с мыслями и мечтами о дальнейшем путешествии. Мысли наши бродили около заколдованного озера. До сих пор это озеро пустынно, и над ним витает только миф и таинственная легенда.

«Когда-то на это пустынное озеро зашел человек, рассказывают инородцы, он был голоден и искал пищи, искал людей, но людей не было; в руках этого человека был огромный кусок золота, но золото было бесполезно в этой пустыне, и он не мог на него купить несколько зерен ячменя. Тогда этот голодный человек, поняв все бессилие металла, доведенный до отчаяния, в бешеной злобе бросил драгоценный кусок в темные волны глубокого озера и проклял его».

Миф этот, полный своего философского смысла, объясняет название Золотого озера, или Алтын-Коль. Мрачные дикие скалы до сих пор негостеприимны для человека. Над ними как будто стоит еще тень несчастного скитальца, подобно брокенскому призраку блуждая в туманах.

В 18 верстах от озера находится, однако, небольшое миссионерское селение Кебезень с жалкими избами и шалашами крещеных инородцев, здесь же помещается церковь и дом миссионера, почтенного старца, который, кроме духовных врачеваний, лечит окружающее население от зобов, давая настой грецкой губки. Этот первый оседлый стан переполнен сбродным людом: торгашами, обруселыми татарами, разными спекулянтами и хищниками черни, здесь же живут некоторые русские рыбопромышленники, ловящие на Телецком озере прекрасную рыбу, давно известную по вкусу, но доселе не определенную наукой. Зовут эту рыбу «сельдью», но на самом деле это не сельдь, а бог знает что! Словом, рыба вкусная, а до остального нам дела нет.

Кебезень — это последнее селение по направлению к Телецкой пустыне, но и до него добраться — надо совершить экспедицию, перебираться через лесные тропинки верхом, изредка останавливаясь в жалких деревушках инородцев. Среди прекрасных плодородных долин гнездятся только пасеки (пчельники) и отважные пасечники, борющиеся с медведями, в большинстве же все пространство еще покрыто молчаливыми лесами, высокими мохнатыми сопками, бурными горными реками и производит подавляющее ощущение дикой природы.

В Кебезени мы чувствовали себя уже совершенно отчужденными от мира. Завтра мы будем в совершенной пустыне вдаль от суеты, от житейских волнений, от горьких житейских драм, измучивших душу. Пора дать отдых нервам! В это-то время, когда мы смотрели на эти синеющие вершины гор, постоянно уходившие в туманной дымке и легко тронутые фиолетовыми отблесками, когда мы любовались на тихое движение пурпуровых облаков, как ожерелья обнимавших вершины и пики, прислушивались к бурливому рокоту несущейся горной реки и отдавались новому живительному чувству, предчувствуя веяние великой врачующей природы, в это время, как бы по следам за нами, до нашего слуха еще раз достиг крик жизни.

Жители маленькой Кебезени гуторили и таинственно передавали необычайное событие, которое услышали и мы. Оказалось, что около деревни взят был неизвестный, беспаспортный, который сам явился и предъявил о своем существовании. Он объявил сверх того, что у него украден паспорт и деньги. Рассказ его возбудил крайнее недоверие во всех жителях, и личность казалась подозрительной. Слушая эти рассказы, я думал, кто бы мог забрести сюда.

Авантюрист, мелкий спекулянт, искавший наживы среди простодушных дикарей-инородцев, или известный в Сибири бродяга, проторяющий путь себе с Нерчинска в далекую, но милую ему Россию? Но что его загнало сюда, на бродяжеский тракт в середине людной, заселенной Сибири? Бродяга смело идет по сибирским деревням и питается подаванием хлебообильных сибирских сел. Если это сбившийся с пути путник, в таком случае положение его здесь безотраднo!

Во всяком случае, ввиду общего внимания, я желал его видеть. Приготовляясь встретить беглеца и ожидая фантастического рассказа, на что весьма способны ссыльные, я готов был приняться за раскрытие обмана и помочь жителям разъяснить загадочное происшествие. Жители уверяли, что на пустынной дороге, вблизи мирных инородцев не могло быть совершено у него кражи. Я также знал, что инородцы честны и страшатся хуже всего подобных обвинений, зная тяжесть следствия. Заседатель сюда даром не приедет.

Симпатии мои были во всяком случае не на стороне неизвестного.

Недоумение мое увеличилось, когда я узнал, что незнакомец явился не один, но с мальчиком и лошадей. Когда его привели ко мне, я был озадачен его видом и фигурой и скоро узнал знакомый тип, не оставлявший никакого сомнения.

Несколько нескладная и как бы растерянная фигура, лицо простодушное, почти глуповатое, взгляд открытый, но упрямый, признак настойчивости характера, нескладная, тугая, с трудом выжимаемая речь, русая голова, крестьянские согнутые рабочие руки, следы долгого пути на ногах, в лице спокойствие, покорность и в то же время какое-то изумленное выражение и еще неостывшее

недоумение перед случившимся. Подле стоял ребенок лет 12-ти с покорным тихим лицом.

— Ты новосел, переселенец российский? — пояснил я.

— Мы-те, мы расейские, точно... да вот у нас паспорт...

— Погоди, как тебя занесло, милый человек, сюда в эту трущобу?

— Да мы местов под пчельник искали, будто тут места хороши, да покосить бы маненько...

— Где же вы жили, откуда ты попал сюда?

— С Беи, из Енисейской волости, из Пильны, там два года жили, да вот, говорят, тут пчельники... да и покос.

— Как же ты с мальчишкой пасеку хотел устраивать? Много ли у тебя денег было?

— Пятнадцать рублей, да паспорт в узелке, значит, мы с мальчонкой у речки пить стали, мальчонко-то говорит: «Тятка, пойдем выше пить, тут поганый татарин пил». Ну, мы и пошли, а узелок-то на кочку положили. Поехали. Мальчонка говорит: «Тятка, узелок взял?» Я хватился, воротились к реке — платка нет, в платочке паспорт, пятнадцать рублей было... Спрашивали татарку на покосе, говорит — не видела, а мы тут, значит, на кочке и оставили...

Сколько я ни расспрашивал, все выходило одно, то же подтверждал и мальчик, отдельно спрошенный. Для меня совершенно непонятна была эта небрежность, почти беспечность к самому дорогому имуществу.

— Скажи, пожалуйста, ну, зачем ты нес деньги и паспорт в платке, разве ты не знаешь вашего крестьянского обычая в мешочек зашивать да на ворота под рубахой держать. Вот я барин, да и то по-вашему научился делать, потому надежнее, видишь у меня мешочек на шее. Правду ли ты говоришь? Как же ты узелок этот в руках нес?

— Так в руках и нес. Мальчишка говорит, клади, тятка, на кочку, пойдем выше пить, татарин пил, мы и пошли...

Так я более и не мог ничего добиться. Близлежащий покос оказался вдобавок зайсана, инородческого родовича, начальника, человека богатого, и его сноха работала на покосе. Зайсан, узнав о подозрении, даже плюнул в мужика. Кебезень и его жители также не доверяли его рассказу и возмутились.

А между тем несомненно, что новосел не обманывал. Это было олицетворение простодушия. Какая-то непостижимая случайность произошла с ним, какое-то фатальное несчастье преследовало его.

Положение новосела было между тем критическое. Хотя он являлся истцом, но как беспаспортный находился под арестом, ему предстояло быть возвращенным за 100 верст в деревню, а потом, может быть, в Россию на местожительство.

Между тем новосел как будто не понимал своего положения.

После всех расспросов, препирательств и брани с зайсаном-инородцем он вдруг обратился ко мне с каким-то наивным, заискивающим взором:

— Ваше благородие, позволь мне поробить здесь пока, я бы им на покосе помог, деньжонок заработал... да и местов подыскал... Позволь!..

Наивность была поразительная.

— Любезный друг, спроси у них, пустят ли они тебя, ведь ты вооружил на себя все население, с зайсаном поссорился, а земли им принадлежат. Да, наконец, ты даже без паспорта.

— Позволь поробить!.. — слышался один ответ.

Сколько я ни убеждал переселенца, я видел один упрямый взгляд, подтверждавший решение во что бы то ни стало «отыскать место». Стремление переселенца, его юридическое положение и отношение к нему окружающих,— все это составляло такой гордиев узел и такую кашу, какую я привык встречать в наших колониционных местах.

Я лег спать, мечтая о выезде завтра в пустыню, но судьба переселенца не выходила из головы. Ведь надо же было этому пионеру колонизации забраться в эту тущубу, где мы, русские, с XVII столетия, то есть со времени похода Собанского, не могли поставить ни крепости, ни основать русского поселения, кроме жалких татарских хижин.

Сколько административных усилий было напряжено. Команды посылались, начиная с Шпрингера, и казачьи линии проводились, от Сайбыда по Бии пробовали дорогу пролагать, на Телецкое озеро при генерале Капцевиче казаков садили и магазин для рыбы строили. Ничего не привилось: магазин разрушился давно и озеро пустынно, дорог попрежнему нет.

И вот пришел теперь настоящий работник, виноградарь, истый завоеватель, земледelec с упорным трудом и мускулистыми руками: «Дайте поробить!» Что же мы с ним сделаем? А что как мы его отправим назад? Какое фатальное недоразумение! Какая ужасная судьба!

С какими средствами и силами, наконец, явился этот отважный завоеватель? Убогий, в одной рубашке и зипуне, на худенькой лошаденке, с ребенком на руках, один в глухих лесах, в грозной пустыне. Явиться при таких средствах разве это не героизм, равный безумию!

Он явился, не зная условий существования, в незнакомую среду, в селение, где вили себе гнездо только «хищники черни» и эксплуататоры инородца. Явился с девизом: «Позвольте поробить!»

Он пришел, может быть, преждевременно, как везде, проторяя дорогу. И тем не менее это все-таки настоящий завоеватель, это сила, он оснуется когда-нибудь здесь и будет ему принадлежать будущее, будут принадлежать леса и дебри. Недаром он шел из Воронежской губернии без средств, прося по дороге только «поробить». Прошел всю Россию и Сибирь и основался здесь. Такой человек не умрет с голода нигде. Везде нужны руки, везде «надо поробить» — это его вера.

Да, это не брокенский призрак Телецкого озера, не несчаст-

ный с куском золота, не знающий, что делать с ним в пустыне. У него нет золотого слитка, но есть золотые руки. Он не погибнет, не проклянет эти берега, потому что сумеет бросить вечное зерно в почву и возрастить колос. Это дороже золота!

В смутных грезам мне виделся уже не убогий мужичонка, но титан — русский народ, пробивающий упорно путь себе через леса и урманы на заколдованное Телецкое озеро.

Мать-пустыня! Когда же, когда ты дашь приют этому труженику!

«Восточное обозрение», 1882, № 1.

НА ЧУЖБИНЕ

(Из исповеди абсентеиста)

И я, заплакавши, назад
Поехал снова на чужбину.

Шевченко

С особенным чувством загадочной грусти я смотрю каждый учебный семестр на молодых сибиряков, по окончании курса возвращающихся служить на родину. И благословить их хочется, и жутко за них. Что-то ждет их там, что-то им даст эта родина... Но еще сильнее сжимается мое сердце, когда я вижу молодого человека, бегущего с родины, искалеченного, измученного в неравной борьбе и смотрящего на меня с укором. «Ты призывал нас, ты рисовал нам родину цветущей и обольстительной», говорит этот укоризненный взгляд: «Смотри же — вот израненная грудь, а вот и разбитое сердце!»

Я не говорю о тех благоразумно-равнодушных, которые не знали никаких чувств к родине, не переживали никакой драмы и, прикрываясь теми или другими мотивами, оставались, где им нравилось. Это был «отрезанный ломоть» от нас. Но драма любви так знакома моему сердцу, и я сам переживал ее. Вот что когда-то писалось в моем дневнике.

* * *

Нет!.. Тяжело, тесно, душно, невыносимо и, главное, нет и не видно рассвета. Тяжело так, что можно умереть. Дело бы за этим не стало. Но является вопрос: умереть среди людей, которые не поймут твоей смерти, которым все равно, живешь ли ты среди них или нет, умереть там, где все манило тебя с раннего детства, где, казалось, так много дорогого и где теперь — пред внутренними очами — ничего, кроме мрака, холода, застоя и плесени жизни, ничего, кроме ликующего эгоизма и хищничества, захватывающего себе будущее!.. Умереть и уничтожиться без следа, без всякой памяти, не заложив зерна из области нравственно-духовного суще-



*Николай Михайлович Ядринцев.
70-е годы XIX века.*



*Аделаида Федоровна Ядринцева,
жена Н. М. Ядринцева.
1888 г.*

*Н. М. Ядринцев.
Петербург, 1875 г.*

*Дом в Томске,
где жило семейство Ядринцевых
в 50-х годах XIX века.
Не сохранился.*

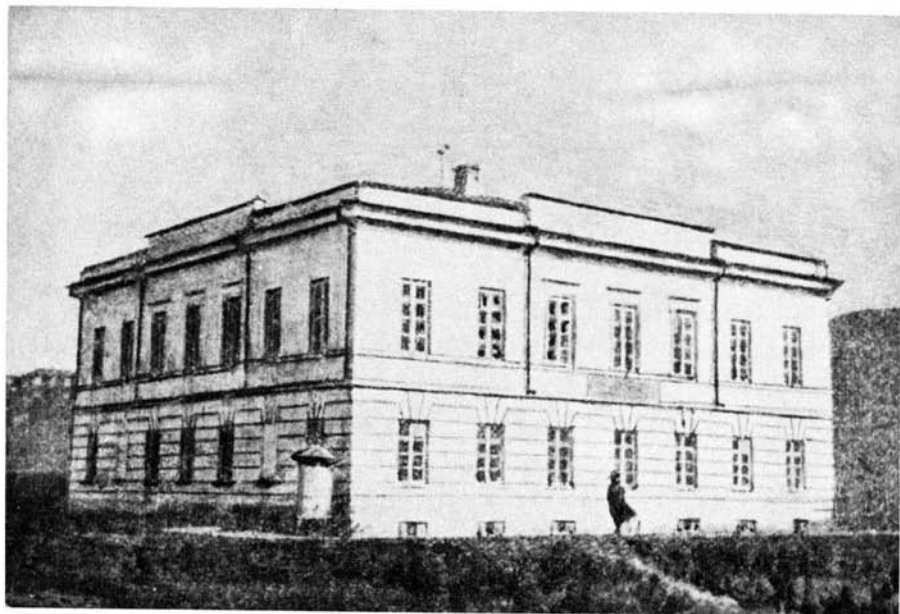




*Лидия Николаевна Ядринцева-Доброва,
дочь Н. М. Ядринцева.
Примерно 1911—1913 гг.*

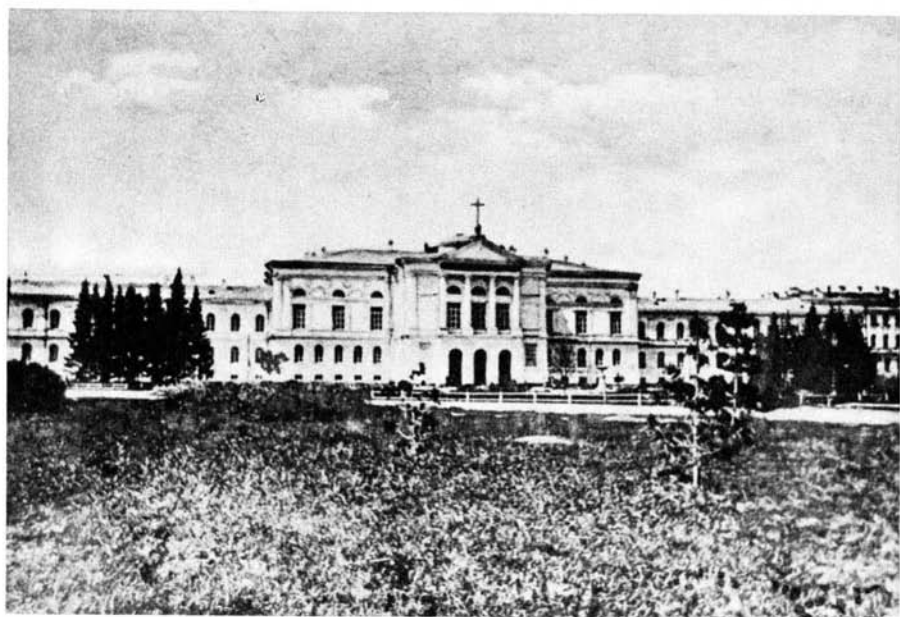


*Лев Николаевич Ядринцев,
сын Н. М. Ядринцева.
20-е годы XX века.*



*Здание Томской гимназии,
в которой учились Н. М. Ядринцев и Н. И. Наумов,
ныне школа № 3 на углу улицы Карла Маркса
и Совпартшкольного переулка.*

*Томский университет.
Снимок 90-х годов XIX века.*



ствования не только в человечестве, но и в собственном своем кругу, умереть без сознания цели своего существования, когда мечтою жизни было принести хоть долю блага и счастья, сознать, что ты остаешься непонятым, лишним и чуждым в своей родной семье... да может ли быть что-нибудь тяжелее?! Нет! лучше на чужбину, под чужое небо, в чужую среду, туда, где не поймут твоего горя, не заметят мучительных взоров, горечи обманутых надежд, и где все будет скрыто под грустной улыбкой и маской добровольного изгнания!

Так записано на последней странице дневника, а затем стояло: переправа через Обь, Иртыш, последний обоз, последняя сибирская деревня, Урал, прощанье с памятником, отделяющим Азию от Европы, последние кинутые «слеза и роза».

Так я уехал, или, скорее бежал из Сибири — и бежал не впервые. Сколько раз я закаивался возвращаться сюда, закаивался возвращаться, по крайней мере, до тех пор, пока возможно будет хоть малейшее существование здесь человека в настоящем, а не фиктивном смысле, пока создастся хоть какая-нибудь нравственная атмосфера. «Зачем? К чему это возвращение?» — говорил я себе и силился вырвать из груди своей эту старую привязанность, эту жгучую, большую тоску. Однако, как я ни боролся с собой, как хорошо ни сознавал, что из нашей встречи ничего не выйдет, кроме рокового недоразумения, комического столкновения и праздного зрелища для равнодушного общества, сколько я ни раздумывал, что после многих мытарств я встречу, вместо родственных объятий знакомый крик: «ату его!», — тем не менее, по какому-то сумасшедшему соображению, я все-таки возвращался, возвращался совершенно бессознательно, чтобы еще раз убедиться, что все идет по-старому.

Я тащился то с приказчиками, то с обозными, иногда без гроша в кармане, полубольной и разбитый, намыкавшийся вдоволь на чужой стороне, мое страдание составляло резкий контраст с счастливыми «двухпрогонными», скакавшими на мою родину и оглашавшими своими воинственными кликами поля и дебри. Я вторил их радости, хотя она и происходила из другого источника. Они скакали с надеждой скорее возвратиться, а я с одною мечтою только — похоронить себя здесь. Они стремились обозреть на быстрых тройках, *à vol d'oiseau**, эту заколдованную страну от края и до края, так сказать, обнажить пред собою все ее красоты, пресытиться и исчезнуть, я же мечтал «хоть одним глазком взглянуть на нее». Поэтому я относился с особым чувством к каждой встрече. Первый сибирский ямщик, первая деревня, бабушка с пряженниками, первый родной цветок, широкая Обь, — все это производило трепетное ощущение в моей душе. Добравшись до родного города, я бродил, как очумелый, встречал знакомые здания и знакомые, старые лица. И все это, в первые дни, как-то добродушно улыбалось, даже частный пристав, который, при встрече, напоми-

* По прямой (фр.).

нал мне старые грехи, грозя шутливо пальцем и приговаривая:

— Не утерпел, продернул меня!

Даже и старый Кондрат, в эти дни родной встречи, терял как будто свой разбойный вид, как и сонм его есаулов-приказчиков, сверкавших смертоносно своими аршинами в темной львиной пещере, с которою я сравнивал его лавку, где у входа всегда толпились покорные жертвы его — покупатели. И я весело толкал Кондрата в брюхо, говоря: «Ну что, Кондрат, все обираешь народ?» — на что он отвечал, снисходительно улыбаясь:

— Ничего, грабим-таки, сударь, понемногу!

Когда проходили первые минуты встреч, я погружался в свои воспоминания — воспоминания раннего детства. Тогда я шел к старому дому, разросшемуся саду, к знакомому ключу, взбирался на гору, смотрел вдаль на знакомую панораму и, наконец, ложился в большую свежую траву, окруженный родными желтыми лилиями. Здесь я рос, здесь получались первые мои впечатления. Здесь я мечтал жить, а теперь здесь же я намечал себе могилу. Мне ничего более не нужно было.

Время, между тем, шло, я не умирал; свидание с родиной придавало мне силы и поддерживало мое физическое существование, я был вполне доволен родным воздухом... Но чем долее я жил, тем более начинал чувствовать, что нравственное мое существование становилось невыносимо. Тело жило, но дух начинал меркнуть. При видимом родстве природы, я чувствовал какую-то бездну, разделяющую меня с окружающим обществом. Я чувствовал недостаток нравственной атмосферы, необходимой для личности, когда-то хоть раз подышавшей чистым воздухом, я чувствовал влечение к свету европейского мира, к солнечному лучу мирового тепла... И эта тоска, эта нравственная асфиксия до того сжимала грудь, что меня уже не удолетворяли более ни родной воздух, ни родная ширь. Я бродил, как тень, среди родственных, знакомых лиц, но мы не понимали друг друга, мы разговаривали как будто на разных языках, мало того — даже в самих ощущениях и вкусах мы не имели ничего общего. Я чувствовал, что все кругом меня начинало рычать при моем приближении, и дело разыгрывалось всегда каким-нибудь крайним недоразумением. Тогда приходилось исчезать из родного мира.

В самом деле, что такое я был для этого общества, где наши себе место и мелочные торговцы, и прасолы, и ростовщики, где уже возведены каменные палаты буржуазии, где есть потребность в роскошной мебели и музыке, но нет потребности в духовной жизни.

Странно, что как я ни принаровлялся к местной жизни, как ни усиливался примириться с нею на условиях приносить хотя маленькую долю пользы, как ни умерял свои требования, — мне никогда это не удавалось. И чем более я себя сдерживал, чем более старался принаровиться, тем ярче и неожиданнее выходили разрыв и недоумение. В конце концов, у нас получилось чуть не озлобление.

Я не буду пересчитывать эти коллизии. Я на них смотрел в первое время, как на романтическое занятие своей жизни, не лишённое разнообразных приключений. Сколько раз являлся я с своим демоном-мучителем, в виде переряженного Фауста, к своей Маргарите, которую изображала моя родина, вырывал у нее секунду свидания, и, однако, никогда я не пользовался продолжительным счастьем; но мой жребий отличался от жребия Фауста тем, что я не оставлял в тюрьме мою возлюбленную, а готовил только себе мрачное существование... История этих приключений разнообразна, и я не буду их передавать здесь.

Скажу только одно: сколько я ни уверял местного Кондрата, что я к нему всюю душою, — он не верил мне и всегда оставался убежденным, что не покупателей я считаю в долгу у него, а его самого в долгу у покупателей, хотя я ни одним словом не намекал на это. Точно так же, я, к своему прискорбию, не мог снискать расположения у покойного друга моего Сережи Сандаракова и у отставного штабс-капитана Портянки, осуществлявшего в Сибири реформу дачек и подметок, и обновления края увеличением пайка местным «бутарям»*; последний, к тому же, олицетворял, покровителя «чумазому». Все подозревали во мне что-то недоброе. Я почему-то изображал для них упреки совести и местный критический взгляд. Понятно, что этой совести жилось невесело. Всякий из обывателей норовил куда-нибудь спрятать ее, когда наши отношения обострялись, и понятно, что мне уже ничего не оставалось делать среди такого приятного общества. Вопрос о моем существовании был решен: «изженуть» и «уничтожить». Я чуял, что в воздухе носилось «ату!», а впереди угрожало только «в зубы», и затем предвиделась ужасная, чудовищная порка! Тогда для меня наступал критический момент: «покориться и примириться, или же бежать?» Покориться... но что же это значит? Войти в стачку и с Кондратом, и с Сандараковым, и с Портянкой? Чем же станет тогда, однако, мое нравственное существование? Чем это лучше смерти? Борьбаться с ними?.. Но они заняли позицию и составляют главную силу. Разве возможна борьба там, где легко быть безапелляционно съеденным подобно осетрине или балыку — не более. Я видел рост нашей родины, но это был гигантский рост буржуазии. Я знал, что она может создать дворцы, бани, цистерны, водопроводы и обойтись без литераторов. Что же оставалось? Бежать. Но ведь это значит навсегда не видеть родины, лишиться последней надежды, последнего счастья.

Было время, когда я удалялся постоянно с надеждою на возвращение, легко проделывая исчезновение и новое прибытие. Весело кивал я землякам, возвращаясь то за повозкой хищника, то за колесницей триумфатора.

Но проходили года, и эти скитания, эта вечная смена чувств утомили, измучили меня. Я вижу, что силы мои ослабевают, чув-

* Бутарь — рабочий на золотых приисках (от бутара — приспособление для промывки породы).

ствую, что скоро наступит роковая развязка, когда придется проститься серьезно,— и шутовская улыбка исчезнет с моего лица.

Волнуемый различными чувствами более, чем когда-либо, я сознавал себя почти несостоятельным высказаться. Предо мной стояла как бы возлюбленная моей жизни. Всю жизнь я следил за нею, всю жизнь я кидал ей цветы, всю жизнь посылал горячие поцелуи, не заботясь, чтобы знали имя поклонника, не требуя награды. И какое ей дело до моей любви — ей, у которой вечно ослеплены глаза? Она расстанется со мною равнодушно, так к чему же объяснения и лишние слова? Выражать чувства?! но меня ничто не обязывало к этому: ни гордость преданной души, ни отверженная любовь, отдававшаяся ей в самые лучшие минуты моей жизни... Это был слишком тяжелый момент, чтобы снисходить до жалких слов. И я не рыдал, не безумствовал, подобно влюбленному, отверженному юноше. Расставаясь с тобою, я только сказал короткое, односложное «прощай!» Я сказал это, не догадываясь, «надолго ли?», не пророчествуя, что, может быть, «навсегда!» Ты не поймешь этого! Но если бы ты, гордая царица, захотела взглянуть в эту минуту в глаза мои, ты прочла бы всю истому моего горя, всю глубину исстрадавшейся, надломленной души, отходящей в вечность. Полный равнодушия к себе и жизни, в последнюю минуту разлуки я отвернулся, чтобы скрыть волнение...

Но в душе звучало: дорогая, бесценная, возлюбленная,— прощай!

«Восточное обозрение», 1883, № 29.

ИЗ «ОЧЕРКОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ НА ОКРАИНАХ»

1. Книжные сокровища и Гончаров в сапожном товаре

Во времена моего золотого детства на берегах Томи, когда проснулась у меня первая потребность в книге, я отправился в лавку Павла Ивановича Хлебникова (томичи его помнят), там было все, то есть деготь и чай, серная кислота и бумага, карандаши и кнуты. У Павла Ивановича я, увы! нашел только сонник, засиженный мухами.

Далее я помню, как, во время ярмарки, я встретил лавчонку на базаре, где заезжий ирбитянин расставлял книги, это были книги в цветных обертках, новенькие, свежие... Как я обрадовался! Хотя то были толкучные московские издания, но здесь я нашел томик Никитина и Кольцова, денег у меня, однако, не было, а когда я зашел в другой раз, то, к удивлению, увидел, что книги с полок убрались, а на место их появились чайники и посуда.

— А где же книги? — воскликнул я.

— Запросу нет-с на этот товар! — отвечал ирбитянин.

Помню еще, что проездом в университет, в Тюмени я купил Гончаровского «Обломова» в сапожной лавке, он попал сюда среди сапожного товара.

Когда в 60-х годах пробудилась жизнь, в России зашумела литература, издавалась масса новых книг, в Сибирь они выписывались отдельными личностями, запроса на библиотеки не было.

Потребности просыпались, но как? В одном городке бедный учитель, составив для себя библиотеку, вздумал поделиться и сделал приглашение читать у него Шекспира, Гейне, Шиллера, Шлоссера и т. д., он прибавил даже о «неописанном наслаждении, которое можно встретить в этих авторах». Но такого чудака почли все помешанным. Это был город, где люди были образованные, но цель жизни была иная, здесь жили инженеры, шла картежная игра, и преисправно, грабя заводы, наживали сотни тысяч.

Помню еще несколько попыток основания библиотек.

Один из чистых и благородных идеалистов Александр Афанасьевич Зерчанинов открыл библиотеку для юношества и продержал ее несколько лет, она имела чисто воспитательное значение и не руководилась никаким барышом. Один из замечательных самородков, давших себе образование, небогатый торговец города Томска, Андрей Пичугин, принимал деятельное участие в распространении просвещения, даже приказчики выписывали книги, имея в виду безвозмездно делиться ими с окружающими. Это были какие-то бескорыстные порывы к общественному служению и пробуждению сознания.

Помню, как мы юношами-идеалистами отдавались мечтам, строили воздушные планы. Мы мечтали о типографиях, газетах и редакциях, нам казалось, что все эти предприятия будут в руках таких же чистых идеалистов, отданных беззаветному служению обществу, как и мы. Мы верили в развитие и прогресс страны молодой, верили, что здесь выдвинутся силы, и не замечали окружающего.

Это был золотой сон юности!

Когда из университета я возвращался на родину и был все еще в мечтательном состоянии, мне казалось, что вот, вот умственная жизнь на моей родине просыпается.

Помню, что, остановившись в одном большом сибирском селе, я встретил в это время офеню-слабужца с коробом, где, рядом с серьгами, тесемками, бабьими приманками, лежал целый ряд букварей, святцев, псалтырей и самых грубых московских лубочных изданий.

— Чем вы торгуете? — спросил я елабужца.

— Душевым товаром! — отвечал он, улыбаясь.

Но я не задался тогда вопросом, можно ли торговать «душевым товаром», взглянув на бойкого елабужца с лукавыми глазами и острой реденькой бородкой, я с юношеской поспешностью купил у него целую кучу букварей для поощрения. Эта сценка впоследствии напомнила мне великодушные пушкинского героя в

«Капитанской дочке», который пожертвовал заячьим тулупчиком будущему Пугачеву.

По мере возмужалости жизнь открывалась предо мною во всем разнообразии, но в то же время во всей своей безотрадной и неподдельной действительности, иллюзия исчезала. Я увидел, как нашу жизнь заедала «кондратовщина», и предался анализу, что это за явление. Вот результаты, к которым я пришел.

2. История кондратовщины

Сибирский Кондрат есть имя нарицательное — крупный, вымирающий тип. Создался он в первобытном хаосе грубых, чисто животных, эгоистических интересов буржуазного обмана и эксплуатации.

Прототип давно сошел в могилу, оставив следы своего существования — свою наживу. Кондратовы наследники, получив наследие, живут припеваючи. Откуда капитал — их не спрашивают: ибо в прародительских грехах они не повинны. Есть, однако, в сибирском языке фигурные выражения, ясно характеризующие сущность дела: Иван нажил гужом, Кузьма нажил кнутом, Вавило — обухом.

Гуж, кнут и обух составляли едва ли не единственные орудия первой сибирской культуры и происхождения капитала. Нажить деньгу гужом — это обогащение извозом при честном труде, исключаящем грабежи и разбой. Нажива кнутом — извоз с грабежом. Нажива обухом — это тоже извоз, но извоз с разбоем на больших дорогах.

Понятно, что способы эти должны были практиковаться именно там, где пролегает торная дорога через всю обширную богатую колонию.

Одни пункты на этой дороге считались для этого более удобными, другие — менее, поэтому и накопление капиталов в этих местах шло успешнее, а в других — медленнее.

Предметами вывоза из Сибири были: меха, золото, мамонтовая кость, чай, рыба; ими обогащались столицы и города России.

Взамен этого ввозились в Сибирь бракованные товары, да по пути и бракованные люди, разбойники, казнокрады, воры, погубившие себя жаждой к обогащению. Как видите, обмен продуктов был выгодный. Торная дорога, по которой он производился, была населена ямскими людьми, родоначальниками Кондратов, которые были прикованы к местам их водворения. Кондрат-ямщик урывал при ввозе и при вывозе. Способы эксплуатации ввоза были простые, они не требовали ни ума, ни энергии, ни знания. Напоить, отравить или просто прихлопнуть на постоялом дворе проезжего торговца, срезать с обоза чай на большой дороге были занятиями, требующими одного только навыка. Эксплуатация ввоза требовала опытности и изворотливости. В массах каторжного и бродячего люда нужно было отыскать мастеров, нужно было снабдить их красками, бумагой, штампами, од-

ним словом, всем, что необходимо для фабрикации так называемых кредиток. Мало этого: нужно было уметь скрывать подозрения, нужно было во время прекратить жизнь фабриканта, когда услуги его делались ненужными или когда наvertsывался более искусный и опытный соперник. На гумнах, в тайгах и урманах, далеко от жилья, владели свою преступную жизнь эти обдерганные, грязные, подземные гномы, искупая свои пороки новыми преступлениями. В сбыте фальшивых ассигнаций в Сибири никогда не было затруднений. Капиталы ямских людей созидались в короткое время; операция разбоя считалась прочною, денежный курс, при легкой наживе, стоял высоко. В этот период достаточно обособился тип сибирского волостного писаря и так называемого земскаря, которые питались от общей трапезы, нередко теми же способами. Отсюда создались особые нравы земской полиции.

Быстрое обогащение вызвало безвкусную роскошь и безобразный разгул. Картины уличного разврата с цыганками, карточная игра фальшивыми деньгами, бесшабашное пьянство, грубое попиранье всяких гражданских и человеческих прав царили в жизни старого Кондрата.

Но времена изменились. Зорко по дорогам ограждали себя проезжие, обозные научились вооружаться от грабителей. Сибирь стала людней, иногда отрубленные пальцы во время отважной экскурсии в повозку заставляли оставить этот род промышленности.

Началась новая форма наживы; надо было умудряться на привозном товаре. Кондрат завел лавку, он пустился в чайную торговлю, приобрел приски и заменил разбой на дороге разбоем кабака.

В колоссальных храмах Бахуса, винокурнях, устроенных в дремучих лесах, Кондрат в качестве верховного Калхаса стал варить отраву и яд. Широкой волной, как море, хлынула эта отраву в виде пенной дешевки по сибирским селам, раскинув веселые и приветливые пристани и порты. Замутилась крестьянская головушка, ошалела, пошла кругом, а с нею исчезла трудовая полушка, и женин сарафан, и сошник пошли за стойку, где жадный сиделец загребал мужичье барахло среди обезумевшего, одурманенного люда, среди дикой оргии, криков, гама, побоев, мольбы, стона женщин и какого-то воя, точно древних плакальщиц, матерей-старух.

Хороша была нажива, верно угадана! Но не повезло Кондрату. Он был избалован, распущен старой наживой, он был ленив и не умел в торговле. Лавку его обкрадывали приказчики и, в компании с ними, собственные детеныши.

«Михей, смотри! Тятенька пошли с Иваном Макеичем, ключ здесь положили!» — сообщал сынок приказчику, и вместе они шли выгребать товар.

Обозные нагтели Кондрата и опустошили его цибики. Москвичи перестали верить. Наконец пала и кяхтинская торговля. На золотых промыслах надул компаньон. Храм его, винокурня, так-

же была отнята; по мере распространения дешевки нашелся могучий конкурент.

Это был элегантный, чистый и выбритый Павел Иванович Чичиков, накопивший капитал на службе, заведший подряды, опытный аферист, явившийся в Сибирь на наживу. С свойственной осмотрительностью и подходом он объехал деревни, познакомился с кулачками, наметил склады и выставил артиллерию в виде огромного завода.

Это был настоящий видный генерал, в белом галстуке, стратег, Наполеон водочного дела в Сибири. Он сочинял целые винные конгрессы, заключал договоры и одерживал винные Ватерлоо. Куда же было до него тягаться неотесанному Кондрату!

Когда он увидел, как пала цена, как затрещал его завод, Кондрат издал дикий крик мамонта и пустился в свое болото. А в это время пришла другая беда. Ловкий москвич затянул на его горле крепкую долговую веревку. Оставалось приступы горя, угрызения совести заливать вином и в припадках беснования искупать грехи благотворительностью — сплеча, бесшабашно. То выбрасывает он из окон дождем мелкое серебро — лови, честной народ, и радуйся; то золотит церковные колокола, то отликает ризы, то позлащает ворота, ведущие на задний двор, и проч. и проч. Благотворительность его бесцельна и бессистемна.

У О помощи науке Кондрат тогда еще не мечтал. Мысль эта явилась, когда подросли детишки. Животный инстинкт и широкий опыт подсказывал ему, что деньги и без науки добыть можно, тщеславие говорило другое: если бы к деньгам-то да почести — хороша штука! Короче сказать, Кондрат прочил детей своих в чиновники. Одних при себе оставил, других в извоз пустил, а что побойчее, в «пенцион» и в «университет» отправил. Отправил детишек в науку и задумался: «А что, если бы «пенционы» эти при себе были?» Но как этот «пенцион» при себе сделать, Кондрат не знал; подсказать решение было некому.

Нужно ли рассказывать, какая судьба постигла «пенционеров» и «университетских»? (Купеческих институтов тогда еще не было.) Ничему не научились и частью спились.

Виновата ли была в этом тогдашняя школа, когда такие задатки привиты были с молоком матери, когда молодятину послана была в школу совсем не для науки, а для удовлетворения буржуазного тщеславия? Кондрат раскаялся и проклял школу. Не лучшая судьба постигла и тех, которых он при себе оставил. Отцовскую коммерцию усвоить не могли, а вышли какие-то слабоумные выродки, хотя жилали в Москве и усвоили носовые платки.

3. Смерть Кондрата

Испытав неудачу на откупках, проиграв на золотых промыслах, обобранный заезжим аферистом, проигравшийся в карты, обанкротившийся на привозном товаре, опозоренный и оплеванный банкрот на последней ярмарке, Кондрат умирает без утешения. Туск-

ло он смотрит на детей; на тупого идиота Иудушку, рожденного уродом с эпилепсией, когда-то неудачно зачатого среди пьянства и разгула; смотрит на промотавшегося, без силы воли, пропившегося Вавилушку, начавшего мелким воровством в лавке и кончившего спуском целого капитала на ярмарке, после чего Кондрат его искалечил, но капитала не воротил; смотрит на подающего надежды Спиридонушку, взрослого уже в момент потери капитала, отданного учиться и теперь стоящего в виц-мундире.

Кондрату вспомнилось, как он насмеялся над подьячими, как глумился в своих оргиях, как презирал их, и вдруг в устах его шевельнулось: «Стрикулист, куроед!» А предсмертные грезы его одолевают, встают страшные, забытые образы.

Припоминается морозная ночь и изумленный и застывший взгляд какого-то проезжего, его крик и предсмертный стон... Потом встало молодое с закрученными усиками лицо поселенца-монетчика в объятиях красавицы любовницы с разметанными черными косами... И опять предсмертный стон и хрипота, а там оргия, пьяная, безумная, циничная, насилующая, кощунствующая, а среди этой оргии раздается крик отчаяния, мольбы, крик как бы беззащитного ребенка...

Зачем эти образы столпились, мучат и напутствуют?

Так умирает Кондрат.

Рядом с Кондратом я припомнил и другую смерть. Это была смерть того мечтателя и идеалиста, который мечтал о библиотеках, о просвещении. Это засыпала душа глубоко нежная, любившая родину.

Беспомощным бедняком, закрыв свою библиотеку, в какой-то несчастной землянке на выезде Томска, умирал этот человек. Он лежал в жалкой хижине, в сермяге и грубой рубахе, среди ужасной обстановки, после массы горя, составившего контраст мечтам юности.

Исхудалое, изможденное лицо носило след дум и интеллигентной работы; большие, мягкие, как лен, львиные волосы откинута назад, большой и светлый, и ясный лоб, на котором легла тихая грусть человека, глубоко любившего и много испытавшего; на губах незлобивая детская улыбка и в глазах, впалых от мук, та же доверчивость и какое-то мистическое упование. Рука его была свешена, и на полу лежала много раз перечитанная книга... Но была ли это книга жизни?

Так умирал А. А. Зерчанинов.

Жизнь несбывшихся ожиданий, жизнь, полная честности и благородства, за что же ты погибла? Где же идолы и дворцы нашей фантазии? Где будущность? И когда с глубокими рыданиями я оторвал глаза от дорогих могил, я вдруг увидел «новую силу».

Во время разыгранной старой сибирской драмы неизвестно куда исчез один из приказчиков Кондрата, елабужец Михеич. Оказалось, что он запасся в Москве суконным товаром на выгодных условиях и приехал торговать с братом. Это был новый тип, явившийся в Сибирь на смену Кондрату, бойкий, нахальный, бес-

совестный, но хитрый и со смекалкой. Девиз его, как заезжего торговца, было «кабалить Сибирь привозным товаром». Он теперь раскинул лавки с красными парусами в самом центре нашего города.

Город разросся; когда я увидел его ныне, улицы похорошели, тут были дома первостатейных пермяков, елабужцев, верховажцев, взявших в свои руки Сибирь. Здесь же, к удивлению своему, я увидел выросшую мечту нашу — типографию. Кто бы мог создать ее? Кто сей наш просветитель, кто наш Гутенберг?

И вдруг передо мною мелькнуло знакомое лицо, хитрое, румяное, плутоватое, самодовольное Михеичева брата. Господи! да ведь это «коробейник», которого я в селе встретил, и у меня прозвучали слова «душевным товаром торгуем!» Так вот она откуда, цивилизация-то, пошла!

«Восточное обозрение», 1883, № 49.

БОЙКИЙ МУЖЧИНА И СТО ТЫСЯЧ НЕСЧАСТИЙ

(Из знакомых типов)

Глава I

Происхождение героя и случайности судьбы

Если вы бывали на второклассных гуляниях в Москве или Петербурге, то, вероятно, встречали фигуру мужчины, с большущими усами и бакенбардами, с лорнетом, толстой палкой, зычным голосом, развязными манерами, вечно толкущегося в биллиардных, около буфета и кеглей, — это был он, герой настоящего рассказа. В этих буфетах и биллиардных он вел себя развязно, точно провел тут всю жизнь. Посетители, маркеры, биллиарды и даже все кии ему были известны отлично. Когда он величественно входил не кланяясь, как домой, все кивали ему.

— Степан, ты опять мне этот кривобокий кий подаешь, дай мне *мой* склейной, с костяшкой!

И маркер спешил, извиняясь, исполнить его приказание.

— Что, был сегодня этот нотариус, в шляпе колоколом, с пластырем на щеке? Ну, вот, как его, черт!.. Не был еще?..

В буфете он так же развязно делал внушения буфетчику, как старый знакомый, и давал советы.

— Что это вы бутербродцы-то, Иван Семенович, посвежее бы... Дайте-ка рюмочку той моей любимой, знаете!

Происхождения его никто не знал, даже маркеры. Имел он вид отставного военного, иногда в петличке мелькала будто орденская ленточка, которая оказывалась, при пристальном взгляде, случайной бутоньеркой; в глазах его был воинственный огонь, но служил ли он когда ротмистром, а затем был ли исключен офицерским

судом, также осталось неизвестно. Все так свыклись с ним на гуляньях и в трактирах, что никто не задавался уже вопросом о его появлении и не ломал головы, а всякий так и думал, что он родился принадлежностью трактира и биллиарда и произведен был на свет сразу в своей неизменной шляпе, с бакенами, в порыжелом пальто и с суковатой палкой. В садах и на гуляньях он вел себя, действительно, как хозяин, и ловил на аллее то одного, то другого из посетителей, усаживался с ними на самом видном месте, требовал пива и важно раскуривал сигару. Он имел массу приятелей. Приятельская его беседа кончалась всегда так:

— Саша, заплати-ка, у меня мелочи нет!

Он знал всех завсегдатаев сада, иных он звал полуименем: Саша, Миша, Петрушка; иных, более солидных, величал Жорж, Серж; кто-то из интимных величался им бароном, хотя этот барон, низенький, рыжий, в синих очках, скорее похож был на продавца мозольного пластыря и порошков от насекомых; барон этот всегда играл без проигрыша и имел весьма тонкие и нежные пальцы. С этими приятелями он вел интимную беседу и начинал ее всегда характерной, обычной фразой.

— Сто тысяч несчастий, Серж! представь себе... вчера страшным образом везло, был в огромном выигрыше, банкноты уже шевелились в кармане, пять тысяч, братец! но барон не выдержал, и банк сорвали... Сто тысяч несчастий!

Увы! сей мужчина, веселый, беспечный, вечно витающий по трактирам и гуляньям, кто бы мог думать,— действительно имел сто тысяч несчастий и преследовался судьбой, о чем он откровенно повествовал, и при этом нимало не унывал.

— Представь себе, дом-то, который я брался продать, ведь уже продали, не удалось! А ведь я мог 10% за посредничество получить с 200 000, считай-ка! Просто сто тысяч несчастий!

— Я слышал, тебя к мировому требовали,— говорил сухо приятель, намекая на какое-то еще неприятное обстоятельство.

— Ну, это вздор! — заминал бойкий мужчина.— Там пустяки, за заклад часов и фортепиано... недоразумение, скандал!..

— Будто хотели уголовным порядком — часовщик и фортепианщик!

— Вздор, вздор! — заминал мужчина.

Определенная профессия бойкого мужчины была неизвестна, но хлопот у него была масса: продажа каких-то домов на Тверской улице, стоимостью каждый в полмиллиона, о которых, по его словам, очень его просили владельцы; тяжбы по наследствам, о чем его умоляли наследники; кому-то он устраивал протекцию, кому-то что-то закладывал в ломбард, продавал рысаков. При всей хлопотливости и занятиях у него доставало время появляться в разных трактирах, ресторанах, в Новгородском трактире, Славянском базаре и быть везде «своим человеком», играть по несколько часов на биллиарде, быть каждый вечер на гулянье и ночь проводить в каком-нибудь притоне за картами.

Знакомство он сводил быстро; то он отыскивал нотариуса в

колоколе и с пластырем на щеке, то какого-то купеческого сына. К несчастью, эти знакомства были скоротечны. Сегодня он сидел с кем-нибудь еще на садовой скамейке и курил важно сигару. На другой день вчерашний знакомый не смотрел на него и как будто улепетывал от него.

— Ишь, ведь, рыло-то воротит! — пускал ему с досадой бойкий мужчина.

Иногда он решался напомнить о своем знакомстве и, загоразживая дорогу своей солидной фигурой отступавшему, шутливо прищуря глаз, намекал ему:

— А что, не поехать ли нам *туда*, знает, где были, ведь нас ждут!..

Но это, видимо, еще более приводило в смущение недавнего знакомого. Тот краснел, багровел и с видимым страхом исчезал куда глаза глядят.

Бойкий мужчина никогда не унывал и ничем не смущался. Несмотря на то, что, благодаря «случайному стечению обстоятельств», у него никогда в кармане не было ни пфеннига, он, однако, пользовался кредитом в буфете (который иногда смарывался в один вечер каким-то подпившим случайным знакомым) и окружен был почтением. Трудно было устоять пред этим внушительным видом, когда он в критические минуты вытягивался во весь рост и говорил:

— Милл-остивый г-сударь!

Это бывало всего чаще за картами. В других случаях он говорил просто:

— Ты не знаешь, с кем говоришь!

Бойкий мужчина вел себя совершенно развязно, ничто не смущало его — ни безденежье, ни конфуз. Конфуза он никогда не боялся. На взгляд укора и пристальный взгляд человека, думавшего его смутить, он не обращал ни малейшего внимания. Фразы: «когда же долг?» или «разве так делают!» — а иногда даже более щекотливые замечания, пущенные ему вслед, не производили на него никакого действия. Он говорил всегда громко и о своих приключениях, ничуть не думая о том, как взглянут на это посторонние свидетели.

Он имел вид «благородного свидетеля» и действительно являлся им во всех скандалах на гуляньях, причем брал всегда сторону какого-нибудь подгулявшего купца, наделавшего дебошу, приказчика, купеческого сына и сопутствовал им к мировому, ободряя падших духом, как человек опытный. Он любил «бурную поэзию» и всякого рода «игру».

— Была игра вчера! — говорил он многозначительно: — Две рамы, 12 стекол, столы, стулья — все к черту! — пояснял он лаконически.

Иногда в каком-нибудь углу сада или «павильоне любви» слышались веские пощечины, крупная брань и мелькала величественная фигура бойкого мужчины с распростертой дланью. Поэтому мужчине с суковатой палкой все почтительно уступали дорогу:

— Скандалист! — говорили робкие.

— Ваше пре-ство! — говорили лакеи.

Когда он уходил с гулянья и садился на дрожки иногда с подпившим купцом, полицейский офицер пристально провожал его взглядом. Почему-то бойкий мужчина с благородным видом считался у него на счету «подозрительных», хотя он всегда был вежлив к полиции.

У этого беспечного и гордого героя были, однако, свои неприятности и закулисные драмы. Говорили, что в пылу любви и в пору счастья он обманул какую-то девушку, страстно любившую его, выманил у нее материны брильянтовые вещи с клятвой возвратить чрез несколько дней, но по случайности не сдержал обещания, после чего несчастной осталось покончить самоубийством: она утопилась. Это было одно из ста тысяч несчастий! Говорили, что он взялся обделать дело и заложить какому-то другу детства дом, заложил его, но деньги, по несчастию, утратил на дороге, и приятель пошел по миру. Говорили даже просто о краже золотых часов и перстней в знакомых домах. Но все это были вещи недоказанные. Были дела и у мирового судьи с разными фортепьянщиками, часовщиками, но и это были пустяки. Но раз скопились все эти сто тысяч несчастий сразу и выплыли наружу. Словом, в одно прекрасное утро прокурорский надзор бог знает откуда добыл не более не менее как 16 обвинений, в том числе по подделке векселей, духовных завещаний, обманов всякого рода, не считая утрат, займов без отдачи и т. д. В этот пасмурный день бойкий мужчина не появился вечером на гулянье. Все почувствовали, что чего-то недостает. Маркеры тоскливо смотрели, буфетчик был сумрачен, и даже фонари на гулянье горели тускло. Серж, Сеня, Петя и барон, явившись, озабоченно шушукались, но на следующий день, увы! и они присоединились к компании бойкого мужчины. А бойкий мужчина сидел уже в доме предварительного заключения и скучал. Он сначала было попробовал взять глоткой, говорил дерзости следователю, горячился, но потом, увидя массу свидетельских показаний, осекся. Выплыло и разрослось дело — одно из многих. Наступило время суда. Адвокат по назначению пожал плечами и подсудимому мог только представить его безнадежное положение. Следствие блистательно развернуло всю подноготную, а трактирная прислуга и маркеры, увы! решительно оказались несостоятельными удержать тайны благородного человека. И защите пришлось изыскивать только смягчений «к судьбе героя»: «благородный человек, привыкший удовлетворять потребности широко», «несчастные обстоятельства», «позаимствования», «забывчивость», «беспечность характера», «веселая компания», «случайность»; в заключение жалостные слова: «Господа присяжные!»... Вот все, что можно было выжать в нравственную защиту этого человека.

Кончился процесс, выдвинувший на скамью пред общественные очи какую-то темную компанию джентельменов, живших и наслаждавшихся жизнью неизвестно на какие средства, бросава-

ших деньги, весьма счастливых и по-своему популярных, по крайней мере во всех трактирах. Какие средства были у них к жизни, было ясно доказано. В качестве свидетелей фигурировали масса ростовщиков, содержателей касс ссуд, владельцев небольших капиталов, зараженных алкоголизмом, идиотиков-наследников, падших созданий и т. п. Открывалась одна из язв больших городов, омерзения вызвали похождения этих героев гостиниц, карт, растрат, подлогов и кутежей. Ведь они жили и наслаждались, когда другие непосильно трудились и умирали с голоду. После вердикта суда и произнесения «да, виновны», у публики явилось облегченное чувство. Куда-нибудь убрать бы эту мразь, только бы ее не встретить больше в обществе! — являлось пожеланием у каждого. После суда несколько взволнованные неожиданностью герои дрогнули. У бойкого мужчины опустились усы. Ему выпало на долю перемещение в Томскую губернию с лишением особых прав.

— Вы не смущайтесь, — говорил защитник, — губерния хорошая.

— Да я, помилуйте, никогда не робею! Привык-с, сто тысяч несчастий! — говорил бойкий мужчина.

Глава II

Станция и счастливые знакомства

На главном тракте, при въезде в Сибирь, в первом городе, возвышается огромная пересыльная тюрьма, напоминающая по движению кипучей жизни и смене лиц скорее вокзал железной дороги. Такая же пестрая публика всех классов двигалась в нем. Кого тут не было: чухны, цыгане, кавказцы, армяне, русые головы великорусских крестьян и изысканные бородки и усики городских и столичных франтов. Всех свела одна дорога!

Как широкая пасть, поглощал этот пересыльный замок постоянно прибывающие ссыльные партии. От этих партий было так тесно, что люди теснились в камерах во всех корпусах, в подвалах, в коридорах и, наконец, во дворе. До полутора, а иногда и до двух тысяч народу скоплялось в этом остроге, ожидая отправки далее в Сибирь. Народ кишит на всех дворах острога, представляя серые фаланги,двигающиеся туда и сюда; здесь раздаются крики, хохот, остроты, а в глубине острога, на заднем дворе, в то же время, как ад, гремит цепями скопище каторжных — бритых, в куртках с цветными рукавами и в уродливых серых шапках. Передний двор острога представлял самую оживленную картину. Здесь разгуливали всевозможные национальности и самые пестрые личности. Все искали новых знакомств, связей и какого-либо общества. Ссыльный, естественно, стремился приткнуться куда-нибудь, пришедши в Сибирь, найти людей из своих, поддержать друг друга и воодушевить себя. Поэтому по двору пестрели всевозможные группы людей, ведя оживленную беседу. Между прочим, внимание обращала на себя группа ссыльных дворян. Это

были довольно пестрые личности в разных дорожных костюмах, пледях и с саквояжами, они, видимо, несколько привыкли к своему положению и беседовали как бы в вокзале железной дороги.

Некоторые даже, благодаря дневке, вытащили свои обыкновенные костюмы и отличались некоторым изяществом. В одном месте беседовал очень прилично одетый молодой чиновник, в пестром жилете, при часах и в форменной фуражке с бархатным околышем, с офицером, который изменил, после ссылки, разве то в своем костюме, что снял погоны с пальто и кокарду с фуражки.

— Вы, осмелюсь спросить,— говорил офицер,— вероятно, по службе пострадали?

— По упущению по службе,— развязно проговорил чиновник.

— Я так казначеем был в полку.

В другой стороне заводилось знакомство между холостыми дворянами; их было семь человек, все они были одеты в свои платья, исключая одного видного мужчины с бойкими манерами. Все они уже перезнакомились и жали друг другу руки. Притом, шесть из них, по странной случайности, оказались — «за дерзость против начальства».

— Дерзнул баталионного командира...— говорил один.

— Нужно было отместить за сестру, вынужден был честью...— говорил другой, крутя усы.

— За дерзость...— говорил, хлопая каблуками, третий, с Кавказа.

— Вы, кажется, говорили — за каких-то лошадей? — возразил один из спутников.

— Нет, положительно за дерзость!..— подтвердил дворянин с Кавказа.

— Сто тысяч несчастий! — патетически воскликнул видный мужчина в арестантском халате.— Представьте, был в Киевском замке, в Харьковском, в Смоленском, в Московском и, наконец, сюда! Положительно, сто тысяч несчастий!

Этот джентельмен вел себя развязнее всех. Вы, конечно, узнали его. Фигура его, с большущими усищами и бакенами, с развязными манерами, напоминала известного нам героя с огромной палкой и в шляпе, толкавшегося еще недавно в биллиардных гостиниц и в буфетах на всех гуляньях. Но как изменился костюм этого человека. Исчезло в долгих несчастьях и скитаниях порыжелое пальто, суковатая палка и цилиндр. Он был облечен в длинную серую тогу, арестантский халат и в арестантском белье и в надетых на босу ногу котках. Какой-то уродливый картуз прикрывал его голову. Но достаточно было взглянуть на эту высокую фигуру, на эту вызывающую физиономию, с бакенами и усами, как можно было тотчас же узнать его. Это был он, «бойкий мужчина со ста тысячами несчастий». Он так же расшаркивался, шумел и быстро заводил знакомства, как всегда.

— Вы не были в Харьковском замке? Что-то лицо ваше знакомо,— говорил он кому-нибудь, или: — Скажите, пожалуйста, вы не из Московского замка? — и это он делал с той же видимой раз-

вязностью, как некогда спрашивал: — Не служили ли вы в грозненских гусарах?

Вдруг он увидел знакомую фигуру в шляпе колоколом и с пластырем на щеке.

— Боже мой! Да это он, маклер!! — воскликнул он и кинулся в толпу, распростирая объятия.

— Маклер, кто бы ожидал, вот встреча!

Шляпа колоколом подняла глаза, изумилась, но затем как-то оживилась, лицо в этой шляпе тоже было помято несчастьем.

— Какое счастье! какая встреча! ха-ха-ха! — гоготал уже бойкий мужчина. — А помните, какого я вам дьявольского клопшто-са закатил в Москве, зато ночь-то как провели! В которой палате? Пойдем же к нам, я вас с Васей познакомлю.

Бойкий мужчина превосходно освоился с острогом и с его правами. В своем классическом длинном халате, под которым не было ничего, но с необыкновенно проворными локтями проталкивался он везде, и везде глотка его громче всех протестовала. На острой кухне, с крынкой арестантских щей и с ложкой в руках, он громко орал, как прежде протестовал в буфетах с блюдечком мороженого.

— Нет, это, положительно, невиданно! В семнадцати острогах перебивал, но таких беспорядков, чтобы щей не достало, — не видывал! — шумел он, заявляя свою опытность.

Видный джентельмен московского буфета, «с ста тысячами несчастий», счастливо отыскал себе на дороге в Сибирь друга. Это был жалкий и худосочный молодой человек из Москвы. Одет он был всегда в модный пиджачок, с глянцевым саквояжем через плечо. Он вечно занят был переменной карпеток*, рубашек и цветных галстучков. Пустоватый, легкомысленный франтик с московских гуляний, к величайшему горю матери, сопровождавшей его в Сибирь, этот юноша, таскаясь по гуляньям и наряжаясь в галстучки, по глупости, завлечен был в какую-то мерзейшую историю скандально-трактирного свойства и попал в Сибирь. Этот франтик, не умеющий ничего делать, нимало не думал о своем положении и занят был, попрежнему, только кудрями, мытьем душистым мылом и усиками. Остальные дворяне глубоко соболезновали, узнавши, что у него нет никакого состояния, и никакой профессии, недоумевали, что ему придется делать в Сибири? Этого-то джентельмена взял под свое покровительство мужчина с бойкими манерами, чувствуя в нем близкое родство по московским гуляньям.

— Мы с Васей не пропадем! — говорил бойкий мужчина, обнимая широким рукавом арестантского халата тощую фигуру франта и похлопывая ее по бокам.

— Вася, дай-ка твою табачницу, — так же развязно обращался он к нему. — Черт возьми! в этом Нижнем у меня уперли превосходный портсигар с новыми триковыми брюками!..

Развязный человек обнадеживал всех ссыльных дворян, что

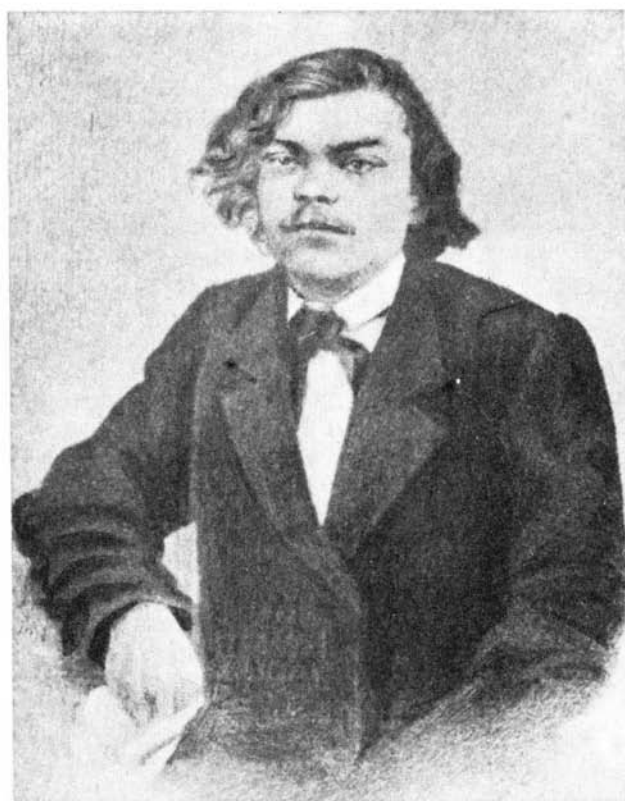
* Карпетка — получулок, носок.



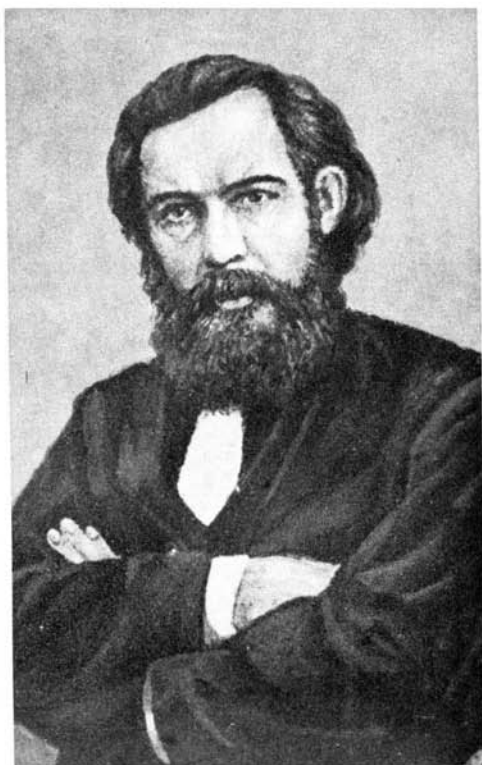
Серафим Серафимович Шашков.



Николай Иванович Наумов.



*Николай Семенович
Шукин (1836—1870).
Снимок 60-х годов
XIX века.*



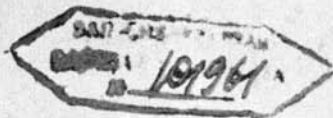
*Иннокентий Васильевич
Федоров-Омулевский.*



*Афанасий Прокопьевич
Шапов.*

190
РУССКАЯ ОБЩИНА

ВЪ



ТЮРЬМЪ И ССЫЛКЪ.

Изслѣдованія и наблюденія надъ жизнью тюремныхъ, ссыльныхъ и бродяжескихъ общинъ. — Историческій очеркъ сибирской ссылки. — Сравненіе разныхъ системъ наказанія у насъ и въ Западной Европѣ. — Основы новой рациональной системы исправленія согласно выводамъ пенитенціарной науки и опытамъ русской тюремной общины.

Н. М. ЯДРИНЦЕВА.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія А. Морзееронскаго, Надеждинская улица, д. № 39.

1872.

Титульный лист книги Н. М. Ядринцева
«Русская община в тюрьме и ссылке»,
1872 г.

житье в Сибири отличное; он, казалось, с ней также умел близко знакомиться.

— Прииски, батюшки, прииски! Золотопромышленники! Миллионы имеют-с,— трепля кого-либо по плечу, ободрял он.— В городах игра на большую руку, какой в Нижнем нет, и какой-нибудь мужлан-приказчик, ничего в ней не понимая, для форсу садится. Деньга сама в руку валится-с! Вот хоть бы Тюмень, жалею, что нельзя здесь остановиться, игра, говорят, постоянно идет большущая, и купцы эти — так и садят деньги в пьяном виде. Затея с ними игру, вот и капиталист! В городах везде трактиры, клубы — нигде не пропадешь! Иногда в обществе у них наш брат, ссыльный, первейший человек, первую роль в городе играет. В клубе у них он игру ведет, женам их тон показывает, танцует с ними, ухаживает. Ну, и, знаете, эти милые купчихи-сибирячки в восторге от нашего брата. Мы умеем иногда и развлечь их, иногда завязать маленькую интригу... «За что вы сосланы», — никто здесь и не спрашивает. Я положительно буду говорить, что за губернаторскую дочку. Ха, ха, ха! Это придаст интерес в глазах дам. Вам советую говорить, что за дуэль с князем или графом N., Z., что ли. Это может быть интересный рассказ: «Мы стали, граф N. первый поднял пистолет, я навожу дуло, но вдруг»... ну, тут что хотите!.. А простота, сударь мой, патриархальность по всей Сибири удивительная! население живет по старине, и кучи денег. Хочешь сделать спекуляцию, садись на тройку, налепи кокарду и ревизуй хоть целую губернию, в деревнях будут ниц падать, и капитал опять готов. А в городах, вот хоть бы Томск, говорят, чудо что за город. Там нас на руках носят. В клубах, в обществе везде наши. Аристократию, говорят, составляют; адвокатура, купеческие иски, музыкальное общество, контроль, телеграфное агентство — все в наших руках, даже в суде наш подставной. Тут уж не попадешься! Малина! Нет-с, я положительно думаю, что я сюда переселился составить себе фортуна. Страна благодатная, нетронутая!

Глава III

Знакомство с городом и богатая почва

В конце большого губернского города, расположенного красивыми террасами, окруженного зелеными садами, стоял огромный пересыльный замок, его страшная пасть то поглощала, то извергала тысячи преступников, наводнявших Сибирь. В его стенах скоплялось, как в клоаке, все отверженное, преступное; здесь же среди нравственного разложения иногда ютилась и болезнь физическая: тиф, цинга, дифтерит также не оставляли без влияния сибирских городов.

Это кит-здание выбросило сегодня из чрева также несколько своих странников. Они стояли озадаченные среди улицы большого города, глаза их блуждали, солнечный свет, шум улиц обдал их сразу. Некоторые были еще в серой заклеянной одежде. Прохожие подозрительно смотрели на эту группу пришельцев и прово-

жали их также подозрительно. Они стояли растерянные, в впалых глазах выпущенных ссыльных еще была узническая робость, однако при виде этого города, его рынков, улиц, двигающейся толпы, экипажей кровь их заволновалась. Они стояли здесь горьким контрастом сверкающей жизни, раздавленные, униженные, беспомощные. Этот шум раздражал их.

Угрюмые взгляды их красноречиво говорили:

— Вы, вы, добродетельные, но злые люди, хотели заклеить нас именем преступников, отверженных, вы заставили нас пережить унижение. Кто же нам заплатит за это! Вы думаете, мы вам простим это?

С скрытой злобой, проникнутой отравленным чувством, они взглянули на этих чуждых и равнодушных к ним свободных людей. Они смотрели на этот чужой город, на это солнце с жадностью и завистью. Проснулся старый инстинкт жизни, ноздри расширились, в глазах мелькал старый зловещий огонь страстного необузданного темперамента.

Не оставаться же на распутье опозоренными, попранными. Жить, жить хотелось во что бы то ни стало. Таковы были чувства первого пробуждения.

* * *

В то же утро по улицам освещенного города, мимо погребков и трактиров, по тротуару пробирались знакомые нам «мужчина со ста тысячами несчастий» и тщедушный франтик Вася с старушкой-матерью. Мужчина с ста тысячами несчастий бойко размахивал рукавами серого халата и, как видно, особенно отмечал трактиры своим наблюдательным оком.

— А ведь городишко-то ничего, и трактиришки, знаешь, есть! Только помни, Вася, сюртук, пожалуйста, мне, сюртук одолжи, который у тебя лишний,— бормотал озабоченно солидный мужчина своему другу Васе.

Через полчаса, действительно, бойкий мужчина, совершенно преобразившись, мчался уже по улице города. Он был в Васином сюртуке и брюках и смотрел очень солидно, кожаная фуражка его была надвинута довольно величественно, баки придавали необыкновенную важность, а вдобавок он уже имел точь-в-точь такую суковатую палку, с какой гулял в Москве. Словом, он преобразился в того же самого джентельмена, которого привыкли видеть на московских гуляньях. Судьба как будто его перенесла мгновенно с Сокольников на ковче-самолете в золотопромышленный сибирский центр и с ним никаких, собственно, перемен не случилось. Он также беспечно и весело летел, помахивая тростью, к намеченной им гостинице, как бывало в «Новотроицкий». Один из этих трактиров носил название «Свидание друзей и приятная беседа». Бойкий мужчина направился стремительно к этой гавани. Это была обыкновенная сибирская гостиница, где днем не было в залах ни души. По сибирскому обыкновению, трактир был

совершенно пуст до ночи и только в это время оживлялся посетителями. Бойкий мужчина, не снимая фуражки, прошел пустую прихожую, затем зал, уставленный зеркалами и столами, заглянул в гостиную с картинами, засиженными мухами, и быстро направился к комнате, откуда слышался столь знакомый ему звук бильярдных шаров. Он вошел в бильярдную, как будто был постоянным ее посетителем, положил свою суковатую палку на диван и воскликнул поощряющим тоном:

— Ага! желтого в среднюю. Отлично! — это было первое слово, которым заявил новый гражданин Сибири свое прибытие в сибирское общество.

На бильярде играл довольно неумелый золотопромышленный приказчик с ловким маркером, вероятно, из поселенцев. Приказчик был разодет весь в пестром, на руках его были перстни, золотая массивная шейная цепочка спускалась на жилет, он был сильно выпивши и проигрывал партию.

— Ты, ведь, Никита, дока, — я знаю тебя, я еще в Новотроицком тебя знал!! — говорил весело мужчина с развязными манерами, обращаясь к маркеру.

Маркер хитро улыбнулся на эту шутку.

— Нет, ты постой, мы вот сыграем с мосье, ставь шары! Хотите на бутылку вина? Впрочем, давайте на три рубля, я буду играть мазиком, и 20 вперед. Не хотите?.. Ну, на рубль желаете? Мосье, как вам не стыдно отказываться!

Приказчик колебался. Бойкий мужчина ставил уже шары...

— Я вот играл в Москве, расскажу вам, представьте, 25 рублей ставка!.. Берите кий.

Приказчик вяло повиновался.

— Выставляйте! — крикнул бойкий мужчина. — Так я вам расскажу, в Москве... Ты помнишь, Никита, как я играл...

— А деньги? — робко решился заметить приказчик, выставляя шары.

— А, вот, сейчас, сейчас! — говорил солидно развязный мужчина, запуская руки в карманы и, между тем, делая шар за шаром.

— Ну, пятак пара! Красный, крамболь! 15 очков, хотел с клопшtosом. Ничего и очень глупо! Ха-ха-ха! — заливался бойкий мужчина. — Я вам расскажу анекдот, вот тоже в Москве...

— Что же деньги... — обиженно заикался приказчик.

— Сейчас, сию минуту! Мальчик, Никита!.. Фю!.. Машинку, лестницу и веревку!.. Проклятый, на борту!! Ну-ко, клопшtos и оттяжка. С громом в лузу, шлеп! Ха-ха-ха! Я вот вам расскажу... — заливался бойкий мужчина, нимало не конфузясь и оканчивая разом партию.

— Ну, так нельзя, — говорил обиженно приказчик, отходя в сторону, — вы... тово...

— Это счастье, это дурацкое счастье! ха-ха-ха! — заливался мужчина. — Хотите еще?..

Но приказчик, окончательно охмелев, уселся и только сопел.

— Никита, много бывает посетителей у вас?

— Я не Никита, сударь!

— Ну, все равно!

Поболтав с маркером, бойкий мужчина уже беседовал в буфете, стучал тарелками, рюмками и оболящал буфетчика, оказавшего тоже из ссыльных, но лет 20 уже практиковавшегося в Сибири и отличавшего отлично «птиц по полету».

— Так вы говорите, много наших здесь!

— Сколько угодно-с. Да вот изволили видеть сейчас — господин лысоватый прошли.

— Тоже?..

— Тоже-с.

— А, а, а! — смаковал бойкий мужчина, закусывая балыком и стараясь ориентироваться. При живости характера, его знакомства сводились быстро. Еще полчаса, и он шелкал уже на бильярде с каким-то простодушным мещанином, которого он в то же время исповедовал обо всех посетителях трактира, видных лицах города, хороших игроках и хороших людях, с которыми он, бойкий мужчина, мог составить компанию.

— У нас житейское простое-с, и занятия сами наклеиваются, даже, можно сказать, многие без труда живут, — говорил мещанин.

— А как у вас насчет адвокатуры или посредничеств разных, перепродажи, например? — любопытствовал бойкий мужчина, действуя кием. — Говорят, хорошо?

— Помилуйте, сударь, чего лучше! Вот господин Звонкевич тоже по «несчастью» за какое-то темное дело сосланы. И знаете, как оперились здесь. Крез — можно сказать! Квартира в 500 рублей и пара кровных рысаков. А тоже в сером халатике прибыли. Прodelьвают они тонкие штуки! — улыбнулся рассказчик. — Возьмет вексель от вас ко взысканию по передаточной надписи, взыщет деньги, да и протистись с ними! Сколько примеров бывало. Зато как крез живет!

— Скажите, и сходит?

— Пустяки-с! Они с аблакатом Инструментовским состоят в приятельских отношениях, а тот с «мужем судейши», так у нас Фемиду прозвали.

— Ха-ха-ха, с «мужем судейши»? Это остроумно! Выпьете-ка пива и сыграем еще партию.

— Да что говорить-с, — повествовал этот открытый гид города, — вот я вам скажу, здесь есть грек Макаков, сосланный за мошенничество, и человек-то недалкий, и в русской грамоте недалкий, но кого он тоже только не объегорил. Даже простых мужиков на рынке, и тех не щадит. Купит сено, а денег не отдаст. Про него и в газетах писали. А тоже хорошо живет. Зато есть у нас г. Обелянский, так тот все клиентов втравливает в неприятности.

— Как так?

— Очень просто, даст такой совет, что клиент, можно сказать, с головой втрещится. Так он купца Боронкина такому делу научил, что он ныне приговорен к лишению-с прав.

— А ему-то что же из этого?

— А у него своя линия-с. Тут было дело купца Ульянкина, по убийству, так он посредником служил, понимаете — передать кому нужно, ну, а в кармане-то кое-что и завалается. Ну, и мастер же — купцу Столярову такую составил просьбу, что тот прямо за клевету под суд попал, а Обелянский гогочет: это, говорит, мне на руку, ко мне же за советом обратится.

— Однако, он, как видно, умный человек! Надо с ним познакомиться!

— Нет, уж если вам знакомиться, сударь, — так у нас есть еще приезжий с юга откуда-то господин Мышеловкин, так этот по части наследников ходок. Пронюхивает, знаете, родственников, отыскивающих наследство, и сейчас им — западню, договор заключает и неустойку. Затем как пойдет волочить, так наследники-то готовы и от наследства отказаться. А он — стой! неустойку давай! Ныне двух идиотиков поймал. Вы его увидите сегодня. Он неотлучно с этими идиотиками ходит. Прекрасный и веселый господин. Знаете, любят тово... — мещанин сделал жест.

— То есть выпивает! — пояснил мужчина.

— Даже очень! Ну, а человек образованный...

— Очень, очень приятно! — пробасил мужчина. — Верно, приятный человек для компании.

— Совершенно верно! Одно, — продолжал повествователь, — не попадайся, когда они в градусе. На днях сидит в гостинице, вдруг один господин чихнул около них. Ты, говорит, непочтение ко мне питаешь, всего оплевали, а потом пошли его трепать, их удерживать, а они всю гостиницу разнесли.

— Ха-ха-ха! герой! — хохотал бойкий мужчина. — Положительно надо познакомиться.

Благодаря этим рассказам, бойкий мужчина понял, что жить здесь можно, и преприятно. То, что в других местах получило название воровства, мошенничества и должно скрываться от дневного света, — здесь практиковалось совершенно открыто, и об этом повествуется даже в гостиницах. Словом, страна нетронутая и многообещающая. Насчет нового суда и помину нет! Так вот где раки-то зимуют! — подумал он и решил уже окончательно прозондировать почву.

— Ну, а насчет игры как? Знаете — направо, налево! — как-то вскользь решил наметнуть любопытный мужчина и, подмигнув, показал рукой легонький вольт.

— Здесь! Здесь! — затараторил чичероне. — Во всех гостиницах, в *особых комнатах*, — шепнул он, — все тузы собираются, а некоторые и квартируют здесь. Всех увидите вот попозднее.

У бойкого мужчины забегали глаза, но, желая скрыть свои чувства, он встал и, как-то томно вперив глаза, запел, а потом прибавил со вздохом:

— А сколько, однако, в этой Сибири талантливых людей наших пропадает!

— Помилуйте! первейшие таланты! — подхватил со вздохом собеседник.— Вот недавно г. Котикович сюда приехали, ведь головушка-то какая. В компании с г. Леонидовым они на днях игру-с с одним иркутским купцом у Лесного затеяли и обчистили во как-с!

— Есть, говорят, здесь музыкальное общество и там тоже артисты,— отвлекал бойкий мужчина разговор о шулерах.

— Они же-с все: г. Ахер на гармонии-флюте зудят, а г. Котикович подпевают. Истинный артист! Если бы вы видели, как он вольт в картах делает. Умопомрачение! С кем играть сядут, не выпустят: все оставит, да еще поблагодарит. Это они называют — ощипывать кур, не заставляя их кричать!

— Ха-ха-ха! — и не заставляя кричать. Это хорошо!

В голове бойкого мужчины толпилась между тем куча мыслей, глаза его светились.

— Однако, до свиданья, встретимся вечером! — сказал он многозначительно.

— Всю аристократию нашу увидите, будьте уверены: Котикович, и Звонкевич, и грек, а может, и Грошкин с Струсбергским подкатят от самого, а уж Мышеловкин постоянно до утра остается.

Новые знакомые расстались. Бойкий мужчина шел, насвистывая арию из «Корневильских колоколов».

Солнце закатывалось, начиналась летняя прохлада, по улицам мчались экипажи. Какая-то пара лихих пронесла мужчину в цилиндре, беспечно развалившегося.

— Наверно Котикович, или Грошкин, как сыр в масле катается, шельма! — подумал бойкий мужчина и посмотрел вслед, как бы о чем-то думая.

— Недурно бы такую парочку приобрести! Вольт! — мелькнуло затем в голове его, и завертелось в его глазах колоды.

Он шел, рассеянно махая длинной палкой, вдруг около одного дома он увидел Васю, в новых клетчатых панталонах и розовом галстуке, ловко фланировавшего около ворот, где стояли горничные.

— Васька, Васька! — кричал он, грозя ему пальцем.— Ты уже успел, шельма! — прибавил он отечески. Они пошли вместе.

— Знашь, Вася, я решаюсь с завтрашнего дня открыть контору, кассу или что-нибудь подобное! Время терять нечего! — сказал бойкий мужчина озабоченно.— Надо дело делать. Пойдем, мечтаем.

Они прошли длинную улицу с красивыми домами; вот и каменный дом, принадлежавший когда-то миллионеру-золотопромышленнику, с оранжереями, вот площадь, строящийся собор, а за ним в конце площади какие-то воздвигающиеся леса и новое сооружающееся здание. За этим зданием был сад. Высокие деревья стояли здесь, простирая тень в летний зной, этот сад выходил на террасу, откуда видна была живописная панорама. Зеленые луга, озера и привольная река синели полосой. В этом лесу иногда щелкал

соловей. Алым заревом заката был освещен этот лес, с холма из-за зелени можно было видеть, как садилось солнце.

Но бойкий мужчина не был сантиментален, он строил свои планы, сидя на скамейке, и думал, какая здесь непочатая почва. Между тем город понемногу окутывался летней темнотой. Он засыпал, утомленный дневной жизнью, после труда здесь были также свои радости и печали, свои надежды и упования. Это был город будущего, со строящимся величественным зданием, из которого должен выйти первый яркий луч света истины, но этот город лежал пока во мраке.

Точно змеи и жабы, кишели у его подножья темные личности, бандиты, шулера. Город засыпал, не спали только бойкие люди. Засветились огнями гостиницы, зашумели ночные притоны. Началась жизнь иного люда — подземного.

Бойкий мужчина с ста тысячами несчастий направился к освещенной гостинице.

Глава IV

Свидание друзей и цивилизация черной банды

Гостиница, куда направился бойкий мужчина с ста тысячами несчастий, уже горела огнями. Помещение ее с массой накрытых столов представляло теперь еще более привлекательности и дразнило аппетит, который бойкий мужчина удовлетворял сегодня только бутербродами.

Когда он вошел, освещенный зал был еще пуст. Знаменитое местопребывание местных шулеров, из которых некоторые и квартировали в этой гостинице, обыкновенно наполнялось народом часов с 12 и после полуночи. Сюда же собиралась и вся ссыльная «аристократия», как выразился мещанин, чичероне бойкого мужчины. Они съезжались сюда одновременно с ночными посетителями, являвшимися из театров, местных концертов и из клубов оканчивать игру.

Бойкий мужчина и на сей раз встретил своего Виргилия — продажного мещанина, тершегося близ буфета. Они уселись в зале за чаем.

Только теперь бойкий мужчина заметил в углу залы шумную компанию с каким-то одутловатым, разухабистым мужчиной во главе, изображавшим из себя полупьяного гуляку, около него сидели спившийся, в замасленном виц-мундире, чиновник и два подозрительные лица, с юркими глазами, напоминающие карманников; собеседники тоже были в градусе, с красными ланитами и мутными глазами, но держали себя скромно и почтительно в своих отношениях к угощавшему. Около стояли бифштексы и масса бутылок; из последних часть валялась на полу.

— Человек, портеру 2 бутылки, аглицкого лучшего! — шумел хутила, и со стола что-то полетело с громом.

— Ловко! — сказал бойкий мужчина, подмигнув.

— Сусальников,— шепотом проговорил мещанин с благоговейным видом.— Сусальников-с, капиталист, деньжищ страсть, по сотням прокучивают, всю нашу знать принимают, барина разыгрывают, а сами купец.

— Из здешних? — заикнулся бойкий мужчина.

— Какое, сударь! здешние разве будут так кутить! — из бывших. Говорят, за какую-то большую кражу сосланы, но г. Сусальников уверяют, что за супругу. Однако им здесь, кажется, жить еще лучше...

— Еще бы с таким капиталом! — буркнул бойкий мужчина.— Можно познакомиться?

— Успеем-с, пусть разойдутся, они ведь на целую ночь это удовольствие продлят.

В зале появилась новая личность, она шла, едва передвигая ноги, расставленные как буква Л. Волосы ее были чем-то намочены и прилипли ко лбу, но усы торчали щетиной, лицо было подозрительно припухшее, вся фигура изображала немощь и тихо плелась около стенки к буфету.

— Это что за фигура? — засмеялся бойкий мужчина.

— Безнадежный-с! — заметил равнодушно мещанин.— Когда-то был тоже герой. Бывший частный пристав, кажется, из Таганрога, Запиванский. Как я получил достоверные сведения от Александры Ивановны Великанши, он потерпел за продажу молодых девиц и женщин, которых сбывал на пароходах в Константинополь для лакомых турок.

— Однако, гусь! — сказал бойкий мужчина, доселе при всей опытности своей не доходивший еще до такого остроумного предприятия.— Что же это он так ходит, точно ему в карманы кто яйца всмятку положил?

— Хе-хе-хе! это точно. Они вечно нездоровы, только нездоровьето известное. Я жил с ними в меблированных комнатах. Всякий день с утра такие, только к вечеру уксусом голову мочат, вот и теперь из кармана бутылка видна.

Фигура медленно ползла по зале и действительно распространила вокруг себя острый запах уксуса.

— Как ваше здоровье? — улыбаясь, спросил мещанин ползущую развалину бывшего изобретателя заграничного товара.

— Плохо, очень плохо! — со вздохом отвечал бывший торговец человеческим мясом: — Видите, я голову намочил уксусом, вчера угорел!

— Это всякий день у них угар,— комментировал собеседник, провожая «безнадежного» в буфет.— Сам плох, зато супруга у них молодец, проворная женщина, кухмистерскую держит, деньги любит, а находчива как! — рыбу для проезжающих в умывальном тазу варит!..

— Как в тазу?

— Очень просто-с. Раз инженер, квартировавший у них, рыбу купил и приказал приготовить. Хвать, кастрюли у ней нет, а рыба большая. Она и догадайся, взяла железный таз, в котором по-

мои стояли, да рыбу в него. И изготовила! Инженер и гости благодарили ее еще!

— Однако, пренаходчивая!

Посетители набирались, и скоро бойкий мужчина пробрался в задние комнаты гостиницы для интимных друзей. Там уже шла игра.

Когда он развалился в диванной с ломберными столами, бойкий человек с ста тысячами несчастий почувствовал, что он снова дома. Коридорный запах, стук шаров, возгласы: «12 и ничего» или «30 и очень мало», звон рюмок в буфете, самый буфет, хлопанье дверей и шмыганье лакеев с пирамидой тарелок,— все это было родственно и близко изгнанническому сердцу. Несчастий как не бывало!

Друзья и посетители, с которыми бойкий мужчина уже свел знакомство, тоже были как будто родные ему, хотя всего только час назад, как он им представился. В первые минуты этого знакомства еще слышались отрывочные фразы любопытства.

— За подлог, говорите? Кто защищал? Знаю. Отличный защитник! 1132 статья? да! В Московском, говорите, замке? Смотрите, да, знаю!

Скоро, однако, и эти расспросы прекратились, и бойкий мужчина уселся на мягкий диван и ловко «треснул» запечатанной колодой карт, так что она лопнула в обертке по всем швам разом. Он взглянул на эту колоду, как бы говоря: «Давно ты у меня, шельма, в руках не была»,— и начал тасовать. Изредка входил новый посетитель.

— Из наших, помните, по делу... в 1882 году «Золотая Ручка»...

— А, а, а! очень приятно,— жал руку бойкий мужчина.

Входил новый мужчина с развалкой.

— Рекомендую, Ко-вич, верно читали... игорные истории... застала полиция.

— Ах, как же, весьма счастлив!

Являлось еще новое лицо.

— Вероятно, знаете, знаменитая история с завещанием, и...

— Ах, боже! как же не знать! — торопился заявить бойкий и приятный мужчина: — Да я сам присутствовал на суде. Помните, как вы прокурора втупик поставили? Ха-ха-ха! *Charmé!*

Собравшиеся поджидали еще кого-то. Но, взамен того, внезапно ввалилась неопрятная фигура местного ходатая Мышеловкина; заплывшие татарские глаза на бульдожьей физиономии не давали ему привлекательности, вид его походил на бравярующего Расплюева, возвратившегося с счастливой игры; ноги были крайне нетверды. Войдя в галошах, он развалился и сбросил по пути две чужие шапки с дивана, видимо, не желая церемониться с этой компанией. Но серьезные, сосредоточенные игроки не обратили на него особенного внимания, только кто-то с иронией спросил его:

— А где твои идиотики?

— Не твое дело, ты знай мечи да подтасовывай, «валет»! —

грубо ответил местный адвокат, намекнув на темное происхождение сидевшего. Полновесная колода карт внезапно взвилась и рассыпалась, отскочив от жирной физиономии озадаченного Мышеловкина. Колода была направлена ловкой рукой.

— Это вот они всегда так на скандал нарвутся,— сказал укоризненно мещанин-чичероне.— И что им только нейдется! Из собрания исключены были за мордобитие на год, с пароходов их ссаживали, из гостиниц выводили, а они все свое. Характерный господин!

Мышеловкин, в свою очередь, опрокинул стол и кинулся с кулаками. Завязалась трактирная сцена. Скоро его увели в буфет, но и там раздался звон стекол.

— Ведь вот это они называют «цивилизацию» пущать,— говорил мещанин,— если бы они только орган слушали, а то как примутся всем посетителям фонари ставить... Согласитесь, эта цивилизация дороже себе стоит!

Мышеловкин был юн и задира, как Расплюев, он любил трактир и сильные ощущения. Его прозвали поэтому «бокс» и «образованная нация». Он был подставным лицом и игрушкой в руках некого Groшкина.

— Нет-с, тут у нас господин Groшкин есть, куда их солиднее. Ловкач, тонкий человек, и куда деликатнее! — продолжал мещанин.

— Кто это такой? — полюбопытствовал бойкий мужчина.

— Помилуйте, сударь, он всей этой компании голова, у нас в губернии он всеми делами ворочает. Ведь сам-то мельница, Адам Адамыч, плох и стар, так его мельницей да краснобаем зовут, а Groшкин да г. Струсбергский все дела забрали и за них орудуют. Ну, опять Адам Адамыч насчет женского пола слабы, а г. Groшкин по этой части угодить умеют... Г. Groшкин и проекты пишут-с, и в комиссиях, и в контроле свой человек. Без них Адам Адамыч просто как без рук себя чувствуют, а г. Groшкин свою линию проводит. Вам надо с ними непременно познакомиться, они вас Адаму Адамычу представят и в общество введут.

— Разве это можно?

— Помилуйте-с, добрейший старик. Только скажите, что из Москвы,— облобызает. Его на этом все ловят. Ему раз, сударь, одного Непомнящего из острога за москвича выдали, уж целовал он, на поруки взял, а Непомнящий-то, представьте, фальшивым монетчиком на грех оказался и через неделю бежал.

— Ха-ха-ха! Добрейший старик!

Скоро в комнату вошел Groшкин, красивый мужчина, с светскими манерами и адвокатской развязностью. Он представлял, по-видимому, тип несколько иной среды. Цепкий, ловкий, не упускающий из виду пользоваться обстоятельствами, обольстительный в гостиных и умеющий прикинуться деловым человеком в кабинете, он умел ловко польстить, воспользоваться слабостями и применил свои таланты в месте ссылки.

Он завладел в городе делами винокуров, кабатчиков, потом

протерся в чиновную среду, пробрался в комитеты, благодаря бойкости писал сто тысяч проектов. Производя своей фигурой и манерами неотразимое впечатление на женщин, он окружил «юбками» бесхарактерного Адама Адамыча. Музыкальные общества, спектакли, увеселения без него не обходились. Он устраивал журфиксы, где присутствовали все, начиная с шулеров, кончая полицией; некоторые считали его салон лучшим в городе. Приличный на вид, но всегда державший нити всякой интриги в руках, это был настоящий глава «черной банды», «капитан золотой роты», как его называли некоторые. Днем — в канцеляриях и в обществе, ночью он был среди шулеров и «своих». К нему обращались все за протекцией, для всех он обделывал дела.

В союзе с ним стояла другая сила — Струсбергский, бюрократ, делец, сосланный по банковым делам. Вкрадчивый, улыбающийся, он подобрал влияние на судебные дела и, так сказать, обезопасил арьергард и поле действия шайке.

— Это он, он,— шептали кругом, когда вошел Грошкин, и начали толкать к нему бойкого мужчину, который удостоился руки и симпатичного взгляда.

— Фу, просто измучен,— кинулся Грошкин на диван,— сегодня два доклада выдержал, три проекта написал, комитет, сметы, отчеты, агентство, контроль... просто беда. А тут старик еще болтает, как старая попадья; насилиу его на руки Надежде Семеновне сдал. Пусть его ублажает. А где Мышеловкин?

— Он уже того...

— Молодец, впрочем, мы его встретим за ужином.

Грошкина осаждали: кто просил его распространить какие-то билеты на лотерею, кто оказать протекцию в музыкальное общество, кто просил, чтобы затушили какое-то дело о грабеже...

Бойкий мужчина был посвящен во все тайны города и дружелюбно принят в семью этой «аристократии». Он почувствовал и увидел внезапно, что все эти люди были точь-в-точь, как он, т. е. «люди с ста тысячами несчастий», с той разницей, что одни попались за подлог, другие по завещанию, третьи по игре. Сам Грошкин со всей тонкой своей деликатностью был просто его двойник по судьбе.

— Да нет, вы поступайте к нам в музыкальное общество, у вас, право, есть голос! — настаивал ссыльный Ахер, выдававший себя за бывшего капельмейстера, хотя он был всего только старшим трубачом, а потом тапером.

— Господа, клянусь, исключая «Настасьи» и «Хуторка», в трактирах ничего не пел,— божился бойкий мужчина.

— Ну, это пустяки. Вы пригодитесь для хора. Вот у нас Котикович — теперь первый тенор.

Кто-то тут же обещал бойкого мужчину в банк пристроить.

— Люблю эту банковую часть,— потирал руки прозелит: — днем служба в банке, а вечером банчишко! ха-ха-ха! — заливался он. Между тем накрывался большой стол, гремели тарелки, приготавлился ужин en grand.

В ужине приняло участие множество народу, все наличные шулера, музыканты, певцы, ходатаи по делам и даже бывший торговец живым мясом.

Бойкий мужчина взглянул с почтением на это общество и утер важно салфеткой усы. Да, это было общество! Если бы судебные следователи и господа прокуроры всех окружных судов и палат, тратившие дни и ночи на разоблачение ехиднейших подкопов под человеческое благополучие, взглянули на этот пир в гостинице «Свидание друзей и приятная беседа», они бы увидели, к изумлению, всех своих героев, которых они думали извергнуть из общества, сидящими за бокалами шампанского, гораздо более цветущими, чем до отправления над ними правосудия. Процесс для них прошел пробным экзаменом, и они теперь смотрели скорее бакалаврами, чем людьми, потерпевшими кораблекрушение и убитыми духом. Жирандоли освещали эти полные и беспечные лица. Шел оживленный говор. Привели и Мышеловкина.

— Вот и он, виновник торжества, увенчаем его, господа, сосисками и графином,— провозгласил Грошкин.

Мышеловкин был окончательно посоловелым и моргал только глазами.

После первого блюда, обнесенного гостям, уже наполнились бокалы. Грошкин стал в величественную позу привычного оратора и начал речь:

— Господа, мы празднуем сегодня необыкновенно счастливую победу и успех в предприятиях нашего друга Мышеловкина. Вы знаете, что его судьба вознаградила за все труды, он теперь владелец солидного капитала.

— Это он с идиотиков сдернул,— шепнул бойкому мужчине сосед.

— Но, тем не менее, наш добрейший, наш уважаемый триумфатор,— продолжал оратор,— останется, конечно, нашим товарищем.

— Каково подъезжает-то, каково к капитану-то подъезжает! — вставлял неумолкавший комментатор.

— Вы знаете те обширные дебаты и прения, которые велись у нас о том, куда нам приложить свои силы. Мнения делились... Одни стояли за кассу ссуд под движимости, другие за игорный дом. Но в таком важном деле немислимы разногласия, мы должны соединиться, почувствовать, что мы одна семья. Здесь, закинутые судьбой, мы настоящие культуртрегеры, призванные для воспитания общества, общества невежественного, погрязающего в предрассудках, не имеющего понятия о кредите, банках, векселях, не понимающего, как надо извлекать богатства из этой страны.

— Каково подъехал! Это он насчет Струсбергского банка.

— Я говорю, господа, о том, что мы призваны к цивилизующей роли. Почтенные товарищи, закинутые судьбой, и вы все, господа, уже начали это просвещение. Почтенный г. Ахер игрой на флют-гармонии научил любить музыку; г. Пионеров, хотя ранее и составлял только интендантские сметы на сапоги, но первый вно-

сит великое искусство Микель-Анджело — зодчество; г. Котикович переносит священный дар песнопения...

— И игры без проигрыша...— воскликнул кто-то.

— Почтенный Запиванский ввел...

— Укус и продажу женщин!..— залился веселый собеседник.

— Т-сс... молчание, господа. Я не буду перечислять всех заслуг. Словом, мы хлопочем о просвещении страны, может ли кто сомневаться в нашей любви к Сибири, мы шли сюда так *охотно!*

Раздался взрыв хохота этой остроте.

— Мы — истинные культурные люди, которые не нашли только широкого применения сил в столицах от конкуренции и зависти врагов,— иронизировал гениально Грошкин: — Зато нам здесь широко поприще... Почва нетронута! дерзайте, господа! Мы воскресим скопинские и московские банки, мы создадим кассы, кредит, дисконтировку векселей, мы заведем танцклассы, академии, адвокатуру и свою литературу...

— Из бронзовых векселей! — грянул кто-то.

— Первый вклад на наше предприятие должен дать нам выигравший куш с своих идиотиков Мышеловкин. Провозглашаю тост за наше культуртрегерство и первого представителя их Мышеловкина.

— Ура! — раздалось в ответ.— Поднимем, господа, Мышеловкина на блюде от жаркого в соусе, качайте, господа, Мышеловкина, его же надо откачивать! Ура!

В мгновение Мышеловкин очутился в руках. Началось качание и возлияние. Компания шумела и гоготала. Откуда-то появились подозрительные арфистки и с ними супруга торговца константинопольским товаром. Ахер дирижировал хором. Летели тарелки, опрокидывались бокалы. Гостиница гудела. Заехал частный пристав, заглянул, увидел Грошкина и скрылся. Виновник торжества, вымоченный в соусе, однако, начинал буйствовать.

— Чтобы я вам, подлецам, деньги отдал! — говорил он, качаясь: — Да с чего вы взяли, все пропью! — и в порыве дружеского излияния Мышеловкин нанес кому-то жестокий бокс в физиономию.

— Нет, этого, господа, допустить нельзя, такие шутки неуместны,— послышался голос потерпевшего,— его надо *просушить*...

— Bravo, bravo! просушить! — подхватили все. И вот виновник торжества и баловень счастливой фортуны был вынесен на балкон для просушки. Его подняли на руки и осторожно спустили за перила вниз головой, как вывешивают сушить мокрое платье или коптить вестфальские окорока.

Утро уже сверкало, первый луч солнца пробивался и уже освещал улицу. Сибирский дворник, вышедший с метлой, смотрел на это невиданное зрелище и решил, что в гостинице кого-то уже придушили. Когда Мышеловкин болтался вниз головой под смех компании, из-под арки балкона выехала щегольская пара с пролетками, где сидел Грошкин, торопившийся домой еще написать два доклада.

Он увидел голову своего друга и соучастника в предприятии совершенно в обратном виде, как мог только увидеть своего антипода.

— Вот с кем свела судьба! — подумал он с чувством гадливости павшего джентельмена, но, все-таки, улыбнулся стоявшей компании.

Бойкий мужчина стоял на балконе, совершенно удовлетворенный и счастливый. «Вот где жизнь», — подумал он. Когда он возвращался домой, то в нем было уже чувство гордости и достоинства прибывшего цивилизатора и культуртрегера, он с высокомерием смотрел на спящий город и его улицы. Впереди у него были надежды, целые планы предприятий, в желудке было полно дарового ужина, в голове хмельно от приятельского угощения, а в кармане лежал целый рубль, выигранный утром с пьяного приказчика.

— Нет, здесь жить можно, — сказал он. — Нисколько не жалею, что попал сюда. Экая благодатная страна!..

«Восточное обозрение», 1885, №№ 23, 24, 25, 26.

ПИСЬМА СИБИРЯКА ИЗ ЕВРОПЫ

Европа!.. «Tierra! Tierra!!*» — так восклицали матросы Колумба с своего одномачтового корабля, увидя на горизонте остров Гуангани. Что он сулил им, они еще не знали, но этот остров был для них «новым светом», как Европа для меня. Природа, люди, животные, леса, цветы — все иное. Я очутился здесь, как северный медведь, житель севера, Азии, Угрии и Гипербореи, страны Хорхо (Siogio), — очутился нечаянно, не готовясь, не заглядывая, не предвкушая. Что же удивительного, что я подавлен впечатлениями, картинами «старого света», но для меня света нового, только что открытого? Я проехал уже Берлин, Висбаден, объехал волшебный Рейн, прорезал Германию, Швейцарию, теперь я у ног белоснежных Бернских Альп, близ Оберланда, а третьего дня я был на Женевском озере, в Монтре, созерцал Шильон, наконец, видел Женеву. Таким образом я в центре Европы, масса впечатлений толпится в голове моей, мысли путаются и перегоняют друг друга, я жадно пью свободный горный воздух неведомой страны, я чувствую негу другого климата; виноградники, платаны и каштаны окружают меня, солнце так ослепительно блещет, синеющая даль так восхитительна, жизнь кипит кругом и брызжет разнообразием европейских див и красот. Сердце так полно, так нетерпеливо стучит и вместе с тем весь организм так подавлен впечатлениями, что чувствуешь уже изнеможение, истому и хочешь забыться, отдохнуть под этим небом, под этой зеленью в сладком сне наяву и грезах чудной действительности.

* Земля! Земля!! (исп.)

Однако надо же на минуту придти в сознание и дать отчет в своих чувствах.

Я не знаю, с какими ощущениями мои земляки посещали Западную Европу и какие мысли, идеи она возбудила в них. Я не знаю, испытывал ли что-нибудь Манаков — сибиряк, кулак, и Кондрат¹, ездивший из Ишима на Парижскую международную выставку и собравшийся в заграничное путешествие в две минуты на пари после ишимской попойки. Не знаю также, какие мысли волновали знаменитого вояжера и сибирского цивилизованного янки, Михаила Дмитриевича Бутина², объехавшего весь свет, видевшего Париж и Ниагару, Лондон и Сан-Франциско, красоты Рейна, блеск Берлина и Вены. Знаю одно, что сей наш янки познал хорошо одну цивилизацию венских стульев, парижских зеркал, водопроводных труб и вообще предметов неодушевленных, составивших обстановку его комфорта, блеска и величия в его Нерчинском замке. Знаю, что он завидовал европейским биржам и биржевой игре и перенес в свое отечество страсть к гриндерству.

Но меня волновали иные мысли и иные чувства при виде Европы. Я чувствовал, что я стою у храма и его преддверия, — храма цивилизации, где теперь присутствуют боги человечества. Это — мраморный колоссальный храм, создавшийся на пьедестале вековой истории всех народов, вознесшийся силой судьбы как бы на величественной скале, царящей над морями и равнинами всего мира. В этом храме находится Пантеон гениев человечества, здесь царят на своих мраморных пьедесталах Гомер и Шекспир, Софокл и Гете, Аристотель и Кант. Здесь вознесены алтари науки, священнейшие ковчеги человеческого знания и прогресса. Здесь веет повсюду великой бессмертной идеей, до которой только могло подняться человечество, которая, подобно святому духу, витает под высоким куполом и наполняет душу особым вдохновением и благоговением. К этому храму европейского знания и гения стекаются все расы мира, как когда-то стекались европейские пилигримы к храму св. Петра в Риме, как когда-то стекались люди к Иерусалиму. Разница та, что Европа и европейские города стянули не одних христиан, не людей одного культа или людей одного мира, — нет, на улицах европейских городов, у подножия этого европейского храма, кишат люди всех рас, всех племен, всех народностей, всех частей света. Я встречал у дверей этого храма и гордого британца, и потомка гордых римлян — итальянца, и предприимчивого американца вместе с беспечным парижанином, чувствующим себя здесь как дома, и самодовольного прусского юнкера, распоряжающегося Европой, но рядом вижу также целый ряд цветных людей, закинутых из далеких краев на улицы европейских столиц. Предо мной мелькает то индус, слушающий лекции в Оксфордском университете, то черный негр из Соединенных Штатов, журналист и собрат по литературе (у негров уже выходит, как я узнал, 300 газет), то, наконец, японец, посещающий Парижский университет. Что занесло вас сю-

да? Что вы ждете? И мне кажутся эти люди часто пилигримами, пришедшими к этому храму с своими вековыми испытаниями, печальями, страданиями, с своим вековым рабством и блужданиями по голодным пустыням. Мне кажется, что каждый из этих цветных людей имеет своего божка на груди, уродливого индийского божка, которого он скрыл в складках своего платья, которого он носит как драгоценность, подобно несчастному китайцу, олицетворенному Брет-Гартом³. И странно, мне почудилось, что такой же маленький азиатский божок находится и на груди моей. Этот амулет, этот божок моих местных привязанностей слишком уродлив и первобытен, чтобы показывать его миру; мы не можем выставить изящнейшее божество Афродиты и Венеры, но, увы! мы также любим свое маленькое уродливое божество. Чем же мы виноваты?! Мне кажется, что если бы Европа когда-либо поколебалась под влиянием страшного землетрясения и олицетворила собою последний день Помпеи или начала погибать в братоубийственной борьбе, мы пали бы, прижимая под плащом наше маленькое любимое уродливое божество.

Когда я смотрел на этих представителей разных рас в Европе, на негра, японца и индуса, мне казалось, что их глаза полны не одним любопытством, но и ожиданием. Они смотрят на этот величественный храм европейский и как бы ждут чего-то, их взоры напомнили мне те взоры и надежды, которые выразил известный наш художник Иванов⁴ в своих предварительных эскизах к картине «Явление Христа». Там изображены рабы кривые, в рубцах, искалеченные и избитые, но глаза их осветила какая-то надежда спасения, какое-то ожиданье. Они ждут — вот, вот откроются двери великого храма и оттуда выйдет великий учитель, спаситель человечества, проповедник мира, любви, братства, и тогда они получат разгадку своей жизни, тогда они вздохнут и услышат вместо слова «*вымирание*» слова жизни, обновления и *воскрешения*.

Я помню свою встречу с одним образованным японцем в Петербурге. Он также искал просвещения в Европе. Уже тогда у меня зародились особенные мысли и напало на меня раздумье. Ведь вот японский народ в соседях с нами в Азии, а я не видел его у себя, хотя нам достаточно протянуть руку с Амура, и вот мы встретились, и где же? — у подножия европейского храма науки, встретились и почувствовали близость. Но для этого ему надо было переплыть океаны, обогнуть пол-мира, а мне для этой встречи суждено было ехать совершенно в обратную сторону. Так встречаются люди в Европе. Я не знаю, будут ли когда другие центры международного сближения в других частях света? создадутся ли они, напр., в Азии, и где это будет — в Токио, в Бомбее, в роскошных ли столицах Индии, в преображенном ли цивилизацией Пекине, или на далеком севере, там, в молчаливой пока стране, где шумят задумчивые кедры, но куда уже через темные леса Урала ложится европейский рельс, а в степях прикаспийских начинается шуметь локомотив?

Все равно, однако, это дело будущего, и далекого будущего, а пока европейский мир неотразимо веет на нас и приковывает к себе наши симпатии. Он стоит перед нами полный изящества и своей классической красоты, он блещет и ослепляет своей цивилизацией, роскошью, заставляет благоговеть перед своим знанием, наукой, перед своим гением, он поражает своей культурой. Точно волшебная, незнакомая обстановка окружила нас. Эти города с их фантастическими колокольнями, эти культурные поля, прелестно обработанные, с их кущами зелени, и железные дороги, с беспрестанно сменяющимися поездами, Bahnhoff'ы*, Kasino, виллы и большие города — все это так ново. Но среди этих новых картин и как бы в контрасте нет-нет да и встанет что-то знакомое, старое, веющее воспоминаниями, и встанет так реально, неожиданно, так поражающе.

Я помню, как в роскошный день я прибыл в Берлин; уже с Эйдкунена все ликовало предо мною. И немецкие поля смотрели так красиво, приветливо. Боже мой! как каждая пядь земли здесь обработана, сколько искусства, тут виден действительный след культуры. Помню, что в этот день казалось мне все так прозаично: и немцы, и немки, и даже прусские военные в корсетах, свалившиеся в вагон и крепко зарядившиеся пивом. Ночью мелькали немецкие города, освещенные луной, с своими мостами, с высокими старинными колокольнями. На утро представился Берлин с своим чудовищным громадным Bahnhoff'ом, с железной дорогой, опоясывающей город, по которой мчатся ежеминутные толпы народа, как на наших столичных конках (дорога служит и для внутреннего сообщения: здесь можно видеть и школьника с книгой, и торговку). С оживленной улицы я очутился в огромном отеле, полном всевозможными европейскими удобствами, с мраморными лестницами, залами, читальнями, гостиниными, с террасой и садом. Я сидел в своем номере за порцией кофе, с вкусными немецкими булочками и маслом. Окно было открыто, я наслаждался берлинской обстановкой. В довершение удовольствия внизу отеля чуть не в 8 часов утра играл целый оркестр музыки. И вот в этой-то обстановке, в момент, так сказать, новоселья, среди торжественных ликующих звуков, вдруг предо мной что-то нечаянно встало. Я вспомнил сцену, или одну маленькую путевую картинку, которая промелькнула предо мной среди дорожных впечатлений, а теперь вдруг выступила, выступила так, как выплывает нечаянно тучка в летний день на ясном и ярком небе. Мне представилась пашня, которую я видел перед границей, и знакомое лицо, согбенный вид, соха и серое знакомое небо с темным лесом — больше ничего! Но удивительно, эта картина, этот образ с покорным взором, с склоненной головой, на меня произвел страшное впечатление. У меня не было с ним прощаний, или, иначе, я этого прощанья не почувствовал, но теперь у меня вдруг сжало сердце до рыданий, до истерики. Я упал на диван;

* Вокзалы (нем.).

в голове было тяжело, в груди давило старую тоскою... А кругом звучала музыка, ликующая, роскошная, как бы смеясь над моим припадком. Нет! от старого не отрешисься.

Чем более видишь великолепия, чем чаще встречаешь европейские столицы, чем более шумит и блистает европейский мир, тем резче чувствуешь контраст в своем собственном существовании. Все хорошо — великолепная природа, свободно дышать, хороши города, деревни, но вы здесь пришелец. Вы окружены величественным и прекрасным, но вы чувствуете робость.

Я не мог отрешиться также от этого чувства; мне казалось, что я простой дикарь, что мне суждено в первый раз выехать в свет. Этот свет — Европа. Ведь и стране моей наступила тоже пора света! Я думал за свою родину, бедную, невежественную, мало просвещенную. И ты, Кондрат, пришел мне на память, ты, довольный, спящий теперь на своем пуховике, нажравшийся пельменей... Припомнился и другой тип твоего должника, встал в памяти наш крестьянин новосел-самоход, совершающий длинную дорогу, вспомнились рыболовные пески на Оби, леса темные и инородцы, обитатели их... И вдруг опять что-то застонало, засосало, сердце болезненно сжалось. Страна моя широкая, привольная, страна необъятная, безмолвная, заколдованная, скажи, с чем мы явимся в этот свет, что мы скажем о себе, что мы вынесем напоказ добрым людям?..

Бёрн. 6-го сент. н. ст.

Рейн и Иртыш

Когда я очутился в Европе, меня невольно повлекло к Рейну, прекрасному Рейну. Кто не восхищался этой рекой, кто не пел ей песен, начиная с великих поэтов Европы? Чудная, величественная европейская река! — и мне, жителю азиатского севера, суждено было увидеть тебя во всей твоей чарующей красе.

Впечатление рейнской обстановки и ощущение другого климата было тем сильнее и глубже, а контрасты тем ярче, чем я быстрее перенесся с севера. Уже в Висбадене воздух вас поражает мягкостью, теплотой, кущи платанов и каштанов составляют сплошные аллеи, зелень и виноград вьется повсюду по железным столбам галерей и по каменным зданиям; сад около курзала полон огромных тропических растений, нежащихся на чистом воздухе, кругом фонтаны, масса цветов, красивые виллы украшают город. Все веет теплом и ароматом. Только лица больных пришельцев составляют контраст с этой здоровой, ликующей природой. Русские приезжают сюда также лечиться. Здесь недавно жил больной русский поэт Надсон⁵ и больной М. Е. Салтыков (Щедрин)⁶. Я также явился с моими недугами. Какая горькая судьба, — подумаешь, — наслаждаться этой природой тогда, когда жизнь оставляет тело. А вот другие живут здесь здоровые, бодрые и пьют всегда этот чудный воздух. Но если какая-нибудь добрая богиня захотела бы навеять на вежды мучи-

тельно больного страдальца сладкие грезы и сны, то, конечно, она перенесла бы его в подобную обстановку. Эта зелень, эта масса цветов и их аромат, окружающие часто потухающую здесь жизнь, напоминали мне итальянскую картину, виденную мною в галерее «Бреро» в Милане «Volle poter così!» — умирающую красавицу среди цветов.

Я торопился, однако, поскорей освободиться от грустных впечатлений Висбадена, с его больными и русским кладбищем, торопился на Рейн. Я искал обновления, а не смерти, во мне зарождалась под влиянием этого воздуха вновь кипучая жажда жизни. В одно свежее утро я очутился на omnibusе вместе с англичанами, туристами, саквояжами, немецким кучером с длинным бичом, и по шоссе, обсаженному каштанами, орехи которых я пробовал сбивать с высоты кареты, я покатил в Бибрих. Вот мы на берегу. Масса публики ждет парохода. Представьте себе роскошное солнечное утро без палящего жара, с тихой прохладой, зеленые нежного цвета волны, синюющую даль, покрытые роскошными пирамидальными тополями острова, высящиеся живописные горы с фантастическими замками на утесах, прелестными виллами и садами у подножия, массу сверкающего плюща, грозди зреющего винограда, кущи цветов и чудное небо. Вот он, Рейн!

Помню, что во мне прежде всего запечатлелись не эти роскошные здания, не эти грандиозные скалы с замками, а эти чудные зеленоватые волны Рейна, а за ними легкий туман и мгла, подергивающие даль. Готические постройки, красивые виллы, отели были только декорацией чудной реки. Воды Рейна были гладки и спокойны, как рейнская жизнь, они были мягки и сладки, как рейнское вино. Вот, наконец, подошел и пароход, весь усыпанный блестящей публикой. Это был пароход-щеголь. Он имел какой-то праздничный вид. Казалось, люди всех наций, всего мира соединились на этом пароходе любоваться этой рекой; масса путешественников, туристов, разряженных дам и кавалеров располагалась на палубе. Этот красивый пароход, несущийся в чудное утро по зеленым волнам, напоминал те ладьи, полные нимфами и счастливыми богами, которые столько раз воспевал Гейне. Люди были здесь также счастливы и воодушевлены: веселые, свежие лица, шумный говор, громкие восторги, счастливый смех; сколько красивых головок, сколько юных счастливых пар, празднующих свою любовь и весну на этих волнах! Рейн и голубое небо отражаются и сверкают еще лучшим блеском в счастливых глазах влюбленных. И все это залито чудным колоритом яркого дня. На пароходе слышатся возгласы восхищения и удивления. Панорама выступает за панорамой. Древняя крепость сменяется капеллой, древний замок вилой, отелем, красивейшие города выступают у подножия утесов. Красивый Эльтвиль с замком, Иоганнисберг с аббатством и виноградниками, где зреет роскошное вино, Рюдесгейм, Бинген, Соннек, живописный Рейнштейн, красивейший средневековый замок на утесах, Пфальц-Гауб

и Гутенфельд, скала Лорелеи и десятки других поэтических мест встают пред вами как в волшебном сне. С величайшими подробностями эти места описаны в гидах, сняты во всевозможных фотографиях, они украшают лучшие альбомы, они воспеты в прозе и в стихах, но, конечно, ничто не заменит тех ярких впечатлений и не возбудит того сладкого восторженно-поэтического настроения, которое они оставляют в настоящих образах. Я нашел, что горы были здесь скорее прекрасны, чем грандиозны и подавляющи. По кручам их вьются виноградники. Развалины замков не веют здесь сыростью своих стен и исторической плесенью, они красивы и изящны как в рамах картины. Это не мрачные гнезда хищников, высматривающих добычу, не разрушение, напоминающее смерть,— а памятники, почтительно сохраняемые, маститая древность, увенчанная цветами последующих поколений, как чело почтенного старика. На архитектуре старого здания с башнями, в темных впадинах окон нет сходства с отталкивающими впадинами черепа, но нередко на этих старых стенах, в окнах вы видите фризы, яркие занавески, флаги, цветы и молодые головки, весело кивающие проходящим. Эти окна скорее напоминали живые, юные глаза на лице старика, полного еще жизни. На самом деле, эти замки, когда-то гроза населения, все превращены в красивые, гостеприимные отели, рестораны, в капеллы и т. д. Здесь не раздастся более стонов из подземелий, не трубят грозные рога, но весело звучит музыка современной жизни. Точно так же нет угрюмых скал и безжизненных утесов, повсюду спускается зелень, виноградники, на неприступных высотах гнездятся не орлы, а роскошные виллы, под скалами — города и деревни, сады, чудная растительность, обработанные поля. Иногда в зелени над утесами вырываются белые клубы дыма, это мчится поезд, эти поезда, летящие по берегу, опережают пароходы. Везде кишит жизнь, все цветет и производит, и под этими скалами, как из вечного источника, давно уже не течет черная струя крови, а бежит чудная и светлая струя рейнского вина.

Мы пробегаем мимо Нидервальда, где высится национальный памятник Германии в виде гигантской женщины с лавровым венком. Эта огромная статуя, поставленная на высочайшей горе, как бы царит над Рейном. Когда мы проплывали мимо нее, из десятков немецких грудой вырвались звуки национального удовольствия и гордости. Немцы праздновали победу⁷. Сколько народов, подумаешь, соперничало и билось из-за этого гордого, прекрасного Рейна, сколько человеческой крови лилось здесь, памятники этой борьбы в виде грозных крепостей стоят еще на берегах, а между тем воды реки так же светлы и прозрачны и говор и смех раздается кругом. На нашей ладье также льется сладкое рейнское вино. Им наполнены стаканы стариков, женщин, детей; как живительная влага оно возбуждает веселье, от этого молодого вина все молодеет. Вы не можете представить себе, не видав, этого беспечного, счастливого веселья, иногда шаловливого, почти детского, которое охватывает здесь людей невольно. На пароходе ма-

шут платками и шляпами проезжающим. На берегу машут платками пароходу. На выдавшихся камнях, посреди реки, уселись две дамы-туристки, наслаждаясь прибоем волн; пароход их встречает восторгом и овациями. Маленькие дети на берегу машут цветами, из окон замков кивают хорошенькие головки, на пароходе поднимаются шляпы. То здесь, то там слышен напев веселых песен. Это песни Виланда, Гете и Гейне, воспевающих Рейн⁸. Везде декламируют стихи, каждой скале немецкие поэты дали по мадригалу, и грамотный немецкий народ декламирует восторженно свои поэмы. Вот огромный утес, где Гейне посадил свою чарующую путника Лорелею, поющую волшебные песни. Этот утес назван скалой Лорелеи, в честь этого предания. Немецкий гений покорил, возделал и одухотворил эти скалы своей поэзией. Поднимайтесь же высоко, немецкие кубки, в честь Рейна-красавца, пей свое сладкое вино, счастливый свободный народ, из своих виноградников, несись, поэтическая песня, сверкай, Рейн, своими водами. Благословение благословенной стране!

В этот же день мне удалось увидеть Рейн уже в другой картине. Я пересел в вагон и возвращался по железной дороге в Висбаден.

Ночь. Темные абрисы гор с причудливыми вырезками скал, с профилями фантастических замков и деревьев выступают над Рейном. По одну сторону — темные выси с силуэтами, по другую — Рейн, освещенный луной. Картина почти фантастическая. Вы мчитесь с поездом точно на спине змея дракона и, тем не менее, вы в прелестном купе. Вы мчитесь по обрывам, делаете зигзаги, под вами гремят мосты, змей изгибается, скрывает вас в тоннелях, на минуту охватывает мрак, а потом снова чудная картина: луна и блещущий Рейн. Но вот и на другом берегу из гор и пещер показался другой шипящий змей с огненными глазами, он летит по другую сторону реки, и два змея друг против друга как бы соперничают. Но эта река не любит дикой красоты пустынь и голой природы. Она хочет пококетничать, и вдруг берег зажегся огнями. Чудная иллюминация! — лодки, суда осветились фонарями, из темного леса видны освещенные окна отелей, на невероятной высоте, где-то у фантастического замка, превращенного в современный дворец, выступил залитый огнем портик, а в темных струях Рейна не перестает переливаться, как в темных складках одежды красавицы, серебро месяца. Лунный свет скользит по грамам, посеребрив купол, поиграет по крышам, осветит шпиль и потом привольно и плавно ложится на воды и рассыпается серебряными бликами в струях Рейна. Так скользит небрежный взгляд красавицы по одним и обдает жгучей силой своего блеска избранного.

Тихая чарующая ночь ложилась на землю, она вселяет здесь покой, не возбуждает нервно, не бередит, но, как тихая ласковая богиня, закутав вас своим волшебным покрывалом, заставляет тихо и сладко смежить свои очи.

Это не была южная, напоенная страстным запахом цветов,

душная ночь, волнующая кровь, зовущая к прогулкам, серенадам, одуряющая, навевающая безумие страсти. В 11 часов виллы, немецкие деревни, города — все спало; луна тихо прокрадывалась и озаряла сады: тихая немецкая ночь царила над Рейном.

* * *

В эту ночь воображение перенесло меня на другую реку, и перенесло не случайно. Рейн напомнил Иртыш. «Между Бухтарминском и Усть-Каменогорском Иртыш прорывает горную массу Алтая на протяжении 120 верст, и горы, поднимающиеся здесь над его берегами, столь же живописны, как на Рейне, между Бингеном и Бонном, или на Эльбе, между Либазцем и Теченом, только гораздо выше». Так говорится в «Землеведении Азии» Риттера*. Эта параллель была, между прочим, одной из затаенных целей моего посещения Рейна. Я вспомнил и воскресил свое путешествие по Иртышу. Это не был тот раздольный, мутно-желтый, подмывающий илистые берега Иртыш, который расстилается в средней Сибири около Тобольска. В вершинах он представляется скорее горную реку с быстрым течением, которое гораздо грознее Рейна. Горы более дики, более грандиозны и внушительны, благодаря пустынности и необитаемости.

Помню, как мы сплавились по этой реке, на карбазах с рудой, сев на Гусиной пристани, недалеко от Риддерского рудника. Это было в жаркий июльский день, солнце жгло песок и окружающие горы, — совершенная противоположность свежему висбаденскому утру. Мы уселись в допотопный карбаз с рудой, который несло по воле течения, рулевые едва направляли его. Доселе эти допотопные карбазы не заменены хотя бы маленьким пароходом. 12-го июля мы пустились в путь. По обе стороны реки тянулись каменистые горы, ширина Иртыша была 50 сажен, далее он становился шире. Сначала горы не были высоки, но вот Иртыш стал входить понемногу в ущелья, на 15-й версте берег возвысился и показался живописный утес, против старого русла Бухтармы. Выдвинулся еще утес, и открылось устье Бухтармы, одной из красивейших рек Сибирской Италии. Голубые воды этой реки с быстрой отнесялись иртышские и кляли резкую грань в противоположность желтых вод Иртыша; воды Бухтармы журчали и как бы взбегали на иртышские. Скоро на берегу выдвинулась крутая и грозная скала с деревянным крестом. По преданию, на этом месте комендант Бухтарминской крепости Вершинин, преследуемый киргизами, бросился на коне в Иртыш. И эти места имели свои исторические предания. Отсюда начинается стремительное течение, так что бедным карбазам здесь приходится с ним биться. Скалы становятся все причудливее, из огромных гранитных гор они выдвигают живописные утесы, скалы местами кажутся точно расщепленными гигантской молнией; глыбы громоздятся одна над другой как крепости, усеянные пиками елей. В противополож-

* Землеведение Азии, Карла Риттера, т. IV, дополнение к т. III, с. 107.
(Примечание автора.)

ность Рейну, наши горы представляют фантастические природные замки: воображение здесь рисует целые здания, пирамиды, дворцы, хотя перед вами лежат только дикие утесы. Выветрившиеся горные породы в ущельях выдвигают целую кучу остроконечных камней. Среди них особенно замечательна скала Петух. Это — гигантский утес из черного сланца, пересеченного жилами кварца, стоящий вертикально, как стена. Вид его чрезвычайно эффектен. На конце утеса нависли уступы, напоминающие голову и клюв птицы с гребнем, отчего получила название и скала. Скалы, нависшие над водой, весной, разрушаясь, кидают в реку огромные обломки, с страшным шумом погружая их в волны бурной реки. Течение здесь стремительно и опасно, лодки несет между скал. Эту живописную скалу, на снятом нами рисунке, мы показали одному из известных европейских географов, и он пришел в восхищение от оригинального вида скал неведомой европейцам реки, имеющей свои дикие прелести.

Вслед за Петухом, 40 верст не доезжая до Усть-Каменогорска, выдвигается 7 грозных скал, или быков, которые носят название «Семи братьев-разбойников», напротив другая скала — их сестра. Здесь, как видно, работало также поэтическое воображение. На Рейне только создавались более идиллические образы, здесь и природа вызывала более грозные. Далее выступал куполообразный камень Шарып. Эти камни также увенчивались зеленью, которая живописно ползла по скалам, на утесах иногда виднелись огромные орлы, величественно смотрящие с высоты на несущуюся реку. Виды эти имели свою красоту, но поражали дикостью и пустынностью. Я помню, однако, оригинальную картину вечера среди этих гор. Солнце закатывалось, подернув облака золотистым пурпуром. Розовая, совсем пунцовая, заря осветила воды, и они приняли оттенок совершенно малиновой жидкости. Из-за темных скал выступали огненные облака, а мы плыли по совершенно кровавому морю. Картина была почти фантастическая.

Но вот наступила ночь, наши карбазы неслись один за другим, к берегу еще невозможно было пристать, окружающий мрак, скалы, предостерегающие окрики лоцманов, быстрое течение наводило на людей панику. Мы неслись во мраке. Я помню это особое чувство беспомощности и фатальности, к которому так привык русский человек. Где-то нам удалось прицепиться к берегу, но берег был крутой, почти неприступный. Я помню, что положили с лодки доску на ближний уступ, и по ней пришлось ползти. На карбазах горели огни, нас окружали темные выступы скалы, колючие кусты покрывали берег. Я сидел уныло в эту ночь, подавленный этими окружающими громадами, прислушиваясь тоскливо к шумному течению могучей реки.

Когда мы плыли среди этих скал, то пробовали эхо. Это было могучее эхо диких гор, оно повторяло множество раз выстрел и могло перепеть целый куплет песни. Но песня редко раздастся здесь, озабоченному пловцу, ожидающему крушения, не до того, он плывет в благоговейном молчании. Здесь мне рассказывали о

крушении карбазов. При этом было характерно то, что эхо вторило крикам утопающих, усиливая их отчаяние и иллюзию. И вот мне представилась эта страшная ночь; быстрое течение реки, увлекающее карбазы, которые несутся то боком, то вкось, черные силуэты скал, мрак ночи, шум волн, треск налетевшего на камни карбаза, и унылые предсмертные крики, повторяемые горами бесчисленное число раз. Они становились еще печальнее и трагичнее в этой пустыне, когда холодный звук передразнивает мольбу человека, когда он равнодушно повторяет крик отчаяния в то время, когда пловцов поглотили уже безжалостные волны! Не то же ли бывает и в человеческом обществе, где звук любви, мольба, отчаяние встречает лишь равнодушное эхо, а молва безучастно повторяет имя человека, не понимая, какое горячее сердце остыло в холодной могиле. Тяжело умирать в пустыне, страшно умирать там, где люди напоминают камни пустыни!

Наши реки, как реки пустынь, внушают священный ужас. Здесь нет еще населения, засеянные поля не спускаются к берегам; часто утесы преграждают путь; не только тоннели, но даже тропинки не прорезали гор. А между тем здесь есть красивейшие места и своя поэзия. И я помню не одну прекрасную южную ночь на Бухтарме посреди густой растительности, среди ароматических запахов цветов, когда я прислушивался к шуму горной реки с ее мелодиями, кругом меня в тишине ночи теплились фосфорическим блеском головки светляков, а в воздухе неслись мелодические, серебристые переливы цикад (бухтарминских стрекоз медведок).

Сопоставив эти две реки, я не мог, конечно, не поразиться их контрастами. Обе они живописны, обе могучи; прорывая горы, та и другая текут в благодатных местах и, тем не менее, одна представляет изящную, культурную, изукрашенную красавицу, другая необузданна, капризна, как дикарка, хотя не лишена своей дикой прелести. Закипит ли когда жизнь в наших пустынях, думалось мне, прорежут ли когда тоннели Нарымский хребет и Алтай, выдвинутся ли если не виллы, то чистые домики переселенцев-крестьян, зазвучит ли веселая и счастливая песня здесь, как на Рейне, вместо предсмертного крика пловцов, восстанут ли поэтические предания, явится ли поэт воплотить их, как в Германии, выйдет ли из бухтарминских вод наша Лорелея.

Швейцария

Мелькнула пред моими глазами Германия, немецкие города, деревни, старые церкви, замки. Помню, что за Касселем в сумрачное утро я увидел синие горы с носящимися по ним туманами и темное ущелье, из-за которого мрачно смотрел Вильгельмсгее. Мрачный замок, если ты предстал в такое же серое утро Наполеону III, наверно, ощущение было не веселое. В это ущелье ввела Германия своего пленника⁹. Что он чувствовал в этих горах после блестящего Парижа! Остров Эльба, Святая Елена и Виль-

гельмсгез обладают прекрасным климатом, но для Наполеонов они были Сибирью.

Мои ощущения в это утро были иные. Немецкие сады, немецкая культура веселили глаз, но я ждал еще нетерпеливее Швейцарию. Вот он *Vâle*, или Базель, швейцарская таможня, забавный швейцарский жандарм в старинной треуголке и фраке, скорее, архаическая диковина, чем представитель грозного воинства. Несколько швейцарских военных в вагоне, напоминающих, скорее, добродушных пейзажистов с тяжелыми старинными саблями. Нет у них прусской важности, чванства и военных прусских корсетов, французский язык мешается с немецким — знак, что мы в федеративной стране. Веселая болтовня в вагонах, добродушный вид спокойных швейцарцев, и скоро роскошная горная природа сразу перенесла нас в другой мир.

Вот мы и в Швейцарии, поезд мчится среди ущелий, нас окружают склоны гор с спускающимися лесами, точь-в-точь Кузнецкая чернь, только породы деревьев другие. Вон чудные синие горы; для людей, не знакомых с горными видами, они часто кажутся живописными фантастическими облаками на горизонте, но я узнал их. Мне показалось, что и эту синиющую горную даль, и ущелья, и камни, и утесы эти где-то я видел. Вон там, где вьется тропинка среди темного леса, что-то мелькает: не черневой ли это татарин пробирается на коне, скользя по камням? Мелькнула горная речка. Не Улала ли, или Найма шумит это, прыгая по камням? Эти синие горы напомнили мне Улалу и первые виды предгорий близ Чергачака*! На меня пахло старым знакомым горным воздухом. Неужели я опять там?!

С громом въезжает поезд в темный тоннель, мы мчимся во мраке несколько секунд, а потом вдруг светлая чудная долина, вдали швейцарские веселые деревни, на скалах замки, капеллы, а вот и сверкающая зелеными альпийскими водами Аара. Так это сон, я не в родной пустыне, а в многолюдных швейцарских долинах, наполненных жизнью, населением. Я в стране, где не одна береза ласкает взор, а вьются виноградники, где каждый шаг обработан, культивирован, где все — искусство, и горы по капризу и велению человека не грозные чудовища-исполины, не мифические существа, подавляющие человека и наводящие страх, не Я и к и (священные горы алтайцев), на которые, выезжая, я привывал шерстяную яламу (ленту) к священному обо (языческий жертвенник), где преклонялись мои инородцы, — нет! это были покорные, послушные камни в руках европейского зодчего и инженера. Ущелья отступили и дали место человеку, скалы отодвинулись или рассыпались во прах перед могуществом человеческой руки, пропасти набросили мосты, кручи стали пологи, хребты и горы открыли свои заповедные галереи с слезящимися стенами, с кристаллами горных пород и таинственно провели в них чело-

* У л а л а — селение в Алтае, как и Чергачак; Улала и Найма — горные речки Алтая. (Примечание автора.)

века с тем, чтобы вывести в светлые долины, открыв отступающую горную декорацию среди мирной, тихой деревенской жизни.

Я сравнил теперь свой мгновенный детский страх при въезде в тоннель с тем чувством, которое охватывало меня в долине Чулышмана. Там стояли страшные величественные громады, ущелья походили на геологические расщелины, оставшиеся зияющими со времени мироздания. Огромные выдающиеся утесы висели над головами и наводили трепет, груды чудовищных, причудливых камней, которые схвачены так хорошо на рисунках Чихачева¹⁰ ("Voyage scientifique dans l'Altai oriental", Paris, 1885*), поражали глаз своей величиной. Пред ними всадник был миниатюрной игрушкой, они были бы насмешливым пьедесталом для него, если бы он захотел порисоваться, взобравшись на них. Эти камни у суеверного дикаря носят название окаменелых богатырей, заколдованных навеки после своих древних подвигов. Когда-то эти камни падали в долины, сокрушая все по дороге. В этой долине, когда я вздумал раз беззаботно остановиться и удержал лошадь, я услышал грозный шум, похожий на отдаленный раскат грома, и увидел бледное лицо проводника, он успел крикнуть мне только: таш (камень) — и понесся как сумасшедший верхом, я последовал за ним. Проскакав с полверсты, я узнал, что сзади нас пронеслась каменная лавина, один из тех страшных камней, которые лежат в этих долинах, но которые когда-то здесь совершали опустошения и жертвой которых может сделаться великий господин природы, подобно раздавленной мухе. В европейской Швейцарии уже это невозможно. Человек покорила громады и раздавил их, а не они раздавили его!

Я помню, как там (в Алтае), в нашей Швейцарии, мы пробирались по извилистым крутым тропинкам, делая зигзаги по кручам, а внизу у нас сверкали пропасти. Я помню путь по Аргуту, когда он с белой пеной шумел и бился в ущелье, в то время, как мы лепились, как мухи, наверху, вспомнил странствия в непроходимых лесах по топким тропинкам, эти перевалы, ночевки на чистом воздухе и сравнил теперь свой путь, в спокойном вагоне. Здесь не было дикой поэзии пустыни, не было этого благоговейного трепета, первобытного ужаса: путь был удобен, чувства, впечатления были спокойны.

Мы минуем мирные долины, поля, заселенные города, расположившиеся в долинах и на красивых террасах. Вот Бёрн, старинный швейцарский городок, столица федерального правительства. Как этот скромный городок не похож на другие пышные, чопорные столицы! Это скорее уездный городок с тихой мирной жизнью: узенькие улицы, старый готический собор с причудливыми часами, маленький рынок, аркады над панелями, фонтаны XVI столетия и Bundes-Rathhaus**, парламент, и университет — два центра народной жизни. Какая простота, подумаешь, — нет

* «Научная экспедиция по Восточному Алтаю», Париж, 1885.

** Ратуша (нем.).

шуму, жизнь установилась, она идет среди труда, спокойствия и свободы. Город окружен аллеями, садами, где гуляют швейцарки в своих скромных черных платьях с серебряными цепями-аксельбантами, возя с собой маленькие колясочки с румяными, здоровыми детьми. Вдали сверкают снегами Бернские Альпы.

Я присматривался к этому сочетанию древности и новой культуры города, которое везде поражает глаз. Смотрю на стиль собора XV века, присматриваюсь к его забавным часам с детскими куклами, петухом, шутом и рыцарем на колокольне; меня удивляет, как сохранилось уродливое изображение Kinder-freser'a (пожирателя детей), стоящего под фонтаном, намекающее на какое-то средневековое событие. Но у швейцарцев связано все это с своей историей, с своей традицией. Оригинальные следы наложила эта история на швейцарские города. Странно иногда мирить и великие исторические события, и эту детскую традиционную любовь к старым безделушкам. В Бёрне особенно чтут медведя, я встречаю его на всех монументах, на всех гербах, это девиз бёрнцев. Любопытно видеть, как этот северный зверь, обитатель наших лесов, здесь пользуется самой нежной привязанностью. Мало того, что им изукрашены статуи, что он изображается на всех вещах,— какое-то старинное семейство медведей ведет нескончаемый род в одном из парков Бёрна. Швейцарцы не боятся насмешек и чтут своих медведей. Когда-то у человечества был особый культ медведя. Я вспомнил здесь целую теорию моего ученого друга-земляка об этом древнейшем культе. Бёрнцы не испугались своего родного исторического символа. Зато я вспомнил, как мы стыдимся нашего родного медведя.

Национальные привязанности швейцарцев к всему их родному меня поражали. Я воображал ранее швейцарцев какими-то космополитами, они так много сил и способностей отдавали другим нациям. Отряды швейцарцев защищают французского короля и умирают с ним, швейцарцы дают контингент педагогов всему миру, швейцарки вскармливают и нянчат детей всех наций, и тем не менее сколько еще сосредоточивают они любви на своем маленьком отечестве.

В Бёрне я посетил два музея, археологический и естественно-исторический; оба музея составляют гордость Швейцарии. Богатая археологическая коллекция красуется в первом: здесь свайные постройки, каменные орудия, бронзовые орудия и множество любопытных палеонтологических находок. Швейцария обогатила в числе первых археологию Европы.

В этнографическом отделении я увидел массу предметов и всевозможных редкостей, начиная с плаща австралийского короля, доставленного Куком¹¹, из разноцветных перьев птиц и кончая русской деревянной чашкой, приобретенной у самоедов. Швейцарцы свезли эти вещи с разных концов света. Интересно, что каждый швейцарец, куда бы ни закинула его судьба: в Китай, на Сандвичевы острова или в Америку, считал своим долгом послать какую-либо коллекцию в родной музей. Привязанности

этих детей Швейцарии остаются в родном доме. В самом космополитизме швейцарцев видна память об их маленькой Швейцарии.

Я вспомнил наш Минусинский музей и ту кропотливую работу по собиранию этнографических и археологических редкостей, которая идет здесь. Я желал, чтобы так же росли наши маленькие музеи и каждый из наших земляков, где бы он ни находился, не забывал послать подарок своей родине.

Тихая жизнь Бёрна так располагает к занятию наукой. В Бёрне, в семье моего друга, милого профессора П.¹², вблизи университета, музеев, у подножия этих величественных гор, я забывался и чувствовал олимпийское спокойствие. Здесь не было бурь, волнений, страсти, желчи, проклятий! Я понял, как швейцарская свобода и тишина настраивает мирно людей, как спокойно они могли отдаваться здесь науке, погружаясь безмятежно в нее на целую жизнь, сколько в этой стране было ученых, изобретателей, сколько школ и филантропических заведений раскинулось среди мирной жизни! В Швейцарии бьют в барабан только школьники, а на трубах играют одни пастухи. Даже пушки палят в этой стране только для резонанса за 50 сантиметров для путешественников. Когда смотришь на здоровых и флегматически спокойных швейцарцев, затрудняешься сказать, бывают ли у них драмы, волнения, катастрофы. Зато мятежный путешественник-иностранец часто приносит их и на мирные поля Швейцарии.

Вот вилла в окрестностях Бёрна, где разыгрался роман одного великого немецкого писателя¹³. Здесь жила коварная Елена Дённигес, в виде прелестной девушки, которая стоила стольких мук душе европейского титана. Образ этого человека, могучий и страстный, красивый и гордый, с огнем Прометея в глазах, с гением на челе и печатью смерти, часто являлся мне в этих аллеях. Я представлял себе, как он мучился, как ревновал, как он метался по этим аллеям, где так спокойно гуляют швейцарские фрау с своими медведеобразными буржуа. Обуреваемый, сжигаемый страстью, этот человек не нашел блаженства в мещанской Швейцарии и пал как молодой орел, подстреленный соперником близ Женевы.

Человеческий дух так капризен, и когда одного этот воздух и горы заставляют погрузиться в безмятежный покой, дают отдых, блаженство, у другого болят старые раны, грудь рвут «проклятые вопросы» и чудные голубые Альпы не дают заглушить мировой тоски. Может быть, поэтому чужеземцу не сидится в Швейцарии на одном месте, он подвижен, беспокоен и старается в смене впечатлений заглушить то, что щемит внутри.

Я также не знаю, как очутился на дороге из Бёрна к Женевскому озеру. Опять цепь Альп и лесистые горы, напоминающие наши «Синюхи». Поезд то спускается в ущелья, то поднимается на высоты, то огибает горы; дорога извивается и вьется по кручам, и кругом открываются широкие, дивные панорамы. Вот крепость, город Фрибург, долина Ромон, на высоте и точка перева-

ла. Я припомнил наши перевалы, припомнил подъем нашего тяжелого экипажа на перевал близ Усть-Каменогорска. Мы поднимались по ручью, повозка громыхала по камням, медленно, по-черепаши мы лезли на гору, иртышский казак помахивает кнутиком, жара печет, усталые лошади выбиваются из сил.

Здесь же мы несемся по горам и спускам на крыльях ветра, быстро пробегая тоннели. Вот Сиверье и выезд в чудную зеленую равнину, с массой раскиданных в ней швейцарских домиков, вдали городов Oyon de la wille, Шексбре. Опять тоннель, мы влетели в него, на минуту скрылся свет и окружающие виды: точно мы закрыли глаза или очутились в темной зале, в перерыв между туманными картинами. После этой темноты открывающиеся виды блещут еще ослепительнее.

Выскочив из одного подобного тоннеля, вы видите вдруг перед собой знаменитый леман — Женевское озеро. Я увидел его и узнал альпийское озеро по цвету воды. Вон синеющие горы, вон горная дымка и туман, заволакивающий дальние вершины, выси и облака. Все это напоминало Телецкое озеро, только все это тоньше, нежнее, пластичнее.

У подножия этого озера не было пустынных берегов, здесь лежали города, деревни, которые представлялись с вышины точно вырисовывавшимися в плане, берега усеяны виноградниками. Предстала Лозанна, залитая солнцем, красивейший городок Швейцарии. Поезд стал. Какая суетня, шум, движение! Железные дороги, точно вены, скрещиваются здесь, поезда несут жизнь и питание, как кровяные шарики; целые толпы народа мелькают беспрестанно. Швейцарцы совершают обыденное движение по этим дорогам, другая часть — иностранцы: это толпа беспокойная, нервная, впечатлительная, любопытная. Она пожирает глазами красоты Швейцарии.

Мы торопимся садиться в вагоны. Дождь застилает виды, но в тумане видны легкие абрисы гор и роскошного озера, что делает его еще более фантастичным. Поезд мчится по берегу озера. Городки, церкви, мосты, чудные виллы, обвитые зеленью, переносят вас в другой мир, неведомый доселе.

И я вспомнил наши бомы и те невероятные усилия, которые мы употребляем, проезжая их с вьюками, на расстоянии нескольких верст*. Я вспомнил нашу злосчастную Чуйскую дорогу, которую мы не можем преодолеть, хотя разработать ее нужно только на несколько верст. Вспомнил печальный финал этой дороги и отчаяние моего друга, молодого инженера, который тщетно строил планы и остановился не перед скалами, которые так легко было сокрушить, но пред канцелярским равнодушием, которое сильнее самих скал. Наши бомы остаются непроходимыми, хотя нуж-

* Бомы — скалы, или приторы, подходящие к реке и препятствующие проезду. В Горном Алтае на них проложены тропинки, по которым едва идут верховые и вьючные лошади, рискуя свалиться в пропасть, дорога адская. Таким путем совершается сообщение и провозятся товары по Чуе к границам Китая. (Примечание автора.)

ны небольшие средства и силы сделать чрез них торную дорогу в Китай.

Но вот здесь те же горы, те же скалы, а мы прорезываем их с такой быстротой и легкостью. Целые коридоры и огромные тоннели, идущие спиралями в этих горах, выводят в светлые долины.

Надобно видеть эти тоннели, в которых едешь несколько минут, эти виадуки, висячие мосты, эти чудеса искусства, проходы, укрепления над безднами, превращение ущелий и пропастей в проходимые места, сооружения над бурными горными реками, стоит сообразить те усилия, бездну искусства, которые положены здесь, чтобы понять, что это стоило человеку!

Когда я проезжал С.-Готард, направляясь из Швейцарии в Италию, видя страшные горы и отвесные утесы, так живописно теперь окружающие дорогу, а когда-то страшные и грозные,— я припомнил из своего детства картинку, висевшую в моей спальне,— «Переход Наполеона чрез С.-Готард». Он сидел с своим классическим спокойствием в знаменитой треугольной шляпе и сером сюртуке, верхом на арабской лошади, у ног его ползли облака, а над ним летал альпийский орел, снежное поле его окружало. Великий полководец переходил Альпы. Когда мне рассказывали о его подвигах, мне представлялась эта громадная армия, лезущая по кручам, по обрывам; люди падают, изнемогают, но ползут; сзади везут пушки, люди, лошади срываются в пропасти, но идут. Его железной воле захотелось перевести с собой великую армию во что бы то ни стало, и она перейдет, сколько бы ей ни стоило это. Когда я был ребенком, я удивлялся этому героизму, но впоследствии я узнал, что такое был Наполеон¹⁴. Конечно, много отваги, решимости нужно, чтобы идти и тащить за собой людей в снеговые горы, среди диких ущелий; я знал и о подвигах других полководцев. Но теперь мне рисовался другой Наполеон, тот, который не перешел, а просверлил эти горы своим трудом, кто преодолел их искусством и тем совершил величайшую победу цивилизации и культуры. Этим Наполеоном был швейцарский крестьянин!

Женевское озеро и алтайские озера

Я стоял на берегу красивейшего озера в мире, которое давно волновало мое воображение и которое я хотел узнать, чтобы сравнить или понять, насколько суровая северная красота наших озер отличается от этих прославленных поэтами и путешественниками всемирных красот Швейцарии. Ревнивыми глазами я пожирал это озеро; может быть, завистливый взор искал в нем недостатков в виде случайной родинки. А оно кокетливо смотрело в своих чудных рамах, окруженное величественными горами, и играло всеми переливами красок и цветов; оно лежало предо мною во всей своей привлекательной красоте, во всей пышности и блеске, как роскошная гордая красавица, прекрасная, величественная и самоуверенная. «На! смотри на меня!» — говорила вызывающе красивая природа.

Кругом меня было все ново. Меня окружала незнакомая обстановка своеобразного, точно игрушечного городка на берегу этого озера: узенькие каменные улицы, домики, смотрящие близко друг другу в окна, выющийся дикий виноград по стенам, фонтаны, маленькие кафе, великолепные отели, швейцарские экипажи и кучера в круглых шляпах с длинными бичами. Я бродил по этому городку, присматривался к маленьким кафе (род кабачков), куда швейцарский крестьянин заходил с ломтем белого хлеба и плодами отведать бутылку вкусного виноградного вина. Я заглядывал в большие великолепные отели на берегу озера и любовался живописными террасами с аллеями каштанов, с клумбами цветов, фонтанами и чудным видом на озеро. Я видел, сколько было здесь роскоши и удобств, когда в великолепной гостиной за грудой газет и дорогих кипсеков* располагались путешественники или угощались нежными и прекрасными плодами за ослепительно сервированными столами *table d'hôte*'ов. Но более всего меня приковывало и тянуло к себе волшебное озеро. Я смотрел на него, выбегая утром, когда оно лежало окутанное, как красавица в легком утреннем газовом покрывале, смотрел в полдень, когда обливали его лучи солнца и оно сверкало в полном туалете, любовался на него перед закатом, когда скользили по нем темно-синие и розовые блики, а белые паруса, как чайки, сверкали у темных берегов, окруженных синеющими горами. Безмолвно стоял я перед ним, когда оно погружалось во мрак и как черное смоленое море лежало под таким же темным небом, а на берегу его веяло теплотой и ароматом садов, и в яркой зелени мелькали огни, освещая купы нежной листвы. Но лучше и полнее всего оно предстало, когда с разнообразными берегами оно пробежало пред нами во время поездки на пароходе (*toûr du lac***). Мы неслись, точно по аквамаринowym волнам, на щеголеватом пароходе, белая пена из-под колес казалась жемчугом. Панорама за панорамой пробегала перед глазами. В глубине озера выступала пирамидальная белоснежная вершина «*La dent du midi****», казавшаяся кристальной короной, обрисовывавшейся на голубом небе: темные склоны сверкали зеленью, а у подножия лежали виллы, шале, волшебные замки и городки. Чем далее мы плыли, тем скалы выступали ярче и живописнее, берега улыбались, обрамленные виноградниками, а горы становились причудливее и фантастичнее. Иногда по ним пробегали белые облака. Вот за этими синеющими горами показался профиль в белом саване, это был Мон-Блан, лежавший гигантом среди других гор. Когда-то из Уйманской долины я также увидел три белых купола,— это был также Мон-Блан — Белуха. А Женевское озеро меняло да меняло цвета и одежды. Небо, вода и горы к вечеру начали ис-

* Кипсек — роскошно изданный альбом.

** Поездка по озеру (фр.).

*** *La dent du midi* напомнил нам подобное же название «снежных вершин», имеющих подобие зуба и носящих название «небесных зубов» в Кузнецком Алатау. (Примечание автора.)

чезать в голубой мгле, абрисы их начали расплываться, все погружилось в нежный полумрак, вечер разлил свою негу, что-то убаюкивало в этой волшебной обстановке, вспыхнула звезда, и в воздухе точно зазвучала арфа. Две странствующие швейцарки на палубе парохода играли на мандолинах. Все располагало к мечтательности. Кому грезилась Италия, кому Франция, кому дорогая Шотландия или Зеленый остров...

И вот в этот вечер, когда так сладко и блаженно гармонировала природа с настроением человека, во мне что-то сжалось, точно я испугался окружающего, а затем выступила точно из-за гор другая знакомая, давно забытая картина.

Несколько лет назад мы медленно спускались верхами с крутых склонов Катунского хребта, так редко посещаемого путешественниками, по болотистой и лесистой ложбине. Мы оставили за собой р. Бальчикту и шли перевалами. Дождь и ветер усиливался. Дорога шла узенькой тропинкой по крутому откосу горы. Эта проторенная верховыми тропинка на огромных склонах гигантской горы казалась тропкою муравья. Перевал занимал безлесную полосу. Наконец, мы начали спускаться к какому-то озеру; спуск был лесистый и грязный; лошади тащились по крутому спуску, вязли в грязь, скользили по камням. Через час утомительного спуска мы остановились у так называемого Тальменьего озера, лежавшего на высоте 4,810 фут. Промокшие до костей, мы были на берегу его: сначала мы думали, что окружающие туманы нам не дадут полюбоваться на него, но погода на этот раз нам улыбнулась. Даже в дождь это озеро сверкало прекрасными зелеными оттенками. Когда прояснило, мы увидели целую панораму. С юго-востока, с гор спускались синие леса, подножия озера густо заросли пихтой и кедрами. На северо-запад шли громадные скалы и утесы. Вдоль озера выдвигался целый амфитеатр величественных конусообразных пиков, начинавшихся осыпями, открывавшими целые полосы лесов, лепившихся по кручам и исчезающих в вершинах. Над пирамидальными горами неслись белые облака; то окутывая пики, то испаряясь, они открывали виды на дальние хребты и обнаруживали уже совершенно поднебесные очертания снежных вершин, красовавшихся над озером рядом с зеленью. И весь этот пейзаж с темной хвоей, снежной величественной крышей и белыми облаками резко отражался в зеркальной зеленовато-синей глади озера.

В довершение всего, с правой стороны видны были две несущиеся каскадами речки среди лесов и камней. Одна из них была река Громотуха, наполнявшая грохотом долину. Недаром геолог Гельмерсен¹⁵, видя это озеро в 1834 году, говорит, что он не видел в Алтае вида более величественного и прелестного, как вид Тальменьего озера*. Я вспомнил эту пустыню здесь и ее чарующее впечатление. Вспомнил я и другое альпийское озеро, которое я созерцал с высоты 8000 футов и которое на 60 верст лежа-

* Helmersen. Reise nach d. Altai, S. 168, 169. (Примечание автора.)

ло предо мной, залитое лучами восходящего солнца, а дальние хребты с ползущими облаками по ним раскидывались кругом почти на 200 верст.

Мое воображение воскрешало эти горные озера двух различных, бесконечно отдаленных друг от друга стран, двух различных мировых альп, поразительно похожих в очертаниях, в контуре, в характере, в своей топографии.

Когда, не видя еще живой Швейцарии, я приобрел пейзаж одного швейцарского озера с величественными высями и низвергающимся водопадом в него, оно так напомнило мне знакомые места, что я долго в России не расставался с ним. И это испытал не я один. Гельмерсен сравнивает некоторые места на Бии с Саксонской Швейцарией, а пред Чихачевым восставал образ виденного им Алтая, когда писал он свое знаменитое путешествие на берегах Женевского озера, у подножия Швейцарии.

Гельмерсен, как Бунге¹⁶, Чихачев, Щуровский¹⁷ и друг[ие] путешественники не могли не отдаться поэтическому волнению, когда они смотрели на озера Телецкое, Колыванское и Тальменье. Они даже проникались мечтой, когда эти озера, подобно швейцарским, будут привлекать толпы веселых путешественников, но все они, смотря на могучую, безмолвную и пока пустынную природу, рядом с восторгами не могли не ощущать грустного веяния мрачной пустыни. Озера нашей Северной Швейцарии носят свою оригинальность. Что отличает швейцарские и итальянские озера от наших,— это другой колорит, другие цвета, так сказать, негa красок, тонкость очертаний и нежность пейзажа. Такова и должна быть красота южных красавиц в отличие от северных. Уловить эти штрихи и особенности весьма важно. Я не хочу преувеличивать наши красоты и тем менее — подтасовывать краски. Нет! я даже противник этого. Я помню — как в мое пребывание в Барнауле, пред путешествием в Алтай, хозяин в одном доме подвел меня к прекрасной акварельной картине, которую я принял сначала за итальянский пейзаж. Предо мной была картина известного английского путешественника Аткинсона, накидавшего столько бойких видов Сибири и изобразившего на этой картине Телецкое озеро. Тогда я изумился и чуть не принял уверения хозяина за мистификацию: так картина Аткинсона не походила на сибирскую. Впоследствии я убедился, что Аткинсон прикрашивал картины и, видимо, старался бить на эффект.

Когда я увидел сам Телецкое озеро, я получил иное понятие. Темные хвойные леса придают ему мрачную окраску. Гигантские горы с осыпями смотрят сурово и дико. Все подавляет здесь суровым величием. Правда, в яркий солнечный день или когда закат заиграет цветами, мы видим и здесь красивую улыбающуюся природу, но это бывает только улыбкой на суровом лице. Вот почему я не могу сравнить эти два озера. Контурные на полотне природы одни, но нужны две разных палитры с красками.

Нечего, поэтому, удивляться, что, прикованный видом европейского озера, я испытал другие впечатления и чувства. Я не был

изумлен и поражен видом горного озера, как в первый раз видящий горную природу, но я был подкуплен тем воздухом и тем обаянием юга, которое дорого для северянина, — той обстановкой, среди которой я нашел его.

Различные ощущения там и здесь меня охватывали. Там я был одинок, вдали от мира и его шума. Помню, как я в сырое утро, утомленный и разбитый, лежал на войлоке, подле потухал костер, с которого снят был медный чайник. Эти подавляющие горы, это безмолвие пустыни, мое одиночество навеяли на меня грустные мысли, и я спешил развлечься. Предо мной сидел на корточках мой проводник Джолбогой, бедный, смиренный киргиз. с уродливой большой головой, оттопыренными ушами и покорными узенькими глазками.

— Скучно, Джолбогой, развесели, спой песню, расскажи, сколько ты жен имел, сколько лошадей съел? — сказал я, смеясь. И Джолбогой посмотрел на меня грустно своими маленькими глазками.

— Добрый господин, — сказал он, помолчав: — ты большой знатный человек, я маленький киргиз, если ты будешь шутить, я должен плакать, твоя дорога лежит в одну сторону, моя дорога в другую. Ты поедешь в большие города, а Джолбогой здесь останется. Когда будешь от меня далеко, над кем смеяться будешь?..

Эта грустная поэтическая реплика навела на меня еще более грусти. Я припомнил эти пустыни и их подавляющее влияние на человека. Мне представились эти горы, которые я проехал, вспомнились несчастные юрты и шалаши у подножия этих гор, и припомнил я жалкую и робкую жизнь здесь человека, еще более умяляющуюся, еще более беззащитную, бездольную. Мне стало жалко Джолбогоя.

Бедный мой, маленький человек, никогда я не посмеюсь над тобой! Я знаю, какое нежное и верное сердце сохраняется у тебя, мой верный проводник. Но, бедный киргиз! Ты не понял и не поймешь, что влечет меня из твоей прекрасной пустыни. В ком раз забилося человеческое сердце полной жизнью, кто раз изведаль мир, великий, всеобъемлющий человеческий мир с его общественностью, с его кипучей жизнью, волнениями, с его сладостями и ядом, с его мечтами, идеалами и разочарованиями, с его мировыми скорбями и радостями, — того, хотя и усталого, все-таки он повлечет опять к себе своими заколдованными чарами, и его не удовлетворит более пустыня. Эта пустыня будет для него символом безмолвия и смерти, как проклятая пустыня Эдгара Поэ¹⁸, где человек остался без звука сочувствия и содрогнулся.

В эту пустыню когда-то я явился разбитый и усталый, мое сердце искало отдыха после житейских бурь. Так человек, глубоко страдающий, бессильный совладать с собой, уходит на берег пустынной реки и долго сидит, наклонив печальную голову, смотря на камни и слушая говор божественно спокойных волн. На

сердце его тогда нисходит умиротворение, его обнимает философское спокойствие. Но когда он, облегченный, излеченный, поднимает вновь голову, то у него снова просыпается жажда жизни и кипучая потребность опять возвратиться в мятежный, отравляющий его мир.

Не верьте человеческому протесту. Человек, проклиная человечество, не перестает бесконечно любить его в душе. Он как ребенок иногда бежит в глухой лес, ища таинственной тишины и мистического мрака, он с наслаждением забирается в чащу, но как только замолк за ним гул шагов, его охватывает снова трепет, и он мчится назад, аукает и с радостью встречает человека, от которого убежал.

И вот я, мятежный, ищущий бесконечно чего-то, стремящийся вечно к какому-то идеалу, не удовлетворяемый мертвой пустыней моей родины, очутился опять среди кипучей жизни, и какой жизни! — в недрах Европы, среди ее красот и вместе с тем в центре ее цивилизации.

Какая масса новых впечатлений, сколько здесь всемирных представителей, начиная с англичанина, который перенесся сюда из Африки и беседовал со мной о Сибири, кончая французом из Смирны, сидевшим со мной за табльдотом. Целые картины из немецких, французских и английских романов проносились предо мной среди этих вилл и дворцов, созданных по берегу прекрасного озера для роскоши, наслаждения и поэзии.

Но странно, — в этом обширном и блестящем обществе я почувствовал себя посторонним, чужим; мне казалось, что с своими думами, с своим внутренним миром я был непонятен им, как когда-то непонятен был я для Джолбогая.

И когда этот забытый образ бедного инородца встал предо мной — я не знаю, но я почувствовал какое-то родство с ним, как и со всей старой знакомой обстановкой моей пустыни. Я почувствовал ту дружбу и связь, которая таинственно соединяла нас когда-то и в которой я сам не отдавал себе доселе отчета. Покидая его, я знал одно, однако, какая у этого Джолбогая была душа, какое нежное сердце. Я припомнил его заботы обо мне, чужом ему иноверце, явившемся в его пустыню. Я испытал его верность, когда он остерегал меня от безумного детского предприятия в горах, я знал даже, какой он был дипломат, когда он выдержал мой гнев и бурю с героической сдержанностью, как он хитро прикинулся, что он заблудился, чтобы удержать меня от каприза перевалить хребты, где нам угрожала опасность, и как вывел хитро в светлую долину Уймана, откуда лежала покойная дорога к моим большим городам.

Я не забуду твоей услуги, добрый проводник мой, и не буду подражать тем, кто в первобытном человеке и маленьком инородце, в своем высокомерии, забыл, что этот первобытный человек также вывел когда-то человеческую историю и культуру из дебрей первобытного мира, в широкие и счастливые долины нынешней цивилизации.

Когда я теперь ликую и наслаждаюсь чудными долинами этой цивилизации, что-то ты делаешь там в пустыне, мой бедный маленький проводник?!

В горах и долинах Швейцарии

Точно по волшебству, с берегов Женевского озера я перенесся на север Швейцарии в Бёрнские Альпы, в Интерлакен, в долины Грюнденвальда и Лаутербруннена, проехав часть живописного Тунского озера.

Из окна отеля в Интерлакене я смотрел на величественную Юнгфрау, которая была необыкновенно хороша, выглядывая из-за синих гор и темного леса, спускавшегося с соседних гор; ее белоснежная шея и голова удивительно сверкали снегами, а вечером она рделась и краснела, как настоящая красавица, отходящая ко сну; утром же, при восходе солнца, появлялась свежая и румяная. Я с особенным наслаждением и самоедской радостью (другого сравнения не нахожу) смотрел на белые снежные вершины, опущенные родным и столь знакомым снегом, в этих благодатно-незнакомых местах юга.

Из Интерлакена я ездил по прекрасной долине в удобном экипаже в ледник Грюнденвальда, где из хорошенького отеля нам предложили проехаться верхом на нижний Грюнденвальдский глетчер с огромной мореной; мы ходили здесь среди ледяных ручьев, поднимались на морену, как на прогулке, и осматривали альпийские котлы и царапины ледника, как в геологическом музее. Я думал, что мне придется изведать здесь сильные ощущения. Когда-то, поднимаясь на ледник в Сибири, я оставил дневники, все ценное и чуть не написал духовного завещания. Здесь впереди меня шли услужливые горные проводники, а позади элегантный француз с своей невестой, одетые, как одеваются на столичное гулянье. Они, смеясь, лазали по леднику, и мы с шутками заходили в ледяные пещеры, где швейцарка играла на каких-то цимбалах.

Но вот из ледяной долины я так же быстро переносюсь в другую долину с прелестным водопадом Шмидрибах. А потом чрез день очутился на Бриенцком озере, чудном и прекрасном как и Женевское; мы плывем к Бриенцу и по пути приближаемся к живописному водопаду Гиесбаха. Этот водопад, бьющий с страшной высоты каскадами, удивительно приспособлен к осмотру путешественников, днем мы поднимались к вершине в большой компании по ступенькам и галереям, лепясь чуть не версту в гору, и любовались на каждом шагу прелестным видом. Ночью этот водопад был освещен бенгальскими огнями. Вы сидите после табльдота в саду, на скамеечке, с сигарой в зубах, с мороженым, а пред вами выступила природная грандиозная декорация в ночном жанре. Сначала все было покрыто мраком, слышен был только могучий рев водопада, но вот где-то в вышине, в горе, зажглись огни, и полились серебряные и фосфорические каскады, точно серебро и жемчуг; эти серебряные свет-

лые потоки охватывают весь водопад на страшной высоте. Вот они меркнут, но сверху в этот серебряный дождь обрушился новый красный поток, как кровь он окрасил остальные воды, и вдруг они превратились в потоки красного огня, в лаву, льющуюся из всех расщелин. Вы стоите точно у извергающегося Везувия, а каскад меняет да меняет свои волшебные цвета, пока не потухнет, оставив в загадочном изумлении зрителей. Швейцарцы дивно умеют пользоваться всеми выгодами и эффектами своей природы.

Здесь все подготовлено для путешественника — и железная дорога к Риги, и восхождение на Монблан. По желанию путешественника ему открывается весь мир с его тайнами на недосыгаемых высотах. Он может изучать его до мельчайших подробностей и, проходя труднейшую и загроможденную препятствиями страну, испытывает только величайшее наслаждение. Едешь среди дикой, повидимому, природы, среди гор и пропастей, вдали сверкают снега, а вы не замечаете и не ощущаете никаких трудностей, здесь вас мчат по какому-то горному карнизу в вагоне, там переносят на пароходе, в третьем месте поднимают в горном вагоне на цепях вертикально на высоту, ведут по вырубленным ступенькам к леднику, скатывают на креслах, вздымают на высоты по волшебству и так же легко спускают, чтобы изучать и любоваться окружающим. На каждом шагу хижин, на каждом шагу люди. Вы отправились по крутой горной дороге в экипаже; едете горной долиной, думая, что удаляетесь в глушь, а за вами бегут по дороге швейцарские дети с букетиками, с плодами, пастух для вас играет на обрыве в альпийский рожок и показывает резонанс; на бурной речке и водопаде вы встречаете лавочку и мирно вяжущую кружева швейцарку. Утомленные, поднявшись на высоты, вы встречаете гостеприимную хижину горных жителей, молочную и сыроварню. На горных вершинах вас ждет отель с мягкой постелью и всем готовым, чтобы дать вам возможность завтра любоваться на утренний восход солнца. В пещерах ледника для вас все освещено лампами, а водопады к вечеру горят иллюминацией.

Это присутствие на каждом шагу людей и того, что носит непеведенное еще на русский язык название «культуры» составляет новизну для нас и предмет удивления. Я испытал уже веяния этой культуры в Германии. С первых шагов за границей, проносясь чрез эти «чужие земли», вы поражаетесь этой удивительной, изощренной до мелочности работой, возделанной и взлелеянной с немецким терпением и аккуратностью землею. Каждый шаг, каждая пядь не лежит впусе, но орошены, засеяны, утилизированы, повсюду аллеи, искусственные леса, живые изгороди, пруды, каналы, превосходные шоссе, нет утопающих и давящих вас однообразных пустынь, этой голи, этих рытвин и оврагов, родных буераков, лесов с валежником, болот с стаями первобытной дичи, с изумленно смотрящим на вас куликом и простодушной тетерей на березе. Когда-то была в этом наша поэзия. «То ли дело наша ширь-матушка, наш простор», — говорили мы.

Но когда увидели, что за этим простором и за фактом «владения», хотя и самого справедливейшего, у нас ничегошеньки нет, сердце начинает замирать. Чувствуешь, что в нашей шири чего-то недостает. А как вспомнишь наши распутицы, вспомнишь, как эта природа давит человека у нас, сообразишь, с какими средствами он идет войной на нее, и как взамен культуры и насаждения мы пока выжигаем леса и «пускаем палы»*, как мучимся пока с комаром, какой первобытный способ применяем в земледелии, как мы сегодня запахиваемся, а завтра плачемся, что запахались**, то даже страх возьмет за будущее. Здесь наоборот, упорство, энергия и умение преодолеть препятствия, покорить природу. Здесь точно нет фразы: «ничего не поделаешь»; немец ее уничтожил и вывел как таракана.

Я сын девственной и могучей страны, мои симпатии были всегда на стороне ее дикой внушительной природы, но здесь я был наведен на новые мысли. Природа девственная, первобытная, мощная — хороша, поэтична, но ведь она дает своеобразную поэзию, на минуту она поражает, поднимает дух, дает порыв фантазии, но долго любоваться ею невозможно, мысль и фантазия обрывается, и духом овладевает какое-то тоскливое уныние, чувство одиночества, веяние смерти; массивность, угловатость первобытной природы не удовлетворяет более; глаз поневоле ищет изящных линий, гармонии, словом, является потребность искусства. Дикий, причудливый камень никогда не заменит камня одухотворенного. Во всей красе он является только в узорах Миланского собора, в флорентийской мозаике, в статуях Микель-Анджело. Только тогда он дышит жизнью, человеческой идеей и высшей божественной красотой. Нужно, чтобы среди дикой скалы было дополнение, как на картине безбрежного моря необходима чайка, нужно, чтобы лес оживила хижина; нам приятнее видеть дикую лозу, когда она увенчивает голову молодого фавна, а из-под кущ зелени выдвинулся белый торс Венеры; кущи цветов изящнее над мраморной урной, пруд и бассейн величественнее и прекраснее, когда фонтан среди мраморных дельфинов бросает гордую струю в небо. Все это создало искусство Европы. Видимо, оно явилось потребностью, а не капризом человеческого ума. И действительно, когда мы всмотримся в начало культурной истории, мы увидим, как древний египтянин, индус, перс валяют свои статуи, обелиски, пирамиды, китаец громоздит свою пагоду, создает чудовищных идолов и даже пишет трактаты о благотворности для человека садов. И у древних, и у первобытных народов была потребность искусства, необходимость культуры, прогрес-

* Пускать палы — обычай выжигать луга и поля каждой весной, — прием, употребляемый в наших восточных губерниях; после этих пожаров трава родится лучше, но огонь иногда причиняет страшные опустошения в лесах. (*Примечание автора*).

** Запахаться — по-сибирски значит посеять столько, сколько не сожнешь, работников не хватает; выпахаться — значит истощить почву без удобрения, это — причина многих переселений. (*Примечание автора*).

са; мы только не хотели заметить ее или ставили в низший ранг. Но да не упрекнут меня в одних эстетических наклонностях: за этой красотой и искусством скрывается и нечто большее. Цивилизация влечет нас не одной красотой; нам, бедным, нередко настоящим образом и полюбоваться-то не удастся вдоволь этими художественными произведениями. Нет, в этой цивилизации нам дорого и другое: это — знание, это — масса накопленного опыта, умение трудиться с терпением и создавать свое богатство, свой комфорт, свое величие. Здесь Европа стоит в настоящую минуту на недосягаемой высоте, и перед ее культурой, пред ее промышленностью, городами, пред ее изощренной роскошью невозможно не преклониться, особенно, если вы посмотрите в тайну каждого произведения. Тысячи, миллионы рук ткut какую-то ткань, а потом нитки этой ткани, затканые золотом, сплетаются в роскошную мантию, которая ложится чудными складками над прекрасным балдахинном; тысячи людей работают над зданиями, дорогами, туннелями, прорезавшими Альпы, С.-Готард, Апеннины, и вы не можете не остановиться пред этой чудовищной работой с изумлением. Нет, не одной природой приходилось любоваться здесь. Вот причина моей восторженности, в которой винюсь я. Среди той же грандиозной природы я видел торжество человеческого духа, преоборевшего препятствия. Потомок Вильгельма Телля¹⁹ сумел из этих скал создать фундамент для своих жилищ. Где был голый камень, он посадил виноградники, где были горные хищные орлы и по скалам рыскали хищные звери, пасутся ныне тихие, покорные стада, гремя швейцарскими мелодическими колокольчиками. Старые замки, где рыскал грозный Геснер²⁰, превратились в капеллы или приюты для путешественников. Грозный Шильон обращен в увеселительное место прогулок. Вон он сверкает на светлых водах в густой зелени, и нет в нем прежнего страха и ужаса. Где раздавался стон несчастного Боливара²¹, где стояло семь колонн в сыром каземате, там раздается теперь смех и говор. Европейская красавица проходит по темным подземельям, как в сказочной легенде, и выходит веселая и радостная на башню, откуда когда-то бросали людей; она не видит более темных призраков, перерезанных ножами, подобно герцогине Савойской, она любуется с высот этой башни, безмятежная, на светлое и прекрасное озеро, залитое лучами яркого солнца. А это озеро еще восхитительнее сверкает под лучами швейцарской свободы. Никогда более не раздастся здесь человеческий стон, но тихая кроткая слеза из добрых прекрасных глаз падет на могиле несчастного человека, испытавшего здесь невинные страдания.

Я вижу страшные скалы и горы, но здесь человеческая жизнь и человеческий гений, как назло, сделал наиболее завоеваний. Он нашел в этих горах как будто более простора, чем на своих горем и борьбой запечатленных долинах: подобно альпийской розе близ снегов и ледяных ручьев раскинула свои лепестки швейцарская свобода. Швейцарский народ показал, несмотря на негостеприимную природу, дикие утесы и скалы, пропасти и леса, что может

сделать человек. «Дайте мне пустыню, голую скалу со свободой,— говорил Гверацци²²,— и я создам вам рай». «Дайте мне клочок земли, террасу на склоне гор, полосу у подножья неприступных вершин, и я создам на них цветущее государство!» — сказал и сделал швейцарский народ.

Чувством бодрости, веры, ободрения веяла кругом трудовая жизнь человечества вместо подавляющего, безнадежного спокойствия... И я невольно чувствовал обновленные силы и находил здесь неостывшую старую веру в человека и человечество.

Излишняя восторженность! — говоришь ты, мой друг, давно насмотревшийся на европейскую жизнь и даже открывший ее многие язвы. Может быть, ты прав, но чем же я виноват, что эта жизнь, этот ряд новых впечатлений заставил меня как дикаря более живо чувствовать, чем вы, приглядевшиеся к этим явлениям. Чем я виноват, что эта природа и жизнь всколыхнули во мне старые вопросы жизни, к которым вы относитесь рассудочно и сдержанно. Во мне яркие картины иной жизни вызвали не слепое поклонение вашим отелям, улицам, которые как ни хороши, а все-таки, для меня тесны. Нет, целая масса других вопросов нахлынула во мне. Я увидел тот пробивающийся свет для человечества, ту искру надежды, которая сквозила в узкое отверстие скудным лучом целые века в мрачных темницах Шильона, пока не засверкало яркое солнце. Во мне вспыхнула в минуту та священная вера, та радость грядущего рассвета, которая так лелеялась нами в юности и охладевала с годами. Вот откуда моя восторженность, мой друг. Ты, житель больших городов, ты, «большой господин», — как говорил мой киргиз, — ты живешь умом, а я — сердцем. Смейся надо мной!

Но, погоди, ты сам разве не был идеалистом и разве ты не величайший идеалист доселе, как русский человек, думающий, что тебе достанутся все блага жизни дешевле, чем на Западе. «Не восторгайтесь, Европа еще не достигла своего идеала, а перед ним ее культура ничто, пустыня», — говоришь ты. Но, говоря это, разве ты не такой же мечтатель, как и я? Может быть, идеал грядущего построится там, где менее всего было старой исторической почвы, создавшей, кроме культуры, и многие насыпи, и дюны, которые трудно преодолеть новой жизни. Ты веруешь, что Россия — страна молодая перед Европой, поэтому, может быть, даже ближе к этому чистому идеалу будущего, чем Европа, несмотря на свою культуру.

Мне известна хорошо эта теория, на которой жидутся лучшие русские верования, и я тем охотнее бы разделял ее, что, в применении к нашему новому краю, она еще более подкупает. Ведь если уж где есть менее препон к применению лучшего и нового, так где же как не там, где гражданская жизнь еще начинается и где даже нет тех исторических узлов, которые успели уже завязаться в нашей метрополии. В этом случае колония еще более дает задатков, здесь еще более царит мысль, еще светлее надежды. И я охотно и светло смотрю в это будущее. Я готов даже согласить-

ся с мнением, что в Европе по достижении ее культуры что-то застыло, успокоилось, в ней нет того страстного порыва к идеалу, который свойствен новым племенам, новым народам, только что выступающим на арену истории.

Одно останавливает меня. Ведь как бы то ни было, не забудь, что мы мечтатели; эта вера, этот идеал есть еще нечто загадочное, а мне нужна настоящая жизнь и действительность. Может быть, как сибиряк я менее идеалист. Меня не удовлетворяет одна вера и надежда на будущее, меня удовлетворит лишь осуществление этого идеала в жизни. Мне хочется не веры, а труда, я жажду работы над своей жизнью, живого творчества, а не одной мечты. Вот чем обуславливаются мои симпатии к культуре, как к действительному завоеванию жизни. Я могу завидовать этому блеску и красоте, потому что сам хочу их и хочу нетерпеливо.

Я чувствовал теперь, что мы действительно жаждем света, все равно с запада или американского востока, где также насаждается культура, где также человечество стремится к идеалу. Одно тревожит меня и заставляет задумываться. Ведь эта культура была создана веками усилий, борьбы. Нас разделяет с этой Европой чуть не целая человеческая история. Здесь цветущий мир, а у нас еще пустыня, и нам предстоит огромная работа. Чем-то она будет куплена? Неужели в наших цветущих долинах, среди роскошных пустынных гор, которые я видел, суждено пролиться тому же морю человеческих страданий, неужели и здесь будет суждено возникнуть кровавой драме? Неужели не минет и нас та же горькая чаша?..

Ответишь ли мне, новый мир, ответишь ли на это мне, счастливая страна? На твоём чудном озере черпали вдохновение мыслители и поэты. Здесь под темными сводами старой темницы, на одной из семи колонн Байрон начертал свое имя, вдохновенно создал образ прошлого и приковал человеческое сердце к страданиям человека, здесь зрел гений фернейского философа и звучала полная то мировой иронии, то громового негодования речь его, здесь на берегу этого озера сентиментальный Руссо грезил о счастии человечества и пред ним рисовалась его идиллия. Вот замок близ Кларана, где проводил досуги Гамбетта²³. В этой Швейцарии, несомненно, витал человеческий гений. Здесь встречало отзыв всякое человеческое несчастье, здесь думали величайшие люди века над судьбой человеческого рода, здесь открывалось всеобъемлющее европейское сердце и проповедовалось братство людей.

И мой дух невольно замер пред неразрешимой загадкой будущего. Я думал о тебе, моя далекая таинственная страна, моя страна-ребенок. Может быть, и ты когда-нибудь прикуешь внимание этого цивилизованного мира. Может быть, у мыслителя и философа ты возбудишь новые мысли. Может быть, в всеобъемлющем сердце гения встретим участие и жалость и мы с тобой!..

«Восточное обозрение», 1885, №№ 36, 39, 42, 44, 48. Все географические названия даны в авторском написании.

¹ Манаков — лицо реальное, Кондрат — сатирический персонаж из фельетонов Ядринцева.

² Бутин М. Д. (1836—1907) — нерчинский коммерсант, о нем Ядринцев часто писал в «Восточном обозрении».

³ Брет-Гарт (1836—1902) — американский писатель. Возможно, автор имеет в виду его произведение «Ван Ли — язычник».

⁴ Иванов Александр Андреевич (1806—1858) — художник, автор знаменитой картины «Явление Христа народу».

⁵ Надсон Семен Яковлевич (1862—1887) — поэт, пользовавшийся широкой популярностью в среде прогрессивной интеллигенции; болел туберкулезом и с начала 1885 г. лечился в Швейцарии, Германии, на юге Франции.

⁶ Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1828—1889) — писатель-сатирик; в июле 1885 г. лечился в Висбадене.

⁷ «Немцы праздновали победу» — речь идет о франко-прусской войне 1870—1871 гг., которая завершилась Франкфуртским договором: Франция передала Германии Эльзас и северо-восточную часть Лотарингии.

⁸ Немецкие поэты К. М. Виланд (1733—1813), И. В. Гете (1749—1832), Г. Гейне (1797—1858) во многих произведениях воспевали Рейн. Гейне посвятил древней легенде о Лорелее стихотворение "Ich weiß nicht, was soll es bedeuten..." («Не знаю, что значит такое...»), ставшее народной песней. (См. на русском языке Г. Гейне. Собрание сочинений в 10-ти томах, т. 1, М., «Художественная литература», 1957, с. 84).

⁹ Наполеон III (Луи Наполеон Бонапарт, 1808—1873) — французский император в 1852—1870 гг. Во время франко-прусской войны в битве при Седане сдался в плен и был помещен в замок Вильгельмсгез.

¹⁰ Чихачев Петр Александрович (1808—1890) — путешественник, географ, геолог, почетный член Петербургской Академии наук, автор книги «Путешествие в Восточный Алтай». (М., 1974).

¹¹ Кук Джеймс (1728—1799) — английский мореплаватель, дважды совершивший кругосветное путешествие.

¹² Петри Эдуард Юрьевич — см. примечание 30 на с. 291.

¹³ «Роман великого немецкого писателя...» — речь идет о Ф. Лассале, погибшем на дуэли с румынским дворянином Янко Раковицем, с которым Елена Дённигес была помолвлена.

¹⁴ Наполеон I Бонапарт (1769—1821) — полководец, французский государственный деятель, с 1804 по 1815 г. император. «Знаю, что такое был Наполеон», — фраза выражает отрицательное отношение Ядринцева к любому виду единоличной власти.

¹⁵ Гельмерсен Григорий Петрович (1803—1885) — геолог, был директором Горного института, академик, путешествовал по Алтаю.

¹⁶ Бунге Александр Андреевич (1803—1890) — ботаник, участник Алтайской экспедиции (1826), впоследствии путешествовал по Алтаю самостоятельно.

¹⁷ Шуровский Григорий Ефимович (1803—1884) — геолог, изучал геологическое строение Урала и Алтая.

¹⁸ По (Поэ) Эдгар Аллан (1809—1849) — американский писатель.

¹⁹ Телль Вильгельм — легендарный национальный герой Швейцарии.

²⁰ Геснер (Геслер) — граф Брунек, наместник германского императора, отличавшийся жестокостью, по преданию убит Вильгельмом Теллем в 1307 г.

²¹ Боливар Симон (1783—1830) — один из руководителей борьбы за независимость испанских колоний в Америке.

²² Гвераци Франческо Доменико (1804—1873) — итальянский писатель-романтик, деятель революции 1848—1849 гг., автор романов «Битва при Беневенто», «Осада Флоренции» и др.

²³ Гамбетта Леон Мишель (1838—1882) — французский политический деятель, один из лидеров буржуазных республиканцев.

НА ОБЕТОВАННЫХ ЗЕМЛЯХ

(Из путешествий по Алтаю)

Там, где кончаются бесконечные леса и поднимаются высоко-высоко скалистые горы, где бурно бушуют горные реки и потоки, с белою пеной прыгая по камням, где простерлась неведомая никому пустыня, где-то там, за китайской границей, в непроходимых дебрях лежит загадочная земля, называемая Беловодье. Не знает этого места никто, не заезжает сюда заседатель, а между тем зашли как-то сюда русские люди и живут привольно. Много земли у них и угодьев, и нет здесь тягостей и тяжелого крестьянского горя. Есть здесь храмы, и звон колоколов будит звуками пустыню. Никто не знает Беловодья, знает его только раскольник и русский крестьянин, прокравшийся в него. Это миф о Беловодье, распространенный в южной Сибири, двинул русскую колонизацию к китайским границам.

Мы видим деревни и скромных крестьян у подножия снежных Альп, где крестьянство часто надевает на себя ткани китайского шелка, вымениваемые на границе. Кругом дикая природа, киргизы, китайцы, и тут же русская деревня, русский говор, русская песня, русский хоровод. Но не ограничились этой гранью русские селения. Нет-нет да и начнется попытка отыскать заветное Беловодье. Попадали русские крестьяне в бухтарминские и китайские города и были оттуда возвращаемы, бывали на озере Кукуноре, все отыскивая свое Беловодье. А есть ли такое Беловодье — бог весть. Тихо тянутся до последнего времени обозы переселенцев или новоселов, таинственно, скромно пробираются они мимо больших дорог в глубь Алтая, где встречает их и приковывает этот миф о каких-то заповедных землях, о какой-то мифической стране, и они плетутся все вдаль да вдаль...

А кажись, везде мест довольно, и какие места!

Когда мы въехали в северные предгорья Алтая, в долины рек Песчаной, Каменки и Ануя, мы поражены были красотой мест, обилием лугов и роскошью растительности. Перед началом предгорья раскинулись, точно малороссийские, степи, покрытые душистыми травами, цветами, с выступившими по местам перелесками. Когда мы любовались этой степью перед закатом солнца, мы видели вдали горы, подергивающиеся как бы легким туманом, голубую дымкою самой нежной вуали, а над нами аела легкая розоватость неба. Бесконечно зеленая равнина, клумбы березовых рощ с душистыми пасаками, бесчисленные стада, как точки, усеяли степь. Скрывавшееся солнце с золотым бордюром заполнило эту картину. Трудно передать то обаяние, какое производит эта даль, этот воздух. Когда спустилась ночь, горы как бы ушли вдаль. Долина наполнилась ароматом трав, а наверху зажглись серебристые звезды, яркие и большие, благодаря чистоте и прозрачности горного воздуха. Когда в горах нас заставляла ночь, грозные профили гор с лиственницами смотрели на нас угрюмо и таинственно.

Лиственницы выступали гигантами, цеплявшимися за нас руками. Иногда на небе сгушались тучи и только кое-где мелькали просветы, небо составляло контраст с темной долиной, в которую мы спускались. Вот тучи охватили небо, стало еще темнее, мы совершенно погрузились в темную бездну. Совсем беспросветная тьма окружала нас. Лошади плелись уныло, звякая колокольчиками. Один ямщик направлялся куда-то... Вдруг среди этой томящей тьмы зажглась искра. Вот она растет, вот и веселый костер около деревни. Это деревня Туманово, поставленная лет десять назад переселенцами-пермяками. Через четверть часа мы были в теплой избе этих обстраивающихся колонистов.

Убаюканные поэзией ночи, мы просыпались утром под ослепительным блеском солнца.

Чем дальше мы ехали и совершали перевалы из гор в долины, картина открывалась шире. Местами среди зелени обнаруживались каменные утесы, перевитые зеленью, иногда эти утесы представляли разрушенные замки и церкви. Около них били ключи и весело журчали речушки, пробиваясь между камнями. С гор спускались лиственницы, травы были в высоту человека. Горы выступали резче, и, наконец, показались «белки», горы с пятнами снега на вершине. Странно, во всех этих местах, проезжая по глухим долинам Алтая, повсюду мы встречали странников, плетущихся все вперед и вперед. Мы проехали весь Алтай, вот скоро уже снежные горы, вот поднялся неприступный хребет.

— Куда вы? — спрашивали мы странников и получали один ответ:

— Местов искать.

Иногда встречали пионеров-пытовщиков. Они шли по постоянным подъемам и спускам, где дорога столь утомительна, что на середине дороги приходилось менять лошадей. Часто измученные, в поту, в одних белых рубашках, с котомками, спускались они с гор с посохами в руках. Это были скорее какие-то подвижники, чем искатели счастья. Но на них смотрели сплошь и рядом совсем иначе.

— Ташутся куда-то, сами не зная куда, — говорили старожилы, недовольные тем, что новоселы не сторговались с ними, а шли далее.

— Черт их знает, куда лезут, — говорило начальство.

— За Чергой, сказывали, места хорошие, — говорили странники и все забирались дальше и дальше. Иногда на вопрос они топились вытащить паспорта, робко озираясь и говоря:

— Мы по паспортам, ваше высокоблагородие! — намекая этим, что они не бродяги.

Чем дальше странники-колонисты достигали этих мест, чем больше осваивались с привольем, тем более, кажись, они становились разборчивыми: «А дальше еще лучше, а за Чергой, скажут, хорошо». Остановиться сразу не хотелось, ибо выбор мест был большой.

Чем более они осваивались с этими местами, чем более всмат-

ривались в это приволье, тем менее им хотелось расставаться с ним. Иногда мы видели, как, пораженные этим привольем, этой тучной почвой, они подолгу стояли, опершись на посохи, устремив жадные взоры на этот девственный чернозем. Они облюбовали эти места и в то же время робко осматривались. Их охватила тайная робость и страх, что вот их погонят отсюда и не дадут высмотреть то, чего они жаждут. Эта робость и боязнь, как мы заметили, не оставляла даже поселившихся и обстраивающихся.

Раз в своем исследовательском усердии, равном разве усердию цивилизованной ищейки, я натолкнулся на общество, заставившее меня серьезно задуматься. Оканчивая объезд (приходилось уже расставаться с горами), при выезде из одной деревни я заметил, однако, за несколько верст от нее небольшую горную речку в долине, где стояли одинокие лачужки шагов пятьдесят друг от друга. Это была знакомая характерная постройка переселенца. Мне ужасно захотелось съездить к этому начинающему строиться поселку. Приказав ямщику с повозкой ехать по дороге, я имел глупость взять у него пристяжную с крестьянским седлом и поехал верхом к переселенцам-новоселам один.

Поселок стоял в стороне от дороги, окаймленной горами. Когда я на крестьянской лошаденке приехал в него, тут только понял всю странность и неожиданность моего появления в деревеньке. Из изб повысыпали робкие пугливые переселенцы. Они смотрели на меня очень боязливо, как дикари. Я слез с лошади, попросил напиток и начал любопытствовать. Ответы были односложные, сухие, взгляды все подозрительнее. Вскоре все начали расходиться, и я остался только с одним переселенцем. В самом деле, что такое был в их глазах человек, прибывший к ним внезапно с видом чиновника, на худой крестьянской лошади и пытающий их? Я объяснил свой приезд тем, что я любопытствую узнать, как живут новоселы. Но это их еще больше насторожило: «Разве любопытствует кто без дела?» Ведь крестьянин не подозревает, что есть такие несчастные люди на русской земле, которые в самом деле только любопытствуют крестьянское житье, не имея возможности принести ни капли ему облегчения.

Видя пугливость этих несчастных странников, выбравших себе эти места, я не принял во внимание, что большинство их начинает обстраиваться, когда они еще не приписаны, заселение их еще не утверждено, юридическое положение непрочное, и что переживают они в эту минуту самое мучительное состояние духа. На лицах можно было прочесть чуть не страдальческое выражение при ответах. Видя холодность приема, я начал прощаться и подошел к лошади, проклиная неудачу поездки. Вдруг позади я услышал глухой грудной голос:

— Ваше благородие, зачем ты сюда приехал?

— Просто посмотреть, как вы живете и давно ли здесь. Не говорите, так бог с вами,— сказал я сухо.

— Ваше благородие, ты недаром приехал,— послышался тот же голос. Это говорил оставшийся со мной новосел. Черные гла-

за упорно, вызывающе смотрели на меня, а на лице было какое-то болезненное, судорожное выражение, в котором сосредоточивалось мучительное пересиленное беспокойство.

— Ничего мне от вас не надо, добрый человек,— сказал я мягче.— Успокойтесь!

Но, конечно, я не мог рассеять подозрений и тронул лошадь.

— Ты землемер! — как бы почувствовав смелость, выкрикнул новосел и побледнел от собственной дерзости, вызванной чувством опасности, как и произнесением страшного для крестьянина имени.— Ты землемер, мы знаем,— повторил он грустно, и вдруг в глазах его заблестела такая мольба, какой я в жизнь не забуду: — Не губи! Не гони нас с местов!..— Он не упал в ноги, но стоял бледный, как подкошенный, как осужденный.

Я сошел с лошади и начал успокаивать бедных новоселов. Уверившись, что я ничего не имею против них, они рассказали мне свою горькую исповедь.

Как и все, они выбрали место на этой речке и поселились самовольно, не приписавшись к обществу, ибо с них потребовали по тридцать рублей за приемный приговор. Они развязали мощны, послали ходоков хлопотать об отводе земель: выйдет ли что — бог ведает, а пока томились в ожидании. Соседние крестьяне им беспрестанно угрожают и обещают донести на них. Вот с чем совпал мой приезд. Я старался дать совет, обещал никому не говорить об их поселке, ободрил их, как мог, и расстался дружественно.

Я был глубоко потрясен их судьбою.

Вспомнил еще одну встречу. Мы ехали в веселое и чудное утро по алтайской долине. Горные речки сверкали серебром, направо и налево выступают горы с клубящимися по ним облаками. Местами вырастали причудливые утесы, обвитые зеленью. С одной стороны спускались с гор хвойные леса, гребни гор золотились лучами солнца, лучи сверкали цветами, трава была роскошная. Вот выбежал ручей. По берегам его были видны сплошные кустарники жимолости, малины и смородины, усеянные гроздьями ягод; белый жасмин, колокольчики, лилии и желтые розы — все это напоминало бухтарминскую флору сибирской Италии. Цветы становились роскошнее. Я увидел целые поля, покрытые мальвами. Это был настоящий лес цветов. Они были лиловые и белые, в рост мой. Я выскочил из повозки, набрал целый пук цветов, образовав чудовищный букет, уселся с ним и смотрел в синеющую даль гор. Солнце сияло так ослепительно, все было такое праздничное! Никогда, моя родина, я не видал тебя более красивой! Я увидел тебя здесь весенней красавицей, украшенной мальвами, дикими розами, пионами, лилиями, я видел тебя с красотой твоих утопающих вдали гор, с богатством цветущих долин. Здесь ли, кажись, не воспользоваться твоими благами, девственная земля, здесь ли не создать счастья?! И вот в такой-то долине, в минуту моих восторгов, я был остановлен, пригвожден неожиданной встречей.

Как бы в контраст этой красивой, полной жизни природе, я увидел жалкую повозочку, затянутую рваной парусиной. В ней сидела худая женщина, а жалкую исхудалую лошадь вел в поводу пожилой крестьянин с повязанной платком головой. Надо было видеть, что это была за лошадь и что это были за люди. И лошадь, и хозяева, кажется, одинаково были изнурены. У лошади спина представляла сплошную язву, как будто ее расклевали вороны. Тучи оводов и мух садились и бередили спину несчастного животного. Я взглянул на упряжь: она вся состояла из худых связанных веревок и мочал.

— Старина, что это ты на такой лошади едешь? Она падет у тебя, — сказал я.

— Батюшко, — отвечал он тихим голосом, каким говорят только нищие, — одна и есть лошаденка, да вот и та заболела в дороге. Бабу везу больную, ходить не может, ноги распухли...

— А у тебя что голова повязана?

— От жары, батюшко, разломил.

— Что же вы не остановитесь нигде?

— Где, батюшко, остановиться-то... Надсадились. Из Расен шли. Пришли, кормиться нечем, все больные, так вот и подбираемся мало-мало по деревням. Авось до страды промаемся, а там наймемся работать...

Это были новоселы, истощившие свои силы, надсадившиеся.

Дойти до обетованной земли и среди этих привольных благословенных мест остаться нищим! Какая насмешка судьбы!

Но случается еще печальней конец. Бредет-бредет новосел за новыми местами или ходит-ходит, мается, ищет случая приписаться, борется со старожилами, которые с него запрашивают, ходатайствует перед горными властями, землемерами, словом, ведет эту процедуру года, хлопочет да вдруг и сгинет в этих поисках, так и пропадет, выпадет из списков — ни там, ни здесь. Может быть, он открыл, нашел таинственную землю, где можно поселиться без приписки, без паспорта, без землемера, может быть, он дошел в это мифическое Беловодье, где нет податей, а староверу и раскольнику веры не заказано. Недаром об этом Беловодье более ста лет слагаются мифы. Но где же оно? Вот за Чергою идет ряд хребтов, вот ущелье Чуи, Чуйские Альпы, вот вершины Катуня с вечными снегами. Дойдет переселенец до них, до этих белых вод, окрашенных песком морен, увидит эти водопады, эти неприступные скалы и ущелья, посмотрит на горных орлов. Не это ли желанные белые воды? Постоит он и повернет назад. А там в горной долине, глядишь, шел капризный скиталец да вдруг заночевал. Давно полдень, солнце залило долину, печет, а он все спит. Вечер наступил, прохладой повеяло, аромат трав несется, золотятся пурпуром вершины чудных гор незнакомого края, а он все спит, не просыпается. Что ему грезится среди этих волшебных мест? Не родную ли деревню он видит и зовет из нее родню на новые места, ставит дом — земля-то какая, место-то какое, вот где отдохнуть, вот где заживешься в доволь-

стве! Проехали мимо него промышленники, отправляясь на промысел, и, усмехнувшись, сказали: «Спит новосел!» Проскакала повозка чья-то. «Это что за человек?» — крикнул проезжий. — «Новосел спит», — сказал ящик. А новосел так крепко и сладко уснул, что ему не нужно и просыпаться.

Смотря, как мыкается этот человек в поисках за новыми местами, смотря на это вечное скитание и отыскивание чего-то, словом, озирая всю эту бродячую колонизацию, я часто задумывался и невольно спрашивал себя: «Где же лучше?» С этим вопросом я стоял у берегов обширных и прекрасных озер на привольной степной Барабе, смотря в туманную даль плавающих в зелени островов; с этим вопросом стоял я среди цветущих боров на берегу Оби, на благословенных местах Карасука; его же задавал я и там, где серебрятся вершины Алтая, любясь с высот бесконечно волнующими горами и широкими долинами; его я задаю и теперь: «Где же таится крестьянское счастье, под каким кустом залегло оно, под каким камнем оно запало, скрылось, притаилось?!»

Сибирский сборник, кн. 2. СПб., 1886.

МАЙСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Сибирская весна вступает в свои права медленно и осторожно. Холодные дни перемежаются оттепелями, и жаркие полдни сменяются холодными ночами. На полях и в лощинах, а в особенности в густом лесу лежит еще снег, только чуть-чуть подернулась легкой зеленью прогалинка. Кое-где виднеется первый выползший цветок, наш родной одуванчик-ветрянка; этот символ весны дорог для меня, несмотря на свой скромный наряд. Я знаю, что его сменил более красивый цветок, даурский рододендрон. Несомненно, весна возьмет свое. Так или иначе в природе вздохнут просыпающиеся силы, и в сердце забьется, замрет что-то сладкое, утешающее, ласкающее, дающее надежду. И если в душе также находятся просыпающиеся силы, если весна жизни стоит в гармонии с природой, то как в это время сладко и верится и любит. Весна севера для меня осталась и после долгих лет жизни, окруженная тою же поэтической суровой прелестью. Она под холодным покровом веет мне теплым лучом. Мне приходит в голову сравнивать ее с роскошной весной юга, с нежащим воздухом, с благоухающей ее обстановкой, с волшебными садами и чарующими красками. Зачем мне эти сравнения? Моя весна дорога мне была сама по себе.

Маленькая былинка тоже может вас радовать в это время, как и пышная роза, дело в настроении духа, в впечатлительности души. Я предугадываю, как теперь юность встречает весну, с какой живостью искрятся глаза ее, как она стремится в зеленое поле,

как страстно и немолчно бьется ее сердце. Но рядом я не могу не чувствовать той меланхолии, которую налагает жизнь на людей другого возраста. Ведь Генрих Гейне тоже живо чувствовал приближение весны и майский поцелуй, однако что-то смертельно-грустное веяло на него, и самый май был каким-то контрастом для него, точно поцелуй на челе мертвеца. Не один иней жизни и отошедшая пора чистых радостей играют здесь роль. Нет! При известных требованиях и в известном периоде сознания нужно, чтобы не одна природа давала весну, но человеческая среда и нравственная атмосфера общества.

Придет ли наша весна? Наступила ли она в нашем развитии? Когда я был молод, я видел повсюду эти признаки весны. Каждый развивающийся юноша с огнем в глазах, с жаром в сердце мне казался первым цветком и предвестием весны. Какой-нибудь маленький факт общественной жизни волновал меня и приводил в восторг. Я был тогда тем юнкером Шмидтом, который под влиянием юной впечатлительности, при падении осенних листьев готов был стреляться, а когда наступила весна, ликовал и расцветал. «Не печалься, лето возвратится, юнкер Шмидт!» — говорю я и теперь, когда встречаю разочарованного юношу. Так говорю я другим, но — увь! — сам уже не могу отдаваться вполне этому настроению. Я знаю, что весна различно действует на разные натуры и на самую жизнь. Один, как Гейне, закрывает темным сукном свои окна в мрачном настроении, он не хочет этой весны и ее бередящих поцелуев, когда в сердце черно, а Гейне был тоже затравленный журналист. Но не о субъективных впечатлениях хочу я говорить, так как до них нет никому дела.

Весенние впечатления различны до бесконечности, завися от субъективного настроения и окружающей обстановки. Первого мая каждый, может быть, последний бедняк, выходящий с гармонией и заваркой чаю за город, может казаться блаженным, каждый волен создать себе минутную иллюзию, но это будет все-таки мираж, иллюзия. Мне всегда рисуется резкий контраст встречи весны у городского и у сельского жителя. Городской житель ликует, стремится на муравку, преисполнен бывает сентиментальности и умиления перед природой и ищет прогулок, поездок, дач, развлечений, отдохновения и поэзии. Все, что напоминает весну и оживляющую природу, производит самое веселое настроение.

Не то селянин. Посмотрите пришествие весны в деревне. Только разве ребята около поскотины составят весенний хор и орут песни, в детской душе еще просыпается идиллия, но лица взрослых озабочены более, чем когда-либо. Надо готовиться к пахоте, нужны семена. Где занять их, где взять — вот вопрос. Скот изнурен, а его надо подтянуть. Нужны силы и вся полнота энергии, а человек надорван, он пережил жестокий кризис: хлеба не хватило уже в половине зимы. Масса забот стянулась к весне. Скот ходит изнуренный, подтянутый, ошалелый. Забота затуманила глаза. Ходит крестьянин, а тяжелая дума лежит на челе. Вот налажена соха, и он выехал в поле. Посмотрите на эту сгорбленную фигуру, на эти страшные физические усилия — до весенней ли идиллии

тут?! Жалкая сбруя, жалкая лошадь-скелет-одер. А между тем в этом коне вся будущность, весь залог существования.

Тоскливо смотрит крестьянин на поле. Когда-то бывали здесь урожаи, но теперь год от году менее, почва испахалась. Что-то будет ныне? Какая-то безнадежность схватывает душу земледельца. Он вязнет в сырой вспаханной почве, поскользнулся и конь.

— Ну, родимый, ну, коняга!

Конь тоскливо мотнул головой, напряг усилия, но силы истощились его, он затянулся и вдруг рухнул на землю.

Это был последний конь, два пало зимой. Мужик взглянул на него, кинулся, заохал, да так и присел на земле. Вся ужасная картина его личного положения, всей его семьи встала разом не столько в сознании, сколько охватила его чувства. Безнадежное отчаяние видно было в глазах хозяина.

На влажной земле, истощенный, издыхающий лежал конь, а подле него рыдал, неудержимо рыдал мускулистый крестьянин, припав к кормилице-пашне, которая теперь не даст ему более ничего. А кругом пробуждалась природа, лес начал выпускать листья, и голубое чудное небо сияло.

Сколько я припоминаю, когда я совершал длинные путешествия для наблюдения народного быта, среди ликующей природы рядом с яркими картинами, иногда среди обольстительной живописной обстановки в майские и июльские дни, я наталкивался на отрезвляющие сцены.

Помню тяжелое впечатление, когда я несколько лет назад ехал в дальнем захолустье, где ожидали проезда важного начальника. Местность была роскошная, напоминающая Забайкалье. Природа была мощная, гористая, и рядом прелестные долины, усыпанные цветами. Население в деревнях было оригинальное и такое же красивое и могучее, как окружающая природа. Это были раскольники, переселенные при Екатерине. Подъезжая к одной деревне, я услышал лаконические замечания: «Заседатель и исправник проехали». Видно было какое-то смятение, замешательство. Население смотрело на меня пугливо, недоверчиво. Только когда я сел в повозку, ко мне подошли старуха и плачущая женщина.

— Скажи, кормилец, можем мы жалобу подать?

— На кого жалобу?

— Да вот сына моего поставили около поскотины караулить, да он простоял день-то, а к вечеру-то живот подтянуло, он и поехал домой, а заседатель навстречу: «Ты как смел!» — ну и приказал старосте, его высекли, лежит теперь на сеннике.

«Высекли». Высекли взрослого человека, богатыря — меня передернуло. Целая сцена из мрачной деревенской жизни предстала предо мной.

— Молодуха-то кто ему? — спросил я рассеянно.

— Жена, батюшка.

Я ехал, а небеса и синие горы и цветы как будто потускнели, и глаза мои застлало каким-то туманом.

Помню и еще летний день, яркий, блестящий. Зелень была во всем цвету. Цветы выползали всюду. Я рисовал деревенский пейзаж

заж в альбом. К поскотине, где я стоял, подъехала телега, из нее вышла бледная исхудалая женщина. Она прямо подошла ко мне.

— Ты из России, батюшка, едешь?..

— Точно так.

— Скажи, сердечный, правда ли, что война будет?

— Ничего не слышать, матушка, а вам что?

— Да муж ушел в солдаты, жду весточки, не дождусь, не знаю где...— губы ее задрожали, она приложила руку, стараясь удержаться...— Изболела, измаялась, иссохла...— и вдруг слезы, как градины, посыпались на рубашку, на худую грудь... Женщины стояла, как подкошенная. «Солдатская вдова»,— подумал я.

И здесь — нарисовалась драма.

Такие летние сцены мне не давали отдыха, они отравляли наслаждение природой и затемняли весеннюю лазурь. Помню, что, встречаясь с переселенцами, я переживал с ними много. Помню дочь переселенца, девушку, под открытым небом метавшуюся в горячечном жару в телеге. «Простудилась весной: рыбу ловила»,— отвечал отец. Помню смерть ребенка у переселенца. На поле, тоже в чудный безоблачный день, завернули это маленькое существо в холстик и положили в повозку. Это была весенняя смерть.

Все это виденное и пережитое не [на] одну весну положило свою печать и не дает уже больше возможности нашему брату, наблюдателю жизненных коллизий, проникаться чистой поэзией и мечтать о деревенской идиллии. Там, где человек стоит ближе всего к природе, где может чувствовать более всего ее ласки, там он испытывает, однако, такую массу борьбы, несчастья, горя, что всякая идиллия отходит на второй план.

Если ты, городской житель, можешь оторваться от житейских драм и провести светлое майское утро im Grünen*, ты счастлив!

Желаем радостей и тем, кто, вынося одни юные, светлые и яркие впечатления, не успели еще подметить всю горькую иронию жизни и падающих слез на мягкую и роскошную зелень весны. Пусть дети по-детски встретят свою весну, пока жизнь дает им зелень, свет, яркое солнце, детский покой души! Пусть крепнут их силы, чтобы вынести ряд будущих впечатлений жизни и впоследствии бодрыми, нерасшатанными прийти навстречу человеческому горю, облегчить его, иначе сказать, жизненные силы природы, ее свет и солнце перенести в безутешный человеческий мир!

«Восточное обозрение», 1888, № 19.

ЛЮДИ ШЕСТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ

Было уже поздно. На улицах Москвы давно сновали экипажи и разносчики. Народ валил от Тверской.

* На лоне природы (нем.).

Василий Иванович давно встал, прочитал газеты и большими шагами ходил по зале, дожидаясь, когда встанет Мария Николаевна. Василий Иванович имел обыкновение заниматься лишь после завтрака. Он был человек обеспеченный, неслужащий и любил заниматься литературой. Он даже начал писать «драму», но так как произведение требовало обдуманности, выдержки, то она писалась довольно-таки медленно...

Писалась она обыкновенно между завтраком и обедом, то есть часов до четырех. С этой целью прислуге Фекле отдавалось приказание:

— Фекла, до четырех часов ко мне никого не пускать, слышишь? Я буду работать. «Надо кончать драму»,— прибавлял про себя Василий Иванович.

Но, к сожалению, лишь только Василий Иванович располагался в кабинете, медленно раскладывая свои письменные принадлежности, отыскивал тетрадь, куда-то запропадившуюся после последнего литературного вечера, собирался с мыслями, вспоминал действие, на котором остановился, как вдруг раздавался звонок.

— Кто там, Фекла? — озабоченно спрашивал он.

— Господин Подмылин вас спрашивают.

— Ах, Подмылин, он обещал занести мне новый роман. Проси!

Запрещение отменялось. За господином Подмылиным являлся г. Мылин.

— Ах, я ведь просил его зайти к книгопродавцу за справками,— вспоминал Василий Иванович.

Так шло время, а драма подвигалась весьма медленно. До 12 часов писать решительно не удавалось. К 11 или к 12 часам вставала Мария Николаевна. К ее пробуждению готовили кофе и завтрак; на другой половине дома сначала шла суета: таскали платья, накрывали на стол. Наконец, цветущая, свежая, с небольшой припухлостью век, вышла оборочительная Мария Николаевна. Она принимала в маленькой гостиной близких и знакомых. Все шли за стол.

На этот раз Мария Николаевна немного запоздала; накануне она была в театре и поздно легла. Василий Иванович ходил насупившись и на сей раз нетерпеливо ждал завтрака, так как второе явление пятого действия совершенно созрело, как готовившийся на кухне ростбиф, и решительно просилось на тарелку, совершенно готовое, в масле, с хреном, картофелем и всем подобающим.

Наконец, лицо Василия Ивановича разъяснилось, в маленькой гостиной зашумело платье, послышался говор и в *parant* к этому в столовой весело забрякали тарелки, а в воздухе пронеслась струя поданного жаркого.

Василий Иванович зашел в гостиную, взял под руку кого-то из юношей, и все пошли в апартамент, где на стене висел виноградный гроздь и какая-то птица, не то тетерев, не то фазан: художник, видимо, был талантлив, но не опытен.

Все утро за завтраком сначала шла обыкновенная светская

беседа. Говорили о вчерашнем спектакле, о приезде в Москву какого-то принца, о последней книжке вышедшего журнала, о смерти «еще одного» писателя (в последнее время господь их стал прибирать все чаще и чаще!).

Смерть этого писателя не была неожиданностью, [он] давно хирел. Однако всюду она произвела впечатление, как будто не ожидали ее, ибо внезапно не стало такого человека, такого ума, такой души, которая согревала общество, давала ему жизнь и импульс и без которого оно, это тело, т. е. общество, становилось не то, чтоб бездыханно, но словно без руководящего ума, обрекалось на какое-то сонное, вялое, будничное, довольно бесцельное и бессмысленное существование...

Странно! Собственно, умер представитель старого поколения, писатель шестидесятых годов, умер в престарелых годах естественной смертью — природа совершила свое дело. Много других его сверстников уже сошло в могилу... Да мало ли умирало писателей и моложе, но ведь не было этого ощущения.

Понемногу все почувствовали это, и так или иначе чувство это начало скользить в беседе. Старые и молодые, присутствующие на завтраке, как бы в одно слово сказали:

— Да, такого уже не будет!

— Да, такого не будет,— задумчиво, нараспев повторил хозяин.

В беседе участвовали представители нескольких поколений. Здесь был один седенький библиограф, лет за пятьдесят, много переживший и видевший на своем веку смерти разных писателей, больших и малых. С ним был другой, лет сорока пяти, тоже когда-то работавший в эпоху оживления вместе с покойным. Затем — молодой беллетрист, выступавший с романами газетного свойства, и, наконец, студент и юнкер, как представители самого юного поколения.

Старичок-библиограф приводил справки и данные о годе, дне рождения и местопребывании писателя. Сверстник вдавался в воспоминания эпохи и иллюстрировал характер покойного разными случаями из его жизни. По его словам, трудно было найти человека более сурового, резкого и угловатого и менее общительного, и в то же время со стольким количеством симпатичных, притягательных сторон, душевной правды, теплоты и искренности.

— Знаете, господа, я дивлюсь ему как мастеру; с суровостью анатома он клал человека на стол, резал его полосуи, забирался в его внутренности, чистил их, не обращая внимания на крики, вопли и брань, и, с беспощадным педантизмом окончив кровавую операцию, столь же спокойно шел умывать руки к умывальнику. В то же время все чуяли его глубочайший анализ, все видели, как он, чистя мускулы, постепенно обнажал нерв за нервом и показывал человеческий мозг и человеческую душу во всех ее извилинах...

— Все это не важно-с! И Толстой, и Достоевский, даже Гончаров обладали этим анализом художника. Нет, в этом представителе шестидесятых годов было еще нечто другое, это — то «живое

«слово», та живая мысль, которая сверкала, была струей и внезапно появлялась среди засыпающего и умирающего общества. Как к мерному бою часов, мы привыкли прислушиваться к звуку этого голоса в каждую нужную минуту, голосу, звучащему подобно трубе в час общественного суда.

Это был человек прошлого поколения, и никто лучше его не понимал современные недуги и современные потребности. Кругом люди портились, как гнилые яблоки, опускали руки, робели, а он стоял как железная статуя, оставаясь неизменным со своими традициями. Молодое поколение чувствовало к нему такую же близость и родство, как и поколение, пережившее и перемучившееся... То, что билось в душе у каждого, но не могло быть высказано, он говорил, как бы угадывая и накипавшее чувство негодования и накипавшие слезы. Что это была за тайна!

— Удивительно, господа, что и молодые и старые одинаково чтили его. Это у нас редкость,— сказал кто-то.

— Однако ведь это почти последний столп своего поколения, это один из последних могикиан. Кто же его заменит? Где наши таланты? Посмотрите наших беллетристов, художников...

— Да, производительные силы страны точно иссякли, нива жизни оскудела... Ведь перед этим расцвели же пышным цветом таланты, в которых со всею мощью выразился народный гений, и вдруг один за другим из всей этой плеяды сошли они в могилу... А нового не народилось ничего.

Начался разговор о том, куда уходят силы. Этот разговор сразу воодушевил общество. Раньше разговоры на эту тему были как-то сухи; сейчас драма ли смерти, или драма действительности, или чувствительность потери придали ему более задушевно-сти и откровенности. Юноши раскраснелись, а старики задумались...

В это время в сторонке уселся внезапно появившийся к концу завтрака человек. Это был Максим Максимыч, чудака и старый знакомый хозяина. По обыкновению, он запросто уселся за стол. Улыбнувшись на приветствие хозяина, он подвинул локтем юнкера и уже начал было есть бифштекс, но внезапно забыл о нем, положил вилку, ножик и начал ораторствовать. Прежде всего он подвинулся к старичку-библиографу и начал с воспоминаний.

— А помните похороны Мартынова в шестидесятом году? Помните, еще на них Курочкин имел столкновение с полицией, а Шевченко кому-то дал...* А Крестовский в студенческом мундире и с моноклем, ха-ха-ха! И тогда он был уже фат... Помните, когда несли по Николаевскому: «Шапки долой!» Еще генерал какой-то проезжал — остановили. Тот снял шапку и пошел за гробом... Знаете, мне сдается, что тогда и похороны-то особые были... Тогда точно не умирали, а венчались, что ли... Покойникам-то тогда весело было. Эх, господа, вы не знаете того времени и не жить вам так! Знаете, точно пасха была, колокола гудели, и всякий чув-

* В рукописи это слово неразборчиво. (Примечание Т. Фарафоновой.)

ствовал какое-то торжественное, блаженное настроение. Идешь, бывало, по Васильевскому острову — и студент, и мужик, и бу-тарь, — все это как-то светло и радостно высматривает, точно ждет чего-то. А колокола-то пасхальные гудят... да, гудят... Легко чувствовалось, воздуху-то, воздуху, бывало, сколько впиваешь, дышится свободно, грудь не теснит, никто не смотрит за тобою... Точно клетку отворили: «Живи, чувствуй!».

А как говорилось-то тогда, как говорилось! Из сердца лилось. Что на душе, то и выгружай наружу! И все были чисты, как ангелы, и каялись, и плакали, а главное — надеялись... Да, было время, вам не знать его! И вдруг потом, после этого-то времени, что ожидал, что совершится фокус: белое станет черным, а черное белым, что вылезут все эти тенета, весь этот гад... Каково же ему было смотреть-то на все это? «Мутит!» — сказал он как-то, когда я пришел к нему, и — больше не сказал ничего, но я понял...

«Восточное обозрение», 1904, № 126.

С 1902 по 1905 год Т. Фарафонтова публиковала материалы из архива Н. М. Ядринцева под общим заглавием «Из бумаг сибирского патриота».

К этому рассказу Т. Фарафонтова сделала такое примечание: «В одном из своих рукописных отрывков Ядринцев приводит свои личные воспоминания об эпохе 60-х годов; воспоминания эти он передает в форме беллетристического наброска, озаглавленного «Люди шестидесятых годов»... Рукопись эта относится, по всей вероятности, к 1889 году, так как в ней намечены отдельными штрихами воспоминания о только что скончавшемся писателе-гражданине, в котором по данной Ядринцевым характеристике трудно угадать М. Е. Салтыкова-Щедрин».

В ТАЙГЕ

(Летние впечатления)

Ну вот я, наконец, и в тайге. Фу! как хорошо. Высокие тенистые лиственницы, стройные, как мачты, ели, величественные сосны. В лесу темно, хотя кругом солнечный день, веет прохладой, мы едем по опушке, тропинка только заметна для проводников, под ногами ковер прелестных зеленых папоротников; выехали в какую-то топь, верховые лошади жадно хватают зонтичные растения и сочную траву; наклоня головы, они оттягивают поводья у всадника, который постоянно должен держать коня в дисциплине. А вот и в болото попали, едем по жердочкам, лошадь оступается, каждую минуту ее нужно поддерживать поводом. Стебли растений выше лошади, у нас видны только головы в разноцветных башлыках, лицо закрыто сеткою, это убор от moskitov и комаров. «Оригинально, точно черкесы или запорожцы пробираются на конях!» — думаю, улыбаясь, я, смотря на наш кортеж.

На поляне легкая рысь, в лесу сдержанный шаг, а кругом безмолвие пустыни, величественные деревья, царственная тишина!

Я чувствую себя превосходно на тощем, но бойком крестьянском охотничьем коне. Немного только странно: меньше месяца, недели две-три, как я гулял еще в Петербурге по Невскому в галошах, в кашне, недавно еще встретил гулянье в «Аркадии». Все еще так живо: музыка, электричество, острова, дача, но вдруг я в глухой, глухой тайге.

Как это случилось, я не успел даже сообразить, отдавшись просто личному влечению и порыву. Взяв себе отпуск из Петербурга, проехав до Перми на пароходе, далее по железной дороге, затем совершив плавание по Оби, я очутился на торной сибирской дороге в Восточную Сибирь между Томском и Красноярском. Скачки в кибитке утомили, я остановился для перепряжки лошадей в какой-то деревне, за нею синела темная старая знакомая тайга, меня потянуло к ней: я любил ее с детства. Экипаж мой окружили добродушные сибирские ямщики.

— Охотитесь ли в тайге? — спросил я.

— Охотимся на сохатых, на коз.

Я расспросил об охоте, рассказы разожгли меня.

— А далеко надо ехать — посмотреть на ваши ямы, куда вы коз да сохатых загоняете?

— Пустяки, барин!

— Однако сколько?

— Пустяки, сотня с небольшим верст.

— Ого-го!

— Ничего, рукой подать, — отвечали наивные охотники, привыкшие к расстояниям.

— То есть как же — рукой подать!

— Да вот две станции в сторону на лошадях ты сделаешь, вот шестьдесят верст и нету.

— Ну, а дальше?

— А дальше верхом утром выедешь, а вечером приедем к балаганам.

— И верхом, говоришь, по тайге?

— Да что тайга! Теперь любо по тайге проехать, может, и сохатого увидим.

«В самом деле, что такое провести сутки верхом, — пустяки», — подумал я, как человек бывалый.

В полчаса мы сговорились с охотниками-компаньонами, условились в цене за экскурсию, напились вместе чайку. Экипаж свой я оставил у писаря, а мы отправились в тележке тройкой, чтобы сделать скорее путь.

Один из охотников был высокий плечистый богатырь, лет 50-ти, но по виду 30—40-летний колосс, он держал старую сибирскую винтовку с рогулями-подставками. Другой был крепкий, как слитой из меди парень, не раз бивавший уже медведей, и третий только был тщедушный, испитой мужик, которому возраст было определить трудно.

— Неужели и этого возьмем? Он, кажись, у вас хилый!

— Что вы, барин, да он настоящий таежник, завзятый охотник, надежный человек!

— Ну, идет!

Мужики засуетились, сладили телегу, лошадей, кто бегал с бочонком, полоскал его, потом бегал в кабак. Я торопил.

Здоровые легкие кони скоро понесли нас в тележке по проселку.

Через несколько часов мы были в последней деревне около тайги. Я ночевал в маленькой, но чистенькой избушке. Старуха поставила самовар, дала прекрасных сливок, жалуясь, что «медведи только скотинку обижают». У крестьян был пшеничный хлеб, дали мяса, даже курицу изжарили. Чего лучше! Я отлично уснул, сделал 60 верст в тележке, и встал в 4 часа утра. Охотники уже седлали лошадей, сзади виднелись мешки и тюки. Таежники заложили халаты в шаровары, причем ноги представляли у них род бревен, на ногах были обутки, неуклюжие сапоги, на груди были пороховница круглая крестьянская, мешочки с пулями; палочки, мерки роговые, шило и масса мелочей. На поясу был нож у каждого и сзади рогатая винтовка,— точно охотники ехали с вилами на покос. Я осмотрел лошадь, седло и, закусив на дорогу, к 5 часам вскочил на седло, торопясь изведать давно ожидаемое удовольствие. Солидно, осматрительно вскарабкались на коней охотники.

— Барин, подтяни чембур-то! — делали наставление мне мои новые товарищи.— Конь добрый, таежный,— поощряли они меня.

Так мы очутились в тайге. Ее обаяние, повторяю, на меня сразу подействовало; несущийся запах трав с лугов, смолистый запах хвои ласкал обоняние. Кругом переливалась зелень: то темная совершенно, то сменилась веселыми березниками и лугами с ковром весенних цветов. На нежно-голубом ясном, прозрачном небе «лениво таяли белые облака», как говорит поэт. Чем далее, тем местность становилась девственнее, полная зарослей, свалившихся стволов, гнилушек. Лес здесь умирал естественной смертью. Местами обнаруживалась гарь. На этом пространстве, опустошенном пожаром, стояли еще местами пни, кое-где почва лежала под пеплом.

— Что, у вас часто горит тайга? — спросил я спутников.

— Часто, вот это недавно, а вот там горела в прошлом году,— указал на горизонт охотник.

— Отчего же горит?

— Ээ, отчего! Горит и от грозы, а то подпалит и наш брат охотник.

— Зачем же? Ведь вы зверя лишитесь, выгоните.

— Да известно, но иной поленится костер-то затоптать, а тут после него ветер и разгонит огонь. А пойдет огонь пластать, кто его удержит.

— И не тушите?

— Да где же тут тушить! — подивился моему вопросу охотник.

В самом деле, тайга горит на сотни верст, а в соседях две деревнюшки с двумя десятками семей.

— Когда выгорит — и конец, или дожди пойдут, прекратится огонь.

Мы выехали на прогалину, где пошел малинник.

— Вот место-то любимое ему.

— Кому?

— Да косолапому. Гляди-ко, Митюха, ведь, однако, он проходил, ишь, кусты обломаны. Лакомился, да и недавно, парень! — Охотники узнавали след. — Ах, паршивый! Вот бы его теперь встретить.

— Куда, он где-нибудь теперь верст за пять чешет! — сказали, улыбаясь, охотники.

Они знали, что медведь не будет ждать, он странник тайги, вольный вояжер.

— А помнишь, как в прошлом году Васютку медведица-то отчекрыжила — ведь шесть недель лежал.

— Люта! — ответил коротко другой.

Я стал расспрашивать, что было. Каждый из охотников не раз бил медведей, и поэтому рассказы были обыденны, лаконичны. Изредка при неудачном выстреле медведь пускался бороться и калечить охотника, но это уж сплахивал охотник.

К полдню мы достигли таежной пасеки (пчельника). На берегу ручья, среди веселого березника, за оградой из жердей торчали ульи и миниатюрная избушка. Нас встретила какая-то фигура в грязной рубахе. Это был отставной солдат и притом безносый. Мы въехали на пасеку на отдых. Пасечник тотчас отправился за свежими сотами и предложил мне посмотреть, как будет подрезывать. Я выразил опасение и надел сетку.

— Нет, ты не бойся, смотри, какая она смиренная, — говорил солдат, откупоривая в колодке отверстие.

Пчелы зажужжали, десятки их выпалили, но солдат брал их руками, бережно перекалывал, они ползли по руке, по его шее. Меня всегда удивляла эта смелость и привычка пасечников, мне казалось это просто фокусом, так как я не допускал мысли, чтобы пчелы не жалили, когда забираются к ним в улей. Но они не жалили, а только беспокоились и суетились.

— Один живешь? — спросил я пасечника.

— Один, сударь, да что! Ведь здесь хорошо, весело; смотри, какое место, лужок, ручеек.

И ни одной жалобы на скуку, на уединение.

— И безопасно, некому обидеть?

— Кому же? Людей нет кругом, а зверь, я его «кремневкой» запугаю.

Напившись из медного чайника чаю и усладившись сладкими сотами, полученными, однако, от весьма нечистоплотного и безносого солдата, мы направились далее. Тайга становилась глуше.

— Скоро ли доедем? — спрашивал я.

— А вот смеркнется — доедем.

Скоро наступили сумерки, повеяло сыростью, мы пробирались среди деревьев, покрытых мхами, в ложбинах журчали холодные ручьи. Было дико, неприветно. Еще час, два езды — и мы забрались в настоящую трущобу. Было темно, и я видел только окружающие меня гиганты-деревья с фантастическими очертаниями, простиравшими ко мне руки.

— Ну вот и балаган наш!

Я рассмотрел маленький навес, покрытый берестою. Запылал костер и осветил наш приют, в балагане был свой сервиз: берестяные ковшички для питья, даже ложки с ручками из обтесанных прутьев.

Кони спутаны, костер играет пламенем и бросает искры фейерверка, когда кидают свежий лес. Над костром уже греется чайник, привешенный на наклон жерди. Пахнет разложенным близ куревом из гнилушек. Вблизи лошади отмахиваются от комаров хвостами. Помню предо мною парня в сетке, как в маске, сидящего около чайника: фигура его в эту минуту живописна.

Усталость, однако, одолевает, все кажется как в тумане, я глотаю наскоро чай из какой-то жестяной посуды и, не дожидаясь ужина, который себе готовили охотники, начинаю дремать, закутавшись в легкий полушубок. В тайге вечером очень свежо. Изредка пред моими глазами мелькает костер, а там освещенный ствол, высокая фигура охотника-старика, винтовка, подвешенная на сучке балагана. Своеобразной поэзией веет эта таинственная ночь в недрах дикой тайги. Ни звука кругом. Усталый, я забываюсь здоровым мертвым сном.

На другой день, встав, я побродил с охотниками, осмотрел ямы, нарытые для ловли сохатого. Около части леса была сделана ограда с воротцами для входа зверя, у другого конца ограды два-три выхода, но здесь-то и были нарыты ямы больше сажени глубины, сверху они были замаскированы хворостом и землей. Сюда-то и попадал сохатый. Сначала он шел по загороди и, наткнувшись на воротцы, торопился выйти, но попадал в волчью яму. На дне ямы в виде колодца обыкновенно стояла вода. Зверь, попав, не мог выскочить: он бился, употреблял усилия и под конец истощал свои силы в холодной воде. Смерть была мучительная. Я как бы видел этого зверя, гордого, с ветвистыми рогами, в предсмертной борьбе.

Осмотрев место охоты и побродив в тайге, убив несколько тетерей, я совершенно был удовлетворен и предложил возвращаться.

— Прощай, родная тайга! Спасибо за те минуты, когда чувствовалось у тебя хорошо, вольно и спокойно.

«Восточное обозрение», 1888, № 31.

КАЛМЫЧКА

Мои детские воспоминания часто рисуют мне маленького друга, о котором у меня осталось самое нежное и в то же время самое тяжелое воспоминание.

Друг моего детства не походил на других моих сверстников и товарищей. Это было существо совершенно своеобразное и оригинальное, не подходящее к окружающему его обществу, чуждое ему, существо, к которому никто из окружающих не чувствовал ни расположения, ни симпатии, но этот маленький друг был близок и полезен для меня.

Я стал помнить себя в барском доме своего отца с раннего детства на дворянском положении. Нас окружала домашняя прислуга: дворня, няня, горничные и прочие. Мы жили в маленьком пограничном городе Сибири, когда-то бывшей крепости... Но полуразрушенная крепость и заржавленные пушки, в которые мы совали тряпки и камни, уверенные, что сколько ни зарядай их, так и не выстрелят, напоминали мне впоследствии крепостцу в «Капитанской дочке» Пушкина. Здесь также все было патриархально, а давно мирная крапива обвивала и застилала воинские бастионы, трубил здесь старый горнист только «на кашу», а барабан скорее укладывал спать, отбивая свою зорю каждый вечер, чем звал его на бой «воина». Самые воины, бродившие здесь, были в выцветших сюртуках нараспашку, без нашивок и погонов, какие-то отставные и заштатные. К городу не подступал неприятель, но его посещали дикие сыны окружающих степей, калмыки и киргизы, прогоняя баранов, проезжая на длинношеих верблюдах за покупками, и привозили разные продукты. От этого город в моих воспоминаниях носит полуазиатский характер.

Вот в этом городе и расположилась наша семья. Отец мой занимал здесь хорошую должность, и дом наш был обставлен всеми удобствами. Папаша чем-то начальствовал — сужу по тому, что к нему по праздникам являлись какие-то жалкенькие пригнетенные люди и скромно жались к печке, ожидая выхода отца. Они выпивали в большие праздники по рюмке водки, наскоро толкали пирог в рот и, не прожевав кусок, исчезали.

Мой кругозор, как и жизнь вращались преимущественно в детской, где я припоминаю себя сидящим на ковре и держащим в руках сломанного гусара на лошади. Мне казалось, что я никогда не был меньше, а как сидел на ковре с гусаром, так и родился. В это время подле старой няни я увидел маленькое личико, которое не походило на другие, оно было широко, уродливо сравнительно с нашими лицами, на нем были узенькие, как шелки, глазки, в которых светились угольки, волосы были черные, жидкие, щетинистые. Ее звали Калмычкой, и я научился ее так звать. Другого имени и впоследствии я не узнал, хотя она была крещена несомненно. Это маленькое, смешное и уродливое существо было поселено в нашей детской и имело обязанность помогать няньке и быть на посылках у всего дома. Самые черные и низшие услуги поручались Калмычке. Чуть работа грязна, неопрятна — всегда говорили: «Э, да приказать это Калмычке сделать!» Так на нее смотрели и домашние и прислуга. В детской няня поручала ей поправлять мою кроватку, убирать моего гусара, если я его оставлял на полу в небрежении, и т. д. Калмыч-

ка была покорна и беспрекословно все исполняла. Потом я понял, что это была маленькая раба. Как она появилась у нас, об этом я узнал от няни, но потом картина дорисовалась.

Около городка, бывшей крепости, кочевали калмыки. Когда у них был ужасный голод и люди умирали целыми семьями, не доставало пищи и особенно хлеба. В это время бедняки из киргиз и калмыков вывозили своих детей на казачью линию и охотно отдавали или, точнее, продавали их за мешочек муки. В городе я видел несколько таких калмычек и калмыков. Один из калмыков обрусел и, выросши, даже расторговался. Ходил он в сюртуке и, помню, приходил христосоваться, причем наши не особенно охотно выполняли этот христианский обряд, а отец непременно требовал, чтобы с ним перецеловались все горничные.

Моя Калмычка занимала меня более других. Находясь в детской, она разделяла все мои игры, и мы скоро сдружились. Если для всех остальных она была прислуга, то для меня она была спутником и поверенным всех моих тайн. Ей я вверял свою драгоценность — хромого гусара, если уезжал из дому, и коня, которого непременно требовал поставить в стойку, хотя это был самый невзыскательный из всех коней на свете. Я скоро привык к Калмычке, ее уродливое лицо не производило на меня никакого впечатления, я его находил, как и все другие лица, обыкновенным, оно было даже приятно иногда, оно смеялось, бывало пасмурно, как и у других. Я научился читать в этих глазах ласку. Калмычка разделяла все мои затеи, ибо была, во-первых, такой же ребенок, как и я, во-вторых, она не видела от меня ничего дурного. Когда ее обижали, она приходила, садилась на сундук и пасмурно смотрела. Слез я не видел у нее, когда ее даже били, — так привыкла она к обидам.

Я делился с Калмычкой лакомствами за ее ко мне чувства, конечно, обделяя тем, что привлекало мой аппетит. Раз, рассердившись на какую-то непочтительность ее к моему гусару, я схватил Калмычку за жесткие волосы. Она вырвалась, отошла и села на сундук, сумрачная и молчаливая. Целый час я не мог ее дозваться играть, и нас примирила только няня, сказав мне:

— Ты, миленький, не обижай Калмычку, она сирота, ее и так обижают...

— Сирота — это значит, у нее нет папы и мамы? Да, няня? А где у нее папа и мама?

— Далеко, милый, в степях, может быть, умерли; она нам отдана.

— Зачем отдана, няня?

— А вот мы ее вырастим, замуж отдадим.

— Я не отдам, я не хочу, Калмычка моя, — заявил я как собственник.

Проходило детство, рос я, росла и Калмычка; ее широкое и приземистое тельце становилось полнее, но рост слабо подавался — росла только голова, не терялся смуглый цвет лица. Меня

начали учить, я возился с азбукой. Начав разбирать слова, я не мог не поделиться с Калмычкой. Она быстро запоминала буквы. Мне понравился этот товарищ, и я не замечал, как она быстро запоминала и усваивала. Мать, заметя раз, как Калмычка возится с моей азбукой, вырвала ее и ударила Калмычку:

— Как ты смеешь брать барича книжку?!

Калмычка села на сундук, задумалась.

Я объяснил матери, что мне веселей учиться с Калмычкой, и тогда мать стала снисходительней, но Калмычка не брала моей азбуки в руки никогда.

— Это твое,— говорила она.— Я посмотрю издали, я понимаю.

Я начинал читать сказки, и Калмычка слушала. После обеда мы уходили с ней играть в сад. Там, в тени, среди чащи, я, не знаю почему, изображал из себя разбойника, никогда не готовясь к этой профессии. Калмычка должна была иногда изображать мирного обывателя, к которому разбойник вторгался, также выполнять и роль полиции, ловить меня. Сколько я помню, Калмычка была самой снисходительной для меня полицией, ибо находилась в полном моем распоряжении.

Скоро я сделал весьма приятное открытие. Мне объявили, что я с отцом еду в другой город и буду определен в гимназию, что мне дадут мундир и я буду приезжать к родителям на лето. Это привело меня в восхищение.

— Калмычка, я поеду учиться в гимназию, мне шьют мундир, у меня будут свинцовые пуговицы... Я после, быть может, буду гусаром,— почему-то решил размяться я и заглянул в блестящую перспективу.

Но как только я обнаружил такой порыв воображения, к удивлению моему, Калмычка взяла меня тихо за руки, посадила в сад под тенистое дерево, где мы играли, и, устремив на меня свои угольки, сказала:

— Нет, ты не уедешь, ты не уедешь, я тебя не пущу...

Я помню ее сосредоточенное и решительное лицо.

— Я тебя не пущу,— повторила она и стиснула мои детские руки.

— Нельзя, Калмычка! Ты пойми, что мне шьют мундир, это будет очень хорошо... В гимназии будет много товарищей, мы будем играть в разбойники. Наконец, у бабушки, где я буду жить, будут вечера, танцы. Нет, Калмычка, мне непременно надо ехать, и я хочу в гусары, я мальчик.

— Я не останусь без тебя,— сказала так же решительно Калмычка.

— Куда же ты? Со мной нельзя.

— Я одна уйду, здесь не буду...— сказала она так же серьезно.

Я не стал спрашивать Калмычку, куда и зачем она уйдет, ибо нас в это время позвали.

Я уехал в гимназию, подарив Калмычке изломанного гусара, коробку от конфет и несколько этикеток, которые мне были не

нужны. К удивлению, она не обратила внимания на мои подарки, не выказала признательности... Она сидела хмурая и недовольная.

Меня увезли в гимназию. Через месяц я узнал от бабушки, что у нас по отъезде было событие. Калмычка пробовала бежать, но ее нашли. После, приехав на вакации, я узнал подробности, хотя и не от Калмычки. Через день после моего отъезда она исчезла. День ее не искали, но когда прошли сутки, за ней посланы были розыски.

В городе ее не было. Но кто-то встретил ее в степи. Это передал приехавший знакомый киргиз. Куда шла девочка, он не знал. Калмычку нашли через неделю. Она была исхудалая, дикая, и чем она питалась — неизвестно. На вопросы она не отвечала, да и никто не интересовался, что побудило ее бежать, ведь она была дикая. Калмычку больно наказали и внушили ей, что она собственность своих хозяев, и если еще убежит, то не так с нею поступят. Калмычка смирилась.

Я застал ее выросшую, но похудевшую. Ее так же заставляли выполнять все черные работы, но для праздников сшили ситцевое платье. Калмычка была покорна, но молчалива. Ее звали злющей, хотя она ничем не выражала гнева, не разговаривала с людьми, которые обижали ее, а только упорно сидела часами. К этому ребенку-рабу не проявлялось ни у кого нежности, и она сама ни к кому не питала никакого чувства. Она носила все в себе, в себе сосредотачивала. Я после только раздумывал, какое ужасное детство пережила эта детская душа, обреченная на безмолвие и одиночество.

Когда я воротился из гимназии, наши прежние отношения уже не восстановились, дружба была навсегда порвана. Калмычка даже не отвечала на мои вопросы: зачем ты бежала и как скиталась. Она смотрела на меня холодным взглядом, и угольки ее не теплились. Я не мог привлечь ее внимание даже рассказами о гимназии. Правда и то, что моя жизнь, как подросткового мальчика, уже не укладывалась в жизнь детской, она парила теперь над голубятней.

Когда мне было шестнадцать лет, я явился на вакации блестящим юношей, я похорошел, на мне был изящный мундир и даже подаренные бабушкой часы, правда, старинные, луковичной формы, но все-таки часы. Я уже танцевал и делал визиты.

Калмычка оставалась в черном теле, она слабо росла, только голова увеличилась и скулы выдвинулись, глаза были такие же узкие. Она теперь постоянно ходила в ситцевом платье и исполняла роль горничной. Вид ее был такой же послушный, на нее не жаловались, но она была так же дика и молчалива.

Раз я присутствовал при следующем разговоре отца с матерью, и таким образом был свидетелем, как решалась весьма важная минута в жизни моей прежней любимицы.

— Иван у нас решительно выбился из рук,— говорил отец о нашем кучере, старике лет пятидесяти с лишком, который был верным слугой, хорошим конюхом и у которого был один недо-

статок: в праздничные дни в самую нужную пору он не мог запрячь лошадь. Не то что не хотел, он ужасно хлопотал, вывёл лошадь, тащил сбрую, но лошадь у него не попадала в оглобли, хомут одевался сзади. Словом, все не ладилось, чем больше он усердствовал. В это время он был красен, пыхтел, был черезчур разговорчив. В то время, когда он сердился, негодовал, меня забавляло слушать уверения Ивана о том, чтобы господа не беспокоились, что он заложит лошадь лучше, чем когда-либо, и при этом брал ту или иную неподходящую вещь, проводил не туда лошадь и беспрестанно спотыкался на оглобли. Иван позволял себе в праздничные дни после обедни быть «у праздника». Впоследствии это разлилось у него в запой. Отцу не хотелось прогонять Ивана, он был хороший кучер, когда бывал трезвый. Наконец, у отца явился остроумный план.

— Знаешь что,—сказал он моей матери,—я думаю, нужно, чтобы Ивана взяла в руки какая-нибудь баба и не давала ему так погуливать. Я придумал его женить.

— На ком?—спросила изумленно мать.—Кто пойдет за Ивана?

Отец загадочно улыбнулся.

— Я думаю,—сказал отец,—женить его на Калмычке. Она молодец, с характером, с ним управится. Мы потребуем, чтобы она исправила Ивана. Ведь Калмычку все равно никто не возьмет замуж...

— Но ведь он стар,—сказала мать.

— Пустяки!—сказал отец.—Тут ведь не для детей брак, не по привязанности. Он смиренный мужик, но его надо подтянуть.

Почему отец решил, что жена исправит Ивана, я не знаю. Я не мог вмешиваться в этот интимный щекотливый разговор. Знаю, что по отъезде моем Ивана женили на Калмычке, представив ему все выгоды этого брака. Знаю, что Иван был в день брака в новом кафтане, что он был жестоко пьян, был пьян и на другой день, и Калмычка запрягала за него лошадь. Весь вопрос был у нас в хозяйстве—запрячь лошадь: отец сам иногда правил.

Иван, оказалось, не только не исправился, но загулы начали повторяться чаще. В это время он Калмычку не звал иначе, как «черт», «дьявол», «калмыцкая харя» и т. п. За все это она должна была выполнять его обязанности. Наконец, раз решили нарядить Калмычку кучером, отдали кафтан, надели шляпу. Сначала расхохотались этому маскараду, но посадили на козлы, и ее было трудно отличить от мужика калмыка, так как последние были тоже без бороды. Словом, это был калмык-парень, какие и у других служили в кучерах. Так Иван передал свою профессию жене, а сам только дирижировал и иногда подходил потрепать коня. Отец пробовал давать нагоняи Ивану, но он опустил совсем. Ему перестали давать жалование, а только кормили. Изредка рубль давали Калмычке.

Прошел год. Я приехал прощаться с домом, с родителями. Я

должен был ехать в столицу. Обошел сад, был под той черемухой, где мы в детстве играли с Калмычкой.

— Где же она?

Я вышел из сада и встретил работника.

— А что, Калмычка все кучером ездит?

Работник взглянул на меня вопросительно:

— А вы разве, барин, не знаете?

— Нет, ничего не знаю.

— Ведь она давилась.

— Как так?

— Очень просто. Иван-то стал было ее поколачивать, известно, пьяный человек. Вот мы приходим раз в завозню, смотрим — она, горемычная, на вожжах висит, значит, через пряслину-то, где сеновал...

Я перестал слушать и вернулся в сад. А родной сад так же шумел, и все мне в нем веяло детством, свежими цветами, первыми впечатлениями. Тогда передо мной встало опять это милое уродливое личико ребенка с маленькими угольками, которые смотрели на меня с любовью и лаской. Руки ее крепко держали мои детские руки. Теперь только жалость шевелилась в моем сердце, и я почувствовал как бы упрек за то, что я не отплатил ничем бедной Калмычке за ее ласку во время моего детства.

Мне хотелось сходить на ее могилу. Но что скажут обо мне окружающие, если я пойду ее отыскивать? Я должен бояться показать ей сочувствие даже после смерти. Я, единственный друг ее, должен был скрыть свое человеческое чувство к ней.

«Восточное обозрение», 1897, №№ 3, 5.

Когда написан рассказ, установить не удалось. Вероятно, между 1885 и 1890 годами.

ИЛЛЮЗИЯ ВЕЛИЧИЯ И НИЧТОЖЕСТВО. РОССИЮ ПЯТЯТ НАЗАД

Было время, когда Россия казалась Европе каким-то колосом, который ее удивлял и устрашал. Европа не знала ее сил. Что-то грозное, загадочное казалось ей на Востоке европейского мира и на границе азиатского. Это нечто все более и более разрасталось, и казалось, конца не было расширению его владений. Точно так же для Европы был загадочен и своеобразен склад этого народа, начавшего формироваться в большое политическое тело. Отсутствие поземельной собственности у крестьян и общинные формы, открытые Гакстгаузен¹, склонность к артельности, ассоциации бросили совершенно особый свет на будущность этой страны. Ее развитие казалось оригинальным и настолько своеобразным, что можно было допустить предположение, что цивилизация здесь получит особое проявление и европейский идеал, слившийся с этими формами, даст неожиданные плоды.

В противовес европейским политическим союзам зародилась на Востоке идея панславизма², заставлявшая Европу беспокоиться. Общинный поземельный быт, русский крестьянский мир как бы осуществлял уже формы европейского социализма. Он приводил в восторг русских идеалистов³, и они тыкали им Европе в глаза, услаждаясь, что мы перерастем ее. Затем грозная колониальная политика на Востоке и в Азии, постепенное наступательное движение к Индии заставили задуматься даже англичан. С одной стороны, покушение на Константинополь, а с другой на Индо-Китай — шутка сказать! Наконец, владения от берегов Северной Америки до Балтийского моря, от Лапландии до Хивы могли соперничать даже с английской колониальной империей и с Испанией в самое цветущее время. Народ исторически молодой, жадно схватившийся за европейскую цивилизацию и в лице Петра I, Екатерины II и Александров I и II, обнаруживший западные симпатии, давал надежду, что это полуазиатское государство обещает быть настолько же просвещенным и европейским, как и другие народы. Не обнаруживши особенно живых наклонностей к парламентаризму и не ушедши далеко в просвещении, загадочный славянский мир дал ученых, поэтов, имена которых не безызвестны стали Европе; гораздо живее обнаружилась в нем восприимчивость к европейской технике, и Россия оцепилась весьма быстро железными дорогами, в европейском смысле дававшими задатки к промышленному прогрессу. Такова была Россия еще недавно в глазах европейца.

Время, однако, шло, и Европа уже из одного чувства самосохранения должна была изучить грозного соседа, а также измерить его силу. Прошло несколько лет, и, странно, Европа уже не боится своего грозного соседа. Крымская и затем турецкая войны обнаружили, что сосед если силен и многолюден, то далеко не искусен и весьма мало опасен⁴. Какая-нибудь Пруссия может показать гораздо более силы и искусства. Русский генерал как индейский петух только напускает на себя важность, но его стратегемы дальше Николаевской Академии нейдут. Идеи панславизма не пугают никого, в них не верят, и сами они оказались вздором.

Ходили к «братушкам», волновались, шумели, и в заключение их продали и обругали. Идея панславизма еще менее имеет значения по применению к загубленной Польше, которая ненавидит Россию, несмотря на племенное родство⁵. Славянское государство включает вдобавок такие инородческие элементы, начиная с остзейцев, финнов и кончая монголо-татарами, что назвать его чисто славянским не представляется никакой возможности.

После освобождения крестьян община сильно изменила свой склад, выдвинулось кулачество, появились обезземеленные крестьяне и в России обнаружился тот же аграрный вопрос и безземелье, которое считалось только язвою Запада. Община на экономическом пути не сделала прогресса, она дальше от ассоциации, чем европейский крестьянский мир. Крестьянство так же отстало

в культуре, как 100 лет назад, бедно, как было при крепостном праве. Идеалисты начали разочаровываться в общине, и вместо общинников появились марксисты⁶. Европу также не удивило теперь общиной, в которой она видит весьма первобытную форму. Взятие Константинополя и поход на Индию оказались праздным пустозвонством. Прапорщик хотел уничтожить «турку»; пропал, думал, «турка». Но он не пропал.

Азиатские владения: Туркестан, Амур и Забайкальские приобретения дают государству убыток и обессиливают его бюджет. Наконец, приходится постоянно опасаться за Амур и приносить ему жертвы. Обширные азиатские владения стали помехой⁷. Что же остается от русского величия? Была вера когда-то в русскую национальную идею и славянофильский идеал, но славянофильство с последними могиками, Аксаковыми⁸ и Самаринскими⁹, отжило свой век; нео-славянофильство в русской печати даже не славянофильство, а глупое самодовольство, поощрение всяких предрассудков и презрение к другим народностям, исходящее не из силы, а из невежества, свойственного варварским нациям¹⁰. Русское западничество и стремление к европеизму также потерпело крушение со времени реакции 60-х годов. Все, что приближало Россию к Западу — реформы царствования Александра II, то сознано «ошибкою». Машина дала задний ход и неизвестно куда двигается; теперь это поезд без разумного машиниста и с множеством тормозов, которые, однако, не предупредили крушения царского поезда. Словом, старые иллюзии совершенно исчезли; во внутренней жизни обнаружился азиатский застой¹¹. Чем же теперь хвастаться перед Европой и где прежний богатырь? Покойный Щедрин прекрасно изобразил этого богатыря. Богатырь лежал в лесу, и кто его видел, дивился его росту и комплекции. Вот где силища-то, говорили! Слухи о богатстве богатыря даже в чужие земли проникли. Но вздумалось кому-то подойти поближе и коснуться богатыря. Глядь, а он давно иструх: голова отвалилась, руки тоже. Вот этот-то богатырь, которого давно изъели муравьи и всякие гады, богатырь, от которого осталась только труха, — это и есть нынешняя Россия¹²!

Понятно, что Европа перестала теперь интересоваться этим Голиафом на глиняных ногах. Русских газет за границей не читают, русских книг даже в магазинах нет. Для Европы — это большая азиатская страна, восточное королевство, в котором нет ничего, что бы заинтересовало европейца и связывало жизнь с Европой. Даже интерес скандала и тот утратился. Кто не знает, что в Китае китайщина и бамбуки, в Турции шнурок, а в России полицейские палки и розги. Но если Европа, живя своей жизнью и питаясь своей культурой, может забыть о существовании России, то не мешает русским людям подумать, чем стала эта империя, что стало с ее величием и какой исторический момент переживает она.

Николаевская Россия исчезла и не возвратится, она исчезла вместе с обаянием силы. Александровская обновленная Россия

также исчезает и стирается. Чем же характеризуется настоящая эпоха, какое название дать ей?¹³ Мы видим, что это эпоха застоя, разложения и внутреннего и внешнего бессилия. Если можно выразить одним словом положение России, то это слово будет «ничтожество». Такова она для Европы, такова она для всякого образованного человека.

После величавых, так или иначе, мечтаний славянофилов, после пережитой эпохи национального николаевского шовинизма, после недавнего периода освобождения крестьян и реформ явился период, который не только не являет какой-либо высокой идеи, определенного мирозерцания, цельности и целесообразности, но отличается полным отсутствием каких-либо исторических и общечеловеческих идей и стремлений и наполнен только внутренними противоречиями и всякими непоследовательностями.

Чем, например, стал русский национализм и славянизм, который выразился рьяно в ненависти к немцам и Германии и который кончился трусливейшей политикой и чуть не заискиванием у немцев? В чем выразилось пристрастие ко всему русскому, ознаменовывающее нынешнее царствование? Не выразилось ли оно только в поддевках да барашковых шапках и костюмированных балах при дворе в русских охабнях? Но разве это идея? Ненависть к другим национальностям, стеснение немцев, покушение лишить Финляндию ее прав, обрусение Литвы и Польши, стремление ввести там русский язык и дать первенство православию*, — вот, нам скажут, чем ознаменовывается русская политика. Но любопытно знать, из каких расчетов вытекает эта травля разных иноверцев, живущих в империи. Чем и какой идеей вызваны эти лестные для русских подданных названия: полячишки, жидишки, немчурки, чухны и т. п. Но под этим презрением скрывается не столько сила, сколько бессилие. Бессилие это выражается, во-первых, тем, что эти национальности продолжают существовать, но государство, вместо того, чтобы быть терпимым и создать себе друзей, создает внутри себя врагов, постепенно раздражая и стесняя национальности. Что же, это клонится к самоусилению или к самоослаблению? В этом отношении наша национальная политика как раз отступила от исторической политики, политики, которая создала могущество и которая присуща была величию. Присоединенные части государства и иные племена и народности нуждались во всем мире в терпимости, в гарантии человеческих прав и в ограждении этих прав законами. Государство им это гарантировало, и это была государственная политика. Как же назвать политику совершенно обратную? Есть ли она национальная или антинациональная, т. е. идущая вразрез с интересом государственной России? Мы думаем, что она такая и есть, т. е. расходящаяся и с здравым смыслом и с историей.

* Борьба против немцев и евреев кончилась весьма комично. Немцы остались на всех высших местах, а евреи — теми же банкирами. Гонение немцев озлобило только Остзейский край и превращает его в Польшу. (Примечание автора.)

Эта забывчивость, незнание и игнорирование своего исторического прошлого, ряда опытов и исторической мудрости есть характерная черта нового времени. Умные государи и государственные люди не желали раздражать присоединенные народности, они сохраняли за ними некоторые права. Вот откуда вытекло сохранение льгот Финляндии, ее конституционных прав, отсюда вытекла защита и покровительство разноплеменным инородческим племенам, уже покоренным. Даже московские цари в своих приказах воеводам повелевали не разорять покоренных новых подданных. Екатерина II, имея понятие уже о европейской колониальной политике и желая привлечь симпатии разных племен, вызвала депутатов от инородцев в законодательную комиссию. Правительство желало оставить свободу культа и веры язычникам, магометанам и буддистам, так как гонение на веру самая опасная вещь и может раздражить более всего народности. Правительство понимало прежде, что, присоединив разные племена, чтобы они не отложились, не стали искать покровительства у соседей и не соединились с врагами, нужно дать ручательство этим племенам, что их верования и обычаи останутся неприкосновенными, что они найдут покровительства у России более. Нужно было показать финляндцам, что Россия будет более другом их, чем Швеция. Чтобы предупредить влечение к магометанскому центру в Азии и к Китаю среди турок и монгол, правительство дало льготы муллам и другим представителям инородческих культов. Оно создало им центры и иерархии внутри России, чтобы предупредить внешние влияния и влечения. Все это был прямой государственный расчет и здравая политика самосохранения, предупреждающая распадение государства и бунты¹⁴.

Теперь внезапно все это признано политикой слабости и ошибками. Современные государственники, не поняв даже смысла истории, раскритиковали и осудили, что не в состоянии были понять. Явилось желание уничтожить культы, дать ход одному православию и обрусить инородцев. И это желают так поступать не с одними беззащитными инородцами, полудикарями, язычниками. Нет! Это требование начало предъявляться и к христианам других исповеданий, и к католикам-полякам, и к немцам-реформатам, не говоря уже о гонениях на несчастных мулл, раввинов и т. п. Русское правительство забыло и не понимает, что культы не уничтожаются приказами и гонениями, оно не имеет понятия, с какими верованиями оно вступает в борьбу.

Оно не знает, что даже ханы монгольские, покоряя народы, были терпимы к вероисповеданиям и, создавая политическое могущество, оставляли веровать всем по-своему. Вооружив давно [против себя] католичество, у нас теперь начали травить пасторов, ожесточать магометан. К чему это поведет в политическом отношении, предоставляем судить людям со смыслом, но что это не поведет к торжеству православия и к поднятию значения русского попа, далеко не стоящего на высоте своего призвания, это несомненно. Даже языческий мир замыкается под влиянием гоне-

ний, а не только высшие осмысленные культы. Где нет духовного преимущества, нравственной чистоты, силы идей, там искусственными мерами понуждений и гонений ничего не сделаешь.

Покушение обрусения и привития языка явилось столь же малоосмысленным и грубым: заставить народы и племена изменить язык,— это задача, перед которой спасуют все лингвисты на свете. Века проходят, и народы, изменяя даже расу, сохраняют язык. Русские новые обрусители не так думают. Они не рассчитывают на воспитание, на силу образования и на те культурные средства, которые применяли другие народы. Перевоспитать и повлиять на народы в духовном отношении может только цивилизация; чтобы народ усвоил и принял другой язык, нужно, чтобы в нем находились культурные преимущества. Почему австрийские, немецкие славяне воспринимали немецкий язык? Да потому, что цивилизация немцев была выше и здесь находился целый источник духовного развития и образования, от которого отворачиваться нельзя. Но что даст Россия остзейцам, финляндцам, полякам, влечение которых создано к европейской цивилизации, а не азиатской? Чем подкупит их Россия? И какими грубыми необдуманно проведенными мерами проводится это обрусение, какими выходками оно сопровождается! Для того, чтобы убедиться, достаточно просмотреть циркуляр попечителя в 1891 г. к остзейцам по поводу введения русского языка в школах. Во-первых, все это приказано сделать в три года. «Предписываю вам» и т. д. По истечении этого срока еще публикуется предостережение, что все учителя, не выучившиеся по-русски, будут изгнаны. Затем весьма смело и деликатно высказана следующая истина: кто не выучится русскому языку в три года, тот покажет свое тупоумие и неспособность к образованию. Вот как! Заметьте, что это требование применено там, где население говорит только по-немецки и напрактиковаться среди этого населения по-русски не представляется никакой возможности. Но для русского администратора все кажется возможным, потому что и от языкознания он требует ефрейторского послушания. Что если бы такое требование было предъявлено наоборот к русскому человеку, ну хоть во время монгольского нашествия: «не выучиться монгольскому языку, означает *тупоумие*!» Не слишком ли уже пересолили? Зато все знающие русский и не знающие ни одного иностранного языка, бессомненно, люди, наделенные всякими совершенствами. Никогда еще национальное самообольщение не доходило до такого абсурда. Торжественно напыщенное провозглашение таких истин вызывает только взрывы гомерического хохота у немцев.

Пренебрежение ко всякому другому языку и литературе вытекло из начавшегося чуждения от всего европейского и западного. И здесь совершен полный разрыв с прошлым, с стремлениями Петра I, Екатерины, Александров I и II, а именно самых образованных государей, желавших сделать Россию европейским государством. Все западное и европейское стало ненавистно только потому, что оно западное и европейское. Все формы западного

быта, все, что пробовали привить реформы Александровского времени, все это сочтено ложным, ненужным русскому человеку, который как бы идет своею дорогой. В этих антизападнических и антиевропейских предубеждениях упущено из виду только одно: западная культура и цивилизация привлекала русского образованного человека не потому, что она *западная* и *европейская*. Предполагается новыми мудрецами, что Россия сто лет действовала по такому глупому подражанию. Между тем западная и европейская культура была дело общечеловеческое и мировое. Другой нет культуры и цивилизации. Европейская цивилизация удовлетворяла общим человеческим стремлениям и инстинктам. Вот в чем были ее преимущество и обаяние. Начало и принципы этой цивилизации были и есть инстинктами всякого народа, но только в Европе они получили определенную формулу. Эта формула включает вообще право человека, его стремление к свободе, к развитию, к прогрессу. Отречься от европейской цивилизации значит вообще отречься от цивилизации человеческой. Вот что стало девизом и гордостью азиатской России.

Но любопытно знать, к чему же это поведет, какие новые пути цивилизации откроет Россия, каковы ее неисповедимые пути, чем она гордится и что она совершила в области культуры. Старые идеалы и иллюзии славянофильства и панславизма, как мы сказали, пали, вера славянского идеализма и русского социализма тоже утрачена; в нее не верят радикалы и ее страшатся консерваторы. Западничество оплевано, что же остается. «Где же твой идол стоит?» — спросим словами поэта? Кто тот могучий гений, который открыл новые пути России? Катков, гр. Толстой, Победоносцев¹⁵, или все это лежит в сердце Дурново¹⁶ и известно только в канцелярии Министерства Внутренних Дел, и нигде более. Недоставало, чтобы из истории сделать канцелярскую тайну и успокоиться.

Чтобы отречься от европеизма, нужно было создать что-либо новое. Парламентаризм, свобода печати, свободная наука, неприкосновенность личности, независимость суда и т. п. считаются западными порядками, от которых избави бог Россию. Ну, а что же считается благом для России? Какие права, какие благодеяния сулят русскому народу в будущем, увещая его, чтобы он не помылся и не боялся за свое будущее?

Политический строй выходит весьма оригинальным и совсем непонятым для европейского ума, да и вообще для общечеловеческого. Реставрировать идеал автократии, абсолютизма и священного авторитета монарха, заключающего блаженное всемогущество, всезнание, божественную безгрешность и безошибочность? Но ведь это мифология; кто же в нее верит, кроме невежественного дикаря. На самом деле ведь совершается совершенно другое. Однако проявление чистой автократии и божественной воли сочтено оригинальным и дало следующие плоды: все бюрократические надстройки, все искусственные коллегии, совещательные и блюдушие законы купно с государственным

советом и правительствующим сенатом, явились ненужными лесами около прочной колонны самодержавия. Сохранились имена и здания только для украшения столицы. Министерства пишут иногда проекты, работают комиссии, вопросы обсуждаются сотней людей, дебатуются в государственном совете и вдруг в конце все рушится. Бог соглашается с выдвинувшимся меньшинством. Все летит кубарем. Так в последнее время было с несколькими проектами и реформами. Так шлепнулась Кахановская комиссия¹⁷, шедшая даже на всякие уступки со своими «волоостелями»¹⁸, так провалилась реформа уложения о наказаниях, так прошел забракованный всеми проект Толстого о земских начальниках¹⁹. Зачем же все эти государственные учреждения, зачем этот огород и насаженная капуста предшествовавшей истории? Но ведь единая воля — это только иллюзия. Кто из государственных людей не понимает, что в статуе стоит жрец и что совершается воля не одного, а целой камарильи, какой-то скрытой лиги. Кто же она? Почему же эти имена, ведущие Россию неисповедимыми путями, скрыты и они не несут никакой ответственности? Почему Победоносцев, Филиппов²⁰ и К⁰ не желают действовать открыто на свой страх? Это очень выгодно, безопасно, но кто же должен играть роль мишени [для] всего, что они совершат. Неужели тот, кого они уверяют в своей преданности? Как это благородно и, главное, прочно! Говорят, что будущая Россия должна быть «дворянской», здесь опора и сила государства, вторая опора — правления. Но когда же Россия не была дворянской и что для нее сделало дворянство? Чем явилось это дворянство после 19 февраля²¹ и потери в большинстве своего имущества, людей и даже земли? Что такое сословие с перезаложенными землями, сословие, требующее бесконечных субсидий, трат, подарков и т. д. и лишенное всякой способности поддержать само себя? Это не сословие, а иллюзия и фикция, не имеющая почвы в истории. Обанкротившееся дворянство ищет политического могущества, но что же оно сумеет справиться, не сумев справиться даже со своими «Заманиловками» и «Монрепо»²². Что это за сословие, дрожащее перед аукционами, находящееся даже в руках кулаков Разуваевых, постоянно трепещущее перед ростовщиками? Каковы его стремления и патриотические цели? Понятно, что ему не до того. Ему нужно кушать и жуировать. На это нужны деньги. Вот источник должностей всякого рода, места губернаторов и новой машины «земских начальников». «Земские начальники», вотчинная полиция, смешение суда и администрации в руках бонвиванов и прожившихся помещиков — вот последнее слово политической мудрости. С начала и до конца все здесь комично и непредвиденно. Никто не знает, что это будет за институт, ибо разнородные обязанности и сумбур, созданный здесь смешением функций, остается недоступным для понимания. Призываются губернаторы, и им говорят: «Скоро для облегчения власти и поддержки вы будете иметь земских начальников, обязанности их вам объяснит г. Дурново». Но г. Дурново не творил их, он получил наследие от умершего Толстого, и ему

оставалось сказать, что объяснить это может только покойный граф. Но он промолчал и бросал только в пространство тоскливые взоры. Никто не знает, что с этим будет. Некоторые губернии отказались представить кандидатов в земские начальники. Этим только мог выразиться протест. «Прекрасно! — воскликнули в министерстве. — Мы назначим своих». И вот целая толпа бедных дворян в Петербурге ждет новых мест и протекций, не думая даже, что она будет делать в провинции. Да и зачем думать? Жуют у Палкина, жуют у Дюссо²³ и новое содержание и новые бутерброды. Вот и конец реформы, вот и спасение!

И всему этому приносятся в жертву новые судебные уставы и земские учреждения, 20 лет устраивавшие школы и больницы, мировые суды, правильная юстиция, те залогов новой жизни, которые делали свое дело. Никто не желает знать их итогов²⁴.

О могуществе православия не хочется и говорить, оно должно заменить по новой программе науку, просвещение, передовое интеллигентное сословие в России. Но что же такое духовное сословие в России? Кто не знает русского попа, никогда не игравшего авторитетной роли. Ведь это не католическое духовенство, хорошо сплотившееся, искусное и умное в своих планах. Русский священник или слишком жалок, или продажен. Его духовное влияние слабее, чем влияние мулл и раввинов. Таким его сделала история. Остается внешняя обрядность — декорум. Но когда же религия держалась одной внешностью, и долго ли она так удержится? Мифологическое миросозерцание и мистика народная не есть еще религия. Это духовенство, постоянно жалующееся на недостаток средств, духовенство с продажными консисториями, с отъездившими архиереями и крайне испорченным, распущенным монашеством, разве может составить силу. Ему желают предоставить воспитание народа. Но для этого оно должно иметь призвание, энергию, а духа этого ему не вложить. Оказывается, что проект «приходских школ», где духовенству предоставили показать свою силу, был жалкою пробой. Пропившиеся диаконы не могли заменить земских учителей — тружеников. Школы духовенства остались мечтою Победоносцева. Поп — иезуит и негодяй — имеет власть уничтожить земскую школу, но ничего не в силах создать.

Нет более проявления общественной мысли, нет брожения; жизнь интеллигентного класса уничтожена, университеты зажаты новыми уставами, вольномыслящие профессора вытеснены в отставку, молодежь дисциплинирована «в новых мундирах». «Знаете, эта форма значительно изменила студенчество», — недавно говорили в Петербурге, смотря на по-гвардейски одетых студентов в замшевых перчатках. Классическая система повидимому изморила тщедушное тело детей и задавила всякое проявление свободных сил, спокойствие повидимому обеспечено. Это итоги системы нескольких лет. Казалось бы, все это так. Но нет-нет да вдруг гденибудь и прорвет. Мы не знаем ничего о политическом состоянии умов, благодаря крепко запертым воротам Петропавловской крепости и негласным процессам. Но брожение, видимо, не прошло.

Нет-нет да и засуетятся жандармы и таинственные кареты проскачут с печальным торжеством. А там где-то раздался задушенный стон, где-то выстрел, что-то булькнуло в воду, а потом таинственное безмолвие и паника. Какая завидная тишина! Даже в армии не совсем спокойно. Хотя идут парады и войска маршируют, но вот вдруг оказывается, что некоторые офицеры неблагонадежны. Открыты военные заговоры. Кто бы ожидал этого от дисциплинированной армии, давшей, однако, Суханова²⁵ и многих ему подобных. Артиллеристы и моряки давно в опале и заподозрены. После этого можно ли ручаться за спокойствие.

Проявление общественного темперамента? Повидимому, он утомился. Но нет-нет да среди общей тишины обыватель без всякой видимой причины влепит себе пулю в лоб, оставив какую-то неопределенную записку о душевной пустоте или бесцельности жизни. А то обыватель явится к частному приставу и выразит скромное желание:

«Ваше благородие, позвольте в кутузку!» — «За что же, мой милый!» — «Так-с, возьмите, жить тяжело!» — «Да ведь вы же ничего...» — «Да, пока ничего, а все же кто знает; нет, вы уж повольте».

Это предпочтение маленькой тюрьмы большой тюрьме все чаще является в протесте тоскующей души и неуспокоенной совести. Таково, например, проявление русской натосковавшейся писательницы Цебриковой²⁶. Иногда человек сойдет с ума, ну, тогда в сумасшедший дом.

Студенчество и университеты только повидимому спокойны. События показали, что нет-нет где-нибудь и раздастся плюха, как выражение глубокой признательности за систему педелей и шпионства. Студенты и студентки в прежнем положении, под особым надзором полиции. Мало того, они отданы под надзор дворянчиков и хозяек, во всякое время могут быть приглашены в полицейский участок. Какой почет учащемуся сословию, какое поощрение просвещению, какое уважение к образованию и сколько здесь деликатности в обхождении с молодою неиспорченною натурою! Проституция гораздо более пользуется в России покровительством, чем учащееся сословие.

Мундиры не спасли университетов, как доказали периодические студенческие движения. В Москве панихида по Чернышевскому показала, что система педелей и полиция не изгладили воспоминаний и уважения молодежи к великим людям своего отечества²⁷. Целый ряд протестов в университетах навлек «кутузку» и много жертв. Студенчество между тем не было на почве революции, оно искало духа жизни и человеческих прав,—ему предложили, как всегда, норы полицейской части. Отрезвили ли они и удовлетворили ли, трудно сказать. Затем выключение из университетов и высылка теперь создают новый горячий материал. Все последовательно в смысле системы, и, конечно, остается ждть только новых проявлений. Последние лучшие профессора выходят из университетов, зато остаются педели, инспекторы, по-

печители а-ля Новиков и т. д. Нет дарований, талантов, ученых, но зачем это стране, отказавшейся от европейского прогресса? Есть еще любопытный признак времени, как результат воспитательной системы последних лет. Среди вырождающегося поколения все более проявляется задатков психических болезней, нервности и затем страдание переутомлением мозга. Как замечено, поколение 40-х годов и даже 60-х было гораздо крепче, выносливее, неутомимее; оно сохраняло умственную бодрость до старости; таковы были Кавелин, Тургенев, Костомаров, Чернышевский и др. Последующее поколение стало слабее, оно рано переживало нервную политическую горячку, потом разочарования, которые расшатывали нервы, и все это происходило притом на почве изнуренного организма, измученного насильственной системой классицизма, которая равносильна умственному онанизму. Современное поколение живет крайностями — или не думает о судьбе отечества, или гибнет ни за грош, не сладив с жизненной борьбой. Психические болезни и усталость — печальный признак в среде интеллигенции, когда мы вспомним, как неутомимо работают ученые на Западе до глубокой старости и сколько творят. Все зависит от нормальной психической обстановки.

У русской интеллигенции отнято духовное питание. Книги подлежат цензуре и строгому выбору; целые отделы литературы, существующие на Западе, недоступны русской интеллигенции: таковы книги по истории религии, по позитивной философии, по рабочему вопросу, по истории социальных теорий, книги естественноисторические и антропологические, в которых затрагивается вопрос о происхождении человека и развивается теория Дарвина; наконец, масса книг исторических, по истории Великой Французской революции и истории движения в Европе; запрещены многие политико-экономические сочинения.

Таким образом, русский образованный человек не имеет понятия об успехах европейской науки и жизни. Такое запрещение совершенно непонятно в Европе. Само собою, что русский человек является отсталым и невежественным перед европейцем. Политическая цензура журналов — еще большая, и иностранец знает более о России сокровенных вещей, чем русский. В такое положение ставит цензура русского человека, обрекая его на арестантскую пищу; для простого же народа опять особая литература и фильтр. «Народная литература» — значит урезанная литература России. Журналы и книги, допущенные и пропускаемые, так окромсаны, и в таких тисках, что теряют всякий интерес, и русский читатель, естественно, чувствует отвращение к своей книге и журналу, где он знает заранее, что не найдет ничего интересного и правдивого. Это насилие жестоко!

В России есть масса типографий, но печатают они только ярлыки для кабаков и реестры*. Конечно, недалеко уйдет страна

* Славится типографиями Вятская губерния, где всего менее издается книг. Типография стала достоянием офени и торгаша бумагой. (Примечание автора.)

при таких условиях. Радение русского правительства по отношению к книгам похоже на действия тюремщика, который, опасаясь ножа, вывел его из употребления, и люди едят руками или, как в сумасшедших домах, укороченными вилками. Отсутствие уместной пищи создает застой и тоску у интеллигенции. Цензура литературных чтений и публичных лекций дошла до крайности. Достаточно сказать, что за разрешением приходится обращаться в полицию и ждать в прихожей обер-полицейстера целые часы. Иногда полицейский чиновник пускается в критику поэтов и писателей, и выходит нечто анекдотическое. Когда дело идет через попечителя, процедура хуже, чем через квартального.

Таким образом положен предел развитию народа и обогащению его знаниями путем публичных лекций, свобода которых крайне стеснена.

Россия не знает истинного ораторского искусства и лишена величайшего наслаждения, каким пользуется свободный человек на Западе: ее никогда не волновало настоящее человеческое слово, не трогало ее сердца, потому что ей играют только на деревянных фортепьянах и питают казенными речами. Неужели эта участь не несчастна! Непривычка к заявлению публично мнений создала нетерпимость.

Русская пресса — это ~~капанча~~ капанча, на которой лежит дозорщик-караульный со связанными руками и заткнутым ртом. В этой прессе, согнутой, деморализованной, господствуют сумятица и простор мракобесию. Несколько лет назад всерьез поднимался в лакейской печати вопрос: нужна ли России интеллигенция, т. е. иначе образованное сословие; даже русские народники и радикалы, видя интеллигенцию праздную и бездействующую, начали отнимать у нее всякое значение. Словом, и радикалы и славянофилы сходились на этом только потому, что русская интеллигенция действительно бессильна и бездеятельна, но по своей ли это вине?.. За отсутствием настоящего простора, света и знания у русских людей являются или самобытные нелепые теории, патологические, которые направляют политические движения в ложную сторону. Школа, будничная культурная работа отвергаются, потому что нет им настоящего применения.

На что же обречен народ при таком состоянии интеллигенции? Открепщение от западничества и конституционных идей, парламентаризма и общечеловеческих прав, внесенных реформами царствования Александра II, породило тьму, создало особую атмосферу, которая уже дает себя чувствовать²⁸.

Результатом явилось бесправие и возвращение назад к старым дореформенным правам, и это в то время, когда у общества развились большие требования, проявились идеи гуманности, а в народе стало более щекотливости и амбициозности как результат павшего крепостного права и проявления чувства человеческого достоинства. И вот, к новому обществу явился старый призрак николаевского бутаря и Держиморды. Лошенная петербургская полиция не прикрывает безобразий кутузки и кулачной расправы.

Сам г. Грессер²⁹, этот генерал извожиков* на лежачих рессорах своей коляски,— увы! — не был гарантирован от побития русскими великими князьями, кутившими с девицами в каком-то ресторане. Дерутся все. В этом случае характерен приказ командующего войсками Тихомирова, наклонного, говорят, очень разыгрывать Суворова. Однажды генерал Тихомиров издал следующий лаконический приказ: «Говорят, офицеры дерутся», а поэтому — напоминание о дисциплине и о законах. Важно здесь признание. Да, дерутся. Это значит, бьют жестоко несчастных новобранцев-рекрут, бьют заслуженных слуг отечества. Это и есть следствие уничтожения того духа, того уважения личности, которое создано было бывшим министром Милютиным³⁰. Солдата будут бить, а он будет деморализоваться, он опять станет забитое, тупое существо, вор и пьяница. Вот и армия!

Второй пример понижения законности. Недавно Нижегородский губернатор своей властью приказал полиции выдрать мужика и объявил о том в приказе. Прокурорский надзор протестовал. Дошло до высочайшего донесения. Что же последовало? К изумлению судебной власти и сената, блюдущего законы, вышла резолюция «одобрено». Это решил тот, кто считается таким сторонником и покровителем русского мужика, у кого мания к мужичеству доходит до облачения в охабень и до гимнастических упражнений с топором в саду Гатчинского дворца. Как же это примирить! «Любить и драть как Сидорову козу! «Люби как душу и тряска как грушу»,— говорят русские мужики о своих женах.

Поступок губернатора не позволено было обсуждать печати, и статьи о нем в некоторых журналах были вырезаны. Высшее «одобряю» явилось сигналом к порке и законом. Другой губернатор, встретив старика мужика, который не посторонился и не снял шапки, приказал положить его и выпороть, а после хвастался этим в Петербурге. Может драть губернатор, может драть и полиция. Розги вошли в моду и не щадят никого.

Весной 1891 года московская полиция арестовала присяжного поверенного, а когда он запротестовал, его взяли и выдрали. Так как проступок, за который был взят адвокат, был ничтожный, а возмутительный поступок полиции был гораздо серьезнее, то адвокат и его сотоварищи, конечно, начали протестовать и шуметь. Но дело сначала поступило к мировому судье, и адвокат был приговорен к 5 руб. штрафа, а о том, что его выдрали, это сочтено делом второстепенным. Общественное чувство не возмутилось. Напротив, все обрадовались чему-то. В последнее время, как известно, печать-содержанка сильно ратовала против адвокатского сословия в угоду уничтожения новых судебных уставов. «Адвоката выдрали!» — хохотали и радовались в русском обществе, не подозревая, что дело не в адвокате, а в нарушении законов, в воз-

* Г. Грессер преимущественно занят был упорядочением извожиков, придумывая им сбрую. Это упорядочение и создание шегольской упряжи не мешает полиции лупить извожиков шашками. Но извожичий генерал завоевал извожичью славу. (Примечание автора.)

мутительном обхождении с личностью. Сегодня выдрали адвоката, завтра можно выдрать всякого привилегированного и интеллигентного человека. Никто на этой точке зрения не стоял. До того можно понизить и деморализовать нравы общества в несколько лет.

Не очень давно полиция в Петербурге схватила врача с женою на улице, не разобрав дела; жена врача была оскорблена на улице; полиция вместо того, чтобы взять буянов, взяла врача и жену, посадила в клоповник, оборвала у женщины платье, вырвала серьги, целые сутки морили обоих и насилиу вырвали их из полицейской пасти. Кончилось тем, что жена доктора беременная выкинула и после умерла. Муж жаловался, но дело не появилось в суде. Г. Грессер, благодаря огромной власти, нашел протекцию, газетам запрещено было говорить об этом. Это уже не было дело с адвокатом, нечто повозмутительнее. Но дело это так и стухло в омуте общего бесправия.

Вот к чему привела самостоятельная дорога и нежелание внимать Европе, вот те принципы и нравы, которые создались в России, исправившей ошибки реформ царствования Александра II! Что это за принципы, нечего говорить по той простой причине, что они сами за себя говорят. Дело не в разговорах, когда у всякого могут расстегнуть штаны. Возвращение к административному произволу, к розге и палке ознаменовалось еще более возмутительно в расправе над несчастными политическими ссыльными. Кеннан достаточно разоблачил обхождение с ними³¹.

В Россию статьи Кеннана не допущены, и их готовы считать клеветой и республиканским шаржем. Но должно сказать, что Кеннан, может быть, видел только одну сотую долю бедствий несчастных во время его проезда, а сколько еще осталось неизвестным миру! События, совершившиеся вслед за отъездом Кеннана, только подтвердили его показания. Две страшных истории разыгрались: Якутское избиение ссыльных и применение телесного наказания на Каре к женщине, смерть ее и затем покушение целой группы заключенных лишить себя жизни³². Обхождение с государственными преступниками превосходит всякое описание. Кеннан поражался хладнокровием, с которым рассказывали политические ссыльные о своих мученичествах: десятки погубленных жизней, убийств, сумасшествий до того стало делом обыденным, что ему никто не удивляется. Сердце европейского путешественника и не сантиментального янки сжималось от жалости. Но русскому правительству кажется все мало. Оно давно поставило ссыльных за убеждения и политические преступления вне закона. Теперь оно решило приравнять их к уголовным ссыльным и применять к ним те же наказания. То есть их может сечь смотритель и этапный офицер, когда вздумается. Не говоря уже о том, что здесь предполагается смешать вора и негодяя с честным человеком, иначе устраняется всякое нравственное мерило, остроумные администраторы забыли о том, что преступники политические гораздо более стеснены, чем уголовные: их содержат стро-

же, они лишены права многих занятий, ограничены в передвижениях; за политическим постоянный контроль, обыски, осмотры, письма вскрываются. Зачем же нужно увеличивать эту тяжесть. Всякое правительство устанавливает для наказуемых известные пределы ограничений: есть человеческие права и для арестанта. У нас же не то: мошенникам и казнокрадам, уладившимся с ворованными деньгами, отлично жилось в Сибири, и они пользовались покровительством жандармов, зато политическим ссыльным жизнь сделана невыносимой. Отсюда люди начали вешаться, сжигать себя живыми и отравляться скопом. Это уже не наказание, а какая-то свирепая бойня и бесшабашная месть. Вместо известного ограничения свободы — циничское издевательство над человеческим достоинством и попрание всяких юридических прав. После манифеста об освобождении от телесного наказания явилось возвращение к «кобыле» и позорное наказание женщины, притом образованной и убежденной. Какая бы она «красная» не была, хоть бы сама Луиза Мишель³³, но ведь есть же чувство стыдливости, чувство справедливости. Наказание вверялось оскорбленному и ожесточенному: истец, палач и судья соединились в истории на Каре, и это не первый раз. Что же это за система? Что за законы? Или это тот идеал, до которого надо было дойти, отвергнув европейскую сентиментальность!

Волнение в общественном мнении Англии и митинги и набат прессы показали, до чего чувство европейское было возмущено и оскорблено поступками с политическими ссыльными в России. Любопытно было бы знать, что ответило русское правительство, если действительно спрашивал его Гладстон³⁴ о событиях в Сибири. Конечно, оно отперлось, как отпирается от всех фактов, приводимых Кеннаном. Но тогда где же достоинство этого государства, отпирающегося и, стало быть, стыдящегося им совершенного. Не похоже ли оно на человека, сделавшего гадость, в которой стыдно сознаться.

Где же это величие, сила и достоинство? Мы обрисовали только часть текущих дел и подвигов. Но всего не перечислить, мы не упомянули, например, об уничтожении земских статистических комитетов, о закрытии бесплатных читален по всей России. Носятся слухи об уничтожении земских врачей, окончательном уничтожении земства, постоянно угрожают ограничением юрисдикции гласного суда, уничтожением присяжных заседателей и поверенных. Очень может быть: расходившаяся рука, беззастенчивость и невежество все могут решиться сделать. Но каков же будет конец этой «истории»? Несомненно, что где-нибудь должна быть поставлена точка.

Он будет обазиячением русского государства, с одной стороны, и превращением его в Турцию. С другой стороны — потеря всякого кредита в Европе. Кредит этот уже потерян.

После уничтожения всякого правосудия и ограничения судебных уставов в Европе явится вопрос, поддерживать ли трактат о выдаче преступников. Ведь она уже не верит русскому суду.

Англия говорит об убежище политическим. Невыдача Гартмана³⁵ была достаточным прецедентом.

Тяжко будет тогда, когда европейские друзья подкараулят Россию и заметят все ее слабые стороны, когда обнаружится все ее политическое ничтожество. Англия, Германия и теперь зорко следят за тем, что плохо привязано к России. Выждут минуту — оторвут Амур, оторвут Остзейский край, Польша сама уйдет. Явится расплата. Кто же будет виноват, кто травил и раздражал народности? В пору кровавой войны какой гений спасет Россию, когда все сделано к тому, чтобы задавить жизнь народного духа и таланта. Что сделает жалкий, забытый, лишенный образования народ? В силах ли он будет противостоять просвещенному врагу? Так должна будет кончиться история этого кажущегося величия. Так совершится урок истории для государства, пренебрегшего законами естественного человеческого развития, отказавшегося от дороги к цивилизации, убившего всякую духовно-нравственную силу своего народа, а потому доведшего себя до ничтожества и позора.

Печатается по книге Н. Ядринцева «Иллюзия величия и ничтожество. Россию пятят назад». Второе издание. Женева, 1897. Первое издание осуществлено там же в 1891 г. Судя по тексту, книга написана в 1891 г.

¹ Гакстгаузен Август (1792—1866) — немецкий ученый. Посетил Россию в 1843 г., опубликовал книгу «Исследование внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений России». М., 1870. А. И. Герцен и Н. Г. Чернышевский, признавая ценность собранного в книге фактического материала, критиковали Гакстгаузена за реакционные взгляды.

² Панславизм — реакционная теория о превосходстве славянского культурно-исторического типа, совпадающая с колонизаторской националистической политикой царизма. Наиболее последовательно развивали панславистские идеи Н. Я. Данилевский в книге «Россия и Европа» (1871) и К. Н. Леонтьев в книге «Восток, Россия и славянство» (1886).

³ Ядринцев имеет в виду представителей народнического, общинного социализма.

⁴ Крымская война 1853—1856 гг. закончилась поражением России, русско-турецкая война 1877—1878 гг. хотя и завершилась освобождением балканских стран — Болгарии, Сербии, Черногории — от турецкого ига, обнаружила военную неподготовленность царизма.

⁵ Более века Польша входила в состав Российской империи и, испытывая гнет самодержавия, боролась за национальную независимость, которую получила только в результате Великой Октябрьской революции.

⁶ Здесь Н. М. Ядринцев критикует «общинный социализм», т. е. народничество, что для 1891 г. было сравнительно редким явлением. Ядринцев был знаком с произведениями К. Маркса. Об этом свидетельствует его переписка с Г. Н. Потаниным (См.: «Письма Н. М. Ядринцева к Г. Н. Потанину», Красноярск, 1918, с. 49, 52, 57, 103, 104; Г. Н. Потанин. «Письма», выпуск I. Иркутск, 1977, с. 55), ссылки на сочинения К. Маркса в работах Ядринцева «Очерки английской цивилизации» («Дело», 1872, № 8), «Нужды и условия жизни рабочего населения Сибири» («Отечественные записки», 1876, № 12).

⁷ Фраза не отличается точностью. Русское крестьянство, устремившееся на Восток, не имело средств для всестороннего освоения азиатских территорий, царизм в те годы продолжал препятствовать широкому переселенческому движению, опасаясь потерять над ним контроль, из-за страха перед «свобод-

ным предпринимательством». Освоение Дальнего Востока требовало возведения пограничных укреплений, развития восточного флота и т. п.

⁸ Аксаков Константин Сергеевич (1817—1860) — историк, писатель, видный представитель ранних славянофилов.

⁹ Самарин Юрий Федорович (1819—1876) — философ-идеалист, историк и публицист славянофильского направления.

¹⁰ Резкость оценки вызвана тем, что в дальнейшем идеями славянофилов воспользовались идеологи реакции — Данилевский, Леонтьев, Катков и др. сторонники панславизма.

¹¹ После революционной ситуации 1879—1881 гг. снова наступили годы реакции — не менее свирепой, чем после 1862 г.

¹² См. сказку М. Е. Салтыкова-Щедрина «Богатырь».

¹³ Речь идет о России Николая I и Александра II, 80-е годы — «эпоха» Александра III.

¹⁴ Конечно, это противопоставление «прошлого» настоящему носит относительный характер. Ядринцев не мог не знать, например, что «законодательная комиссия» Екатериной II была попросту распущена, что льготы часто царизмом отменялись, а гарантии нарушались. В книге «Сибирские инородцы, их быт и современное положение» (1891) Ядринцев показал, как издавна эксплуатировались сибирские народы русским царизмом.

¹⁵ Катков Михаил Никифорович — реакционный публицист; граф Толстой Дмитрий Андреевич (1823—1889) — министр народного просвещения (1866—1880), с 1882 г. министр внутренних дел; Победоносцев Константин Петрович (1827—1907) — опер-прокурор Святейшего Синода, вдохновитель реакции в царствование Александров II и III, Николая II.

¹⁶ Дурново Петр Николаевич (1845—1915) — министр внутренних дел после смерти графа Д. А. Толстого.

¹⁷ Кахановская комиссия — особая комиссия под председательством М. С. Каханова (1833—1900), созданная для составления проектов местного управления.

¹⁸ Волостель — властитель, правительственное лицо в области.

¹⁹ Видимо, Ядринцев имеет в виду «Положение о земском управлении» 1890 года, построенное на реакционно-бюрократической основе с отступлениями от закона 1864 г. о земстве.

²⁰ Филиппов Тертий Иванович (1825—1899) — публицист-славянофил, занимавший пост товарища государственного контролера.

²¹ Реформа 19 февраля 1861 г. (освобождение крестьян от крепостной зависимости).

²² Монрепо (фр.) — уединенное убежище. Ядринцев использует произведение М. Е. Салтыкова-Щедрина «Убежище Монрепо», в котором говорится о разорении помещичьих хозяйств хищниками нового типа — Разуваевыми и Колупаевыми.

²³ Палкин и Дюссо — содержатели ресторанов в Петербурге.

²⁴ Земство — местное самоуправление, как правило, под эгидой помещиков — введено законом 1864 г. В губерниях Европейской России земство ведало строительством школ, организацией врачебного дела, агрономической помощью населению и т. п. Эту хозяйственную и культурную работу имел в виду Ядринцев, говоря о «залогах новой жизни». Земство, проникнутое либерализмом, постепенно преобразовывалось правительством на реакционный лад. Закон о земстве не распространялся на Сибирь вплоть до 1905 г. Ядринцев требовал равенства.

²⁵ Суханов Николай Евгеньевич (1853—1882) — офицер флота, активный член Исполнительного комитета «Народной воли», осужден по делу «двадцати» и расстрелян в марте 1882 г.

²⁶ Цибрикова Мария Константиновна (1835—1917) — писательница, публицист, критик. В 1889 г. опубликовала в Женеве «Письмо императору Александру III» и брошюру «Каторга и ссылка», направленные против реакции 80-х гг.

²⁷ Николай Гаврилович Чернышевский умер 17 октября 1889 г.

²⁸ Предложение сформулировано неточно: реформа 1861 г. не имела ничего общего с конституционными идеями и парламентаризмом. Общественно-

политические воззрения Ядрищева объясняются неразвитостью массового рабочего движения в годы реакции.

²⁹ Грессер Петр Аполлонович (1833—1892) — генерал-лейтенант, петербургский обер-полицмейстер (1882—1892).

³⁰ Милютин Дмитрий Алексеевич (1816—1912) — государственный деятель, военный министр с 1861 по 1881 г.

³¹ Кеннан Джордж (1845—1924) — американский писатель и путешественник. В 1885 г. посетил Сибирь, затем опубликовал ряд обличительных статей против царского правительства о содержании политических каторжан и ссыльных. Его книга «Сибирь и ссылка» к 1891 г. была переведена на все европейские языки, кроме русского; в России она вышла только в 1905 г.

³² Политическая заключенная Надежда Константиновна Сигида (1862—1889) после наказания ста ударами розог отравилась. Этот трагический случай вызвал массовое самоубийство в женской и мужской тюрьме на Каре.

³³ Мишель Луиза (1830—1905) — французская революционерка, активная участница Парижской коммуны 1871 г., известная писательница.

³⁴ Гладстон Уильям Юарт (1809—1898) — английский реакционный государственный деятель, ряд лет занимал пост премьер-министра.

³⁵ Гартман Лев Николаевич (1850—1913) — революционер-народоволец, с 1880 г. эмигрант.

НОЧЬ В «AVENUE DE L'OPERA»

Было 8 часов вечера. «Avenue de l'Opera», одна из блестящих улиц Парижа, начала освещаться. Замелькали газовые рожки, зажглись ярким светом электрические фонари; красивое, изящное здание оперы, однако, было в тени и освещалось внутренним светом, прорезывавшим амбразуры. Золотые гении, украшавшие углы здания, исчезали в темной синеве неба, зато площадка «Place de l'Opera» представляла светлую полосу электрического света. Два конных муниципальных жандарма в металлических касках стояли неподвижно, как статуи, у подъезда театра. Окна соседних клубов, и в том числе клуба Беранже, сверкали люстрами. По «Boulevard des Capucines» и Итальянскому двигались толпы расфранченного, беспечного, веселого народа. Кафе были полны публикой, приютившейся за столиками под деревьями бульваров. Омнибусы быстро двигались, зароможденные пассажирами, а подле оперы начинался блестящий съезд. Масса щегольских экипажей мчалась по улицам. Это был республиканский Париж, — беспечный, веселый, забывший свои недавние невзгоды. В этом центральном пункте можно было видеть все оживление города, все его изящество. С высоких балконов отелей открывалась чудная панорама. На одном из таких балконов стоял, облокотившись, плотный пожилой мужчина, повидимому, иностранец, турист с потухшей сигарой в губах. Он смотрел рассеянно вниз надвигающуюся толпу, но глаза его не выражали ни любопытства, ни сосредоточенного внимания. Иногда он останавливался на какой-нибудь точке, а потом взгляд его попрежнему начинал блуждать. Видно было, что он погружен скорее в себя; несмотря на кажущееся равнодушие и холодность, нетрудно было открыть в этом лице все свойства подвижного и нервного темперамента. Это ли-

цо временно оживало и отражало ряд разнообразных ощущений, оно то становилось беспокойно, выражая какую-то неудовлетворенность, переходившую в томительную грусть, временами оно передергивалось, как бы от ощущения какой-то внутренней боли, а потом, совладав с ней, становилось грустно, задумчиво, как бы утопая в каких-то далеких воспоминаниях. Можно было догадаться, что он переживает что-то.

Не в первый раз этот иностранец был в Париже. Он припоминал теперь то время, когда он явился сюда лет 20 с лишком назад, молодым, свежим. Как этот Париж тогда улыбался ему, как были свежи и ярки все впечатления. Он был тогда в поре сил, под обаянием любви, в сообществе другого молодого существа, столь же впечатлительного, как и он, сердце которого билось и замирало тем же ощущением молодости. Они бродили по бульварам и площадям, их интересовало все, до мельчайшей подробности, в этой мировой столице. Они наслаждались жизнью Парижа с ее шумным движением, в котором сквозила французская подвижность, детское любопытство, страсть к *pouive autés** и беспечная веселость. Они любовались С.-Клу, С.-Жерменом и блестящим Версалем с его садами и королевскими преданиями. Иногда они выходили из блестящего дворца с галереями, наполненными картинами, гобеленами, статуями, утомленные от созерцания роскоши и изящества и удалялись в какую-нибудь тенистую аллею Трианона, где у старого фонтана с наклонившимся фавном отдавались тихому и сладкому отдыху и рвали на память душистые ветки розовой сирени. Затем они мчались на поезде или ехали на пароходе между зелеными островами Сены, любовались на панораму Парижа, когда поля, леса и парки лежали, подернутые синеватою дымкою вечера, а Мон-Валериен тонул в мягкой зелени садов. Всякий день они открывали новые уголки в Париже и в извилинах улиц, всегда находили площадку с фонтаном, зеленью и исторической статуей, где тихо отдыхали. Они переживали с Гюго историю Notre-Dame, перечитывали Руссо, слушали песни Беранже, и их сердца и мысли уносились с поэтами и философами. Вспоминает он, как из Парижа они проехали в Швейцарию, а затем в Италию. Сменялись горные Альпийские вершины, живописные озера, их обвевал свежий горный воздух, они ходили по высотам, блуждали в идиллических долинах и чутко слушали раскаты альпийского рога; Швейцария так успокоительно действовала на нервы после шума и поражающего блеска большого города! А потом все сменило лазурное итальянское небо. Они видели южную природу, залитую ослепительными лучами солнца, яркие цветы зелени, море в тысяче переливов, они слушали, как музыку, ласковый плеск его, чувствовали бархатный воздух, запах цветов. Эта волшебная страна была таким чудным сном их собственной весны. Они резвились и радовались как дети, восхищались всем. Они смеялись глупым шуткам Пиерро, площадному

* Новостям (фр.).

шарлатану и делали глупости в шумном карнавале, увлекаемые в него веселой толпой.

Он вспомнил также свой выезд из Италии. Была тихая ночь; синие горы тонули в дымчатой мгле. Они ожидали поезда у освещенного вокзала и смотрели на маленький балаган, обтянутый парусиной, где шла какая-то простонародная комедия. Оттуда слышались звуки флейты и доносилась самая простенькая мелодия. Это была народная песенка, детски наивная, но полная такой жизни, такого беззаботного веселья, какого не даст целый оркестр. Смуглая итальянка стояла на дороге и, держа за руку чернокудрого ребенка, была в такт ногою с выражением природной грации. Стан ее колебался от задорных звуков. Эта песенка, звучавшая в ту ночь такими полными звуками жизни, долго чудилась ему. И вот она доносится и теперь, как воспоминание о пережитой идиллии молодости.

Миновали годы; он опять посетил Париж. Это было время, когда он смотрел серьезно на жизнь. Европа получила для него особый интерес не с одной внешней стороны. В Париже он перечитывал массу газет и журналов, следил за политикой и жил лихорадочной жизнью человека, в первый раз почувствовавшего, что в этом центре мирового движения что-то соединяет его с жизнью остального человечества. Никогда он не чувствовал себя так близко к какому-то механическому колесу, которое управляет событиями. Он был одним из тех, кому сразу открылась общественная жизнь Европы и охватила его всецело. Он слышал, как бился пульс этой жизни, и сердце его замирало с другими. Италия в это время только что совершила подвиг освобождения. Она стояла гордая, с разгоревшимися очами героя. После победы не остыли еще пламенные речи ораторов, не умолк еще праздничный звон и гул народа, эхо повторяло еще восторженные крики гарибальдийцев. Король молодой Италии стоял улыбающийся, как жених, перед народом, с клятвами и обещаниями, а классическая величавая фигура освободителя удалялась спокойно и скромно на свой маленький остров. Во Франции чувствовалось душно от пробившейся струи горячего итальянского воздуха. Реакция усиливалась, а там за Рейном клубились и собирались тучи, они выходили заметно из ущелий Вильгельмсгез. Не многие предугадывали собирающуюся грозу на темном небе севера, не многие замечали кровавую комету, которая уже поднималась над Европой, суля ей новые несчастья, новые бедствия и мрачные ночи. Но странно: являясь в это время в Западную Европу, они, русские, жили какой-то особой жизнью — и европейская реакция, и европейская свобода одинаково давали новый толчок и пищу их собственным мыслям, мечтам и воображению. Мысль старой дореформенной России, соприкоснувшись с западно-европейской почвою, получила силы Антея и парила высоко. Европа более не удовлетворяла русских идеалистов и западников. Воспитанные на европейских идеалах и западной литературе, они являлись с жадной этого идеала — и вдруг разочаровались. Собственно, это ра-

зочарование вынесено было не из сравнения своей среды с западной, а было результатом западной же критики, выступившей резко в Европе после 1848 года.

Эта критика и недовольство, выразившись на Западе с горечью обманутых ожиданий, получили особый оттенок у иностранцев, надежды их перенесли на другую почву. Им казалось, что западно-европейскому богатырю не под силу стряхнуть старые предания, что за ним стоял целый уклад жизни, старые устои и целые средние века. Зато Россия, не имевшая за собой ничего подобного в прошлом, была свободна творить и создавать идеал в будущем. Идея обновляющегося варвара, в противоположность отжившему римлянину, была обольстительна. Ему суждено создать новую цивилизацию, не похожую на старую, думали они. И он припоминал, как эта идея воодушевляла их, волновала, как поднимала дух, наполняла гордостью и уносила мечту вдаль до головокружения.

Он помнит все обаяние этой иллюзии, помнит горячие споры, вдохновение, пламенную веру в широкий идеализм, распускавший ветви и получавший чудовищный рост под теплом и простором европейского воздуха.

В Париже у него в это время был целый кружок друзей, из соотечественников, уже обжившихся в Европе и достаточно в ней наскучившихся. И влекло в Россию, но, по разным обстоятельствам, они оставались в Европе, они жадно смотрели, однако, на обновляющуюся Россию, и ее будущее представлялось в радужных красках. Они украшали это будущее, как изукрашивает искусный театрал пышный занавес, чтобы налюбоваться им перед началом представления. Он помнит тогдашнее их собрание в Rue de Rivoli, тогда собиралось у него целое общество. Это был их маленький салон, где он и его жена так радушно принимали своих земляков.

Сколько разговоров было за русским чаем! Здесь бывал блестящий и остроумный Г.[ерцен], представитель 40-х годов, человек с европейским воспитанием, знакомый с общественной жизнью во всех концах Европы, изъездивший ее вдоль и поперек, человек европейских культурных влечений, но чисто русского характера. В нем было соединение русского барина с привычками европейского сибарита, с эстетическим и чутким отношением к цивилизации. Русская любовь к народу была окрашена западничеством. Он изучал европейскую философию, но взял из нее только положительную сторону, что было свойством его трезвого ума, не зараженного мистицизмом и немецкими абстракциями. С едким русским юмором и наблюдательностью, он был склонен к сатире и сарказму, и в то же время не было человека более способного к увлечению и мечтательности. В этой натуре, чисто художественной, было сочетание старого романтизма, нового идеализма рядом с рефлексией, с глубоко затаенной русской грустью и разбедающим скептицизмом. В общем это была богатая натура, исполненная высоких порывов, благородных стремлений, пережившая,

однако, чуть не более разочарованный. Выступает за ним и другое лицо чисто русского склада. Это был Б. [Акунин]; тяжелая увесистая натура русского богатыря, лентяя, увальня, у себя дома привыкшего отдаваться абстракциям, чтобы забыть горькую действительность, умевшая спокойно терпеть и философствовать. И вот эту натуру волна выкинула в западную жизнь, которая увлекла ее по течению, и здесь-то обнаружились все черты скрытой силы и широкой натуры. Куда девалась русская лень и апатия! Б. быстро переходит из гегелианства к крайностям его противников, увлекается всякой новой школой, следит за движением европейской мысли. Когда-то ленивый, не поднимающий днями с кровати, с трудом извлекаемый из усадьбы, не находивший дома никакого дела, он носится теперь из Франции в Италию, в Англию и затем спешит в Германию. Знакомится со всеми партиями и обнаруживает такую подвижность, какая свойственна самым кипучим темпераментам. Попадая в чужое движение и в чужую среду, он обнаруживает нетерпеливость, русскую смелость, беспощадность и резкость. Он не решает, но рубит вопросы с наивной смелостью русского дровосека и вносит везде и русскую ширь, и русскую беззаветность. Теперь рисуются ему оба: один с задумчивым лицом Шиллера, с загадочной грустью на челе и с блуждающей иронией на губах; другой могучий, грозный по виду, но наивный, детски доверчивый, простодушный — гроза западных лавочников и портерщиков, он раздражается в то же время добродушным русским смехом из-под искусственно нахмуренных бровей. Далее припоминаются ему другие. Это были скромные ученики западной науки, поклонники общечеловеческой цивилизации, которая тронула их ум и воображение. Они не задавались смелыми планами опередить Европу, не осуждали ее за прошлое, любили Запад и его цивилизацию платонической любовью юноши, благоговевая перед вековой работой Запада, перед этим гением, который сказывался в фресках древнего собора, в картине итальянского художника, в классической статуе.

Они задумывались над своей голгой пока нивой и тихо мечтали и тепло верили, что на путь этой культуры вступит и их отечество. Они призывали его на эту дорогу с пламенными молитвами, были уверены, что наступило уже время для этого, были убеждены, что Россия стоит на этом пути и колесо ее истории никогда не повернется назад, ни в допетровскую историю, ни к варварству отдаленного прошлого. Сколько здесь было пламенной, горячей детской веры в будущее, которую разделял и он. И вот, припоминая теперь этих друзей своих в отдаленном прошлом, эти люди кажутся ему теперь, странно, какими-то идеалистами, мечтателями, не предугадывавшими ни своей, ни чужой действительности, и тем не менее это были даровитейшие, образованнейшие люди, гораздо более проникавшие в историю и философию жизни, чем оставшиеся жить. Что же за недоразумение случилось здесь. Разве они не мерили жизнь теми же законами человеческого развития, разве они не верили в тот человеческий прогресс?

И вдруг эта мерка оказалась непригодной, неприменимой. Покончив с Западом, осудив с другими жизнь его и создав в себе свою иллюзию о счастливой будущности, он не подозревал, что ему суждено будет воротиться в Европу при других обстоятельствах. С русским идеализмом в душе он уехал тогда из Парижа на практическую работу, где открывалось такое широкое поприще и такая торная дорога для осуществления лучших стремлений. Теперь он знает эту работу, ей отданы были лучшие годы, свежие силы. Представляется ему двадцать с лишком пережитых лет суетни, разъездов, какой-то лихорадочной подвижной деятельности, когда не было времени ни философствовать, ни проверять результаты сделанного.

Он работал, как другие, сталкиваясь с мировыми посредниками, судьями, с земцами, с председателями управ, строителями магазинов, учредителями школ, больниц. Строил сам, вводил рациональное земледелие, заводил фермы, сыроварни, открывал ссудные товарищества, банки. Тысячи будничных дел выступали, проходило множество лиц, серых, заурядных; а за ними стояла русская действительность, выдвигалась русская нужда и беднота,— привычная, безысходная, покорная, неизмеримая, как глушь родных полей, глубокая, как трясина болотная. Между тем время летело, и 24 часа в сутки иногда казалось мало. После меряния какого-нибудь теса и лазания под мост с рабочими он возвращался усталый, утомленный, ужинал наскоро, минуту отдыхал на балконе, где резвились дети и сидела покорная, преданная ему женщина, облегчавшая ему заботы. Но вдруг эта жизнь оборвалась. Странно: в одно утро опостытели мосты и постройки. Вся работа оказалась как будто ненужной. И это не с ним одним случилось — охладели и другие. После периода увлечений начался едкий, разъедающий скептицизм. Сомнение столь же свойственно русскому человеку, как и увлечение. Никто так скоро не разочаровывается, никто не впадает так скоро в отчаяние, никто так быстро не кладет рук после кипучей деятельности, как русский человек. Разочарование и отчаяние овладевает им, как натурой широкой, непосредственной, всецело, с глубокой смертельной тоской, с полнейшей апатией и потерей всякой энергии. Русские люди одинаково кидаются в запой, в мистицизм, идут в спириты, начинают верить в чертей и в кликуш, они легко отрешаются от прошлого, спокойно снимают фрак, в котором ходили полжизни, вешают его в дедовский шкаф с дедушкиными камзолами,— точно так же, как те в свое время предпочли камзолам халаты,— заменяют старый европейский костюм просторной деревенской рубахой-косовороткой, в которой чувствуется вольготно, подпоясываются пояском под живот, возвращаются с любовью к старым щам, деревенским тараканам и, поругивая немецкие книжки, которыми в молодости увлекались, ищут последнего слова мудрости в толкованиях родных «дырников» и «шалапутов».

Словом, человек, облеченный только временно скорлупой культуры, не совершив полного роста, весьма легко возвращается

у нас в «утробу матери». Уровень жизни как-то опустился, начался период уныния. В окружающей среде не велось более споров даже о том, как уничтожить жучка, а просто одни принялись за водку, другие за конный завод, третьи за охоту. Кругом воцарилась скука. Скоро в атмосфере под влиянием апатии появился старый нравственный индифферентизм и полное равнодушие ко злу и подлости.

«Поедьте к N.», — говорит бывший земец, славившийся когда-то своим пуризмом и разборчивостью в знакомствах. «Но позвольте, как вам пришла в голову эта мысль? Ведь N. известный негодяй!» — «Ну, полно, что тут разбирать, это прежде было! У него охота отличная». Ехали все, поехали и он. На следующем собрании N. уже был выбран куда-то председателем. Долго он не отдавал отчета, что делалось кругом. Он был еще погружен в окончание каких-то отчетов, какую-то ревизию. Раз он ехал по знакомому тракту, возвращаясь от соседа дельца со сметами, планами, погруженный в свою бухгалтерию. Это было хорошо знакомое ему село. Он припоминал, что здесь произошло его первое сближение с населением, после мрачного крепостного прошлого, здесь на сходах он часто беседовал с крестьянами о земских делах, здесь незаметно начиналось общее примирение, доверие... Когда-то в детстве его, ребенка, напугала на барском дворе картина наказания, впервые им тогда увиденная, но такая обычная при крепостном праве. Его принесли домой, и с ним был нервный или эпилептический припадок. Впоследствии, будучи взрослым, он старался забыть это впечатление, и когда изредка вспоминал, то являлась дрожь и пробегал холодный трепет по телу. «Больше никогда, никогда этого не повторится!» — утешал он себя. И вдруг «это» стояло перед глазами! Какие мысли, какие чувства выступали и волновали его, он не мог ясно сформулировать, но ему было ясно одно, что его личное существование отрезано от окружающего. Он долго ходил, как шальной, думал, ничего не придумывая. И вдруг он почувствовал потребность искать, искать чего-то утерянного. И вот он опять в Париже...

Целый день он бродил до усталости, до изнеможения по улицам Парижа. Он прошел главные бульвары, был на площади Республики, Согласия, перебрался через Сену на С.-Жерменский бульвар, был у пантеона, у Маделены*, чуть не попал в Монмартр. На минуту он перевел дух у беседки Омнибуса, близ фонтана у садика, где играли парижские дети; и снова попадал в шумные улицы и затирался в толпе. Ему хотелось восстановить в памяти весь Париж.

Теперь, воротившись в свою комнату с большим французским окном, он старался собрать впечатления. Он видел Париж таким веселым, изукрашенным, изящным, как и прежде, все в нем было так же богато, блестяще, красиво, как будто ничего не случилось в его истории, а он еще больше украсился. А между тем здесь

* М а д е л е н а (Madeleine), (фр.) — церковь св. Магдалины.

была пережита гроза и целая народная драма. Он думал и вспоминал ее, сидя на кладбище Pere la Chaise, у Пантеона.

На минуту ему представился этот Париж, несколько лет назад обхвачтый клубами черного дыма, с огненными языками огня из окон этих домов, капелл и дворцов... И вот теперь опять сиял солнечный день, он освещал сады, дворцы, улицы, которые стали еще краше, чем он их оставил. «Какая же здесь скрывается таинственная, жизненная сила, которая как бы лучами тропического солнца так быстро возвращает к жизни?» — говорил он себе. Блуждая по Парижу, он не встретил почти никого знакомых, только в одном месте он имел неожиданную встречу с одним французом — это был Бланшо, которого он встречал несколько раз у С.

Бланшо был тогда настоящий энтузиаст; мужчина средних лет, он был подвижной, как юноша, смелый мечтатель о перерождении всего света, готовый кинуться в самое невероятное предприятие. Впоследствии он встречал раза два его имя в газетах во время парижских движений, а затем это имя исчезло и не попадалось.

Он считал этого француза давно погибшим в Кайене, сообразно свойству его характера и деятельности. И вдруг этот Бланшо, такой же подвижной, юркий, только седенький, с такими же манерами, с живыми глазами, приветливыми и незлобивыми, даже с сохранившимся румянцем печеного яблока, стоял перед ним, ласково улыбался и жал ему руку. Оказалось, что этот Бланшо несколько лет как уже воротился, скитался по Европе изгнанником, жил в Брюсселе, потом в Швейцарии, потом в Африке, был рабочим в Бельгии, учителем музыки, фехтования, переплетчиком и, после множества испытаний, теперь вернулся к своей старой библиотеке и в свою старую парижскую комнату. В характере его, повидимому, ничего не изменилось, как и в воззрениях и в симпатиях. После трех слов Бланшо говорил: «*Vous savez bien que nous avons des amis dans toutes les parties du monde*»*, — а потом, лукаво подмигивая, сообщал ему вполголоса, что его приверженцы теперь есть уже на Бермудских островах и в Южной Америке. С улыбкой сожаления он проводил глазами это старое дитя с седенькими прилизанными косичками, посмотрел на его полинялое пальто и тщательно приглаженную старую шляпу. Другую мимолетную беседу он имел в лавочке с совсем незнакомым французом. Он зашел купить портсигар в лавочке на Риволи. Его встретил пожилой француз, торговавший с тучною французенкою. Продав вещь с изысканной вежливостью, французский буржуа не преминул завести разговор, — как всегда кончившийся политикой. «*Vous etes russe, n'est ce pas?**» — обратился он с тонкой улыбкой, желая показать проницательность француза. Узнать это всегда немудрено и по покрою платья, и по бороде, и по нечистому акценту. Он не счел нужным скрывать и подтвердил.

* Вы хорошо знаете, что у нас есть друзья во всем мире (фр.).

** Вы русский, не правда ли? (фр.).

«Мы знаем много русских покупателей, они прекрасно говорят по-французски,— прибавил дипломатически любезный француз.— Скажите, monsieur,— затем прибавил он вкрадчиво,— comment pensez vous*, между Россией и Францией заключен договор словесный или письменный?» Неприготовленный к такому вопросу, он был озадачен. «Какой договор?» — переспросил путешественник. «Дружественный договор, договор союза, traite d'alliance**, — он при этом сладко улыбнулся:— О, monsieur, мы хорошо знаем, что русские наши друзья. О, мы хорошо знаем!» — и лавочник горячо тряс руку и заискивающе смотрел долго в глаза, пока, смущенный, пробормотав какие-то вежливости, он не поспешил выйти. И вот теперь, когда он остался в своей комнате и начал считаться с воспоминаниями, когда его охватывал анализ окружающей жизни, он вдруг припомнил эти два типа французов. Верующий в помощь России лавочник открыл ему затаенные симпатии французов. Итак, эта могучая страна, поведлавшая когда-то Европой, обращает свои взоры и ждет спасения в союзе с Россией? Мог ли он, однако, утешить этого француза и, положа руку на сердце, сказать: «Мы с вами, надейтесь! Мы вас не выдадим немцам!» Ему казалось, что было время для нас этих симпатий к Франции, время увлечения ею, но оно прошло вместе с иллюзией прошлого, и когда Франция нуждается теперь в нашей помощи, что он мог ответить? Где наши симпатии? Ей-богу, он не мог сказать. Ясно было для него и то, что вера в будущее не оставляла французов. Monsieur Бланшо мог в 65 лет, после всех крушений, утешаться, что где-то на Бермудских островах его ученики и друзья проповедуют его учение! Что придало такую живучесть этому Бланшо, который был старше его на 20 лет, что придавало такую бодрость дряхлому старику? Неужели здесь люди менее переживают, волнуются? Ведь Бланшо испытал больше его. Чем же объясняется наше раннее разочарование, наше изнеможение? И он стал припоминать, какая масса русских, живых, энергичных людей, являются жертвою этой преждевременной старости духа. Не потому же это случается, что мы очень страстно, очень кипуче начинаем жить и прежде начала всякого дела так перекипаем, что от нас остается пепел, или много-много — достаёт силы на первый напор, между тем как западный человек научился дорожить силами, зная, что вся жизнь есть серьезная борьба с препятствиями. И он вспоминал свою жизнь,— кипучую, нервную, в которой все отдано было первой половине, так что для второй уже ничего не осталось.

Явилось и еще объяснение: ему казалось, что там, в Западной Европе, печали и страдания равномернее несутся, все заодно переживают свое горе, все французы одинаково чувствуют лишение своего Эльзаса-Лотарингии, а общее горе спорнее, легче. У нас болезни века, душевные муки, гражданские, выпадают на долю

* Как вы думаете (фр.).

** Договор о союзе (фр.).

одной личности или очень немногих. Это горе, эта тоска является без общего сочувствия, без распределения на общей подоплеке, гнетущее, сильнее, сконцентрированное; у нас отдельная личность-мыслящего человека является одна функционирующим центром, получающим впечатления, дрожащим и замирающим и кончающим утомлением. В этом анализе читал он свой приговор. Он чувствовал, что его силы тоже были растрчены, истощены почти без серьезной борьбы, как и у многих других его поколения, исключительно только под градом пережитых впечатлений. Этих впечатлений и влнений так было много для одного человека, что они не укладывались в воспоминания, и оставалась от них одна боль и истома.

Более, чем когда-либо, он чувствовал сегодня эту истому и усталость. И надо же было ему в этом настроении приехать в живой город,— город, где нужен избыток сил и запас энергии не только для скорбей и борьбы, но даже для радостей и наслаждений! И он стоял, как растерянный, поняв и сообразив, что этот город с его шумной жизнью, с его мировой любознательностью не удовлетворяет его более. Он только бередил еще более его раны. Ему суждено было здесь подвести итоги и сопоставить свои воспоминания. Он понял, что в этом великолепном городе, с его историей, он остается чужестранцем, принесшим свою тоску, свои неразрешенные вопросы, свой родной неизлечимый недуг. Теперь уже все раздражало его: и доносящийся уличный шум, и блеск фонарей, и довольная буржуазия, разъезжающаяся после спектакля, и стук экипажей. Он задернул портьеру, освободил себя от галстука и машинально остановился перед зеркалом. Это зеркало отразило когда-то красивое и энергичное лицо, теперь похудевшее и начинавшее блекнуть. В нем была та бледность, которую кладут бессонные ночи и нервная мучительная жизнь. И он вспомнил сохранившуюся алую кровь французских стариков. Затем он взглянул на изменнические белые нити, пробивающиеся в волосах; голубые, когда-то смелые, живые глаза теперь смотрят задумчиво и неподвижно, усталые и утомленные. В них отражается мир, как бы обведенный печальной траурной каймой. Еще сегодня он получил письмо; он взглянул на него и вздрогнул — это было тоже своего рода зеркало. Сознание, что увяла лучшая половина жизни не возвратится никогда, охватило его со всею силою-жгучей тоски. Он чувствовал ядовитое сознание, что жизнь сломлена, и это убивало последнюю энергию.

«Ненужный, отверженный»,— повторял он, а чувство одиночества довершало гнетущую тоску. В груди что-то рвало, надсажало...

О, если б кто-нибудь пришел в это время! Хоть бы одно ободряющее слово! Хоть бы тень чьей-нибудь ласки в эту тяжелую минуту! Но кругом его никого не было, его окружала одна безмолвная, мучительная ночь!..

Закрыв лицо руками, он сидел измученный и обессиленный... «Где же друзья, где товарищи, где нить, связывающая с жиз-

ню?» — раздавалось в ушах его среди этого мрака. О, только русский человек умеет оставаться так одиноким.

И вдруг ему стало ясно одно — ждать нечего, песня жизни спета!

Солнце постепенно всходило, и свет его полосую прорывался между портьерами в маленькую меблированную комнату. На улице начали раздаваться звуки колес больших дышловых телег, запряженных могучими лошадьми парижских ломовых. Медленно выезжали омнибусы по асфальтовой мостовой, слышались иногда торопливые шаги разносчиков газет. Постепенно озарялись освещаемые солнцем бульвары, по улицам двигались тачки торговков, полные овощей и цветов. Жизнь пробуждалась...

А чужестранец был окован тяжелым забытьем. В этом забытьи он смутно чувствовал, что совершалось что-то необыкновенное, когда последние струны души надорваны. Им овладело какое-то холодное отвращение к жизни, которое переносить становилось невозможно. Точно застигнутый врасплох, он начал собираться в путь. На столе был беспорядок: лежало смятое письмо, разорванный конверт, открытый несессер, недопитый стакан...

На мертвенно-бледном лице видна была последняя степень изнеможения. Смутные образы и сцены еще скользили в неугасшем сознании. Он помнит, как он торопился, что-то искал, что-то рвал, а потом боязливо прятался под свой плед, причем внезапно вспоминались ему слова 90-летней старухи, когда-то им подслушанные, которая говорила покорно: «Под холстинку, под холстинку, батюшка, лезть пора!»

Пришла пора и ему «лезть под холстинку». Какое отвратительное ощущение! На душе что-то давило кошмаром, а представления, сцены, образы все проносились и проносились с неимоверною быстротою. Виделась знакомая деревня, родное захолустье, темные леса, Волга, а затем хижины, покрытые соломой, — так они и остались, как были. За ними сверкает белая колокольня церкви, там, за оградой, близкая ему, дорогая могила. Здесь похоронено его личное счастье навсегда. Он стоял над этой могилой совершенно равнодушный к жизни, а за шею его цеплялись какие-то маленькие детские руки, они жмут, не пускают его, а он отводит теперь эти руки с тупой болью, с немым отчаянием. А потом выступает целый ряд людей и знакомых лиц, с которыми он проводит последние годы. Теперь они смотрели на него как бы растерянные, изумленные, не то с упреком, не то с сожалением: «Что же ты? Где же ты?» А в душе его была тоска. Он чувствовал, что он бежал, совершил какой-то далекий путь и лежал теперь обессиленный у подножья мраморного храма, из него несутся торжественные звуки «Requiem», слышится как бы рыдающая песня несчастной Маргариты, и все сливается с замирающими звуками последней арии Тангейзера. В висках стучит, кровь отливает, как будто бы от сердца. Слышатся шаги, какой-то осторожный шепот, как ходят при покойниках. Жизнь отлетает, а между тем, в последний раз, выступали и неслись все ярче картины за карти-

нами, озаренные блеском и красками, какие не обнаруживало никогда воображение. Чудится ему итальянский городок, южная голубая ночь, большие яркие звезды, гирлянды огней в темной зелени, запахах цветов, и вдруг среди благоуханья несется откуда-то старая знакомая, беззаботная и детские веселая песенка.

А потом выступил берег Неаполя, ослепительно залитый солнцем, море и горы, в нежной голубой дали сверкает парус, зеленая изумрудная, пронизанная солнцем волна бежит к берегу... Он слышит ласкающий ухо плеск. Как широко, свободно это море! Как живется здесь хорошо, все наполнено негою, теплом, все зовет к счастью, к жизни! О, хоть бы каплю этого воздуха!.. Он задышался, чувствуя какую-то страшную тяжесть, лежавшую на груди, которую он не мог свалить, а в этой груди, между тем, закипала непреодолимая, страстная жажда жизни, она проснулась под обаянием чарующего сна, в последний раз манила и дразнила...

Неужели все кончено? В ушах звенело, слышался какой-то стук, не то стук похоронных дрог, не то молоток заколачиваемого над ним ящика. Стук этот увеличивался, он делает невероятные усилия возвратитъ сознание и различает явственно усиливающийся стук в его двери.

«Entréz!»* — произносит он с невероятным напряжением.

Вошел слуга и подал ему карточку.

Что это? Утро?.. Внезапно пробужденный, он не отдавал еще себе отчета, но чувствовал ясно, что тишина, давившая его, исчезла. Перед ним сверкал ясный день, лучи солнца, проникнув между портьерой, легли ярко на ковре, пробежали по комнате, скользнули по мраморной голове Дианы на камине, они давно будили его.

Он держал в руках карточку, все еще недоумевая. На ней он прочел имя Бланшо, а затем какую-то надпись карандашом.

«On vous montre le congrès»**, далее он не разбирал.

Так это был кошмар! Тяжелая ночь пережита, он жив. И вдруг прилив какой-то детской радости, как бы проснувшаяся надежда трудно-больного охватила его. Он чувствовал, однако, какую-то слабость и удержался за ручку кресел.

«Monsieur, on vous attend au salon!»***,— напомнил ему тихо слуга и вышел. Быстро отворил он дверцы балкона. Ослепительные лучи залили комнату. Пахнуло чистым утренним воздухом, и в этой струе пронеслось что-то свежее, и мягкое, и ароматное, что чувствуется только в южном воздухе,— может быть, это струя из-за итальянских Альп, несшая всю негу, все благоухание, но охлажденная несколькими ледниками, под которыми пронеслась.

Он жадно дышал этим воздухом, а перед ним расстилалась опять целая панорама улиц, соборов, театров, дворцов. Внизу

* Войдите! (фр.).

** Нас поведут на конгресс (фр.).

*** Сударь, вас ждут в гостиной! (фр.).

что-то громыхало. Это сновали омнибусы, кареты, тысячеголовая толпа мелькала по улицам.

Теперь, при пробуждении, при свете солнца, он чувствовал все могущество, всю силу окружающей жизни,— этого неумолкаемого колеса, в котором личные чувства, ощущения, волнения как-то исчезают. Вдруг перед ним осветилось все иначе. Все эти частности постройки соединились в одну цельную архитектуру; беспорядочное движение, вся эта разрозненная толпа, с ее бесконечно разнородной суетней, слились в одно целое,— что-то внушительное, грандиозное, подавляющее. Оно будило силы; теперь была в душе не смутная жажда жизни, полная животного инстинкта, не поэтическое воспоминание, не тихий призыв, не нежная песня в смутном сне подплывших тихо нерейд...

Это был грохот жизни, трубный звук ее, ее вызов! В сознании его что-то воскресло. Это не была, однако, жизнь большого города — он как будто чувствовал при виде его шествие истории, величественное шествие, смену жизней, а с нею всех превратностей, мелочных огорчений, страданий, страданий, исчезающих в глубине какого-то океана. Он чувствовал, что где-то в туннелях люди друг друга давили, шатали перила всяких мостов, а шествие все не останавливалось, двигалось и двигалось, а трубы звучали.

На секунду он задумался, как бы вспомнивши, что что-то забыл и утерял под влиянием личных впечатлений, неудач и страданий. В душе что-то поднялось, трепетало — новая fuga звуков врывалась, иные волны приливали и поднимали дух.

Жизнь перестала быть для него в этот момент личным инстинктом, влечением, одной грустной арией — за ней стояло нечто большее. Он опустил голову, как бы преклоняясь перед каким-то величавым образом, его охватил трепет. «Человечество!» — шевельнулось у него в уме, но звуки застыли на губах. Он чувствовал вблизи как бы присутствие широкого всепоглощающего моря.

«Op nous attend!»* — раздалось на лестнице. «Je viens!»** — крикнул он.

Он быстро переоделся и бодрый сбежал с лестницы. Перед ним стоял Бланшо, как вчера, улыбающийся, с седенькими косичками, с своей полинявшей шляпой. Француз хотел протянуть руку и вдруг почувствовал себя стиснутым в объятиях.

«Mon ami, la fraternité...»*** — начал было высокопарно Бланшо, но иностранец ничего не слышал, он держал крепко Бланшо, и тот вдруг почувствовал, что его щеку что-то внезапно обожгло.

Это был порывистый горячий поцелуй человека, возвращающегося к жизни, к людям как бы из дальнего странствия.

«Allons, allons!»**** — торопил он спутника в это утро. Добрый

* Нас ждут! (фр.).

** Иду! (фр.).

*** Мой друг, братство... (фр.).

**** Давайте, давайте! (фр.).

Бланшо не заметил в его бледности следа пережитой трагедии, не обратил внимания на его лихорадочное волнение. Он не знал, что в сердце этого иностранца недавно готова была лопнуть струна, что пять часов назад не бил пульс жизни, а теперь его сердце нетерпеливо почему-то стучало, и он испытывал тот жгучий прилив жизни, ту жажду, страстность и силу, которая закипает тем мучительнее, неотразимее, сильнее, чем переход от мрака к свету бывает быстрее, и чем сама жизнь была печальнее, мрачнее и безнадежнее.

Бланшо и его спутник скоро слились с толпой многолюдного города и потерялись в шумных улицах.

*Петербург.
1891 г., февраль.*

«Сибирский сборник», вып. 2, Иркутск, 1896.

«Психологический очерк», как назвал этот рассказ Н. М. Ядринцев в письме к В. И. Семидалову, автобиографичен, но не буквально. Ядринцев действительно дважды был во Франции,— в 1885 и 1890 году; первый его приезд отделяли от второго не двадцать, а всего лишь пять лет. Для раскрытия замысла автору нужна была именно двадцатилетняя ретроспекция — его волновало сопоставление идей 60-х и 80-х годов. Об автобиографичности рассказа свидетельствует письмо Ядринцева к Семидалову от 13 июля 1890 г., в котором он писал: «Париж на меня пахнул всем опьяняющим ароматом Европы. Первые дни я чувствовал себя как на крыльях...» Но затем, сообщая, что хорошо принят в ученых кругах Парижа, Ядринцев заключает: «Я остался одинок в Париже, как везде. Кончил дело, выбросил последнюю увядшую розу из петлицы и выехал. Я не хотел мрачный возвращаться, поэтому заехал в райский уголок на берегу Женевского озера» (М. Лемке.— «Н. М. Ядринцев». СПб., 1904, с. 166). Однако наиболее полно эти мысли он выразил в набросках к очерку о людях 60-х годов в их прямом сопоставлении с молодежью конца 80-х.

«Драма этого поколения заключалась в том,— писал Н. М. Ядринцев,— что люди, видавшие зарю русской жизни в 60-е годы, пробуждение общества, целый ряд обещаний, реформ, не могли уже примириться с наступившим режимом... Их дух страдал, на них находило отчаяние. Настоящий очерк рисует чувства человека, верного лучшим традициям, но глубоко потрясенного совершающимся отступлением назад. Он ищет старого культурного идеала, и глубокая тоска овладевает им за будущее... Тот далекий идеал культурной Европы как бы отодвинулся, а он ищет его. Являсь на европейскую почву, в европейские столицы, он хочет подкрепления духа, но чувствует свое одиночество, свое бессилие: ведь он чужд Европе! Европейский прогресс [стал] еще грандиознее, а своя жизнь еще серее. Тяжелы чувства человека 60-х годов! Другие люди 70—80-х годов, не пережившие времени обновления, воспи-

таные в другом направлении, создавшие свои цели, могут чувствовать иначе; у них как-то нет пристрастия и уважения (?) к культурной стороне Европы, даже к ее политическим идеалам... В этом отношении они... с одной стороны, выработали... национальную самоуверенность на почве народничества и более спокойно смотрят на разложение России и реакцию, как на явление законное с точки зрения неомарксизма...» (Т. Фарафонтова. «Из бумаг сибирского патриота». — «Восточное обозрение», 1902, № 148).

Все это звучит как авторский комментарий к «психологическому очерку» о своих парижских переживаниях. Ядринцев не случайно так прозрачно и уважительно говорит о А. И. Герцене и М. А. Бакунине и с явным сарказмом о европейских теоретиках, которых олицетворил в образе Бланшо; деятельностно Бланшо недаром сближена с интересами французских лавочников, мечтающих о реванше с помощью России (в те годы агрессия Германии против Франции была предотвращена благодаря позиции России, закрепленной потом франко-русским договором). Н. М. Ядринцев попал во Францию в дни, когда республика тяжело переживала разоблачение генерала Буланже, до поры маскировавшего свои монархические взгляды социалистической фразеологией. Все это и определило господствующую тональность рассказа — полнейшее разочарование в современном для автора состоянии как русского, так и европейского общества.

В ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЯХ

(Из путешествия в Алтай)

Наступила осень, а мы, все еще не кончив путешествия, обогнув хребты Алтая и пройдя по Чуе, пробирались к югу. С реки Чуи и высокого плоскогорья к ее вершине мы пошли по речке Чьгон-Узуну. Это была совершенно дикая местность. Поднимались мы вверх по высоким горам Чуйского хребта. Помним, когда в первый раз открылся нам вид на Чуйские Альпы из цветущей Курайской долины. Перед нами была панорама Чуйской степи; скалы и хребты, спускаясь в долину, были покрыты лесом, местами со скал струились водопады. Вдали была мягкая зелень лугов. Когда мы спустились к этой степи, мы почувствовали тепло, а вдали, как бы контрастом с этой зеленью и теплом, возвышались величественные белые вершины Чуйских Альп, сплошь покрытые снегом. Мы видели, чувствовали эти снега, но не ощущали их ледяного дыхания, вокруг нас все цело, мягкий нежный воздух ласкал, а ледяные громады служили только прекрасным аксессуаром и декорацией к открывшемуся пейзажу.

Мы поднимались на эти хребты все выше и выше. Горная речка, извиваясь, неслась с шумом по камням, обегала, подмывала скалы и, извиваясь, снова уходила вдали. Помню, мы поднялись на перевал ранним утром в начале августа. Холод давал себя чувствовать, было 2°; кое-где, под копытами лошадей, в ущелье, тре-

щала замерзшая льдистая поверхность, лужицы ущелья были обсыпаны снегом, как пухом, а дальше, за горою, стояла огромная сахарная голова снежной сопки. Поднявшись на хребет, ежась от холода, мои спутники испытывали нетерпение, пока я производил наблюдения над анероидом (барометром). А вокруг открывалась дивная панорама — у подножия виден был спускающийся к долине хребет, а там открывалась степь верст на сто, представляя целую карту и протяжение пройденной реки со всеми извилинами; направо и налево высились скалы, ущелья, дикие, угрюмые, нависшие, а за ними белые снежные вершушки гор, вечно покрытые снегом. На них были то розовые, то синеватые блестящие, свойственные морозному утру; воздух был свеж и прозрачен.

На вершине перевала стояла «обо», то есть гряда камней, набрасываемых инородцами, шаманистами и буддистами. Иногда в них воткнут сухой куст, увешанный маленькими цветными ленточками, пучками конского волоса, кусками материи, что придает ему оригинальный вид украшенной елки. Эти обрывки и ленточки развеваются по ветру. Подобные обо встречаются на всех перевалах, перекрестках. Эти жертвенники с первого раза загадочны и необъяснимы для путешественника. Впоследствии он привыкает встречать их на всем пространстве инородческой пустыни. Обо должны оградить путника от бед, несчастий и злых духов, которые могут причинить ему зло, заставить сбиться с дороги и погибнуть в этих пустынях. Инородец, монгол и алтайский калмык одинаково с благоговением приближаются к этим насыпям и делают от себя приношение, то есть каждый прикрепляет ленточку или обрывок от халата. Мы также, подъезжая к этому обо и не желая нарушать обычая и подчиняясь общему благоговейному настроению в пожелании благополучного пути, подвесили к деревцу несколько гарусинок, оторванных с дорожного шарфа.

Эти обычаи, а также разные приметы, пустые, вызывающие улыбку человека развитого, стоящего вне языческого, пантеистического и мифологического миросозерцания, получают в пути и для него какую-то притягательную силу: окружающая среда как будто действует и на него. Следя за своими ощущениями, постепенно удаляясь в пустыни, я чувствовал, что это отдаление от людского мира, это постоянное сосредоточение внимания на одной природе как-то подчиняло ей, заставляло чувствовать всю ее внушительность и подавляло и в то же время сближало, — словом, делало вас пантеистом. Я помню это ощущение, когда изо дня в день идешь и видишь кругом только гигантские горы, хребты, скалы. Понемногу они кажутся какими-то чудовищами, и, когда утомленный взор ваш скользит по их мощным контурам среди вечернего мрака, вас охватывает невольный трепет и вам кажется — вот-вот эти чудовища пошевельнутся, как гигантские киты. Еще более вы чувствуете внушительность и таинственность этих гор, когда входите в миросозерцание окружающих дикарей, придающих им особое значение, дающих им имена, рассказывающих целые эпопеи из жизни этих мертвых громад о том, что они

были богами, богатырями, а теперь застыли. Надобно видеть благоговение инородца перед этими горами во время его жертвоприношений и торжественных обрядов, иногда в темную ночь, когда горят таинственные костры в юртах, а дикий шаман в перьях и с сотнями змей (ремней) и побрякушек на своей мантии, с огромным бубном в руках, кружится, мечется и в диком экстазе, пролагая дорогу духам, выскакивает из юрты и обращается с заклинанием к этим горам, а они высются перед ним темные, грозные, недосыгаемые, облитые лунным сиянием.

День за днем мы привыкали к пустыне и втягивались в нашу жизнь. Перевалив Чуйский хребет, мы взошли на другую речку по ту сторону хребта. Это была речка Кора-Кем, подобная той же, которую мы миновали в истоках, она напоминала горный ручей и брала начало в вечных снегах гор. Цвет ее, как всех подобных речек, по нашим наблюдениям, был синевато-белый, почти молочный. Это зависело от пород сланца, который они размывали, и, может быть, от перемолотых морен, так как среди этих вечных снегов, наверное, были и ледники.

Теперь мы спустились вниз к долине Аргута, значительной реки, в которую впадал Кора-Кем. По мере спуска становилось теплее: мы сняли походные полушубки и плащи и ехали в одних пальто. Когда мы спустились в долину Кора-Кема при его впадении, то после Чуйских снегов на нас повеяло опять теплом. Долина Кора-Кема и Аргута (или Архвета по-туземному) имела цветущий характер. Береза, тополь, черемуха и даже облепиха теснились по берегам и составляли веселые группы зелени. Вид ледяных гор вдали производил то же впечатление, как и в долине Чуи. Мы стали лагерем на берегу среди роскошных тополей. (Самая речка поэтому русскими названа Тополевкой). Развесистые тополи с большими тенями придали совсем другой характер долине; они уже не напоминали пустыни, а веяли чем-то знакомым. Была теплая лунная ночь. Эти тополи с перебегающими тенями, эта мягкость воздуха теперь напоминали другие сады и переносили в другую обстановку. Вот-вот этот сад деревьев, кажется, оживится, блуждающие тени приняли фантастические формы, тихо трепещет лист, откуда-то донеслись отрывочные звуки оркестра. Но минутная иллюзия исчезает: дикий Аргут шумит, играя и звеня по камням. Все, что близко, дорого вам, все, что показалось вам знакомой музыкой, от вас далеко, далек этот чарующий мир звуков, этот волнующийся живой мир! Вокруг вас немая пустыня...

Оторвавшись от своих дум, я слышал, как там, за палаткой, наши переводчики и проводники оживленно беседовали с приезжими теленгитами-инородцами, хозяевами этой долины. У них пылал веселый костер, они угощали чаем приезжих. Слышались шум, смех, началось взаимное угощение «айраком», кумысом, а потом послышался какой-то струнный инструмент, и затем сильный баритон начал издавать какие-то странные звуки, кончавшиеся мерным речитативом. Я вышел из палатки. Оказалось, что в

числе гостей был сказочник, и у него инструмент, подобие гитары. Теленгиты возвращались с праздника, были навеселе и, натолкнувшись на нас, сделали визит и завязали знакомство.

Посмотрев на сидящих, поджав ноги, инородцев, озаряемых светом костра, я обратил внимание на сказочника. Это был сильно выпивший и раскрасневшийся инородец с широкими скулами, узкими глазами и, вдобавок, косой. Скосившись, он смотрел и на инструмент. Домбра звучала, но не делала никаких переливов; ясно, что это был аккомпанемент. Он начинал басом тянуть одну ноту, а потом вдруг переходил к целому потоку местных стихов, оканчивавшихся певучей рифмой. Долго я слушал, а инструмент все звучал, и рифмованные строфы сыпались и сыпались.

О содержании сказки я узнал от переводчика следующее. Жил когда-то богатырь Алтайн-Саин-Салам, и был у него конь, Айкым-Сайкым. Жил богатырь Алтайн-Саин со своею сестрою Горьголой-Маргон; поехал он раз на охоту добыть для нее дичи, но упал с лошади, зашибся и умер. Прибежал конь Айкым один домой. Сестра стала спрашивать коня, где ее брат, и тот сообщил ей, что богатырь погиб. Заплакала Горьголой-Маргон и поехала разыскивать его труп; найдя его, она положила его кости в юрте, а сама оделась в его платье, взяла лук и стрелы и, назвавшись его именем, поехала к Кен-Хану, царю-солнцу. Приехав в мужском платье ко двору хана, она увидела множество юношей, соперничающих между собой в стрельбе из лука. Они пригласили приехавшего богатыря принять участие в игре. Девушка принимает предложение и, натягивая стрелу, говорит, что не она пускает ее, а пускает ее богатырь Алтайн-Саин, и стрела ее летит дальше всех. Хан спрашивает: кто это выстрелил? Она отвечает: Алтайн-Саин-Салам. После этого она едет к Ай-Кону, царю-месяцу. Здесь также она с окружающими юношами соперничает в стрельбе, и также ее стрела летит дальше всех. Здесь она себя опять называет именем брата и у обоих ханов высватывает дочерей-красавиц. Хань отдают дочерей за приезжего богатыря, и вот она везет теперь своих невест домой. Дорогою невесты начинают подозревать, что это не мужчина, а девушка, и, чтобы узнать, верно ли их подозрение, делают следующее: кладут во время сна Горьголой-Маргон уголь ей на грудь, говоря, что если она девушка, то проснется, а если богатырь-мужчина — так тот сбросит уголь и повернется на другую сторону. Горьголой-Маргон выносит испытания и не обнаруживает себя. Когда они приехали, Горьголой-Маргон, однако, исчезает, невесты приходят к юрте Алтайн-Саин-Салама и находят только мертвое тело. Они стоят с изумлением перед этим богатырем и, наконец, решаются оживить его. С помощью живой воды им это удается. Проснувшийся Алтайн-Саин зовет сестру, но она исчезла, превратившись в белого зайца и удалившись в поле. Она оставила любимого брата с красавицами-невестами, возвратив его к жизни.

Такова была эта алтайская сказка: целый эпос, целая поэма,

целая мифология. Здесь мир, природа, звезды и небо иногда одухотворены жизнью, как и животные. Неправду рассказывают, что дикарь-инородец поет только то, что видит, и что он беден представлениями. Нигде древний миф более не сохраняется, как здесь. Здесь все поддерживает еще общение с природой, за неимением иной жизни, здесь живут целые предания старины. К сожалению, за незнанием языка, мы не можем понимать этих песен и сказок. Здесь есть свои герои, ханы, целые драмы, романы и идиллии первобытного пастушеского народа; особенно хороши сказки о животных.

Не имея возможности быть в числе слушателей и проникнуться этим своеобразным миром, я оставил наших людей и переводчиков, чтобы после у них расспросить о сказке. К полночи дombra замолкла. Гости собрались уезжать, довольные угощением и проведенным днем. Я услышал только дикое гиканье и топот лошадей. Несколько минут еще раздавались неистовые возгласы и галлоп подгулявших гостей.

По отъезде теленгитов я услышал разговор наших людей и переводчика с проводником.

— Ишь, орда как разгулялась... кумысу натрескалась!

— Пьян, пьян, качается, а на лошади держится...

— Никогда не свалится.

— Ни боже мой, а другой притворится, чтобы обмануть да ночью подкрасться...

— Это как есть! С ними ухо остро держи, как раз лошадей отгонят, вры — одно слово.

— А то еще, шельма, пулю пустит. Вот недавно тут с Бухтармы мужики ездили, скот разыскивали. Три дня, рассказывают, за ними орда следила, а раз вечером, как огонь разложили, вдруг с горы палат, пуля, говорят, мимо ушей проскользнула... а один с ними уже не встречайся — покончат, тут недавно киргиза одного убили, слышал?

— Слышал.

Я привык дорогой к этим рассказам; у теленгитов была какая-то вражда с бухтарминцами, и они постоянно угоняли скот друг у друга. Слышал я не в первый раз и о нападениях, и о пулях, летящих в костры, но оставался совершенно равнодушен к этим рассказам. Мне казались они преувеличенными враждой, раздута взаимными обидами. Я о себе не думал, мы были окружены проводниками и шли с людьми, у нас было и оружие, были приняты и предосторожности, и лошадей мы сторожили. До сих пор бог миловал, стоит ли предаваться страхам?

Под влиянием дневного утомления я сейчас же заснул. В путешествии сон крепок, воздух и моцион уничтожают всякую нервность. Только в городе, дома, среди покойной обстановки, человек расстраивает себя так, что тревожится и не спит ночей и просыпается от шороха мыши. В путешествии это немислимо. Наговорившись об опасностях, мои люди также спали, как мертвые. Проспали и эту ночь.

Как на грех, наутро не досчитались двух лошадей, хотя на караул и оставили одного из ямщиков или вожаков, но он, видно, проспал и проглядел. Потеря лошадей была лишением; лошадей надо было разыскивать. Началась суетня. Думали, что лошади, распутавшись, куда-нибудь ушли. Люди объехали долину, но поиски были тщетны.

Наш переводчик и конюх, люди бывалые и недолюбливавшие калмыков, ужасно сердились. Делались разные объяснения, но, главным образом, по русскому обычаю, гнев срывался в брани. Не найдя лошадей и не думая винить себя за оплошность, наши конюхи и проводники не столько думали о том, как поправить дело, то есть где купить лошадей (дело это им казалось второстепенным), а начали придумывать, как бы отомстить теленгитам.

Обыкновенно в этих местах, как мы убедились из рассказов на Бухтарме, обиженный, не долго думая, в подобном положении прибегает к мести и самоуправству, то есть, не отыскав своего скота, едет и отгоняет чужой скот. Тот, в свою очередь, опять отправляется себя вознаграждать. У соседних инородцев и родов образуются, таким образом, вражда, месть и целая «баранта». Отчасти таким приемом заразились и русские соседи.

Наши люди, впрочем, не решились бы делать насилий,—это было бы неблагоприятно и опасно в нашем положении; кроме того, им бы никто этого не дозволил, но они, так сказать, утешали себя, фантазируя. Затем стали придумывать наказания вору (непойманному).

— Ну, попадись он, ах, если бы попался, задали бы ему!..

Начали изобретать, что бы они ему задали. Нечего говорить, что наказания придумывались самые жестокие. Разгоряченные люди, да еще в пустыне, среди инородцев, не стесняются в изобретении варварских способов мести. Дивиться им нечего, если вспомним расправы у нас внутри России с конокрадами. А в окраине, в пустыне, что можно понаделать!

Болтовня наших людей была совершенно, однако, безвредна в данном случае, потому что наказывать, в сущности, было некого. Сытно закусив, наши люди еще раз отправились на поиски, так как не были уверены собственно, отогнали ли у нас лошадей или они сами просто забрели куда-нибудь.

Предоставив людям искать их, я ушел в свою палатку и занялся дневниками. К вечеру я решил проехать на Аргут и осмотреть местность. Люди еще не возвращались с поисков; вероятно, они заехали в какие-нибудь юрты теленгитов. Я взял лошадь и поехал по берегу Аргута; помню, где-то я перешел через проток вброд и проехал еще версты две. Берега были живописны, зеленые островки, быстро несущаяся горная река, от окружающего безмолвия веяло спокойствием пустыни. В таких местах человек среди полного уединения бывает торжественно-грустно настроен.

Я обращал внимание на окружающие хребты, в которых желал ориентироваться. На востоке виднелись оставленные Чуйские

Альпы, а на юго-западе выступали новые громады, отвесно спускавшиеся к Аргуту, дико шумевшему по ущельям. За этими отвесными скалами видны были новые снежные вершины. Это был Катунский хребет с ледниками, поднимающийся на 12 000 футов. Аргут делает прорыв между горами и несется со страшной быстротой. Ущелья его имеют дикий вид и носят название у Риттера «Аргутские бездны». Действительно, в дальнейшем пути, карабкаясь по тропинкам, мы видели эти бездны.

Среди крутых спусков, на страшной глубине среди скал, неслась река с неудержимой силой, пенясь, ворочая камни и оглашая воздух точно раскатами отдаленного грома. А люди ползли по тропинкам, как мухи, скромно, осторожно, сознавая там все свое ничтожество. Только привычные, осторожные и умные горные лошади спасают в этих местах всадника.

На сей раз я был на берегу, где расширялась густо поросшая зеленью долина. Остановившись, я залюбовался дальними снежными горами. Я смотрел на них, как в Швейцарии смотрят на Монблан, Юнгфрау. Они казались издали белыми пиками, но достаточно было посмотреть на них в подзорную трубу, а еще лучше в телескоп, чтобы понять, что эти пики неизменно громадны, что около них целые долины, ущелья, целые поля, покрытые снегами, нависшие скалы, обвалы, трещины. Направив подзорную трубу, я изучал эти горы и не думал ни о чем. Вдруг, обернувшись, я заметил шагах в двухстах фигуру: это был инородец; он стоял и сторожил меня; сзади у него была рогатая винтовка.

Первое чувство, которое явилось у меня, это обратить внимание на свою лошадь,—она стояла привязанной в нескольких шагах на чамбуре. Я кинулся к ней и стал настороже. Тревоги этого дня вдруг дали себя почувствовать, вдруг припомнились и все рассказы наших проводников об ехидстве теленгитов, об их коварстве, дерзости и опасностях. Я был совершенно один. Бог знает, что это был за человек, какие его намерения. Не садясь на лошадь, но держа ее в поводу, я стал наблюдать за ним. Он, постояв, начал тихо подвигаться ко мне, хотя я не прямо ехал, а как будто к берегу. По мере его приближения у меня явились разные соображения, но чувство ли страха, чувство ли самосохранения, нервное ли настроение заставили меня удостовериться, при мне ли револьвер. Он лежал у меня в сумке. Для этого человека я должен был казаться безоружным,—ружья со мной не было, потому что отправлялся я не на охоту, а на экскурсию. Видимо, встретившийся это заметил, но все-таки в нем видна была нерешительность. Он то подвигался, то останавливался ненадолго, и мы измеряли друг друга глазами.

На всякий случай, из предосторожности, чтобы не быть застигнутым врасплох, и не зная намерений показавшегося калмыка, я сел на лошадь, вынул из сумки заряженный револьвер и переложил его в ближайший карман. Всадник двигался вперед, и через несколько минут мы поравнялись. Он произнес какое-то приветствие вроде «узень!» и начал что-то спрашивать.

Я молча показал дорогу к лагерю. Он также махнул рукой. Я его рассматривал: это был теленгит, крупный, плотный, с монголообразным видом, в остроконечной полукитайской шапочке, на поясе у него был нож, за плечами винтовка, как у охотников. Враждебных намерений он пока не обнаруживал, но тем не менее казался мне подозрительным даже в своей болтовне, он очень пристально присматривался ко всему и особенно к блестящей подзорной трубе, висевшей у меня на перевязи. Не скрывая любопытства, раз даже он прикоснулся рукою к ней и спросил:

— Мултук? (Ружье).

Я отрицательно покачал головой, но после сообразил, что сказал правду вовсе не в своих интересах. Пусть бы он лучше остался при мысли, что это ружье.

Однако охотник этот не отставал от меня. Я заметил даже с его стороны какую-то навязчивость. Он что-то говорил, что-то указывал. Я торопился и осматривал дорогу. Сначала я ехал совершенно безотчетно, но теперь у меня явилось сомнение, так ли я возвращаюсь. Я искал знакомых признаков, искал протока, через который переезжал, но все более и более терялся, передо мной шумел довольно бурно Аргут, и берега его были довольно высоки для переправы. А переправа великая вещь! Мною понемногу овладело чувство тревоги. Мне предвиделась опасность заблудиться, и это чувство осложнялось и усиливалось от присутствия подозрительного спутника. Состояние духа стало напряженное и тревожное. «Враг это или мирный человек?» — шевелилось в уме. Что ему нужно, зачем он едет рядом со мной?

Когда два человека, неизвестных друг другу, в пустыне, где люди иногда выслеживают друг друга с самыми злыми намерениями, понятно, что чувство опасения и недоверия готово перейти при первом намеке в положительно враждебное, неприятельское. Не знаю, ощущал ли это мой спутник, но я это ощущал. Вот он поднял руку, нагнулся к седлу; что вынимает он? не нож ли? Нет! Он достал трубку и начал высекать огонь. Пыхнув раза два, он предложил мне; я отказался. Для меня было ясно, что спутник старался показать мирные, дружеские намерения, но я не доверял ему. Я боялся попасть на удочку, боялся, что он хитрит. Опасность, при лицемерии врага, под прикрытием коварного мира только усиливается и еще более возбуждает тревогу. Злодейский удар его бывает еще опаснее.

А солнце закатывалось, приближались сумерки, скалы становились темнее, шум бурной реки суровее и грознее, а я все искал и не находил переправы. Что, если он заведет меня по пустынному берегу вдаль, а затем столкнет с обрыва, собьет с лошади, так что не успеешь опомниться, а потом нанесет удар пожом. Это — дело минуты. Вдруг мы остановились оба у узенькой тропинки под скалою. Этой тропинки я не помнил, и для меня открылось, что я еду будто не туда, меня охватил холодный трепет, я чувствовал ту неприятную потерянность, которая так опасна для равновесия духа; такая потерянность усиливает

тревогу и расстраивает целесообразность поступков. Не показывая вида, что я волнуясь, я продолжал двигаться. Приходилось проезжать между рекою и утесом в одиночку. Здесь мы остановились. Я ждал, что будет делать мой спутник? Он выжидал, казалось, что я поеду вперед, но я этого-то и опасался. Здесь именно могла предвидеться опасность от нападения сзади. Он, видимо, желал, чтобы я ехал вперед, махал рукой, но я упорно отказывался. Он попробовал пугнуть моего коня и замахнулся нагайкой. Это усилило еще более мою подозрительность, я стал пятить мою лошадь и закричал на него.

Видно, он понял мое неудовольствие. Постояв с минуту, он улынулся, что-то заболтал на своем наречии, поехал вперед, и я услышал его грубый хохот. Он произвел на меня теперь тяжелое впечатление: среди скал, в сумраке, среди зловещих ощущений этот смех мне показался каким-то угрожающим, мефистофельским холодным смехом. Не ледяной ли это смех убийцы, уверенного, что жертва не уйдет от него?

Стиснув револьвер, я двигался в нескольких шагах от него, готовый спустить курок при первом его угрожающем движении. Мы миновали тропинку под скалой и выехали на берег, где Аргут разливался шире и спокойнее. Я тоскливо смотрел на берег. Река бежит не так грозно, берег не крут, но она широка, и знакомой протоки все нет.

Мой спутник опять сравнился со мной и показывал что-то за рекой. Я ничего не видел. Наконец, мы приблизились к берегу, он начал выражать знаками, что мы должны спуститься. Я не решался: берег был крутой и не подходящий для брода, с него пришлось бы соскакать, река была довольно широка для переправы. Враждебно, тревожно настроенный, я ожидал всего от этого дикаря и был готов при первых неприязненных действиях с его стороны защищаться.

Мы опять остановились. Инородец издал поощрительный крик, очевидно приглашая меня броситься вброд. Я молчал... Вдруг он схватил мою лошадь под уздцы и заставил ее прыгнуть в воду. Такой дерзости я не ожидал. Я вскрикнул, хотел схватиться за пистолет, хотел угрожать, но было поздно. Лошади стояли в воде, ноги их спотыкались и скользили на каменистом дне, река несла свои струи и кипела пеной. Я знал, что переправа на горных реках Алтая требует сноровки и осторожности: обыкновенно, спустившись в воду, лошадь не идет прямо,— течение для этого слишком быстро,— она идет по диагонали вверх по течению, а иногда, при большой воде и разливе, приходится пускаться и вплавь. Я никогда не испытывал переправы вплавь, но вброд не раз переходил алтайские реки и знал связанную с такими переправами опасность. А эта переправа внушала мне особенные опасения: что если незнакомец, в котором я подозревал врага, заведет меня на глубину и, дождавшись, когда лошадь поплывет, вступит со мною в борьбу или попросту начнет топить меня!..

Стиснув револьвер, единственное мое оружие, я держался

крепко за гриву и повод. Я слышал, как лошадь робко ступала по камням и как все сильнее и сильнее бурлили пенящиеся волны. Вода доходила уже до седла, хотя еще не покрывала его. Обыкновенно переправляющиеся в таких случаях приподнимают ноги, но мне было не до того... Я употреблял только все усилия, чтобы крепко держаться и не почувствовать головокружения. Опасность и напряжение придавали мне силы отчаяния. Я видел своего врага в нескольких шагах от меня,— он шел параллельно со мной, выше по течению, так что течение сильнее било в его лошадь, и мне уже доставались ослабленные струи. Наконец, мы достигли середины реки, и я с радостью увидел, что мы миновали глубину, дно поднималось, лошадь шла к берегу, и скоро я выбрался на твердую землю.

Мой спутник был опять подле меня. Он показался мне теперь менее опасным; он, повидимому, не подозревал, что происходило во мне, лицо его было добродушно, он весело улыбался, кивал головой и указывал нагайкой вдаль. И тут я понял все,— я понял, что этот человек вовсе не был врагом, и мне стало ужасно стыдно за себя. Мне стало стыдно за свой преувеличенный страх, за малодушие, за это геройничанье с револьвером в руках перед человеком совершенно мирным и спокойным.

Когда мы завидели вдаль наши палатки, я совершенно успокоился и поехал быстрее. Мой спутник и проводник скакал за мной, очевидно желая проводить меня до дому. Я уже не относился к нему более подозрительно. Но вдруг он остановил лошадь и крикнул мне что-то, как будто звал меня. Я остановился.

— Кам-агаг! Кам-агаг! — произносил он, указывая на холм и кусты, окружавшие нас. Я недоумевал. «Кам-агаг»,— это значит дерево шамана*, иначе — священное дерево. Такие деревья почитаются инородцами, в них предполагается присутствие духов. Это обыкновенно — пихты с густою зеленью; они увешиваются лентами и другими украшениями. Осматриваясь во все стороны, я не замечал такого дерева, а между тем инородец-теленгит продолжал меня звать к холму. Я удовлетворил, наконец, его желанию, подъехал к холму и, к удивлению своему, увидел на холме русский деревянный крест. Инородец смотрел на меня довольный и как бы торжествующий. Он что-то говорил и энергично размахивал руками, но его речи и жесты мало разъясняли мне дело: я продолжал недоумевать, откуда на этом холме взялся крест и почему вид его приводит в такой восторг моего спутника. Наконец, дело разъяснилось: наклонившись ко мне, инородец раскрыв ворот халата и указал на свою грудь, несколько раз повторяя: «Кристу, кристу!». Я внимательно всматривался в эту темную грудь и, наконец, к крайнему моему удивлению, заметил маленький медный крестик.

Когда мы подскакали к нашему стану, дело окончательно вы-

* Ш а м а н ы — жрецы-волшебники у сибирских инородцев-язычников. (Примечание автора.)

яснилось из разговоров с переводчиками. Встретивший меня инородец-теленгит действительно был крещеный. Он был окрещен наезжавшим сюда с Телецкого озера миссионером, который поставил на холме и православный крест. К сожалению, «новокрещенный» не говорил ни одного слова по-русски. Он знал только одно слово «кресту», то есть я крещеный, я христианин. Я не буду разбирать, насколько мой «крещеный» был проникнут истинами новой веры, но несомненно одно, что он желал выразить мне симпатии единоверца; все его поведение, сначала робкое, потом, как мне казалось, навязчивое, объяснялось желанием высказать мне чувство расположения и проводить меня с почетом. Потому он над утесом давал мне дорогу, потому он и показал мне брод, которого я иначе бы и не нашел. Итак, вся история оказалась сплошным недоразумением. Меня охватил ужас при воспоминании, что я мог убить и чуть не убил человека совершенно мирного, не только не имевшего намерения сделать мне какое-либо зло, но даже стремившегося выразить мне свои симпатии.

Мне стало страшно и больно, но не только за самого себя, но и вообще за наше отношение к инородцу, за предубеждение против него и неспособность относиться к нему иначе, как к врагу. Ведь, может быть, в силу нашего непонимания языка, незнания чужой души, в силу нашего невежества, нашего страха, нашего эгоизма мы не раз стреляли в дружескую грудь, когда инородец, как мой теленгит, не питал к нам никаких враждебных чувств.

Мы сидели теперь около палатки, дружески беседуя. Наши люди воротились с поисков и нашли лошадей, которых никто не угонял, а которые сами отбились ночью от табуна. Значит — и в этом случае наши подозрения против инородца оказались неуместны.

Раскрасневшийся, улыбающийся, довольный, с сверкающими глазами сидел мой проводник и с любопытством рассматривал мою подозрительную трубу; он, смеясь, рассказывал переводчику, как я испугался, когда он взял моего коня под уздцы, как он помогал мне и старался, идя рядом, чтобы течение не сбilo лошадь, как он смотрел, чтобы что-нибудь со мной не случилось. Он был доволен и весел, а я сидел перед ним с потупленными глазами...

Журнал «Мир божий», 1893, № 1.

ВОСПОМИНАНИЯ

ДЕТСТВО

Я родился в городе Омске в Западной Сибири в 1842 году и был сыном купца, приехавшего из Перми в Сибирь на частную службу и управляющего частными делами и золотопромышленностью Базилевского, Рюмина и др. Отец мой был сын обедневшего пермского купца. Дедушка был человек неграмотный и предубежденный против просвещения. Отца он выучил часослову и этим закончил образование его. Но отец мой был любознателен, он учился тайком. Рассказывал он, что ночами на чердаке он при сальном огарке читал книги и рисовал картины, за что доставалось ему от дедушки. Взрослым отец поступил в частную контору к откупщику Кузину. Здесь, в доме Кузина, он познакомился с моей матерью, которая была простою девушкой в услужении. Она происходила из Орловской губернии, была крепостною и выкуплена Кузиными. Уже замужем она выучилась грамоте, читала впоследствии Пушкина, Лермонтова и лучших русских авторов, тогдашние романы ей доставляли особенное удовольствие и особенно нравились романы Жорж Занд. Впоследствии она считалась светскою приятною женщиною и играла важную роль в обществе в губернских городах Сибири, где мой отец пользовался хорошим положением и средствами. Мои первые воспоминания детства относятся к Тобольску. Из Омска, места моего рождения, я вывезен был нескольких месяцев. Мать передавала о своей жизни в Омске, что отец там управлял также делами откупщика, генерал-губернатором был тогда князь Горчаков. В это время в Омске был пожар нитяной фабрики, пожар угрожал и тому дому, где мы жили*.

В Тобольске мы жили в большом доме. У отца бывало лучшее общество Тобольска, он был знаком с декабристом Анненковым¹, Свистуновым² и другими, но особенной дружбой пользовался барона Штейнгеля³. Скоро барон Штейнгель по какому-то доносу о том, что он <близок с губернатором**> имеет влияние на дела, подвергся выселке в Тару. С отцом он продолжал переписываться, и после смерти отца у меня осталось много писем Штейнгеля, в которых помню только описания семейных дел барона, заботы о его сыне, служившем в гвардии, и разные душевспасительные темы, как и передачу о том, как барон Штейнгель молился и по-

* В 1865—68 гг., когда меня судили в Омске, комиссия одно время помещалась там, где я родился. (Примечание автора, вычеркнутое цензором.)

** Здесь и далее в этих воспоминаниях слова, предложения в угловых скобках были вычеркнуты цензурой.

сещал церковь <он был очень благочестив и в это время в сильном религиозном настроении, как и многие из декабристов; Фон-Визина⁴ в Тобольске в это время составила целый круг религиозных мистиков>.

Барона Штейнгеля впоследствии я видел в Петербурге и был у него по поручению матери. Это был седой, как лунь, старик. Он жаловался мне, что их, стариков, никто не ценит и не признает. У меня достало тогда ответить, что только не таких стариков, как он.

Впоследствии мне много раз приходилось цитировать знаменитую записку Штейнгеля о Сибирском управлении, напечатанную в «Записках Московского общества чтений древней письменности». При этом свидании Штейнгель, помню, передал мнеэюд своего путешествия в Алтае и встречу с заводскими крестьянами.

Возвращаюсь к детству. Я был, как говорят, очень хилым ребенком. До меня первенец, старший брат, умер маленьким, кажется, годовым. При моем рождении очень опасались, чтобы я не умер, и родители служили молебны, а также дали обещание посетить и поклониться верхотурскому угоднику, что и исполнили, съездив из Тобольска в Верхотурье. Хилое сложение мое и слабый организм много раз заставляли родителей опасаться за мое здоровье в детстве. Но особенных болезней я не помню. В Тобольске для меня взята была прекрасная здоровая кормилица, которая бывала у нас, когда я уже начал сознавать окружающее. В Тобольске у меня была няня, солдатка, вдова из Петропавловска. Старушка, которая очень любила меня, но воспитывала как простая женщина. У нее был сын в солдатах; вспоминая его, она иногда одевала меня в костюм, напоминающий военного, делала мне из бумаги солдатскую шапку, и мы устраивали с нею представления. Я выходил как будто сын ее, бросался к ней на шею, и добрая старуха на минуту забывала представление, обливала меня искренними слезами. Она же при всей доброте, однако, вселила в меня массу суеверного страха и пугала какими-то «кикиморами». Когда меня нужно было заставить лежать в кровати, мне садили куклу, называемую кикиморою. Несмотря на детский страх, я помню, что узнавал в ней всегда одну из наших подушек. В Тобольске мы прожили четыре года, а затем отец переехал в Тюмень управлять также частными делами по откупам. Переезд этот по зимней дороге я помню хорошо. В Тюмени мы поселились в богатом купеческом доме, все купечество с нами было знакомо. В четыре года, прожитые в Тюмени, у меня осталось более воспоминаний. Помню массу мелочей, сцен, как и из жизни в Тобольске, впечатлительность и память были тогда очень живые.

Помню в Тюмени болезнь отца. Однажды у него был нарыв на шее, причем, прежде, чем обратиться к доктору, его лечила какая-то татарка, которая водила по шее свиной костью и плевала на него, что очень обидело отца, и он ее прогнал. Во время болезни помню чтение газет. Раз прислушиваюсь, мне было очень

страшно слышать о каком-то городе Париже, где по бульварам двигались толпы народа и происходило что-то необыкновенное. Это было в 1848 году. Помню в Тюмени постоянно посещавшего почтенного и уважаемого доктора Евграфа Макаровича Черемшанского с его детьми Александром Евграфовичем (впоследствии знаменитым врачом и психиатром) и Иваном Евграфовичем, тоже медиком, мы были товарищами детства и встретились в университете⁵. В Тюмени была в это время холера, о смертности, однако, не осталось воспоминаний, знаю только, что везде рекомендовали иметь настой перцовки.

В Тюмени меня начали учить азбуке. Помню первое шествие мое с этой азбукой для обучения. Руководил моим образованием в это время, кроме матери, один слепец, живший из милости у нас. Участь слепца этого была трагична. Он в Омске и Тобольске служил в конторе у отца, но несчастный случай лишил его глаз. Лакей, посланный отцом к ружейному мастеру с ружьем (так как отец мой был охотник), вздумал шалить с ружьем и, надев пистоны, прицелился в шедшего по двору Ивана Мешалкина. Тот прикрылся рукой и предостерег лакея. Но легкомысленный парень, не зная, что ружье заряжено, выстрелил в Ивана и обдал его зарядом бекасинника. Иван потерял глаза и отец до своей смерти содержал Мешалкина в нашем доме. Это был способный человек и поэт-самородок. Он учил меня в детстве стихам Пушкина, Лермонтова, которых я знал множество наизусть. Иван Мешалкин обыкновенно писал стихи в высокаторжественных случаях и преподносил отцу в именины, а также местным купцам. Окружающие купцы, однако, не ценили поэтического таланта, и я помню, как Иван бранил тюменскую буржуазию, которой подносил вирши и получал иногда весьма скудное вознаграждение от богачей. В Тюмени меня отдавали в пансион, который временно открывала приезжая француженка. Знаю, что она была Амалия Карловна, муж, находившийся при ней, не принимал никакого участия в педагогическом деле и походил скорее на портного. В пансион отдавали преимущественно барышень, но почему попал в число их и я — не знаю. Я выучился здесь немного читать по-французски. Барышни были взрослые, и помню, что им доставляло большое удовольствие ерошить мои гладко причесанные волосы. Здесь же я применил в первый раз в жизни свои сатирические наклонности и нарисовал на какую-то барышню, досадившую мне, карикатуру на аспидной доске. Карикатура имела такое отдаленное сходство, что едва ли самый щекотливый человек мог быть задет ею. Но барышня, вероятно, отличавшаяся особенным умом, обиделась и пожаловалась на меня, восьмилетнего мальчика, родителям. На другое утро явившийся родитель, должно быть, обладавший таким же гением, как и его дочь, явился в пансион и жестоко распек меня. Помню, что я горько плакал по этому случаю, заикался рисовать карикатуры и писать сатиры, но — увы! — не удержался и получал уже выговор от других родителей. В Тюмени я отличался от других

детей, меня баловали, одевали щеголем, когда другие купеческие дети и в том числе один из товарищей, бывший со мной в университет, бегали босиком. В той же Тюмени у меня было два учителя: смотритель училища Неугодников и учитель французского языка смотритель училища же Ф. М. Тонар, последний, однако, более был занят ружьями моего отца как страстный охотник, чем мною. У них я приобрел первые познания о географии, арифметике и т. д.

У меня были две сестры моложе меня. Все вместе мы жили в мезонине, в особых комнатах, там мы играли целые дни. Здесь я уже помню сибирскую обстановку. Кроме няни, в нашей детской была горничная из ссыльных. Она рассказывала нам о своих приключениях и каком-то любовнике, занимавшемся в Тюмени разбоями. Впоследствии он был сослан на каторгу. Горничная, однако, уверяла, что он дал ей слово бежать и явиться к ней. Поэтому в осенние ночи, когда был ветер, она всегда прислушивалась и пугалась каждого шума, пугались и мы. Нервность моя давала себя знать, и в это время мы часто пугались в своем мезонине. И я помню, как раз, оставленные без няnek, мы все втроем услышали какое-то завывание и заорали благим матом. У меня явилась даже какая-то галлюцинация. Сбежавшаяся прислуга и родители долго разбирали, кто перепугал нас, и после тщательного следствия оказалось, что у отца был гость Барыков или Барыкин, толстяк и ужасный чудак. Я помню, как он представлял вращение земли в своей круглой шляпе. На сей раз он отцу живописал в кабинете, как по Волге ходят расшивы и как кричат на судах. Звуки его голоса отзывались диким резонансом в нашем мезонине.

Старшая сестра моя была мужественнее и крепче меня. Нервы ее были иные. Когда мы оставались в зимние вечера одни, я не отходил от няньки или от крестной матери, тогда как сестра моя безбоязненно носилась по всему дому и бегала в пустой мезонин.

Впоследствии целую жизнь я не мог отделаться от нервного и болезненного чувства. Нервность эту развили много обстоятельств с самого детства, а родители не понимали и не сознавали, что это был болезненный задаток и что меня надо было укреплять. Впрочем, не я один обязан был и дурному воспитанию инстинктивным страхом. Впоследствии взрослыми людьми, отрешившись от всяких предрассудков, мы раз чистосердечно беседовали с несколькими товарищами — милейшим философом А. Х. Христофоровым⁶ и С. С. Шашковым⁷, лицами, далекими всякого суеверия, — о наших предубеждениях в инстинктах и пришли к выводу, что никто из нас не пойдет на кладбище и в церковь ночью. Просто не в силах будем пребороть свой инстинкт. Я знаю, как эта нервность причинила мне много зла в жизни, как я много страдал от излишней впечатлительности и какие ложные преувеличения, подозрения она внушала. Мой ум часто боролся с нею и, к счастью, в большинстве случаев выходил с победой.

Но я чувствую, сколько она могла причинить и причиняла неприятности другим. Совладеет ли с этим врагом система нового воспитания — не знаю. Но, кажется, едва ли следует делать какой-либо шаг в воспитании, прежде чем излечить ребенка от излишней нервности и подготовить его организм к здоровой восприимчивости. Когда я был в жизни случайно гувернером у Кузнецова в Омске, я нашел своего ученика болезненно-нервным и сделал с ним эксперимент. В это время уже проникли в литературу понятия о необходимости физического здоровья для здоровой нормальной жизни. Странно, я вывод этот сделал из художественной литературы. Базаров привлекал меня здоровым организмом, своей мощью и силою характера перед нервным и дряблєю натурою чувствительного Кирсанова. Мой эксперимент, единственный в педагогической жизни, заключался в том, что я устранил мальчика от всяких умственных занятий, он уже в 10 лет читал химию и трактовал о Наполеоне. Взамен начал водить его на прогулки в лес, занимать естественно-историческими экскурсиями, играми, гимнастикой, внушать ему, что мужчина должен быть мужествен, смеялся над сантиментальностью. Через год у него прошли нервные припадки, которые давали чувствовать себя даже судорогами в лице. Впоследствии в гимназии я видел его уже здоровым тучнейшим ребенком, а когда лет 20-ти увидел в Петербурге здоровым, довольно тучным и, признаться сказать, погруженным исключительно в животную жизнь, то я даже возликовал. Так я занят был этим экспериментом и имел слабость приписывать толчку моему в обратную сторону. Конечно, жизнь с этим субъектом сыграла злую иронию, и должно было признать, что он мальчиком 10 лет был умнее, но для него физическое здоровье было счастьем, хотя и кратковременным, он умер молодым от разрыва какой-то вены после сытного ужина.

Умственное развитие мое стояло в более счастливых условиях, чем физическое. Отец мой отличался умом и любил литературу. Он имел порядочную библиотеку и выписывал все новые книги. В детстве я знакомился по иллюстрациям со многими деятелями. Помню, что меня занимал Суворов. Книги ранее привлекали мое внимание, я увлекался рассказами и стихами. Из занятий *ad libitum** в свободное время я всегда более почерпал, чем из уроков, довольно незанимательных, моих учителей, с которыми я приучился проводить время, притворяясь весьма внимательным слушателем, когда мысли мои витали далеко, и я весьма ловко пропускал все их преподавание из одного уха в другое. И учителя и ученик оставались одинаково довольны.

Таким я приехал в Томск. Помню въезд в этот город, который с детства оставил во мне самые приятные, самые нежные воспоминания. Мы приехали в большой дом, расположенный среди прекрасного сада, в конце города, на песках, против возвышалась гора с большим крестом наверху (Шведская гора с могилой том-

* По желанию (лат.).

ского коменданта), внизу горы был ключ, на который мы часто ходили. Это была первая поэтическая обстановка моего детства, в связи с другими картинами содействовавшая моим романтическим наклонностям. Я помню этот сад и тихие летние вечера, прекрасную зелень, цветы, фантастические дорожки. Отец играет на балконе на флейте, звуки льются в вечернем воздухе, мать сидит и очищает спелые ягоды клубники. Мы носимся, как «саврасы», по аллеям сада. Наше внимание останавливает и большая фантастическая тень дерева, выскочившая лягушка, чашечка цветка, наполненная влагою, внезапно слетевший кубарем сонный воробей, роса не останавливала нашей вечерней резвости. Я начинал любить лунные ночи. Мать моя также была в эту пору с романтическими наклонностями и с расположением к мечтательности. Мы с ней совершали вечерние прогулки на ключ, где пили холодную воду. В этой женщине 30-ти лет, прекрасной, светской и даже сантиментальной, едва ли кто мог узнать и догадаться, что ее первые дни детства протекли среди обстановки крепостных крестьян, где были грубость <безысходная бедность, голод и жестокие истязания> тогдашних помещиков. Мать, отдаваясь воспоминаниям, передавала об этой жизни, где томились ее родные. Она рассказывала, как во время какого-то неурожая или голода они кормились соломой. Все это заставляло болезненно сжиматься наши сердца. Впоследствии мать выписала свою племянницу, выкупив ее из крепостной неволи, желая чем-нибудь искупить право на благосостояние и счастье, доставшееся ей случайно. На этой племяннице я также видел, как простой человек при лучшей обстановке весьма быстро превращается в аристократа и барина, принимая во внимание, конечно, только внешность и лоск. Племянница была привезена монахинями в костюме, который понадобилось тотчас же спрятать в кладовую на ключ, чтобы не видела прислуга, в каком костюме приехала новая родственница. На ней был овчинный российский тулуп или полушубок, кажется, не особенно опрятный. Через неделю племянница матери, а наша двоюродная сестрица, ходила уже в ситцевых и шерстяных платьях, через полгода в шелковом с лифом, хотя талия ее, на наш взгляд, была очень неуклюжа и толста. На самом деле это была здоровая и нормальная грудная клетка, ни за что не подававшаяся корсету. Бедная плакала, когда ее шнуровали. Она в первое время говорила «патрет», «медмедь», над чем мы постоянно трунили. Ее начали, однако, учить грамоте, хотя для взрослой девушки это позднее обучение обошлось не без приключений, первое сочинение ее выразилось в любовном послании к своему педагогу, написанное, конечно, с крупными погрешностями в орфографии. Это последнее, открытое матерью раз за корсетом, с которым совершенно, как видно, освоилась вновь прибывшая и даже нашла возможным его утилизировать, привело мать в неопределенное негодование. Предмет, к которому адресовано было послание, был писец нашей конторы, считавшийся наравне с лакеями. Год назад этот жених для крепостной девушки мог считаться

идеалом жениха, но теперь это было бы ужасающим mesalliance-ом и скандалом нашей семьи. После жестокой головомойки и приличных случаю слез преподавание прекращено и образование племянницы на этом было закончено. Через год она фигурировала на наших балах в изящном бальном платье, и первые кавалеры в городе считали за особое удовольствие танцевать с ней кадрили. Даже я, весьма щекотливый на счет неуклюжести моей двоюродной сестры, танцевал с ней польку, хотя и подмечал, что хореографическое искусство не далось ей легко*. «Медведь» и «патрет» решительно исчезли из ее лексикона. Скоро нашелся избранник, и она вышла замуж за одного из моих педагогов, впоследствии сделавшегося священником.

Золотое беспечное детство. Игры в саду и прочее миновали скоро. Меня отдали в новый пансион для приготовления в гимназию. Пансион в городе держал учитель гимназии французского языка и его жена швейцарка, очень тучная, очень добрая женщина, но знавшая французский язык как крестьянка. Пансион этот, несмотря на претензии и дорогую плату, представлял не столько педагогическое заведение, сколько маленькую инквизицию. Сам содержатель его был злой холерик, вспыльчивый, жестокий, бессердечный, он мучил детей и изобретал самые утонченные пытки для них и наказанья. Бил линейкой по рукам, розгами сек, таскал за волосы, хватая с затылка преимущественно за тонкие волосы, детей держал по 12 часов на коленях. Мне пришлось эту систему испытать с первых шагов. Об этом светском пансионе у меня остались самые тяжелые воспоминания. Для болезненного впечатлительного ребенка этот палочный институт мог быть могилой. Некоторые мальчики под влиянием этой системы и злобы начальника палочного заведения вышли впоследствии идиотами, другие одержимыми различными пороками и, наконец, просто негодьями, с которыми родители уже ничего не могли сделать. В первые дни я горько рыдал в этом пансионе. Единственный предмет, на который более всего обращали внимания,— был французский язык. Дети не должны были говорить по-русски. В первые дни мы прибавляли к русским фразам «Commenten fransais»**, это забавно пестрило язык, пропуск «коман франсе» влек за собой штраф: навешивали жесткую доску на спину, и если виновный не успел подставить другого и сбить ее, его оставляли без обеда, без чаю и т. д. При этом развивалась система подавливания и шпионства.

Бог знает как уцелели мои умственные способности здесь, как меня не превратили в идиота, подобно другим. Тяжесть моего положения увеличивалась тем, что я не мог жаловаться и должен был скрывать о понесенных наказаниях, ибо отец был очень строг и в крайних случаях сам пробовал прибегать к розгам,

* Никто не подозревал, что девушка года два назад у какого-то орловского помещика в телятнике сидела в ином костюме и обходилась без носового платка. (Примечание автора.)

** Как по-французски (фр.).

впрочем, это было весьма редко. Я трепетал в этом пансионе ежеминутно. Так я пробыл в нем три года. Он оставил во мне самые ужасные воспоминания, о которых неприятно вспоминать. Бурса была в эти времена, как видно, не в одних духовных училищах и семинариях, но и в светских пансионатах, создаваемых разными авантюристами. Я возвращался из пансионата только вечером, причем должен был готовить уроки.

Праздничные дни и лето были только мне отдыхом, причем сад, окружающая природа залечивали мои горести. Переход в гимназию был истинным благодеянием.

Здоровье мое не особенно было крепко, судя по тому, что родители помимо «гигиенического пансионата», однако, начали советоваться с докторами. Меня поили козьим молоком, и доктора дозволили мне ездить верхом. С раннего детства я пристрастился к верховой езде и с 9 лет почти ездил верхом. Лошадей у нас было много. Первые поездки мои были под руководством отставного жандарма, судя по первому уроку, вероятно, не особенного наездника, так как оказалось, что он не умел ездить без седла, и во время прогулки лошадь его сбросила. Я помню беспомощную и жалкую фигуру этого руководителя-берейтора, распростертую на лугу. Кончилось тем, что он не мог поймать лошадь, и я воротился домой пешком (на лошади он меня не отпустил), чтобы призвать конюхов нам на помощь. Впоследствии я ездил с писарями конторы, которые оказались более крепки в седле, чем томский жандарм. Без всяких уроков я выучился бойко ездить. В верховой езде, как и во многом, я был самоучкой. Я галопировал, носился в карьер к ужасу моей матери, не особенно примирившейся с этим упражнением. Я ездил верхом до окончания курса в гимназии постоянно. Езда меня развлекала, и я не чувствовал от нее вреда. По счастливой случайности я никогда не падал с лошади. Упал только раз в раннем детстве в Тюмени с лошака, на котором меня катали и которого глупый лакей пугнул сзади метлой. Отсутствие таких приключений я приписываю счастливой случайности в моей жизни, как и счастливые исходы впоследствии моей литературной полемики, где тоже меня не выбивали из седла, не были особенно сильны и бешены лошаки или петербургские отметчики «среди газет и журналов», однако брыкались иногда весьма чувствительно. Здесь можно бы вывести один урок. Наездник, никогда не сбрасываемый с лошади, иногда может упасть с осла.

Другим физическим упражнением моим была прогулка по горам. Против нашего дома была значительная горка. С нее открывалась прелестная панорама на город, луга и окрестности. Вдали извивалась река. Река эта была могучая сибирская река, которая, будучи едва видима с горы, весною заливала весь луг и представляла сплошное море. Я особенно любил весну с массой ручьев, несшихся с горы и иногда превращающихся в целую горную реку, которую сдерживали посреди улиц плотинами. Я переезжал ее верхом как горный поток. Тающий снег, всходившие

цветы, нежная первая теплая струя возбуждали во мне ликующее настроение. Это ощущение первой весны так было хорошо, что я много раз в жизни искал его еще раз встретить, но никогда не находил, как не находил человек утраченной юности.

Каждую весну наша гора покрывалась прелестными цветами и преимущественно простой сибирской лилией. С этими цветами у меня связано воспоминание об одной ранней детской смерти, которая отразилась темной пасмурной тенью в светлом зеркале моего детства, но странным образом с которой сочетались воспоминания и о летнем праздничном дне и о цветах. Это была смерть моей младшей сестры Кати, девочки лет десяти, ребенка весьма симпатичного. Она умерла от скарлатины. Я вижу до сих пор ее правильный, почти классический профиль (что составляло исключение среди наших лиц) с ее прекрасными белокурыми волосами. Эта головка стоит передо мною, как изящная камея. Ребенок этот обладал нежным сердцем, выдающимся тихим характером и ранней рассудительностью. (Есть какие-то странные приметы, что такие дети недолговечны.) Характер ее отличался от нашего ровностью, спокойствием и мягкостью. Ее не за что было журить, так как она вела себя всегда умно. Мать ее любила до безумия. Что из нее вышло бы? Что за тип женщины? человека? Такие вопросы невольно задаешь, когда видишь неоконченную или прерванную жизнь, как начатое многообещавшее произведение рано умершего автора. Смерть неповинного святого младенца, только что распускавшейся жизни всегда глубоко загадочна. Почему жребий смерти выпал на эту невинную крошку? Мы не можем представить себе, чтобы и фатум был безжалостен. Смерть, по представлению человека, была всегда наказанием, расплатой за какие-то грехи, а здесь за что же? Кто лишает здесь жизни и в какую пору, когда детская улыбка играла на лице и малютка протянула руки к этому сияющему небу? С такими загадочными чувствами мы стояли над умирающей маленькой сестрой. Она потухала тихо, спокойно, прощаясь со всеми, как взрослая, сознавая, что куда-то уходит. Последние слова ее были: «Пойдем в сад». Я помню ее в атласном гробике с золотым покровом, бледную и спокойную, как восковую, мы ее осыпали всю цветами и снесли через лес в яркий солнечный день и положили в зеленую могилу. Кругом ликовала весна, щебетали птицы, природа была так празднична, так хороша. И это был не столько контраст, сколько гармония маленькой прекрасной покойнице...

В Томске я поступил в третий класс гимназии. Отец мой в это время еще был жив. Я помню хорошо его. Высокий сильный мужчина, когда-то красивый, с правильными чертами лица, строгий, деловой и временами вспыльчивый. Несмотря на то, что он заправлял тогда откупным делом, это был человек строгой честности и делец. Откупное дело тогда, конечно, не было красиво,

* Недаром утешают себя, что такая чистая душа идет играть в компанию райских ангелов. (Примечание автора, зачеркнутое цензурой.)

на прямой обязанности управляющего было иметь дипломатические отношения с губернской администрацией, из которой все до последнего чиновника пользовались с откупа. В конторе, как я узнал впоследствии, были особые бухгалтерские ведомости, где под литерами стояли оклады чиновникам <начиная с губернатора>, разгадка и ключ этой ведомости хранились секретно у управляющего, т. е. у отца. На обязанности отца было также поддерживать добрые отношения с властью имущими. Поэтому наш дом был одним из самых хлебосольных, делались обеды, вечера. Все чины, начиная с частных приставов, посещали. Отец, конечно, был не особенно высокого мнения об этих гостях, получавших взятки. Сам он был по натуре личность честная. Ни один хозяйский грош при миллионных оборотах у него не пропадал. Получая порядочное жалование, он оставил ничтожное имущество, и мать получила субсидию после его смерти от хозяина, Н. Ф. Базилевского, на воспитание детей. В бумагах отца я нашел записки и заметки, из которых видно было, как он тяготился своей обязанностью, насколько она расходилась с его нравственными убеждениями. По натуре это был человек религиозный и безусловно честный. Это была натура, которую обстоятельства и жизнь поставили трагически на пост, совершенно противоположный его нравственным качествам. Выбора не было. Он шел с писцов и конторщиков по одной дороге, ремесло его было конторское, и другого он не знал. Ничто не трогало тогда жизни и не было ничего, что бы могло толкнуть его к другой профессии, да и какую он мог выбрать? В записках его сквозили какие-то, однако, философские и, быть может, гражданские размышления, раздумье. Он видел, что здесь лежит какая-то организация, какая-то фатальная связь, все в гармонии, в соглашении — нажива откупная, золотопромышленное дело, чиновная корпорация, искавшая у них средств и поддержки. Он — простое колесо, орудие этого механизма, посредник. Он ничего не может поделать против этой силы. Помню эти буквальные выражения в записках, писанных карандашом. Ясно, что внутренняя нравственная борьба была доступна и тогдашнему поколению. По способностям, по уму и, пожалуй, по честности мой отец стоял гораздо выше других, его уважали за ум. Несмотря на отсутствие воспитания, он был любознателен и постоянно читал. У него была библиотека. С ранней молодости он любил книги, которые в детстве были его страстью. Карамзин, Державин, а затем Пушкин, Гоголь ему были известны. Но перед этим он прочел Булгарина⁸, Кукольника⁹ и массу других фальшивых книг, которые едва ли ему давали утешение. «Пчелку» он получал всю жизнь и по ней только следил за политикой. Все тогдашние журналы он выписывал и читал, но у него, конечно, не было того образования, которое научает делать выбор лучших произведений. Критики Белинского и других ему оставались неясны и неизвестны. Их не знал даже наш учитель словесности.

Отец мой иногда задумчиво смотрел на меня, как мы смот-

рим на наших детей, и, вероятно, думал: «Что-то из тебя выйдет?». Я видел в нем, суровом, иногда какие-то признаки нежности. Дума, глубокая дума о смерти бродила в душе его, и эта нежность сочеталась со спокойно-грустной меланхолией. Я хорошо понимаю это чувство теперь, и оно бродит в моей душе, когда я смотрю на моих детей. В эти минуты он говорил мне какие-нибудь краткие нравственные сентенции: «Ну, Николай, если я умру,— живи честно, не советую, однако, заниматься тем, чем занимался отец твой, не служи на наших должностях» <по откупам>. Вероятно, старику тяжело было сознавать это, но он предпочел сознаться маленькому сыну и предостеречь его*. С этой целью он старался дать образование нам и тщательно следил за моими успехами. Он назначал меня в университет. Уже это одно показывало, что он стоял на грани того развития и нравственных требований, которые вытекали сами собою; несмотря на каприз действительности. Этим объясняется, почему из среды самой низменной, иногда не носящей в себе никаких нравственных задатков, но действовавших наперекор нравственности, общественной пользе, благу, добродетели, выходят служители беса и представители начал совершенно противоположных. Из среды купцов, буржуазии, из крепостников и помещиков <из детей полицейских служителей, из среды взяточников> выходят поколения совершенно с противоположными тенденциями. Так случилось и в русской жизни в 50-х и 60-х годах настоящего столетия. Лучшие жизненные идеалы, стремления, влечение к добру, святая любовь к человечеству не исчезают из народа, из целого племени никогда, ни в какие эпохи, несмотря ни на какие обстоятельства. Они всегда лежат в смутном сознании как массы, так и отдельного человека: <не только человек, принужденный обстоятельствами, служит неправде, сознает эту неправду, даже безнравственный человек и подлец не может скрыть ее от себя и прикидывается добродетельным. Величайший залог будущего человечества — живучесть правды и невозможность исподлить общество, как бы ни старались это сделать>.

Насколько отец желал мне добра и честного служения обществу, сознательно руководимый умом и давая советы, настолько мать это делала чувством. Я говорил, какое нежное чувство к нам, детям, поселилось в суровой груди отца. Любовь и ласка

* Помню кое-что и из других сентенций отца в минуты его раздумья. Они также были кратки. «Николай,— говорил он,— не пей, не играй в карты, берегись дурных друзей, берегись дурных женщин!» Это он говорил ребенку, который, конечно, не сознавал ни сути советов, ни верности предупреждения. Я полагаю, что и современные моралисты, однако, не скажут ничего яснее. Жизнь после произносит те же сентенции, только в более суровой форме на шкуре взрослого дубины, пренебрегшего этими советами. Алкоголисты, игроки и зараженные болезнями мужи и юноши нередко с рыданиями вспоминают эти простые советы, которые они игнорировали. Кружащаяся, как мотылек над цветами, юность не знает всех окружающих ядов жизни и только узнает это, когда уже и юность миновала и яды произвели свое действие. (Примечание автора.)

редко сквозили из-под нахмуренных, строгих бровей, но они сквозили, он желал нам счастья. Эта любовь зато выражалась бессознательно, но полно, беззаветно в целом существе матери, которая не давала советов, не наставляла, даже не говорила о своей любви, но она дышала во всем ее существе, в ее взгляде, в ее немой ласке. Она сохранила грустные воспоминания о своем детстве и часто рассказывала нам, детям, о том, как жила она в Орловской губернии в крепостной среде. Она рано потеряла родителей, и ее, сироту, воспитывала тетка. Она помнила голод в их деревне, как крестьяне питались соломой. Помнила некоторые страшные эпизоды из истории крепостного права и передавала нам. Лет 14 я с ее слов пробовал даже писать повесть из крепостной среды, которую знал только по рассказам. Мать как-то случайно попала в дворног помещика и отсюда была переведена в Харьков и взята в услужение к Кузиным. Она видела светскую жизнь в доме богачей-откупщиков, сохранила воспоминания о чугуевских гусарах, ездивших в дом. В сибирском городе ее мечтою было дать и мне светское воспитание. Меня рано учили танцевать, французскому языку в двух пансионах, я учился на фортепьяно, но не научился и лет 14 забросил игру. Отец смотрел на мое воспитание строже, мать думала сделать из меня светского человека. Действительно, я в десять лет уже напоминал маленького джентельмена. Когда я начал, лет двенадцати, писать дневники и сочинять стихи, мать меня всегда с нежной гордостью называла «мой Пушкин», чего я ужасно стыдился, ибо само уже преувеличение было подобием сатиры.

После смерти отца в 1855 году¹⁰ характер матери круто изменился. Под старость у ней сказались дурные инстинкты. Зажив вдовою после прежнего блеска, она начала скучать, затем выпивать вино, и это нам с покойной сестрой причиняло немало горестей. Я учился в гимназии до седьмого класса; живя без отца, я был совершенно свободен, так как мать очень уж мало вмешивалась в мое воспитание. Впоследствии мать поехала со мною в Петербург, где по приезде в 1860 году умерла, заболев в первый год брюшным тифом.

История пребывания в гимназии и обстановка в ней представляют особый интерес.

«Сибирский сборник», вып. 3. Иркутск, 1895. Вставки, вычеркнутые цензурой, см. ЦГАЛИ, ф. 580, оп. 1, ед. хр. 9 (доставлены А. Н. Туруновым в 1938 г.). Написано до 1888 г., возможно, сразу после «Сибирских литературных воспоминаний», то есть после 1884 г.

¹ Анненков Иван Александрович (1802—1878) — декабрист, в Нерчинских рудниках с 1827 г., с 1839 по 1856 г. жил в Тобольске.

² Свистунов Петр Николаевич (1803—1889) — декабрист, в Нерчинских рудниках с 1827 г., с 1841 по 1857 г. жил в Тобольске.

³ Штейнгель Владимир Иванович (1783—1862) — декабрист, в Нерчинских рудниках с 1827 г., в 1840 г. жил в Тобольске, с 1843 по 1856 г. выслан в Тару. Записка «Сибирские сатрапы. 1765—1819», написанная в 1834 г. в Петровском каземате, впервые опубликована А. И. Герценом и А. П. Огаревым

в 1859 г. в «Историческом сборнике вольной русской типографии в Лондоне», кн. I, под названием «Записка о Сибири Штейнгеля», вторично — в «Историческом вестнике», 1884, № 8 уже под своим первоначальным названием. Ныне «Записку» можно найти в сб. «Дум высокое стремленье», Иркутск, 1975 (предисловие и комментарий С. Ф. Коваля).

⁴ Фонвизина (Фон-Визина) Наталья Дмитриевна (1805?—1869) — жена декабриста М. А. Фонвизина, последовавшая за ним в Сибирь. С 1838 по 1853 г. Фонвизины жили в Тобольске. Очерк М. С. Знаменского о Н. Д. Фонвизиной Ядринцев опубликовал в «Литературном сборнике» (1885).

⁵ Черемшанский Евграф Макарович (ок. 1809—1886) — врач. См. некролог о нем Ядринцева в «Восточном обозрении», 1886, № 17. Его сын Черемшанский Александр Евграфович (1838—1905) — врач-психиатр, директор Петербургской больницы «Всех скорбящих» для душевнобольных; второй сын Черемшанский Иван Евграфович — врач.

⁶ Христофоров Александр Христофорович (1838—1913) — член тайного общества «Земля и воля», участник общественного движения 60-х гг., вместе с Ядринцевым находился в ссылке в Шенкурске, после освобождения в 1875 г. выехал за границу, один из организаторов эмигрантской газеты «Общее дело» (Женева, 1877—1890).

⁷ Шашков Серафим Серафимович (1841—1882) — историк, общественный деятель. См. «Автобиографию» — «Восточное обозрение», 1882, №№ 27, 28, 30, 32, некролог, возможно принадлежащий Н. М. Ядринцеву, опубликованный в этой же газете (1882, № 23).

⁸ Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859) — писатель, крайний реакционер, редактор газеты «Северная пчела» («Пчелка»).

⁹ Кукольник Нестор Васильевич (1809—1868) — писатель, драматург, автор помпезных произведений, проникнутых монархическими идеями и казенным патриотизмом.

¹⁰ Описка: отец Ядринцева умер в 1858 г.

ВОСПОМИНАНИЯ О ТОМСКОЙ ГИМНАЗИИ

*(К 50-летию юбилею Томской гимназии
посвящает ученик ее)*

Как горько б юность ни прошла
В тяжелых испытаниях,
Но сохраним ее, друзья,
В святых воспоминаниях.

I

Не один из томичей пробовал возобновить воспоминания о томской губернской гимназии и ее положении в 50-х годах, но я помню особенно верный очерк, помещенный в «Сибирской газете»¹ в первый год ее издания. Я с истинным удовольствием прочел этот очерк, который восстановил и в моем воспоминании старый забытый образ патриархальной гимназии, также близкий моему сердцу. Он так забавно смотрел, так приветливо кивал мне из своего старушечьего чепца, что заставил невольно улыбнуться и согнал на минуту глубокую жизненную печаль и меланхолию с грустного лица моего, осветив эту печаль огнем иронии. Достоинство указанных воспоминаний — простота, правдивость и беспри-

тязательная искренность. Благодаря этому очерк, посвященный старому быту нашей гимназии г-ном П. Б. (не Буткеевым ли?), правдивее и ближе к жизни, чем подобная попытка весьма даровитого нашего сотоварища, питомца томской гимназии, впоследствии известного писателя Кушевского*. Кушевский, как известно, посвятил томской гимназии несколько страниц в своем романе «Николай Негорев, или благополучный россиянин»²; к сожалению, эти воспоминания перемешаны с беллетристическим вымыслом и искажены фантазией. В них попадаются, правда, знакомые имена. Мой однокашник в очерках и картинах старой томской гимназии изобразил наглядно тот хаос жизни, который здесь существовал, ту разнузданность, которой достигало юношество; он очертил также те способы усмирения гимназической демократии, которые здесь практиковались. В этих воспоминаниях фигурируют субботние дни Федора Афанасьевича, Павел Антонович (сторож) с своими атрибутами, налеты и подкарауливания инспектором ученических шалостей и должное возмездие, карцер, в котором некоторые проводили дни, голодовки или моментальные потрясения в виде перстня Александра Ивановича и т. п. Но эти усмирения являлись налетом, расправа была жестокая, грубая, секли учеников в прежние времена до 7-го класса, и секли, как секут крестьян. С стиснутыми зубами и с сжимающимся сердцем я прислушивался к гулу этих экзекуций, но эта расправа не устрашала нашей демократии**. Жизнь скрывалась в своих недрах, попрежнему шумели на площадях, на ристалищах, в цирках гладиаторов и на местных форумах. Мы пользовались внутренней свободой. Мир инспектора, уродливых учителей и надзирателей не существовал для гимназистов, он был смешон или ненавистен. Это была внешняя власть, не пользовавшаяся никаким нравственным авторитетом. В этот мир делалась только временами неприятельские вылазки, которые еще более ожесточали надзирателей и педагогов и создавали между теми и другими бездну. Под гнетом инспектора, но среди распушенности и общего стремления к независимости самостоятельной жизни нередко учителя составляли заговор вместе с учениками, чтобы укрыться от надзора. Учителя садили учеников на окно караулить инспектора, а сами уходили пить водку и завтракать в сторожку. Здесь в заговоре против инспектора была целая совокупность подчиненных, чиновников и служителей даже в лице Павла Антоновича, приносившего водку. Личные интересы всех преобладали и побороли внешнюю политику. Учительская бюро-

* Кстати, полезно, чтобы кто-нибудь из товарищей Кушевского по гимназии посвятил ныне воспоминание его пребыванию в гимназии и первым проблескам его литературного призвания. Мы лично, не зная подробностей жизни Кушевского, могли только положить несколько свежих цветов на его раннюю могилу в виде некролога, напечатанного когда-то в газете «Сибирь». (*Примечание автора.*)

** Что ужаснейшие экзекуции не приносили никакой пользы и не оказывали устрашения, я уже убедился в пансионе Прозоровского, где жестоко испорченные дети кичились и хвастались геройством, но не стыдились. (*Примечание автора.*)

кратия распускалась и деморализовалась, а не служила оплотом. Зато среди учеников формировался союз гонимых и угнетенных. При видимой разрозненности никто не смел выдать товарища, никто не смел жаловаться и переносить дело на апелляцию инспекции и начальства, зная, что здесь найдет только «шемякин суд». Для товарищества должны быть приносимы всевозможные жертвы. В первое же время я испытал влияние этого союза и должен был высказать ему преданность самопожертвованием. Раз мой сосед Наумочка, весьма бойкий и изобретательный, как чертенок, на шалости и штуки приятель, сообщил мне гениальный план неприятельской вылазки из нашего класса в лагерь учителей. В нашем классе была дверь в соседний латинский класс, где в перемену (промежуток между уроков) собирались учителя. В двери оказалась щель, в которую Наумочка³ подметил, что делается у учителей. Там, прислонясь к стене, как раз против щели, покоилась лохматая голова учителя Б... Одна минута была сообразить слабую сторону неприятельской армии. Наумочка находит перо, надкалывает его конец, делает из него удочку — и при помощи моей запускает его в щель в темную и густую гриву покоящегося льва. Запустив, он дернул изо всей силы. В одну секунду Наумочка вскочил на скамейку и исчез, а я остался с катехизисом Филарета в руках у места преступления. Через минуту в класс влетел инспектор, в дверях пред ним прошел Наумочка, почтительно поклонившись. Начался допрос, но я не смел выдавать истинного виновника и пострадал: меня оставили без обеда по подозрению в соучастии по преступлению. Так формировался наш социальный общественный союз. Здесь были, если мы припомним, свои законы, обычаи, свои подвиги и герои, даже свои мученики. Мир жизни сложился совершенно своеобразно под влиянием внутренних наклонностей, общих интересов среди демократических и спартанских прав. Остановлюсь на этих правах, так как они закаляли жизнь и давали ей некоторое направление.

II

В нашей пестрой, разнокалиберной, но единой, воспитывающейся под влиянием одинаковых условий, семье поражало и подавляло господство на первом плане физической силы как единичной, так и коллективной. Она давала себя чувствовать во всех поступках и во всех сношениях. Это был мирок, похожий на зверьков, мир зоологический, дикарский. Понемногу упражнение этой силы и ее значение сформировались в культ. Силачи и подвиги силы пользовались уважением. Авторитет принадлежал сильнейшему. Если мы припомним историю поклонения физической силе вообще в первобытных человеческих обществах и ее обаяние, точно так же, как и осуществление принципа «право есть сила», то не будем удивляться проявлению этого инстинкта среди «детей природы», какими мы были. Чем первобытнее человечество, тем ближе к обществу дикарей, тем этот инстинкт и покло-

жение физической силе проявляются рельефнее. Он господствует там, где не выступили еще другие духовные интеллектуальные качества человеческой природы и не получили предпочтения перед физической силой. В истории человечества физическая сила также играла огромную роль, ореол ее еще не исчез. Некоторые социологи посвящали свои исследования, как она влияет подкупающим образом на понятия людей, как формирует понятия и искажает представления о справедливости. Я помню весьма остроумный социологический трактат, где племена разделялись на мирные и воинственные и представлялась горькая судьба смиренных пастушеских и земледельческих племен под давлением представителей силы и воинственности. В нашей среде первенство принадлежало также этой силе. Развитие ее шло быстро. Физическая сила у гимназистов, совершенствуясь внутри заведения, переносилась и вне. Гимназисты с охотой ходили на бои — на «войнишки», существовавшие в городе у мещан. Может быть, эта любовь к боям и дракам перенеслась в гимназию из местной среды. Я помню, как с восторгом рассказывались и описывались эти местные бои, где «пески» состязались с «кирпичами» или «заозерье» с «заречными». Это была илиада местной жизни, воспитывавшая своих ахиллесов. Кто бы мог подумать, что «заозерье» и «кирпичи» более влияли на учебное заведение, чем местные педагоги!

Плебс города вложил свои инстинкты в детей своих. В заведении совершался подбор и соперничество физических сил, слабые и хилые оставались в унижении, это заставляло, однако, запасаться силой и их, правда, слабому здесь много доставалось несправедливостей, жестокостей — я первый испытывал это, но против грубого насилия часто в этой же среде находился противовес и защита. Странно, что я в первые же дни, под влиянием физических экспериментов надо мной товарищей, приобрел себе и защитника. Когда меня шпыняли и шипали, как маленькое и беззащитное существо, один вид опрятности которого возмущал демократический вкус, в это время меня взял под защиту один из сильнейших воспитанников, угрюмый и мрачный, которого все боялись и звали за его силу и мрачный характер Дер-бером. Дер-бера никто не смел тронуть, он мог раздавить каждого. Только временами он сам себе устраивал истязания, вешаясь на крючки и гвозди, прибитые по стенам, и дико рычал. Не знаю, почему он ко мне почувствовал жалость. Я был весьма живым по характеру ребенком, обладал наблюдательностью и способностью подметить смешные стороны. Я подмечал комическую сторону наших ахиллесов-товарищей и пускался в сатиру. За мою сатиру мне жестоко мстили. Когда на доске я рисовал мелом карикатуру на верзилу с остроконечной головой долихоцефала, высывающейся из корчаги, ахиллес носил кличку «горшка», я вдруг видел перед собой красное, разгневанное лицо, а огромный кулак опрокидывал меня на пол с моей «кистью» и палитрой.

Раз на меня налетел шалун и забияка Санька, и без всякой причины его железный кулак впился в мое тело. Маленькое тело

мое изогнулось под влиянием невероятных страданий. Вдруг я увидел перед собой фигуру Дер-бера*. Он подошел и одним движением руки так отшвырнул Саньку, что в руке Дер-бера остался клок разноцветного сукна от Санькиного вицмундира. С тех пор мы сдружились с Дер-бером, я ему передавал свои впечатления, развлекал его рассказами, смешил, а Дер-бер был нежен ко мне, как к маленькому зверьку. Впоследствии я нашел в той же среде более интеллигентную дружбу и общество, но честную простую дружбу Дер-бера я никогда не забуду. И так, в той же дикарской среде мы находили друзей, товарищей и любимцев. Мы даже умели дисциплинировать себя, и нашими развлечениями были не всегда «гладиаторские зрелища», состоявшие из наваливания кучи живых тел посреди класса и «давления масла». У нас был любимец Николай Иванович Наумов, впоследствии замечательный писатель; будучи развитее других, он много читал и обладал даром рассказывать. «Королева Марго», «Монсоро», «Три мушкетера» составили канву его рассказов, но так же увлекательно он рассказывал иногда и исторические события из прочитанного им аббата Милота. Когда надоедало «давить масло», мы садили его на стол и целым классом его слушали. Тогда среди буйной толпы слышно было, как пролетит муха. Мне приходилось горько жалеть впоследствии, что наши наставники не обладали этим секретом сосредоточивать внимание.

Разнообразное демократическое общество из разных слоев города, сидевшее вокруг меня на скамьях, имело еще и свое взаимодействие и влияние. Впечатления жизни, круг понимания его выносился из среды низших классов и среднего общества, стало быть, отличался плебейским складом**. Жизнь этих детей народа была богата опытом, они видели многое. Жизнь взрослых была для них не тайной, и они сами участвовали в ней. Это была жизнь грубой среды, но тем не менее цельная жизнь с ее нуждами, страданиями, радостями и печалью. Поэтому все мои товарищи смотрели взрослыми. Я помню, что на меня такое же впечатление производили крестьянские дети. Правда, здесь слышалась масса рассказов и понятий, не подходящих к детскому возрасту, проявлялся грубый цинизм, рано проснувшиеся страсти. Извращенность взрослых уже проникала в детскую среду и иногда потрясала, разрушала слабые организмы, но она же подготавливала к тайнам жизни и воспитывала известную мужественность. У детей извращенность являлась более на словах, чем на деле, все были циники, грубы, но детское целомудрие сохранялось во многих. Может быть, посторонний человек поразился бы тем цинизмом, который царствовал здесь, но надо было много проникательности отличить напускное от действительной испорченности. Взрослые воспитанники, правда, дрались с мещанами и отличались дебо-

* Дер-бер — от der Bär (нем.) — медведь.

** Были ученики, которые в свободное время торговали в лавках, на базаре, даже был один, который самостоятельно торговал лошадьми, были в гимназии и дети ссыльнопоселенцев. (Примечание автора.)

шами и драками в предместьях. Иные шлялись по трактирам и не уступали в поведении приказчикам, живущие на квартирах: своекоштные компаниями пьянствовали, многие были жертвой ужасных пороков. Все это было. Но в то же время многих не коснулось растление в самой горькой школе бедности. Замечательно, что в этой среде, где добро и зло имели одинаковое действие, я заметил, что порча и разврат привились более всего не к беднякам, не к плебейам, а к детям состоятельных классов. Настоящие бари, дети золотопромышленников, купцов, состоятельных чиновников выходили развращеннейшими, они, так сказать, были более расположены всасывать всякий яд и падали его жертвами. Может быть, это обуславливает гибель и вырождение известных классов. Плебс оказывался более защищен от него своей крепкой, здоровой натурой, отсутствием роскоши и своей трудовой жизнью. То, что известно было одним с малолетства и делало их равнодушными, то для других было запретным плодом. И так жизнь нам равно раскрыла свои тайны.

Демократическая среда гимназии воспитывала равенство. Дети тузов и богачей не пользовались никакими преимуществами; если бы они вздумали кичиться происхождением или состоянием, они бы получили жестокий урок от замарашек и плебеев-силачей. Простота и бедность пользовались правом первенства. Мы научились уважать в этой среде только собственные достоинства и нравственные качества. Хороший товарищ, хороший ученик уважался, к какому бы сословию он ни принадлежал. Вторая стадия нашего развития заставила понять и полюбить душевные качества, ум и отдавать честь способностям. Несмотря на то, что я принадлежал к детям состоятельных родителей и привык к другой среде, я помню свое уважение к поступившему одновременно со мной бедняку Л. Я его встретил за экзаменационным столом в мундире солдатского сукна. Он был сын мещанина. Дома он ходил, говорят, в драгом халате и туфлях на босую ногу, виц-мундир прятался. Так поступали в гимназии многие. Он был отличный ученик, и впоследствии я встретил его в Петербургском университете. Все из моих друзей детства были совершенные бедняки, но я любил их и уважал до глубины души. Впоследствии университет и братская жизнь вместе закрепили нашу дружбу.

Да, эта грубая плебейская среда имела много симпатичных сторон: я полюбил здесь народ, нашу «чалдонократию», как мы ее впоследствии окрестили. Эти инстинкты равенства, заложенные школой, это уважение честной бедности и поклонение труду и таланту, откуда бы он ни выходил, облегчали восприятие впоследствии общечеловеческого идеала. Среди тяжелой обстановки нашей школы мы сплели нечаянно прекрасный душистый венок нашей юности.

III

Старая гимназия, как ни суровы были ее нравы, не могла убить в нас чувства свободы, а окружающий простор и сибирская

природа запечатлели на нас свое веяние. Освобождаясь от класса, мы были свободны делать что угодно и в гимназии, и дома. Каждый пользовался свободой по-своему. Часть злоупотребила ею и была наказана горькими уроками жизни. Для большинства она была благотворна. Мы развивали свои силы, способности, свою наблюдательность и впечатлительность. Пред нами открывался прекрасный мир для наблюдений и наслаждений. Вырываясь из классов и душных комнат, мы резвились, как молодые олени.

Помню конец экзаменов. Гурьба гимназистов спешит на берег прекрасной Томи и бросается в ее холодные освежающие воды; эти воды как бы смывают все заботы, забыты учебники, экзамены, все так туго набиваемое в последние дни точно испаряется, тяжелое выжидательное чувство опасения, страха сменяется чувством покоя и предвкушением будущей воли и отдыха. Ослепительно сверкает солнце, ясное и прекрасное небо расстилается безбрежной синевой, стоит над ним неподвижное, белое, пушистое облако, изумрудной гладью сверкает вода, а там виднеются вдали покрытые молодой зеленью острова Томи. После обеда — на рыбалку. Шныряют по Томи и Ушайке маленькие душегубки, «обласки», с отпущенными на волю гимназистами, некоторые из них с огромными, иногда солдатскими ружьями, которые носили название у нас «аркебузов», спешат на луга «охотиться», сиречь стрелять куликов. Целые таборы юношей около известных «толчек» на Томи разложили костры, и идет шумное детское веселье. Огромная лодка отплывает на острова со всевозможными запасами, она наполнена маленькими людьми, которые учатся грести, но весла плохо действуют в детских руках. Вот лодка засела в камыши, долго возятся гимназисты, пока не подоспеет другая, на которой правит рулем диакон со взрослыми семинаристами, распеваящими стихиры, засевший фрегат беруг на буксир. Кончается все хохотом, песнями и громким, подобным эхо, гоготанием диакона. Вечер. Золотится заря над утопающими во мраке островами, сладко рокочут на них соловьи, пылает яркий костер, и шаловливый выстрел освещает фейерверком искр наступающий мрак. Тихо выплывает луна, а соловьи слаще и слаще рокочут, веет и ароматом свежих трав и вечерней прохладой; усталые, но надышавшиеся свежим воздухом гребцы спешат домой, где опускается на них сон, сладкие грезы осеняют маленькую, раскидавшую золотые кудри голову. И целое лето идет эта жизнь среди природы. Гимназисты блуждают по лесам, на пасаках и покосах. Темные кедровые леса колышат своими вершинами, шумят ели, внушая благоговение, а там высокие сибирские травы и яркие цветы с желтой сибирской лилией, душистый мед, балаган пасечника, рассказы о медведях, о разбойниках — канва для романтизма юной души. Другим выпадают на долю целые путешествия. На огромных дрогах или волокушах едет целая ватага гимназистов в Барнаул, Бийск, Кузнецк, Красноярск, Енисейск. Иные спешат к родным на прииски через тайгу, и сибирская природа открывает понемногу пред

ними свои таинственные чарующие уголки. Вот они, бесконечные, глухие девственные леса. Вон синеющие горы с снежными белками, Кузнецкая чернь и роскошная растительность южных лугов. Что открывается сибирскому юноше, то не всегда встречает европейский путешественник. А между тем эта величественная природа так близка, так знакома. И всех приласкает эта природа, всех оживит. Широкой, полной грудью запасешься здесь, как бы на целую жизнь, воздухом и никогда не забудешь этого таинственного шепота лесов, этой бесконечной дали, этого величественного шума гигантских родных рек. Говорят, что сибиряки угрюмы, сухи, не способны чувствовать красоты природы, это едва ли так. Что делает жизнь впоследствии, это другой вопрос. Но я замечал в душе моих товарищей и земляков неизгладимую печать этой природы, под влиянием ее слагались нежные чувства и истинное стремление к прекрасному, которого так добивался добрый «Пашенька» (учитель словесности, под этим псевдонимом помещавший стихотворения в «Томских губернских ведомостях»⁴). Местная природа посоперничала с ним. Что эта природа и ее красоты производили впечатление, в этом я убедился, когда раз прочел в наших «Губернских ведомостях» полное поэзии описание вечера на Басандайке. К удивлению моему, написал его один из гимназистов-ахиллесов, который славился только физическим развитием, был груб до последней степени и пробивал лбом классные двери. Я не говорю о наших идиллических возможностях, о наших мечтаниях с Робинзоном Крузо и «Записками охотника» Тургенева в руках вместе с моим другом Д. А. Поникаровским⁵, с которым мы давали друг другу клятвы посвятить всю свою жизнь странствию в лесах и охоте. Любовь к прекрасной природе, поэзии и искусству, самые нежные, поэтические мотивы души также доступны сибирякам. Я видел проявление этих чувств у сибиряков-студентов вдали от родины. Они питали страсть в душе ко всему прекрасному. Помню задушевные хоры сибирских студентов, любовь к живописи, музыке. И эта любовь иногда вырывалась страстно, внезапно. Я помню одного приятеля, казанского студента, который зарыдал, кто бы мог подумать, от пляски цыган. Если Сибирь дала Ершова⁶, я имею основание думать, что она когда-нибудь даст своего Лонгфелло и Купера.

К сожалению, впоследствии жизнь стирала эти художественные задатки. Некоторые делались практиками-кулаками. Другие художественные, впечатлительные натуры погибали от увлечений. Припоминаю художественные натуры старых казанских студентов, сколько я знал их. Многие из вас, товарищи, пропали в омуте жизни бесследно, погрязли в житейской тине, между тем и у вас теплилась живая поэтическая натура. В воспоминаниях проходит ряд сибирских буршей, сгубивших свои жизни. Часто среди гибели их слышалась песня юности, мелодия прекрасного и чистого детства. Мне представляется эта песня, как песня несчастной обольщенной Маргариты Фауста, когда она, обессиленная борьбой и простертая перед храмом, вспоминает свое прошлое, а

кругом раздаются адские звуки, демонский хохот гибели и безнадежности. Но что важнее: та же природа заронила в нас искры неизменной любви к нашей родине. Ее трудно не заметить в тоскливых взорах сибиряка на чужбине, в его искренней радости при возвращении. Эта любовь составит, может быть, плодотворный элемент гражданского развития, она даст потребность трудиться на пользу несчастного края, она привяжет к родине наших юношей, как привязала наши сердца, и они ни на что не променяют свою таежную красавицу.

IV

Припоминая типы и фигуры наших педагогов, очерченные отчасти по воспоминаниям товарища Б., к которым не решаюсь более ничего прибавить, я задумываюсь не над тем, способны ли были эти типы дать представление о науке и как понимали ее, сколько над их злосчастной судьбой.

В самом деле, оставить после себя в воспоминаниях поколений только образ карикатуры, что может быть печальнее. Ведь была же личная жизнь у этих людей, было воспитание, не гориллы же это были, это были люди, хотя люди забитые, сбитые с колеи, истрепанные и заеденные жизнью; что же за драматическая судьба окружила их, что измяло, стоптало?..

После классных кличек для всяких педагогов наступает суд взрослых их учеников, и этот приговор страшнее всяких школьных насмешек. Рисунок карикатуры до такой степени беспощаден, что я не желаю ничего прибавлять к нему. Напротив, мне желательно было бы смягчить над старыми педагогами горький приговор и пожалеть их, как людей. Смерть давно совершила свое дело над ними, и человеческое сердце требует над погребенными поставить крест всепрощения. Слабый, неподготовленный персонал педагогов с университетских скамеек явился в глухую неприветливую жизнь провинции и обстановку 40-х годов. Это были люди, случайно занесенные в Сибирь из старого педагогического института и из старых университетов, не успевшие ознакомиться с жизнью, люди без всяких идеальных стремлений, дети глухого беспросветного времени эпохи Магницкого и Шишкова⁷. Многие передавали нам воспоминания о своем прошлом, это также были люди из бурсы, семинарии и старых аракчеевских гимназий, как били их и угощали «кокосами», так они угощали и нас. Это была уже общерусская принадлежность воспитания,— не бог знает, чего они видели на свете. Яков Степанович, учитель словесности, кроме казенного пансиона, педагогического института ничего не видел; вспоминал он, как они ходили в треуголках и отдавали честь офицерам, как за малейший проступок их отдавали в солдаты на Аландские острова, в университетском коридоре стояла пушка; таковы были университетские воспоминания. Федор Афанасьевич [Прядильщиков] был уроженец Оханска Пермской губернии и учился в Казанском университете; когда он явился в

Казань и посетил базар этого большого города, он купил себе раскрашенный поднос, который более всего привлек его внимание, хотя он не имел ровно никакого хозяйства. Это был его собственный рассказ. Некоторые сохранили самые анекдотические воспоминания о своем воспитании, другие — казенные и будничные. Многие учителя, явившиеся в открывающуюся сибирскую гимназию, бог знает попали из какого мира, но только не из педагогического, были какие-то калеки, полусумасшедшие старики. Я. С. Сергиев⁸ рассказывал нам, что при открытии томской гимназии было 3 или 4 учителя. Многие пожелали сюда, но не являлись. «Раз мы играли в карты у директора, — рассказывал Я. С., — была поздняя ночь, вдруг раздается страшный лай собак. Мы думали, воры. Выйдя на двор, мы увидели человека, влезшего в подворотню. Он был в рваном полушубке, небритый и изображал из себя обитателя трущоб. Он спросил директора и вошел в комнату. «Имею честь рекомендоваться, сослуживец», — сказал он и, подойдя к карточному столу, положил на стол пятак, указав: «Вот с чем дошел до Сибири!» Оказывается, что, давно промотав деньги, он шел по пути с партией по этапам». Таковы были первые педагоги; затем прибыл какой-то несчастный ветеран Г. без ног и на костылях. У учеников осталось в памяти, как он у детей купцов просил принести ему из лавки миндалю, причем раз доставили ему миндалю горького. Воспитанники у него прятали костыли на печку, и он оставался беспомощным в классе. Далее являлись личности, вроде пастора Тецлава, люди ничуть не лучше. Переходили в гимназию люди из военных училищ, из семинаристов, вроде учителя грамматики Ивана Гавриловича. Наконец, помню надзирателя, прямо из вятских мещан, пробившего ползком дорогу, и известного Т-нора, который служил то смотрителем училища, то переходил в частные приставы и потом опять воротился в гимназию. Кроме чудака Тецлава, в гимназии был настоящий помешанный Э., которого то садили в сумасшедший дом, то он опять являлся преподавателем. Что можно ожидать от такого контингента. Сибирь была издавна глухой страной, куда ехали люди по нужде и безвыходности, и часто такие люди, которым нигде в России не находилось места, то есть, как и во многих других случаях, Сибирь получала брак. Явившись в местную среду с своим казенным запасом знаний, без всякой силы и веры в свое призвание, они могли только затеряться и опуститься. Нельзя сказать, чтобы некоторые из них не обладали сведениями: некоторые из них были отличными учениками в свое время, но они не умели эти сведения сделать достоянием ни учеников, ни общества. Напротив, они сами постепенно теряли свои знания, забывали, обленивались, усваивали жизнь и привычки невежественной среды, опускались до мещанской жизни или спивались и сходили с ума. Я. С. Сергиев передавал о своем товарище из педагогического института, прекрасном математике, который, прибыв, через год-два впал в меланхолию и перешел прямо к запоям, при нас он уже таскался по кабакам и вел несчастную жизнь, так он

и погиб. А-в⁹, учитель латинского языка, имел склонность заниматься даже этнографией, печатал статьи в «Губернских ведомостях», но периодически предавался страшным запоям и тоже умер от пьянства. На моих глазах приехал из педагогического института молодой учитель С[идорен]ко, джентельмен, эlegantный, красивый. Когда я приехал из Петербурга через 3 года, я видел его в трактире обрюзгим, опустившимся; вскоре он вышел из педагогической среды. Математик Ч[иги]р тоже пил горькую. «Кокос» не ходил по целым неделям в класс от той же болезни. Припадки Ивана Гавриловича воспроизведены в посещении им квартиры свокоштных, где его вымазали чернилами (см. воспоминания Н. Б.). Так одна часть опускалась и пила горькую, некоторые, как Э., сходили с ума; оставались люди, примирившиеся с обыденной обстановкой, они переженились на кухарках или простых бабах и погрузились в довольно прозаическую жизнь. Такова судьба была Якова Степановича, Федора Афанасьевича и т. п. Як. Ст. когда-то знал порядочно языки, был знаком с классиками, Федор Афанасьевич был географ, знаток старины, он был прекрасный рассказчик, но все достоинства и знания куда-то испарились. Сначала еще обнаруживались какие-то потуги к занятиям. Ф. А. собирал сведения о сибирской старине, а Як. Ст. переводил стихи из Шиллера, но потом добрые старики отличались только рассказами анекдотов, причем Ф. А. передавал в классах, как пермский губернатор с обществом катался на масленице, причем одна дама наполовину провалилась сквозь сани к общему соблазну, а Я. С. сообщал о приключениях Калиостро, фокусах Боско и т. п. Я. С. исключительно вместо преподавания словесности предавался воспоминаниям и анекдотам. Он не знал, куда занесет его рассказ. Было замечено, что он начинал о Николае Угоднике, а кончал класс рассказом о воробье. Иногда он прямо приступал: «А вот я помню, у нас в Рязани...» Воспитанники его прозвали, наконец, «боталом», погремушкой, навязываемой коровам. Всякая интеллигентность стерлась, науки как будто и не существовало. Педагоги потеряли до того уже всякий образ образованных людей, что перепугались, когда приехал в Томск известный литератор С. В. Максимов¹⁰ описывать Сибирь и каторгу. Я помню, как передавал нам в классе Як. Ст. о том, что приехал петербургский литератор и что «с ним надо ухо держать востро». По своей наивности он сообщил, как учителя решились устроить напoкaз литературный вечер, которых никогда не устраивали, они вытащили старые университетские диссертации и сочинения, как текущие свои занятия; весьма много забот составлял ужин; суп и пирожное привозили от директора из другого конца города. Не подозревал приезжий литератор наведенной паники. Он был очень добродушный человек, весело провел время, не обращая внимания на ученые диссертации, и, уехав, печатно принес благодарность «за радушный прием», заявив, что «в Томске педагоги для объединения и развития умственной жизни устраивают литературные вечера». Так эти вечера и остались в одной книге

«На Востоке». В сущности — наши педагоги не имели никакого интеллигентного позова.

Несомненно, что, с одной стороны, на них повлияла глухая жизнь, мертвое общество, отсутствие всякой связи с просвещенным миром, во-вторых, их собственная натура далеко не была настолько упругой, чтобы противостоять среде. Она не поднималась над обыкновенным уровнем общества купцов и сибирских чиновников. Воспитание не дало им внутренней силы, знания их были формальные и тотчас же были отложены в сторону, как делали и мы после экзамена, вера в какое-то другое призвание и духовный высший интерес жизни были недоступны им. Бедные, они умерли слепцами у подножия того идеала, который мог согреть их жизнь и спасти ее. Я всегда задумывался, почему наше учашее сословие не представляло выдающегося, руководящего элемента в обществе и не было представителями интеллигентной жизни, и приходил всегда к публицистскому выводу, что без умственной жизни в самом обществе, без местной литературы, общественного интереса даже ученые люди хиреют и опускаются вместе с обществом.

Не могу не вспомнить, однако, двух, трех личностей из учителей, заслуживших наши симпатии по их мягкости и гуманности. Один был законоучитель отец Федор, мужчина высокого роста, геркулесовского сложения, но мягкий и добрый до слабости. Воспитанники никогда не учили для него уроков, и он не имел духу никому поставить дурную отметку; я не знаю, была ли эта кротость плод его христианского благочестия и смирения или результат душевной мягкости; кажется, последнее. На все наши шалости и дикое беснование он отвечал мягким упреком. Слабостями других учителей пользовались и насмехались, но к отцу Федору все питали любовь и уважение. К сожалению, я узнал, что и его жизнь кончилась несчастным образом, он кончил меланхолией и помешательством.

Другую симпатичную и мягкой, гуманной личностью явился для нас добрый Павел Михайлович К[ошаров]¹¹, художник академии, приехавший учителем рисования. Он никогда не выходил из себя, никого не преследовал и на самые неистовые выходки отвечал всегда с мягкой улыбкой и легким укором: «Ах, господа! господа!». Тем не менее, он развил во многих страсть к рисованию, он был сам страстный художник; доброта подобных людей покоряла нас скорее и лучше всяких экзекуций, пинков и крика «на колени». Мне кажется, что природная мягкость, терпение и нежность сердца должны быть неременной принадлежностью педагога, дети инстинктивно отличают добрую натуру от злой. Каким контрастом подобным характерам был, например, учитель французского языка Прозоровский, человек бешеный, холерик, который выходил из себя и раз нанес удар большим перстнем на руке в лицо воспитаннику так, что его окровавил. Но повторяю, за карикатурными и уродливыми чертами старой гимназии скрывалась распускающаяся жизнь, здесь была детская радость и свет-

лые минуты, горячая юношеская дружба, преданность; здесь развернулись первые лучшие чувства души и билось горячее молодое сердце. Как ни мрачно было кругом в педагогическом мире, как ни была безответна и холодна среда его, не отвечавшая на любознательность проснувшегося ума, но ведь нет на свете такого подвала, такого пандемониума, где бы жизнь человеческая не искала развития. Наша молодая душа искала жизни и света. Были и у нас даровитые силы, чуткие души. Мы видели на своем веку, как распускались эти силы, как дали плод, и можем сказать: не бездарна была и наша природа, не горько бесплодна была почва нашей земли! Где эти силы нашли удовлетворение?.. Как здесь совершилось искание жизни? Этот момент пробуждения нашего сознания, наших духовных сил я также желал бы напомнить старым товарищам!

Тянувшиеся к свету ветки молодого дерева выходили все-таки наружу, жизнь прорвала и нашла себе дорогу, мрачная среда, ее уродливые и жесткие стороны, ужасные экзекуции бурсы, потоптание человеческого достоинства, грубость и жестокость педагогов к нежной детской натуре не могли подавить человеческой жизни и убить душу. И вот, когда так или иначе выход этот был найден, когда лучи яркого солнца обогрели нашу жизнь, когда мы видели другой мир с его иной обстановкой, с его человеческими стремлениями, драматической борьбой, с служением идее и идеалу человечества, когда такой мир человеческой, братской любви осенил нашу душу, мы можем уже иначе смотреть на наше прошлое существование. Мы с горечью вспоминаем темный подвал, где прозябали семена жизни, но наше внимание останавливает не столько та сумма неблагоприятных условий, которая могла задавить жизнь, сколько то, где при этих мертвящих условиях подземные семена находили себе живительные и жизненные соки, чтобы окончательно не погибнуть. Без проклятия и ненависти мы относимся к старой, темной среде. Человек, вышедший даже из тюрьмы, не питает к ней более ненависти. Проклятие к прошлому бессильно — нанести более вред бесполезно, здесь важны только уроки для будущего.

Прежде, чем бесповоротно осудить прошлое и с гордостью воскликнуть, что мы никогда к нему не возвратимся, надо быть уверенным, что современная система воспитания освободилась от старых традиций, что педагогика вышла на новую дорогу, что новые заведения ничего не имеют общего со старыми, что детский ум и любознательность находят ныне полное себе удовлетворение, что между учителем и учеником исчезло недоверие и существует только мир, любовь и взаимное уважение. Если все это так, — тем лучше. Нам остается сказать только: да расцветает юная жизнь наших поколений в более счастливых условиях, пусть не коснется их горькая судьба нашего воспитания, и «да минует вас эта чаша, отравлявшая нас!»

Старая добрая гимназия, не тебе было суждено с твоими педагогами развить в нас жажду знания, пробудить ум и сердце. Это выпало на долю других обстоятельств. Всепоглощающая страсть знания, пробуждение, проникающее в молодую душу, иногда приходит внезапно, откроет очи, охватит, очарует ум, заставит хлопотать кровь, осмыслить жизнь, засветит внутри огонь неугасимый. Откуда возьмется оно? Бог знает, но оно придет, придет к молодому поколению, как жених к своей невесте. «Се жених грядет во полунощи!» — скажет эта неведомая сила.

Среди ленивой казенной обстановки заведения учение и знание из казенных книжек весьма туго прививались к нам, несмотря на внедрение его Павлом Антоновичем в сторожке, внушительным постукиванием Федора Афанасьевича по кулаку, аллегорическое напоминание о внедрении и пробуждении в нас совести педагогами с помощью «болванов, язв, олухов, пентюхов, ослов и ослят». Чем далее мы учились, тем учебник терял более привлекательности, он истрепывался, исчезали чертежи, цифры, но не впрок, они просто исчезали, как ненавистные предметы из мира действительности. Мы становились все ленивее, и этот недостаток не поправила даже философская тема заданного Яковом Степановичем сочинения «Прилежание изощряет способности». Способности не изощрились. Способный Н. И. Наумов вышел из 3-го класса гимназии, несмотря на то, что обладал блестящей памятью в рассказах по истории. Он получал по этому предмету 5, не заглядывая в учебники, но по остальным — совершенно отрицательные величины. Я забывал уже приобретенные до гимназии знания французского языка. Как ленивые животные, кое-как мы перебирались из класса в класс. Но в то время, когда казенная наука ровно не давала нам ничего, в нас пробудилась страсть к чтению и любознательность. У моего отца была большая библиотека с журналами и лучшими произведениями литературы, с Пушкиным, Лермонтовым, Жуковским, Державиным и т. д.; читая сам, понемногу я сделал ее гимназическим достоянием, таская книги Наумову и моему другу Поникаровскому, — выпрашивали и многие другие. Когда я пробавлялся беллетристикой, Наумов читал уже критические статьи и напал на безымянные статьи Белинского. Странно, что Яков Степанович никогда нам не передавал об его существовании. Наумов поглощал массу книг, повестей, романов выйдя из гимназии и сидя дома. Скоро у нас образовался литературный кружок. Я вел дневник, записывал детские воспоминания и начал упражняться в стихах. Наумов подражал то Брамбеусу¹², то Гоголю, Поникаровский — Тургеневу. Помню, как мы сбились и читали свои произведения, и припоминаю, как меня обидел ядовитый Наумов, написавший стилем Брамбеуса, который его в это время увлекал, злую критику на какое-то мое стихотворение. Но истинное пробуждение ума и души явилось позднее. Мы мужали и достигали высших классов. Пробивался пух на верхней

губе, голос стал мужественнее, в глазах была та загадочная задумчивость, то вспыхивал огонь. Я думал уже об университете, но меня тянула внешняя сторона его жизни, грезились товарищество, какая-то веселая буршская жизнь. А между тем в России уже кипела новая жизнь: пятидесятые года выступали в полном блеске. Чужалось обновление, шумела журналистика, но до нас ничего не доходило. Только Степан Иванович [Игнатьев] (сухой, но дельный учитель истории) приходил в класс, восторгаясь английскими порядками. Он был, повидимому, поклонник тогдашнего «Русского Вестника»¹³, что, однако, не колебало в его глазах авторитет Устрялова¹⁴. Что касается Якова Степановича, как учителя словесности, то его безмятежная душа, принося новый «Современник»¹⁵, не подозревала даже, что это «Современник» новый, а не старый Пушкинский, который он привык видеть. Он не подозревал, что в критике творится что-то новое, и обыкновенно развертывал хроники Панаева под псевдонимом «Нового поэта»¹⁶ и, услаждаясь описаниями петербургской жизни, дивился, что явился какой-то новый поэт. Но в жизни кругом веяло чем-то другим, в высшие классы гимназии как-то проник Белинский. Степан Иванович, явившись раз в класс, точно осененный, вдруг задал вопрос, как мы думаем об одном весьма известном, но покойном авторитете. Мы молчали. И Степан Иванович провозгласил торжественно, что это был «дурак!» Это была неожиданность — комментатора новых явлений еще не было. Но этот провозвестник новой жизни должен был явиться, и он явился. Он произвел переворот в мирозерцании, познакомя с тем, что творилось в России, и произвел переворот не в одном во мне. Желая сохранить последний год в гимназии, я отдавался мечтам, лежа на диване и куря папиросу за папиросой. Я рисовал себе университет и студентов, которые являлись в моем воображении в клубах табачного, товарищеского дыма с веселой улыбкой на лице, с беспечностью юности, с пламенным сердцем дружбы, с их удалью, весельем и т. д. Раз эти мечты были прерваны действительностью. Моя мать по возвращении моем из гимназии сообщила мне новость, что у нее был приезжий студент университета, явившийся в город учителем, он просится к нам на квартиру, и когда получил сведения, что я собираюсь тоже в университет, то пожелал познакомиться. Это заставило тревожно биться мое сердце: как, студент из Петербурга и будет жить у нас, расскажет, что меня ожидает, откроет некоторую прелесть будущего!.. Я начал ждать этого свидания с нетерпением. Он условился переехать к нам в нижний этаж дома на квартиру. Придя из гимназии, я его увидел после обеда. Когда он вошел к нам, я, с некоторым подбострастием, осмотрел его. Это был высокий молодой человек, весьма стройный, немного сутуловатый, что не уменьшало его большого, внушительного роста; большая курчавая голова, открытое лицо, несколько вздернутый нос, на котором были очки, самоуверенный, быстрый взгляд, уверенная насмешка на губах и чуть заметная борода производили приятное, располагающее впечат-

ление. Он был в учительской форме с саквояжем, трубкой в руках и в оригинальном кашне. Могу сказать, что общее впечатление было вполне оригинально. Это был Н. С. Щукин¹⁷, ему-то и суждено было сделаться нашим героем юношества. Многие помнят его подвижную фигуру, энергическую речь, пламенную проповедь, его резкие приговоры всему отживающему, запас новых общечеловеческих идей, которые он вынес из тогдашнего университетского круга, тех надежд, с которыми он познакомил нас и которыми жила тогда Россия, ждавшая освобождения крестьян и своего обновления. Студент Щукин, подвижной, неугомонный, Рудин по натуре, студент в душе, человек, искавший деятельности и прозелитов нового учения, упал к нам точно с неба. От него мы узнали впервые, что переживала Россия. Целый поток света осенил наше сознание, заставил волноваться кровь, трепетно биться сердце. И в самом деле, эпоха была исторически великая, вдохновенная, открытие для нашей души слишком внезапное, наша тьма была слишком неприглядна, а тут еще свет и приток целой массы европейских идей, о которых мы не слыхали. Мы в первый раз услышали о прогрессе, о человеческом братстве, о лучших стремлениях человечества. И если одно открытие Бриссо¹⁸ потрясло нации, если идеи эти шевелили европейские умы, то могли ли мы остаться к ним равнодушными. Мы были дети русского общества дальней семьи, его глухой стороны, для которой был неизвестен целый мир. На нас хлынуло все разом: европейская жизнь, история и идеи, волновавшие Европу полвека. Руссо и Вольтер, Дидро и Д'Аламбер, Кондорсе¹⁹ — все для нас было ново, все это разом вторглось к нам, как и в жизнь России. Материал был громадный для мысли, он должен был потрясти и создать целое мирозерцание. Мы узнаем целый ряд мыслителей и учителей человечества. Мы узнаем, что для России также доступно счастье, что в ней предвидится великая работа и мы также имеем участие в ней, как будущие студенты и будущие граждане. Как же не забиться было от этого юношескому сердцу. Щукин принес вести об обновлении университетской науки и литературы. В первый раз с жадностью и с восторгом мы узнали великие имена Виссариона Белинского, Грановского, Пушкина, Лермонтова, их гражданская скорбь, их ранняя гибель получили для нас новый смысл. Золотые звезды всходили на горизонте новой литературы. В это время уже показывался Добролюбов, и Щукин был его одноклассником, сначала в педагогическом институте. Мы открывали и следили, что писалось об освобождении крестьян. Наш новый знакомый передал о работе редакционных комитетов, о готовящемся уничтожении цензуры. Он знакомил с последними событиями и волнениями петербургского мира. Бог знает, откуда он добывал новости и новые книги. Мы проводили целые ночи в беседе и поглощали новую литературу. Щукин, беспрестанно суетившийся, искавший поклонников, друзей и учеников, скоро сгруппировал около себя весьма разнородный кружок. И с кем он только не перезнакомился — и молодые ученики гимназии, барышня, мечтавшая о педагоги-

ческой деятельности, отставной смотритель училища — 60-летний старик, но философ и оригинальный ум, «замечательный самородок»²⁰. Д.²¹ — человек замечательного ума и развития, ссыльный Бакунин²² — европейская знаменитость, и тут же какой-нибудь полуграмотный поэт, стихи которого понравились Щукину, и он спешил их отправить к Добролюбову. Сам Щукин пописывал в газеты и готовил какую-то громовую статью в «Искру». Временами он устраивал литературные вечера и пельмени, которые носили студенчески бесцеремонный характер. Но дело было не в самом Щукине, он часто отдавался забавным иллюзиям и разочарованиям. Его знакомство дало толчок и материал нашему уму. Пред нами сверкал в будущем настоящий свет жизни и науки. Иногда страстный трепет, под влиянием прочитанного, охватывал все существо. Впечатления ложились живо и ярко. Иногда гражданские восторги и чувства наши были искренни и неподдельны.

Я нашел друзей своих обновленными, исчез мрачный байроновский взгляд на жизнь у Наумова, братья Савельевы толковали о новых вопросах и сбирались в университет, угрюмый оживился, бродил как в тумане добрый мой Поникаровский. Все мы нетерпеливо ждали выезда в университет. Все думали об одном: и состоятельные юноши, и бедняки, почти нищие, которым одинаково открывался свет разума и свободы. Так проходил этот год, лучшее время надежд. Самые лучшие чувства, самые свежие гражданские восторги были пережиты в это время, и волнения и думы, проклятия старому и благословения новому, слезы, накипевшие в детской груди, сменялись детской улыбкой надежды, вера в грядущее, любовь бесконечная, пламенная любовь к человечеству, ко всему несчастному и обойденному, вера в народное счастье согревали сердце, как основа будущей религии, как залогов жизни.

VI

Я помню, мы приехали в столицу в половине 1860 года. Это было время радостных надежд и упований перед освобождением крестьян. Я не могу прервать на этом пункте свои воспоминания о гимназии и сотоварищах-томичах, так как в университете мы встретились в новой обстановке и зажили иначе.

Акт нашего самосознания совпал с великим актом пробуждения русской жизни. Мы помним это время и не можем не отметить его. Не умолк еще гул последнего пушечного выстрела на крымских полях, пороховой дым стлался и не успел рассеяться, когда над русской землей всходило солнце, солнце новой жизни и обновления. Оно встретило нас, когда из нашей дальней родины мы явились в университет в конце 50-х годов и начале 60-х, когда все ожидали освобождения крестьян.

Трудно передать этот момент русской жизни и состояние русского общества, оно скорее запечатлено в чувствах, в смутных грезах и образах, чем поддается сознанию и определенным воспоминаниям. Прежде всего, как-то особенно чувствовалось все по-

весеннему, везде была весна: и в воздухе, и в сердце; какой-то гул шел по Руси, слышался повсюду живой, открытый, нестесненный говор, точно сразу люди были выпущены откуда-то и заговорили от полноты души, и торопились высказать все, что наболело на душе, что скрывалось, но чувствовалось. Чего-то все ждали. Всех охватывал этот трепет ожидания чего-то хорошего, счастливого. Переживалось нечто необыкновенное, что не переживалось ни до, ни после этого. Не было кругом давящего кошмара, не было ощущения робости и рабского трепета, почти панического страха, воспитанного с детства, который проникал прежде до глубины русского человека, сжимал душу и вечно заставлял скрывать собственные помыслы. Каждый стал вдруг говорить: «могу», «хочу», и все почувствовали, что холодный трепет более не охватывает организма, ничто не сжимает горла. Всем дозволено было жить, и мыслить, и говорить, как чувствуется. «Так царь хочет», — говорили кругом, и все шипящее мгновенно замолкало, а все хотевшее жить открывало душу²³. И действительно — русское общество свободно, безбоязненно дышало в эти минуты. Его окружал тот воздух, который нежил, ласкал и вызывал все силы, всю мощь души. Под влиянием его вышло все наружу, каждый спешил исповедаться, как на духу, каждый высказывал заветнейшие мысли, это было как бы начало освобождения мысли, разума. Это был момент пробуждения всего русского общества.

Утешительные вести и новости разносились повсюду, чуялись ожидания чего-то торжественного, великого; высоко поднимались кубки, братски сливались уста в поцелуе, крепко и трепетно жались руки в этом ожидании, а кругом шел гул колоколов, точно к христовой заутрене.

Петербургский университет тогда представлял учреждение, какое другим поколениям уже не суждено было видеть. Я не говорю о блестящем и талантливом составе профессоров, оставивших имя в истории русской науки и в истории русской литературы. Кавелин, Костомаров, Сухомлинов²⁴ — будущий академик, Спасович, Пыпин²⁵ входили в состав профессоров того времени. Достаточно вспомнить даровитые лекции покойного Н. И. Костомарова, на которые стекался весь Петербург, чтобы понять то влечение и обаяние, которое имел тогда университет для общества и студентов. Нам не забыть никогда публичного чтения Н. И. Костомарова, когда университетская зала была наполнена 2500 человеками и все это гудело от восторга и экстаза, не забыть публичных диспутов с Погодиным, когда Н. И. Костомарова студенты выносили на своих руках. И это было не одно торжество университета: ликовало общество, общество просвещенных людей Петербурга, вся интеллигенция, мало того, даже аристократические салоны были прикованы и увлечены жизнью университета. «Студенты» было почетное имя, и они гордо подняли голову. Солидарность между профессорами и студентами была полная, у студентов сохранилось глубокое уважение к авторитету знания, профессора дружески относились к студентам и руководили ими, принимая

часто их к себе в дом. Я помню этих благородных руководителей наших, которые уяснили нам силу знания, открыли нам новые горизонты, дали веру, напитали нашу душу сознанием идеала и научили находить величайшее наслаждение и утешение в области духа и идеи, несмотря на все превратности. 25 лет спустя в Петербурге, будучи писателем, я встретил их такими же и жал в умилении руку старцев, положивших лучшие залогов жизни в наше сердце. И с Н. И. Костомаровым и К. Д. Кавелиным я беседовал, когда они кончали век, но были бодры умом и духом, я говорил с ними о судьбах моей родины. Тот и другой были истинными друзьями областного возрождения, разумея в нем поднятие духовных и гражданских сил всего народа. Мне суждено было хоронить их и бросить последний ком земли и последние цветы.

Представив слабую картину этого времени и положения университета, я предоставляю судить, что должны были перечувствовать мы, сибиряки, явившиеся из своих дальних захолустьев. Прикинув к общей студенческой жизни в университете, мы встретили земляков из Тобольска, Иркутска и других мест Сибири, томичей в мое время было немного в Петербурге — 2 или 3, только после понаехали. В Москве также было мало, в Казани было более.

Университет соединил всех нас — и томичей, и тобольцев, и красноярцев, и иркутян — в одну семью. Перезнакомившись, мы стали жить как братья, мы почувствовали стремление соединиться в группу, и это был первый сибирский кружок; до тех пор закинутые в столицу сибиряки жили разрозненно, они затеривались, исчезали, многие погибали. Я помню блестящего математика Сидорова, кажется, из томских казаков, которого мы впоследствии присоединили к своему кружку, он тосковал, ранее впал в меланхолию, почти доходил до сумасшествия, чувствуя себя одиноким. Другой даровитый томич, не помню фамилию, живя в нужде, простудился и умер.

Когда мы соединились, то были связаны уже воспоминаниями о родине. Все сибиряки инстинктивно чувствуют эту связь, она лежала бессознательно в их душе.

Такая же бессознательная любовь проникала и нас, но когда мы развивались, когда другой воздух окружил нас, когда страстное биеие жизни коснулось и нас, то мы не могли не проникнуться более сознательным отношением к судьбе нашей родины. Когда все жило общественными вопросами русской жизни, русского народа, когда так мечталось, так верилось и мысль высоко парила в грядущем, могли ли мы не подумать о своем забытом крае, с которым связаны были рождением, родством, всеми нашими симпатиями. Вот в это-то время в молодом кружке товарищей-земляков появилась мысль о служении нашей родине, о возвращении домой. Доселе большинство окончивших курс в университетах не думали возвращаться и избирали выгодные места вне родины. Их не влекло сюда ничто, они с содроганием вспоминали невежественное общество, отсутствие умственной жизни. Лучшие об-

разованные силы, ученые, таланты уже не возвращались более на родину. Мы поняли тогда, что такое абсентеизм²⁶.

Абсентеизм! какое это ужасное слово. Разлука с родиной! Какое это противуестественное чувство, недаром этот абсентеизм вызывает досаду, причиняет боль душе, недаром мы, отданные интересам нашего края, давно чувствовали его вредные последствия. Сколько лучших образованных сил нашей земли исчезли благодаря ему, сколько цветов мысли и чувства дали плод на других полях, когда собственная нива была пуста и земля ее не давала желанного ростка.

Всякий день выходил сеятель на ниву, всякий день бросал зерно жизни, ожидая всхода и жатвы, но птицы и ветер уносили это зерно далеко, далеко. Зрел, наливался и золотился колос, покрывая пажити в счастливой стране, но не у нас. С немым отчаянием пахарь приходил на свою опустошенную ниву, всякий день он ломал себе руки и тощей грудью ложился на землю, упитывая, безумный, ее слезами, но нива была неумолима.

Солнце пекло эту пустыню, как Сахару, почва томила и иссыхала, а живительная влага источников, стремясь где-то под землю, вечно уносилась вместе с драгоценными минеральными элементами, удобряя другие пажити. А ведь здесь, может быть, была, — да и наверное была — «соль земли».

И, видя это, мы возроптали, мы, чью голову впервые осенил луч сознания; и ради блага нашей родины мы решились, именем любви и пощады нашей земле, убедить не расставаться с нею образованные лучшие силы. Это добровольное удаление с родины наших образованных людей при скудости их мы заклеямили даже в своем кружке отступничеством; пылкие и горячие, мы давали клятвы возвратиться на родину, служить ей беззаветно и, окончив или не окончив курс в университете, возвратились назад домой не случайно, но вполне сознательно.

Нельзя сказать, чтобы эта мысль и влечение были напускными. Нельзя сказать, что они появились только у нас. Уже наш поэт Ершов (автор «Конька-Горбунка»), как видно из биографии, написанной Ярославцевым²⁷, в университете мечтал воротиться для гражданского служения Сибири и обменялся каким-то таинственным кольцом с своим товарищем. Известный историк Сибири Слобцов²⁸, хотя и ранее, чем желал, попал в Тобольск на родину, но стал горячим патриотом здесь, работал целую жизнь над историей нашего края. Его книга написана старинным витиеватым слогом, но в ней можно открыть доселе страницы, исполненные теплого сыновнего чувства, слова восторженности, умиления или грусти над судьбой любимого края. Стало быть, это чувство естественно и неизбежно, когда наступает сознание.

Наша гражданская проповедь и пример были слишком слабы пред силой вещей и не могли увлечь всех учащих, наш голос был ничтожен для большинства, знавшего цену себе и своим способностям. Орлята и ястребята клялись вместе с нами не покидать родного гнезда, а потом так же свободно парили в небесах,

как свойственно их природе. Добрые и прекрасные юноши говорили пламенные речи об абсентеизме и спокойно оставались в столице, получая доктора прав и делаясь адвокатами и профессорами. Ах, алмазы и бриллианты издавна составляют пустыни Бразилии и Капской земли, золото — Калифорнию, табак — Гаванну, и даже эмигрирует кайенский перец. Все это так обыкновенно. Эндосмос и экзосмос²⁹, выделение, всасывание, столь свойственные природе, действуют тем энергичнее, чем более равняются тела, приходящие в соприкосновение по своему составу. Социальные законы не уступают физическим; когда одну страну окружают мрак и невежество, а другую — свет, понятно стремление из первой в последнюю. И чем положение одной страны безнадежнее, тем притягательная сила ко второй будет сильнее. Абсентеизм — это дракон цивилизации, это железный промышленный закон рынка. Он так беспощаден, что сама жертва придумает себе остроумную теорию и воспоеет себя в чреве китовом. Притяжение к центру, центростремительность и центробежность, разве это не закон вселенной! Перевертываться туда, где нас больше греет, разве это не свойство живого тела. Влечение к рынку, где цена на способности выше, разве это не закон политической экономии*. Так и наша интеллигенция, расставаясь с родиной, всегда находила себе оправдание. Несомненно одно, что это явление было плодом не личной воли, но плодом целой совокупности экономических и социальных причин. Поэтому, если отлив образованного класса существовал бессознательно, то тот же закон не мог измениться, когда мы начали приходить в сознание. Несомненно, что наша культура и склад жизни представляли слишком много противоположности другим местам, чтобы не допускать существования и расцветания образованного класса на нашей почве, где ему не за что было укрепиться своими корнями. Наше положение от этого сознания не стало ни на волос легче. Проповедь юных пророков во имя родины замолкала, а факты жизни только открывали картину, как жизнь награждала тех, кто не следовал этому правилу. Роскошь и почести были уделом тех, кто не думал об этой химере юности. Железный социальный закон с своим экономическим круговоротом совершал свое дело, и его беспощадное действие, его сила проявлялись; тем более он охватывал нашу ниву, тем шире, чем более мы пребывали в застое, а другая жизнь прогрессировала, контрасты жизни выступали рельефнее, наша почва понижалась, а соседний берег повышался, наш горизонт становился мрачнее, и жизнь находилась в застое, а в других местах, в центре, в столицах, жизнь совершенствовалась. Поэтому естественно нашим силам было стремиться к ней. И вот мы становились еще беднее. Чем более рос человек, тем

* Я мог бы по этому поводу напомнить спор, возникший в 1880—81 гг. между г. Мордовцевым, указывавшим силу этого закона, и провинциальной печатью, защищавшей областное возрождение и децентрализацию, спор, в котором и я участвовал. (*Примечание автора.*)

более он не выдерживал нашей почвы, пред ним или разверзлась пропасть, или волна невидимой силы выкидывала его вон.

У нас не создавалось интеллигенции, а без интеллигенции не создавалось общественной жизни, общественных стремлений, общественного тепла и света, чем красен божий мир. Но то же отсутствие умственной жизни не удерживало, не привлекало, не укрепляло интеллигенции. Словом, это был *sercle vicieux** нашей жизни. И так шло время, так же бушевали ветры пустыни, тот же самум смерти носился над нею, и сила железного закона не ослабевала.

Самым драматическим эпизодом в истории нашего абсентеизма явился, однако, тот момент, когда неожиданно и негаданно тот же жребий обрушился не на одних тех, кто пассивно повиновался ему и даже от него выигрывал, а и на тех, кто всеми силами старался укрепиться на родине и сопротивлялся неумолимому закону притяжения к центрам.

25 лет спустя я, к немалому изумлению своему, встретил вне Сибири вдруг группу друзей моей юности и университетских товарищей, и именно всех тех, кто более всего любил свою родину и для которых не было ничего ужаснее, как расстаться с ней, я встретил их выкинутыми судьбою, обстоятельствами из [родного] края на чужбину; как это случилось, я не расспрашивал. Мы грустно улыбнулись друг другу.

Они, видимо, были поражены неожиданностью выпавшего на их долю жребия. В то время, когда по пасмурному небу неслись темные тучи, кричали дикие вороны и молнии зловещими зигзагами прорезывали небо, они стояли вдали от берега, от которого отнесли их волны, и у подножия невских скал устремляли жадные взоры на любимую даль. С болью в груди, с ноющим сердцем они походили на тени Дантова ада, в безмолвных муках они протягивали руки и ожидали от бегущих волн ответа на неразгаданный вопрос их жизни. Их глаза, их томительные взоры говорили, как пламенно и глубоко они любили, что видеть им не суждено. «За что же?» — но темные волны вздымались мрачными чернеющими фонтанами и не давали ответа. Кто-то из них выразил в стихах свою тоску:

Как тяжело умирать
Безвременно в дали.
И мутным взором не найти
Кругом родной земли.

VII

Другая идея, которая проникала в сердце и составляла предмет размышлений в нашем студенческом кружке, — это была будущность и судьба нашей родины, нашей отдаленной окраины. Видя, как было все оживлено, как все искало дела, применения сил,

* Перочный круг (*фр.*).

слыша страстные речи о народе, о долге гражданского служения, мы не могли не перенестись мыслями к нашей родине и не задуматься об ее будущем. Мы представляли ее, в настоящем пустынную, бедную и убогую,—нарядною и богатою в будущем; невежественную—образованной, усеянной школами; вместо несчастной, слышавшей только звон цепей и проклятия ссыльных, мы рисовали себе ее населенною, свободною, жизнерадостною и ликующею, мы называли эту страну страню будущего, прежде чем этими словами начал книгу мой друг профессор Петри³⁰ «Sibirien ist ein Zukunftsland»*. Мы мечтали о счастливой будущности нового девственного края, подобно Америке и Австралии, перечисляли неистощимые ее богатства, рисовали ее в будущем видным мировым рынком, царицей Азии. Широкие исторические перспективы открылись нашему духовному взору, и мы старались изукрасить шелком и бархатом, золотом и изумрудами нашу любимицу. Мы восторгались мечтой своей, сладко замирало сердце, высоко парило воображение. Кто не испытал мечтаний в юности, этих грез волшебных и обольстительных, сладких, как сны ребенка, которые впоследствии стирала горькая действительность?!

Мысль о сибирском университете, помню, приводила особенно в восхищение наш кружок, более других развивал эту мысль и был ее фанатиком несчастный томич Сидоров. Он носился с этой мечтой и считал ее как будто своей собственностью. Скоро она сделалась нашим общим достоянием, мы горячо говорили об этом в кругу товарищей. Мы начинали свои литературные работы статьями об университете. Об университете писали покойный друг наш С. С. Шашков, Потанин и другие; я начал свои первые литературные работы статьей об университете в «Томских губернских ведомостях» 1864 г.; написана была эта статья или речь для публичного чтения, состоявшегося в Омске, в 1863 г. Я помню конец из этой горячей статьи³¹, написанной с пылом молодости и оканчивавшейся словами, полными веры: «Сибирский университет будет и будет». Так зарождались в эмбрионе те идеи, которым посвящено было все служение нашей жизни и 30-летняя защита этого вопроса в печати, пока мы не дождались радостного дня открытия университета в 1888 г.

Сначала мы не мечтали, что университет будет в Томске, создание его предполагалось в Иркутске, но мы одинаково любили лелеять мечту о нем, где бы его ни создали. Я не желаю здесь говорить о том, какое я лично принимал участие в этом вопросе во время 25-летней борьбы за осуществление любимой идеи, а борьба эта была не легкая. Я горжусь тем, что мы, томичи, участвовали в печати и в обществе, содействуя осуществлению этого высшего образовательного учреждения, которое поднимет духовную и гражданскую жизнь Сибири и будет, может быть, началом новой эры.

Веяние литературы, ее огромное значение для русского общества в период возрождения не могло остаться без следа. Мы

* «Сибирь — страна будущего» (нем.).

читали лучших публицистов, это было время, когда журнал разрезывался жадно и его прочитывали в первые сутки. Чувствуя значение печатного слова, понимая всю важность его в общественном развитии, мы уже юношами мечтали о своей газете в Сибири, об издании памятных книжек, альманахов. Мечте этой суждено было сбыться впоследствии. До тех пор литературные работы сибиряков были раскиданы по разным журналам... В нашем маленьком кружке сибиряков 60-х годов, благодаря увлечению литературой, появились и литераторы: иркутяне — Шукин, Федоров-Омулевский³², С. С. Шашков, западные сибиряки — Потанин, а затем томичи — Наумов, Кущевский. Мы не говорим о выпущенных в это время даровитых медиках, как иркутский Н. А. Белоголовый³³, тоболяки — братья Черемшанские (старший из них известный психиатр), М. Я. Капустин³⁴, профессор Варшавского, ныне Казанского университета. В Казани гремел наш земляк, даровитейший историк Щапов³⁵, а в Петербурге восходила звезда Менделеева. Наши силы, дарования нашей земли, несомненно, просыпались, все показывало, что

Не бездарна та природа,
Не погиб еще наш край...³⁶

Но пробуждение такой отдаленной страны не совершается сразу. Как всегда, идеализм молодости и мечты о будущем опережали действительность. Прожив молодой период мечтаний, мы должны были начать трудную работу в области действительности, мы должны были шаг за шагом бороться с предубеждениями против нашего края, с старыми взглядами, мы встречали массу разочарований, осуждений и даже насмешек. Даже люди образованные часто не понимали, зачем нужен Сибири университет. Когда правительством обратило свой взор на окраины и начало ряд улучшений жизни, в сознание русского общества проникла мысль, что здесь также существует гражданское общество, нуждающееся в правах, какие даны и другим подданным. Но прежде, чем рассеялся мрак и даже иностранцы стали смотреть на нашу окраину иными глазами*, прошли года, нужно было многое испытать, пребороть прежде, чем начало осуществляться то, что составляло заветное желание нашей жизни. Но несмотря на все протекшее, несмотря на то, что многие подробности событий нашей жизни исчезли из памяти, все же не могу не вспомнить первого пробуждения нашего сознания. На этом я оканчиваю свои юношеские воспоминания.

Много с тех пор пришлось пережить. Скоро вслед за 60-ми годами небо заволкло тучами, мы рассыпались, но приобретенные

* Воззрения на Сибирь в последнее время изменились и за границей. Свидетельством тому — статьи и книги на немецком языке профессора Петри, «Mitteilungen», журнал Петермана³⁷, давно писал о сибирском университете. Даже во французских изданиях и газетах появляются статьи, смотрящие на Сибирь уже с новой точки зрения. (Journal le Paris, 1888 г. Les Russes en Siberie.) (Примечание автора.)

нами инстинкты и впечатления надолго сохранялись. Мы почувствовали любовь к нашей родине, и она соединила нас. Товарищески встречались мы на наших путях и братски целовались, вспоминая прошлое. Многие изменились, иные погибли в водовороте жизни и были ею раздавлены. Бедный Щукин потерял рассудок. Наши товарищи — Федоров-Омулевский и Куцевский — умерли, удрученные злым недугом и нищетой вдали от родины. Но многие совершили трудную работу жизни, верные себе, верные живым впечатлениям юности. Великая драма жизни прошла перед нашими очами, мир великих идей был доступен нашему пониманию. Гармония чистых чувств была доступна душе, лучшие природные порывы были ею испытаны. Наше поколение первое увидело дальние абрисы берегов грядущего. В нашей жизни они отдалялись, но идеалы, раз запечатленные в душе, влекли нас неотразимо чрез бурные волны. На нашу долю выпало испытать и порывы восторга, и мрачную бездну разочарования: темная ночь часто окружала наше существование, и мировая скорбь, и бессильная тоска за будущее грызли душу. Нужны были великие силы перенести это. Великие страсти и разочарования выпадали на долю нашему несчастному поколению. Тяжелая историческая эпоха выпала на долю нашего существования. Но есть надежда, что это существование для некоторых не прошло бесследно. В лаборатории жизни, может быть, останутся следы горячего труда, глубоких дум, святых чувств, глубокой веры, связывающей в одно мировое существование прошлое и будущее. Раз пробудившаяся жизнь продолжала бить ключом. Лампа, раз зажженная, горит тихим пламенем, и воспоминания вечно живут в сердце.

Скоро опустеет храм, вмещающий мир идей и лучших желаний, умолкнут струны, издававшие звуки, горячее сердце перестанет биться, исчезнет жилец, но в оставленной комнате все будет напоминать его существование, как бы он не оставлял его. Развернутая книга с недочитанной еще страницей, недоконченная рукопись, перо на полу. В комнате темно.

Сброшенная лампа, три раза очертив
Блестящий круг по воздуху, упала!..

Но в комнате еще слышно веяние жизни, несется звук, как бы прощальная песня Альдоны, а на окне благоухает букет цветов, лучших цветов молодости!..

22 июля 1888 года. Иркутск.

«Сибирский сборник», вып. 1. Иркутск, 1888.

¹ «Сибирская газета» (1881—1888) выходила в Томске. Издатель П. И. Макушин (1844—1926). Закрыта по требованию местной администрации. Очерк П. Б., опубликованный в 1881 г. в №№ 3, 6, 7, 14, назывался «Томская гимназия в пятидесяти годах».

² Куцевский Иван Афанасьевич (1847—1876) — писатель. В романе «Николай Негорев, или благополучный россиянин» (1871) изобразил нравы Томской гимназии, иногда сохранив имена ее учителей. Некролог о нем Н. М. Ядринцева опубликован в газете «Сибирь», 1876, № 40.

³ Наумочка — Наумов Николай Иванович (1838—1901) — писатель-народник, получивший широкую известность после выхода его книги рассказов «Сила солому ломит» (1874).

⁴ «Томские губернские ведомости» (1857—1916) — официальная газета.

⁵ Поникаровский Дмитрий Алексеевич (1841—1918) — чиновник, друг Н. М. Ядринцева, много лет с ним переписывался, оставил «Воспоминания о Н. М. Ядринцеве» («Сибирский сборник», вып. 2, 1896), выступал со статьями и корреспонденциями в «Томских губ. ведомостях», в «Восточном обозрении» и в «Записках Зап.-Сиб. отдела ИРГО».

⁶ Ершов Петр Павлович (1815—1869) — поэт, автор «Конька-Горбунка» (1834).

⁷ Магницкий Михаил Леонтьевич (1778—1855) — мистик и реакционер, попечитель Казанского учебного округа в 1819—1826 гг. Шишков Александр Семенович (1754—1841) — писатель и государственный деятель, с 1813 по 1841 г. президент Российской академии, консерватор по политическим убеждениям.

⁸ Сергиев Яков Степанович — учитель словесности, выступал со стихами в «Томских губ. ведомостях» под псевдонимом «Пашенька».

⁹ Андреев Яков Гаврилович — учитель латинского языка, выступал в «Томских губ. ведомостях» (1856 и др. гг.) с «ценными этнографическими заметками» (Н. М. Ядринцев «Начало печати в Сибири» — «Литературный сборник», СПб, 1885, с. 370). См. о нем также в «Воспоминаниях» Г. Н. Потанина («Сибирская жизнь», 1913, № 68).

¹⁰ Максимов Сергей Васильевич (1831—1901) — писатель, этнограф, много ездил по Сибири, автор книг «На Востоке. Поездка на Амур. 1860—1861 гг.» (1864) и обширной, в 3-х частях, «Сибирь и каторга» (1871); в 1891 г. появилось первое издание его книги «Крылатые слова».

¹¹ Кошаров Павел Михайлович (1825—?) — художник, автор учебника по рисованию, издавал «художественно-этнографические рисунки Сибири», «Виды Томска»; в 1856—1859 гг. путешествовал с Семеновым-Тянь-Шанским; в 1860 г. впервые в Сибири организовал персональную выставку. См. о нем в статье Н. М. Ядринцева «Искусство Сибири» — «Восточное обозрение», 1889, № 43 и в книге П. Муратова «Изобразительное искусство Томска», Новосибирск, 1974.

¹² Брамбеус — псевдоним Сенковского Осипа Ивановича (1800—1858) — журналиста, ученого-востоковеда, редактора популярного журнала «Библиотека для чтения».

¹³ «Русский вестник» — см. примечание к фельетону «Козни злонамеренных» (с. 57).

¹⁴ Устрялов Николай Герасимович (1805—1870) — профессор русской истории Петербургского университета, с 1842 г. — академик, историк монархического направления.

¹⁵ «Современник» (1836—1866) — журнал основан А. С. Пушкиным, с 1847 г. возобновлен Н. А. Некрасовым и И. И. Панаевым. Закрыт правительством в 1866 г.

¹⁶ Панаев Иван Иванович (1812—1862) — писатель, соратник Н. Г. Чернышевского и Н. А. Некрасова по журналу «Современник», выступал с литературными пародиями под псевдонимом «Новый поэт».

¹⁷ Щукин Николай Семенович (1836—1870) — писатель, общественный деятель, осужден по делу «сибирских сепаратистов», подробнее о нем см. в «Сибирских литературных воспоминаниях» (с. 291).

¹⁸ Бриссо Жан (1754—1793) — деятель французской буржуазной революции, вождь жирондистов. Казнен по приговору революционного трибунала якобинцев.

¹⁹ Руссо Жан-Жак (1712—1778), Вольтер Франсуа Мари (1694—1778), Дидро Дени (1713—1784), Д'Аламбер Жан Лерон (1717—1783), Кондорсе Жан Антуан (1743—1794) — выдающиеся французские просветители, философы, писатели, ученые.

²⁰ Ананьин Николай Иванович — бывший смотритель уездного училища в Томске, выступал с бытовыми очерками в «Томских губ. ведомостях». См. о нем в работе Н. М. Ядринцева «Начало печати в Сибири» («Литературный

«Сборник», СПб., 1885, с. 370), в «Воспоминаниях» Г. Н. Потанина («Сибирская жизнь», 1913, № 23).

²¹ Д.— возможно, А. Демин, автор статей о городе Березове (1886—1888).

²² Бакунин Михаил Александрович (1814—1876) — революционер, идеолог анархизма. В 1857 г. сослан в Сибирь, где прожил до побега в 1861 г.

²³ Речь идет о первых днях после реформы 1861 года; вскоре передовые люди России поняли, что крестьян «освободили» без земли. Начались крестьянские восстания, жестоко подавляемые войсками.

²⁴ Кавелин Константин Дмитриевич (1818—1885) — историк. См. некролог о нем Н. М. Ядринцева — «Восточное обозрение», 1885, № 19. Костомаров Николай Иванович (1817—1885) — историк. См. некролог Н. М. Ядринцева — «Восточное обозрение», 1885, № 15. Сухомлинов Михаил Иванович (1828—1901) — филолог, литературовед, с 1872 г. — академик, автор многих трудов по древней и новой литературе.

²⁵ Спасович Владимир Данилович (1829—1906) — профессор юридического факультета Петербургского университета, литературовед, сотрудник журнала «Вестник Европы», вместе с Пыпиным Александром Николаевичем (1838—1904) он издал «Обзор истории славянских литератур» (1865). А. Н. Пыпин с 1898 г. — академик, автор фундаментальных трудов «История русской литературы» в 4-х томах и «История русской этнографии» в 4-х томах.

²⁶ Абсентеизм — уклонение от исполнения своих гражданских обязанностей.

²⁷ Ярославцев Андрей Константинович (1815—1884) — автор книги «Петр Павлович Ершов, автор сказки «Конек-Горбунок»» (СПб., 1872).

²⁸ Словцов Петр Андреевич (1767—1843) — историк, автор исследования «Историческое обозрение Сибири», ч. 1 (1838), ч. 2 (1844).

²⁹ Экзосмос (биологич.) — процесс просачивания жидкостей из клетки во внешнюю среду; эндосмос — противоположный процесс.

³⁰ Петри Эдуард Юрьевич (1854—1899) — этнограф, географ, автор трудов о Сибири, перевел на немецкий язык книгу Ядринцева «Сибирь как колония».

³¹ Статья Ядринцева называлась «По поводу сибирского университета. Общественная жизнь наших городов» — «Томские губ. ведомости», 1864, № 5.

³² Федоров-Омулевский Иннокентий Васильевич (1836—1883) — поэт, автор романа «Шаг за шагом», по идейно-эстетическим позициям близкого роману Н. Г. Чернышевского «Что делать?».

³³ Белоголовый Николай Андреевич (1834—1895) — врач, был тесно связан с писателями из журнала «Отечественные записки», фактический редактор эмигрантской газеты «Общее дело», оставил воспоминания о многих русских литераторах. (См. «Воспоминания и другие статьи», Пб., 1897).

³⁴ Капустин Михаил Яковлевич (1847—1920) — профессор-гигиенист, общественный деятель.

³⁵ Шапов Афанасий Прокопьевич (1830—1876) — историк. Н. М. Ядринцев опубликовал статью «Любовь к родине и судьба А. П. Шапова» — «Восточное обозрение», 1885, № 17.

³⁶ Цитата из стихотворения «Школьник». У Н. А. Некрасова — «Не погиб еще тот край...».

³⁷ Петерман Август (1822—1878) — немецкий географ и картограф, издававший с 1855 г. журнал «Mitteilungen...» («Сообщения...»).

СИБИРСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

I

Акт нашего местного самосознания совпал с великим актом пробуждения русской земли. Мы помним это время. Не умолк еще гул последнего пушечного выстрела на Крымском полуострове, еще пахло дымом, и он не успел рассеяться, подобно туману, после кровопролитной войны, а над русской землей всходило яркое

солнце, солнце новой жизни и обновления. Оно встретило нас, когда мы явились с нашей далекой родины в университеты в конце 50-х годов. Нечего говорить, что университет, особенно петербургский, играл тогда роль фокуса, отражавшего умственную жизнь всего общества, и был центром обмена идей между лучшими представителями старого поколения и восприимчивыми поколениями нового.

Мы, сибиряки конца 50-х и начала 60-х годов, перезнакомились в университете. Землячество наше и прежде давало себя чувствовать в университетах, например, в казанском, но в Петербурге до 60-х годов слишком мало было наших, чтобы группироваться. Сохранились воспоминания о немногих предшественниках: о Тыжнове, казаке-математике, рано умершем, Сидорове, тоже математике, бывшем в педагогическом институте, впоследствии в университете, и Н. С. Щукине, которого мы и наши товарищи хорошо помнили. В 60-м году в Петербург нахлынула масса казанцев, преимущественно с закрытого камерального факультета, наконец, прибыло много молодых людей из Сибири. Мы перезнакомились. Казанцы были добрые малые, беззаветные бурши, прекрасные товарищи, пельцы, любители кутнуть, но мало развитые: у них слышались только казанские воспоминания о какой-то «ласточке», о кутежах, о Гончарной, о силачах, о каких-то боях с Рязановым во главе, о столкновениях с полицией, в конце, обыкновенно, они пили пиво и пели казанские студенческие песни: «Стою один я пред избушкой» и проч. Они также привезли в Петербург с собою и склонность поиграть в карты, что ужасно, помню, шокировало петербургских сибиряков.

Не помню, как пришла мысль нам сгруппироваться и познакомиться. Но эта мысль, кажется, принадлежала первому Потанину¹, личности, которая выдавалась своими способностями, замечательным умом и любовью к Сибири. Я познакомился с Потаниным через Щукина, давшего мне к нему и другим студентам не сибирякам письма.

Я застал Потанина в квартире на Васильевском острове; помню его почти всегда расхаживавшего с книгою по комнате, увлеченного естествознанием, но читавшего также много по тогдашней литературе и знакомого уже с общественными вопросами. С первого разговора, я помню, речь зашла уже о сибиряках в Петербурге и о необходимости перезнакомиться. Надо заметить, что это знакомство не имело в виду вовсе какой-нибудь утилитарной и практической цели, вроде кассы, взаимной поддержки, нет! Потанин проповедовал сближение, как потребность чисто платоническую — видеться с земляками, вспоминать родину и придумать, чем мы можем быть ей полезны. Идея сознательного служения краю в тот момент, когда в Европейской России пробуждалось тоже самосознание, вот идея, которая легла в основу нашего сближения. Я помню, что в наших разговорах с Потаниным мы часто касались этой темы. Мы отдавали друг другу отчеты о наших привязанностях, говорили, как о решенном вопросе, о на-

шем возвращении домой, хотя у меня не осталось близких родственников на родине, говорили, что те же намерения нужно поддерживать в других. Потанин уже много читал и начинал писать о Сибири.

Знакомство мое с другими земляками началось в университете. Их было уже немало. Понемногу мне представлял Потанин то студента-юриста-сибиряка, то естественника. Здесь были юристы Перфильев, братья Павлиновы, Крюков, Березовский, братья Лосевы, Шестаков, технолог. Потанин при всей своей кабинетности и несветскости, однако, обладал завидною способностью не только сближаться, но угадывать характер и способности у земляков (талант, всю жизнь не оставлявший его и давший немало полезных услуг родине). Одного он мне рекомендовал как будущего техника в Сибири, другого как талантливого музыканта, третьего как химика, иных он отличал за их мягкую, симпатичную натуру. Он умел сближать сибиряков и не в одном университете. В Академии художеств у него был уже знакомый художник из Иркутска, Песков², в это же самое время был в Петербурге и Федоров-Омулевский, с которым Потанин познакомился еще раньше через Щукина.

На Н. С. Щукине я хочу остановиться, как на родоначальнике. Эта личность была весьма энергичная и видная в свое время, я его видел уже на родине, возвращавшимся из университета, но в университетском кружке о нем сохранились живые воспоминания. Я коснусь биографических подробностей, так как это был сибирский писатель и патриот, ему обязаны были многие, если не развитием, то первым толчком: сколько я помню, на юношей он производил сильное впечатление. Вечно подвижной, неутомимый, впечатлительный, хватающий жадно на лету все новое, необыкновенное, и быстро усваивавший, он выражал тип любознательного и восприимчивого сибиряка. Усвоив что-либо, он делался фанатическим поклонником и апостолом новой идеи, часто не переварив ее вполне. Решительный лаконический тон, умение обрезать противника, страстность и горячность, которую он вносил, производили впечатление человека убежденного и непреклонного. Самая фигура его соответствовала роли. Высокий, со станом немного сутуловатым, с большой курчавой головой, с открытым лицом, со вздернутым немного носом, в очках, с располагающей улыбкой, звучным голосом и уверенным, смелым взглядом, он говорил торопясь, иногда с сильным придыханием, выразительной жестикуляцией; такова была его внешность.

Вечная суетливость довершала впечатление и давала вид, будто он вечно был обременен делами. Он собирал ежедневно массу новостей и впечатлений, успевал побывать в университете, в разных редакциях, в Академии художеств, в книжных лавках, в библиотеках, на рынке, и являлся всегда усталый к товарищам, но обремененный новостями. Всякий день он, кроме того, писал дневник. Общественная жизнь Петербурга его волновала, и он отдавался ей с увлечением; он следил с жадностью за слухами о

реформах и посвящал в них других. Для товарищей это был клад. Петербургскую жизнь он знал до мелочных подробностей и считался практическим человеком: устроить, найти квартиру, посвятить сибиряка в петербургскую жизнь — было его дело. Это был тип Рудина, как тип общественный, превосходный студент-товарищ, и невообразимый Дон-Кихот в своих приключениях. Он жил кипуче и будил жизнь в других.

О людях, которые не занимались современными вопросами, отзывался с презрением. Запас знаний Шукина был крайне невелик, впоследствии оказалось, что убеждения его не были глубоки, он отдавался всему понаслышке, веря на слово хорошему человеку, и того же требовал от других.

Потанин хорошо знал Шукина и, как весьма проницательный человек, оценил его характер с достоинствами и недостатками. Он знал массу о нем анекдотов, которые передавал мне впоследствии с веселым юмором. Он представлял как Шукин, обыкновенно запыхавшись, влетал в кухмистерскую, садился есть суп и в то же время забирал себе все газеты под локоть, наскоро читая и хлебая. Тут же он делился новостями. Шукин начинал писать, писал он преимущественно заметки обличительного свойства, иногда насчет недостатка фонарей на каком-нибудь мосту, по поводу какого-нибудь уличного происшествия, но придавал этому огромное значение с комическою важностью.

Раз он открыл и описал какого-то доктора, лечившего корсетами. Рассказ этот обратил внимание публики. Придя по обыкновению в кухмистерскую, Шукин к своему величайшему удивлению услышал разговор посетителей об этой статье, он принял живое участие и не отказал себе в удовольствии объявить им автора. Это был его триумф.

Книг он закупал много по случаю, зная всех букинистов, но читать не успевал. Помню, как впоследствии он забраковал в провинции одну большую частную библиотеку, потому что в ней были только книги до 50-х годов. «Все это — старый хлам и дрянь, — говорил он, — ни одного живого слова». Практическая его сторона выражалась массой дон-кихотских подвигов. Здесь он спасал юношу от какого-нибудь тирана, там брал под покровительство угнетенную невинность. Впоследствии он так же женился, брак его был плодом рыцарского великодушия: он спас девушку от позора. Кроме того, пристраивал чужие статьи, знакомился с литераторами и даже покупал на рынке по случаю дешевые вещи. Раз Потанин встретил его с массой старых книг, но тут же он нес какие-то заслонки и вьюшки.

— Это вы зачем купили, Николай Семенович? — спросил удивленный Потанин.

— Нельзя было упустить! Необыкновенно дешево! — отвечал простодушно Шукин с серьезным видом и пролетел в свою квартиру.

У него хватило смелости раз в Летнем саду подойти к государю и объявить, что он сибиряк и не имеет средств к существова-

нию, и ему было выдано единовременное вспомоществование в 100 или 200 рублей.

Дневник Н. С. Щукин вел аккуратно. Впоследствии этот дневник, где записывались все его встречи и разговоры, которому он придавал особое значение, как материалу для литературных мемуаров, много причинил волнений и страданий Щукину.

Мне рассказывал Потанин по поводу этого дневника забавную сцену. У Щукина начался роман, который, при всей своей солидности, он не мог скрыть. Потанин, видя каждый шаг жизни, все ощущения пылкого Щукина, не мог не заметить этого. Сам Потанин был очень сосредоточенный человек, и если он заметил, что Щукин уколот стрелюю амура, значит, это сильно давало себя чувствовать.

Раз Потанин намекнул Щукину на его особенное душевное состояние.

Щукин вспрянул, как ужаленный:

— Вы как знаете?

— Так, знаю! — отвечал с спокойной улыбкой Потанин.

— Вы, значит, прочли мой дневник? — вдруг подозрительно вскинулся Щукин на добродушного товарища.

Тот отвечал, чтобы подшутить над Щукиным, что он действительно полюбопытствовал. Боже мой! как вспылит Щукин. Он не щадил выражений, доказывал Потанину, как это подло, неделикатно, свел вопрос на общественную почву. Потанин все выдержал спокойно, с внутренней улыбкой и в конце, признав всю справедливость доводов Щукина, заявил, что должен сознаться, что дневник не читал. Вспыльчивый Щукин не раз попадался. Раз увидя какую-нибудь неправду и обличая, Щукин накидывался со всем пылом молодого негодования, спешил заявить злоупотребление, напечатать его и не уgomонялся, пока не выводил всего наружу. Это был настоящий тип обличителя конца 50-х годов.

Понятно, какой эффект произвела эта личность, появившись в сибирских дореформенных городах двадцать лет назад. Мы помним его проезд через Томск, он гремел и производил эффект, хотя, не кончив курса в университете, он был просто уездный учитель, притом не прибывший еще к месту своего назначения (первоначально он был назначен чуть ли не в Кузнецк, после перепросился в Томск, а затем уехал в свой родной город, в Иркутск). Появление этого нового типа с его живым характером, с запасом новых взглядов, с его шумом, запасом петербургских новостей и потребностью их распространять, с повествованием о «новой эре» имело громадное значение для окружающей среды, погруженной в сон. Щукин даже не был настоящим представителем какой-либо научной и философской школы, эрудиция его была необширна, но что запечатлевалось в нем, тому сразу же отдавался. Он был дилетант, и подвижная жизнь в Петербурге ему мешала учиться. Тем не менее, для окружающей среды он был передовой человек-будильник. Являясь в сибирский сонный город, он сразу обегал всех, знакомился с гимназией, со всеми выдаю-

щимися личностями и подвергал все поголовной критике. Осмеивал ретроградов, кричал против взяточничества, говорил с жаром о «прогрессе» и увлекал юношество. Он проповедовал ему о новой жизни, внушал уважение к науке и литературе, рекрутировал и обязывал всех ехать в университет, поощрял проблески любознательности, открывал литературные призвания, устраивал дебаты, проектировал литературные вечера и т. д. Все это было его кумиром. Ему обязана была в Томске масса гимназистов своим просвещением и воодушевлением к получению высшего образования (братья Савельевы, Наумов и др.). Для окружающей среды он был положительно грозою и Ювеналом. Помню, как он в одном доме в присутствии старых чиновников бичевал взяточничество. Один из чиновников, у закуски, взяв на вилку какую-то рыбу, хотел смягчить эти обличения и заметил:

— Ну, не все же взятки, есть и добровольные приношения.

— Это — то же воровство, только под прикрытием,— гаркнул резко Николай Семенович. Так чиновник с рыбой на вилке и застыл.

Я позволю себе уже исчерпать все воспоминания о Щукине, как сибиряке. Щукин перезнакомился в Томске со всеми, выдающимися образованием и умом, людьми, между прочим, с отставным кузнецким смотрителем училища, знатоком края и народа, замечательным самородком Д-ным, служившим на частных приисках и в конторах, с Ольгой Павловной Я.³, впоследствии писательницей, с сосланным Бакуниным и др., так же, как и с окончившими курс гимназистами.

В Томске он устраивал литературные вечера и объединял всех, кто интересовался литературой. Здесь встречались юноша и старик, приказчик и учитель. Литературные вечера скоро, однако, расстроились, и, благодаря горячности, он поссорился даже со своими презелитами. Помню, как он беспощадно обличал одну девушку-учительницу, бывшую весьма преданной ему. Когда он уехал в Иркутск, в среду, где было более образованных людей, он потуск, как-то стушевался, наконец, запутался в местных интригах и, кажется, не пользовался симпатиями. Звезда его закатилась. Скажем о его литературной деятельности. Щукин всю жизнь себя считал литератором и писал много. Едва ли он пропускал какой-нибудь день, чтобы не писать, это было его страстью, но в литературе вообще, как и в местной литературе, значение его было невелико, тем не менее он принадлежал к первым писателям, у которых зародилось страстное желание создать в Сибири свою местную печать.

В Петербурге он писал только мелкие обличительные статьи общего характера. Он был знаком с Добролюбовым, но знакомство это было более шапочным; Щукин более говорил о В. С. Курочкине⁴ и угрожал всегда «Искрой». Из Сибири он посылал огромные, можно сказать, многотомные обличительные статьи, которые не печатались, не соответствуя ни объему, ни важности предмета.

В Иркутске он издал небольшую книжку «Сибирских рассказов», куда, помнится, вошел его очерк и еще двух-трех начинающих писателей, между прочим, рассказ «Сибирячка» Омутлевского. Это была первая, весьма робкая литературная попытка. Книжечка эта составляет библиографическую редкость. Затем, кажется, в 1866 году он поместил в «Деле» исторический очерк о следователе Крылове⁵ из публичной лекции, читанной им в Иркутске в 1864 или 1865 годах. Материал он получил от своего отца, директора гимназии С. Щукина⁶, весьма просвещенного старика. Все остальные литературные попытки покойного Щукина, умершего вне Сибири, были неудачны.

Мы обрисовали эту личность в связи с петербургскими воспоминаниями в лучшую эпоху его жизни.

Через несколько лет он так радикально изменился, с ним произошел такой патологический переворот, какой едва ли кто мог предполагать. Из этого Рудина, новатора, обличителя получился мрачный мистик, совершенно помешавшийся, смутно припоминавший прошлое, страшившийся его, проклинавший с суеверным ужасом. Согбенная большая фигура с Четьи-Минеей в руках, с лицом ханжи, с какими-то кадьильницами и пучком лука под мышкой была ужасным контрастом когда-то величавой фигуре Рудина-пропагандиста.

Последняя эпоха его жизни сопровождалась ослаблением его умственных способностей и нравственным падением. Подобно многим студентам-юношам, бойким на словах, с жаром сердца, он не знал, что сделает из него жизнь. Она, к счастью или несчастью, не показывает впереди своего зеркала. Не бросим камнем, однако, в эту жизнь и не будем судить человека, сокрушенного и побежденного. Что удивляться, что жизнь ломается в несчастье, что люди, как деревья, сохнут и умирают без света, что за смертью всего живого начинается разложение. Поучительнее то, что натуры, даже не особенно сильные и богато одаренные, под лучами общего солнца в лучшие эпохи оживают, вдохновляются и становятся двигателями жизни.

Щукин был сын своего времени — конца 50-х годов, на нем был блеск, хотя заимствованный из этой атмосферы, где он получил жизнь. Это была эпоха обновления русской жизни, под которою мы жили тогда и распукались. Эпоха незабвенная, где все веяло пробуждением умственной жизни и лучших человеческих инстинктов. Маленькие люди становились гигантами, а то и героями, потому что окружающее поднимало дух, вдохновляло. Здесь можно было наблюдать человеческую красоту, одухотворенную идею. Этой эпохи коснулся Тургенев в своих типах и героях, хотя, может быть, эти герои были также обыкновенные люди. Вспоминая своих земляков, признавая их продуктом времени, мы не преувеличиваем их личных качеств.

Свет, лившийся щедрым потоком, не мог не коснуться и душевного мира детей страны далекой, но хранящей в себе инстинкты жизни, потребность чувствовать и мыслить.

Когда жизнь звучит своими грустными мелодиями, когда чувствуется тяжело, мрачно и как-то безнадежно, когда видишь только умирающие даровитые силы, а на смену не идет молодой титан, новая умственная сила, богатое дарование, напротив, видишь только серую посредственность,— невольно воспоминания влекут к прежнему времени, когда все было молодо, полно сил, надежды и мечтаний, когда, может быть, под влиянием собственной молодости, все залито было ярким солнечным светом, всюду царила весна, иначе жило общество, иная была молодежь, историческая пора была иная. Впрочем, может быть, все это была иллюзия, сон молодости, и ничего в сущности не было, ничего не переживалось? Может быть, но к этим воспоминаниям все-таки что-то инстинктивно влечет нашего брата, человека другого поколения. Вот на этом основании я восстанавливаю нить своих воспоминаний о товарищах и первой группировке наших земляков в Петербурге. Я прервал эти воспоминания, когда Потанин делился со мною мыслью сгруппировать сибиряков в Петербурге и направить их занятия на пользу родины. В беседах с Потаниным я не только сходился, но увлекался его умом, его планами, и он был для меня первым ментором, наставником; он же определил мое призвание. Я фанатически последовал его патриотической идее, и мы начали развивать мысль среди товарищей о необходимости группирования. Все охотно разделяли эту мысль — иные сознательно, иные инстинктивно. Идея соединиться сибирякам в Петербурге и перезнакомиться привлекла своею новизною и оригинальностью. Я замечал, что вообще мои земляки чувствуют свою близость и родство только на чужбине, но на родине это весьма редко дает себя чувствовать, разве только тогда, когда среди сибиряков является наезжий «человек» и подзадорит их, ругая Сибирь. В Петербурге картина сближения разных представителей окраины имеет в себе нечто особенное. Немудрено, что томич льнет к томичу и иркутянин к иркутянину, если они вдобавок из одной гимназии и купались одинаково в холодных водах Ангары или Оби; но весьма любопытно было видеть, как соединялись представитель Камчатки, якут с тоболяком, забайкалец с омским казаком, бурят с томичом и чувствовали, что у них бьется одно сердце. Потанин употреблял старания перезнакомить всех и наводил всегда справки, нет ли в каком учебном заведении еще земляков.

Сближение началось. Наконец, мы устроили сибирское собрание в какой-то большой студенческой квартире.

Я помогал Потанину со всем старанием. Мы ждали, какой результат будет иметь это сближение. Сходка вышла шумная и оживленная, как всегда бывают студенческие собрания; в ней трудно было, однако, уже не заметить земляческих симпатий, хотя все это было крайне хаотично, нескладно и за шумом и разнообразием знакомств трудно было что-нибудь разобрать. Собрались, помнится, человек 20. На этой сходке видел бурята Пирож-

кова, деликатную и уже интеллигентную личность, джентельмена в цилиндре, но с бурятским лицом; он изучал Гегеля и интересовался философией,— как посвятил меня Потанин; здесь я познакомился с И. В. Федоровым-Омулевским, веселым розовым юношей, с золотыми кудрями до плеч, в художественном бархатном сюртучке; здесь присутствовал симпатичный юрист Н. М. Павлинов, с рафаэлевской головкой, целая группа казанских буршей шумела с своей необузданной веселостью; привычки воспитанного петербургского дендизма мешались с студенческой развязанностью и иногда неуклюжестью семинариста. Среди сибиряков в первый раз были и не сибиряки — знакомый Потанина, товарищ студентов, незабвенный художник Джогин⁷, артист-художник в душе, выступавший с талантливыми пейзажами; не помню, были здесь И. И. Шишкин⁸, тоже наш знакомый; наконец, присутствовал какой-то филолог Смирнов⁹.

Студенческие сходки в то время в Петербурге были не редкость. Университет и столица этой эпохи представляли своеобразный, может быть, исключительный вид. Литераторы и студенты пользовались общей симпатией: это были герои дня. К университету подъезжали блестящие экипажи аристократов, жаждавших послушать знаменитого профессора. Аристократическая дама и гусар не гнушались аудитории. Неподдельный энтузиазм юношей выражался на лекциях. Я помню лекцию Н. И. Костомарова и других любимых профессоров, почти публичные. Университетский зал потрясался от восторга слушателей, юношей охватывал трепет. Они испытывали то, что испытывали люди под первым обаянием ораторов, мыслителей, проповедников истины и науки. Не знаю, повторялось ли это впоследствии. Литература была также любимицей публики. Журналы и журнальные статьи играли огромную роль и расхватывались на выходе. Читатель глотал ежедневно газеты с жадностью, как чашку кофе после моциона. Новости дня пробегали электрическими искрами по Петербургу. В публике на общественных собраниях искали глазами известных писателей и талантов. Быть литератором было завидно, ни одно пятно еще не бесславило литераторскую тогу. Сам литератор высоко держал голову. Когда совершались похороны артиста, как Мартынова¹⁰ или Бозию¹¹, видно было, что это было торжество и время поклонения интеллигенции. Диспуты в Пассаже и в университете по общественным и ученым вопросам будили и привлекали общественное внимание. Все жило в России в ожидании великой реформы, иначе дышалось, иначе чувствовалось. Когда общественный пульс так высоко был поднят, не могла не разделить той же жизни восприимчивая молодежь. Студенческая группировка тогда не была редкостью, как и студенческие кружки.

Но если все русские люди были настроены на общественные вопросы, то не могли не почувствовать этих вопросов и отдельные группы, а в том числе и окраинцы. Группировка по землячествам отражала тот бытовой строй России, те разнообразные интересы, которые лежат в историческом и этнографическом строе. Дав-

но уже эту историко-этнографическую связь сознавали малороссы, кавказцы и т. д., наступило время сознать эту связь и представителям восточной окраины. Замечательно, что этот ручеек местных стремлений и симпатий пробивался в то время, когда русская жизнь кипела общими вопросами и была более космополитична, чем когда-либо. Но это будет понятно тому, кто знаком с историей общественного пробуждения. В [такой] момент жизни все части общественного организма дают себя чувствовать, и весной все ручьи оттаивают. Наше собрание было первым свиданием сибиряков. На этом вечере не было ни подготовленных заранее искусственно вопросов, ни организованных словопрений и речей, все носило товарищеский семейный характер. В конце, после первых знакомств и шумных земляческих излияний, невольно выступил вопрос о поддержании сношений между земляками, а также о продолжении собраний; подобная мысль была, конечно, единодушно принята, но затем выступил и другой вопрос, делать ли эти вечера доступными и для не сибиряков, допускать ли других лиц, или собрание сделать только чисто сибирским, земляческим? Вопрос этот, выплывший внезапно и неожиданно, как всегда у юношей, сейчас же получил несколько решительный и страстный оттенок. Присутствующие, и даже большинство, высказались за то, чтобы собрания были чисто земляческими, а посторонние лица сюда не были приглашаемы; этот эпизод поставил в конфузливое положение присутствующих на первом собрании гостей. Вышло, как будто бы, сначала их пригласив, потом выключили, но эта неловкость была смягчена юношеским добродушием и откровенностью. Был и другой эпизод — в собрании выплыл, между прочим, и другой вопрос, хозяйственный. На собраниях предполагался чай, наконец, нужна была поместительная квартира. Вопрос о квартире решился тем, что положили делать студенческие вечера по очереди, что касается вопроса об угощении, то он от несоразмерной важности получил внезапно комическое направление. Он был сведен к вопросу, делать ли вечера с закуской и пивом или без закуски, с одним чаем? Зная студенческие нравы и юношеские темпераменты, некоторые здесь увидели вопрос немаловажный для будущности собраний. Лица, стоявшие за интеллигентный характер собраний, решительно протестовали против закусок, водки и пива, но они оказались в меньшинстве и смогли отвоевать, как всегда, у радикальной партии, сохранившей в данном случае наследственные пиршеские инстинкты своей родины, некоторый компромисс, а именно: если уже допускать закуски и возлияния, то по крайней мере в конце собраний — после 11 часов. Помню, мы немало потешались над простодушным Омулевским, который употребил немало диалектики, доказывая, что после долгих патриотических разговоров у него может в глотке пересохнуть. Этот комический эпизод на сибирском собрании дал впоследствии пищу рассказам и достиг литературных сфер, причем, говорят, влиятельный журналист Ч.¹² много смеялся над характером выступавшего вопроса.

В конце мы все-таки собранием остались довольны; начало было сделано, оставалось поддержать связи. Действительно, вслед за тем последовал другой и третий вечер, причем иностранец-художник Джогин предложил патриотической партии даже свою гостеприимную космополитическую квартиру. Кто-то на собрании непременно пожелал «пельмени», и пельмени были сделаны, а И. В. Федоров-Омулевский написал к ним шутовское стихотворение. Сходки заканчивались веселым пением студенческих песен, которые продолжались нередко на улице при возвращении из квартиры, причем васильевские бутари* только слегка качали головами и грозили шутовски пальцем. Времена были патриархальные, мировых не было, а сердца бутарей тоже пребывали смягченными, может быть, благодаря весеннему сезону общественной жизни. Сермяжная броня улыбалась юности.

Решившись собираться, никто не спрашивал и не задавал вопроса: «зачем и для чего?» Этот вопрос казался молчаливо разрешенным: «земляки» — стало быть, как же не видеться? Наиболее заинтересованные судьбою этого сближения, однако, чувствовали потребность мысли, идеи и даже какой-нибудь практической задачи; понемногу и они начали являться, но не вдруг, не сразу. Между сибиряками были неглупые и начинали думать о судьбе своей родины, ее интересах и будущей деятельности в крае. Конечно, трудно было в молодой студенческой среде явиться определенным задачам и, сидя в Петербурге, еще на школьной скамье, изобретать практическое дело. Помню, однако, что на этих собраниях впервые раздавался вопрос о значении в крае университета и необходимости его в Сибири. Мысль эта всем пришла по душе. Конечно, в честь этого следовали шумные брудершафты. Здесь же, в товарищеских разговорах, развивалась мысль о необходимости подготовки к будущей деятельности в Сибири, о необходимости изучать край и читать о нем сочинения, являлась мысль составлять библиографию книг сибирских, причем Потанин брался руководить этим делом, и я долго в своей жизни хранил выписки из каталогов публичной библиотеки, пока эти клочки не разнес ветер моей скитальческой жизни. Тот же Потанин советовал издать календарь или памятную книжку и рекомендовал мне быть издателем, причем я изъявил горячую готовность. Говорили о будущем журнале, газете, словом, вопросы росли. В конце все соединились на убеждении и вере, что нашей отдаленной окраине предстоит блестящая будущность. Эта вера, это горделивое чувство самосознания и убеждения в том, что и мы члены социальной группы, дети страны, имеющей историю и будущность, поднимали дух и нередко исполняли нас юношеского восторга, закончившегося горячим земляческим поцелуем.

Эта идея и мысль служить своему краю, любить его, отдать ему жизнь, бывшая источником соединения, не была вполне новой. Когда-то тоболяк-поэт Ершов, как видно из его биографии,

* В данном случае — будочки.

написанной Ярославцевым, так же юношески клялся посвятить себя родине, юношески мечтал поднять ее величие, он обменялся даже с каким-то другом мистическим кольцом по этому поводу. У нас та же мысль проснулась, только резче, определеннее и, так сказать, в целой группе лиц. Конечно, многие из этих мечтаний не могли быть осуществлены; один их забыл, как и свои клятвы, другие не дожили до осуществления даже ничтожной части из своих юношеских ожиданий. Так всегда бывает! Но когда-то в жару юности все это казалось так осуществимым, так легко достижимым!

Собрания длились года два при мне; временно они были превраны небольшим эпизодом разлада, но мысль об них уже не умирала, и группировка воскресла вдолге после, хотя и под новой формой. В тех собраниях, о которых вспоминаю я, сближение началось между лицами разных учебных заведений и профессий. Здесь были медицинские студенты братья Черемшанские, впоследствии медики, студенты университета, технологи, появлялись студенты духовной академии, художники, был военный и кадет Горного института, который, однако, весьма скоро спасовал и написал нам весьма трогательную исповедь о своем исключительном положении и о каких-то аргусах своего заведения, препятствующих ему быть верным сибирскому студенческому кружку. Знакомства, однако, все более завязывались. Инициаторы собраний поддерживали их. Решились отыскать литераторов из сибиряков; тогда уже приехал в Петербург С. С. Шашков и начал пописывать; вспомнили о старом студенте-сибиряке Сидорове, даровитом математике. Сидоров этот был товарищем Н. С. Щукина, — личность, выдававшаяся умом и характером, очень образованный, но эксцентрический, обнаруживший впоследствии подозрительность до болезненности и внесший некоторый разлад. О нем, однако, нельзя не вспомнить.

Сидоров был сначала в педагогическом институте, а потом в университете. Кончив курс, он по своему вспыльчивому характеру разбранился в канцелярии, и ему стоило немало усилий получить диплом. С товарищем Щукиным он также разошелся. Сам вел жизнь одинокую, бедствовал в Петербурге, много перенес и, как говорили, стал даже мистиком. Ни специальное образование, ни петербургская отчужденная жизнь, однако, не помешали ему любить страстно родину и даже мечтать о ней. Его *idée fixe** был сибирский университет, которым он бредил и о котором писал; конечно, тогдашние сибиряки не могли его игнорировать и сделали ему приглашение.

Одно лицо только близко знало Сидорова и поддерживало с ним связь — это бурят Пирожков. Будучи незлобным философом, он отзывался о нем, как о симпатичной личности, и говорил, что Сидоров был глубоко несчастен, иногда он видал его, обладавшие

* *Idee fixe* (фр.) — навязчивая мысль.

го терпеливой, железной натурой, рыдавшим, подобно ребенку, от душевных мук и неудач.

Я также познакомился с Сидоровым, нашел его беззаветно любящим край, человеком очень начитанным, образованным, имевшим взгляды и убеждения, но с первого раза уже дала себя почувствовать в нем черта болезненного самолюбия и неуживчивости. Эта-то черта еще более обнаружилась при его сближении с нашим кружком и чуть не была причиной его распада. Самолюбивый Сидоров увидел себя старше и выше головою окружающих юношей, ему захотелось повелевать, он потребовал себе чуть не диктатуры и, конечно, провалился. Внеся свою подозрительность и нетерпимость, он вытеснил некоторых товарищей своею раздражительностью, а затем и сам удалился. Этот неприятный эпизод, несколько нарушивший товарищество, однако не был причиной распада землячества; оно еще поддерживалось некоторое время; но отсутствие практического дела и одна теоретичность, выражавшаяся в надеждах и разговорах, не могли дать ему пищи и жизни. Притом и в столице в 1862 году уже не было такого простора студенческим собраниям. Первый жар и впечатления этого сближения исчезли, и выступила прозаическая жизнь кружка, превратившая его в обыкновенную буршскую корпорацию.

Тем не менее мы не раз собирались провзвать своих товарищей-земляков, отправляя их домой на родину. Помню, что в память нашего знакомства мы снялись группой, и многие долго хранили воспоминание студенчества. Как бы то ни было, это первое сближение оставило свой след на душе многих, оно вспоминалось не раз в жизни, может быть, некоторые обязаны ему были сознательным отношением к своей деятельности на родине.

Знаю, что значительная часть лиц все-таки возвратилась на родину, трудилась там так или иначе, причем даже лица, от которых не ожидали многого, участвовали в разных предприятиях, совершали торговые экспедиции, как, например, добродушный казанец Лосев, служили медиками, учителями и т. д. Из этого же кружка вышли некоторые писатели и патриоты.

Иные из земляков затерялись и исчезли, волна не успела приобщить их к родному берегу, и море жизни унесло куда-то. Где погибли они — бог весть!

Те же, кто испытал счастье еще раз увидеть родину, тот не раз вспомнит это дорогое время юности и земляческий кружок, где, как нежный цветок, распустилась любовь к земле своей и пробудились лучшие человеческие стремления и идеалы.

Продолжая начатые воспоминания, мне хочется коснуться нашего литературного воспитания и вспомнить развитие наших товарищей, выходивших на литературное поприще. Конец 50-х и начало 60-х годов были эпохой, когда литературные стремления и страсти охватывали живо общество и всех, близко стоявших к просвещению. Даже в отдаленную провинцию и в Сибирь проникла струя литературного увлечения. Проезжие служащие лица, студенты, появлявшиеся на вакат в городах Сибири, завозили

новости, слухи, и эти вести в безжизненном обществе среди апатии, неведения звучали тем резче и неотразимее. Кто-то приехал на Амур и закинул весть об освобождении крестьян, наехали студенты с новыми взглядами и теориями, проскакал через Сибирь какой-то литератор. Помню проезд через Сибирь С. В. Максимова и впечатление, произведенное этим проездом; старомодные учителя в нашем городе сделали для него литературный вечер, вытащив свои запыленные тетрадки и диссертации. Здесь было много комичного, чего и не подозревал проезжий, но что раскрылось после.

Суп и пироги готовили в особой квартире и везли через целый город, обдумывали прием, чтобы показаться «образованными».

— Ведь петербургский литератор! — говорил нам, гимназистам, старый учитель и прибавлял, подмигивая: — Литератор, с ним надо ухо остро держать, пожалуй еще опишет!

Так рассуждал самый образованнейший из наших менторов, тот самый, который Пушкина в гороховом пальто видал в Летнем саду, а про других и говорить было нечего.

Телеграфа не было, газеты мало читали, журналы также, общество не было еще приучено к чтению, новость открывалась случайно и внезапно. Нет-нет, да кто-нибудь и наткнется на новую невиданную книжку журнала или в «Русском вестнике» открывает такую смелую штуку, которая ранее и во сне не снилась. Правда, и в сибирском обществе находились чуткие наблюдатели и комментаторы нового веяния, но это были избранные по способностям или слишком исключительные, закинутые в Сибирь личности, которые беседовали и предусматривали события в кабинетах и тесном кружке. Общество же было лишено предвиденья.

Наконец, шелохнулась, помню, и наша старая гимназия. Какими-то путями проник в нее Белинский, за которого мы с жадностью схватились. Странно, он проник к нам помимо рекомендации наших учителей словесности, а чего-чего эти учителя не передавали нам на досуге из своих личных воспоминаний и воспитания в 40-х годах. Рассказывали, в каких треуголках ходили; некоторые Пушкина в гороховом пальто видели в Летнем саду, а о Белинском — хоть бы слово. Но товарищи начали знакомиться со многим и другим уже из современной литературы. Я говорил уже, какое впечатление произвел своим появлением Щукин; он первый привез в наш город литературные новости и развивал кругом любовь к литературе. Кружок гимназистов был его поклонником, он добывал все лучшие сочинения, проливал новый свет на Гоголя, трогал живые темы, философствовал, учил, составлял литературные беседы, вечера. На этих вечерах собирался старый и малый. Помню зрителя кузнецкого училища Николая Ивановича Ананьина, одного из прекрасных и умных старцев, к которому ездил Бакунин играть в шахматы; помню даровитого самородка, управляющего приисками и конторою, Д., человека с замечательными историческими познаниями. Они со Щукиным вели споры и бесконечные разговоры, интересуюсь событиями.



*Редакция газеты «Восточное обозрение».
Снимок 90-х годов XIX века, Иркутск.
Слева направо: М. Л. Писарев, Н. М. Ядринцев,
Г. Н. Потанин, М. В. Загоскин, А. П. Нестеров.*

*Редакция газеты «Восточное обозрение».
Снимок примерно 1894 г., Иркутск.
Слева направо: сидят — П. Г. Зайчковский, А. А. Корнилов,
В. И. Вагин, В. В. Демьяновский, И. И. Попов;
стоят — М. М. Дубенский, В. С. Свitics-Иллич,
И. Г. Шешунов.*



ВОСТОЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ГАЗЕТА
ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ВЫХОДИТЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА
в России:
Без доставки
на год . . . 7 р. 50 к.
на 6 месяцев . . . 4 р. 75 к.
на 3 месяца . . . 2 р. —
С доставкой и
пересылкой
на год . . . 8 р. —
на 6 месяцев . . . 5 р. —
на 3 месяца . . . 2 р. —
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА
за Границами
на год . . . 14 руб.

Цена в каждой статье
из раздела 125, пометки
д. 2 1/2, на 3
ПОДПИСКА
предоставляется посылкой: СПб.
Восточная, д. 10 1/2, на 8,
а также из Петербурга по
каждому адресу: Гостиница
Григорьевская, № 14,
По Троицкой—въ Копенгагенъ,
Григорьевская, № 14.
По Троицкой—въ Копенгагенъ,
Григорьевская, № 14.
По Троицкой—въ Копенгагенъ,
Григорьевская, № 14.

СОДЕРЖАНИЕ Отъ редакціи.—Востокъ и Азія въ И. Восточномъ.—Греческіе Востокъ и его будущее.—Прогнозъ о будущемъ Востока.—Восточная Азія.—Сибирь: русская колонизация и промышленная жизнь.—Сибирские вопросы и проекты.—Страны на западѣ отъ Сибири: И. Восточномъ.—Китай и европейскіе.—Ближневосточные вопросы.—Китай и Сибирь.

ВОСТОЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

НАСТАВЛЕНІЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ КОМПЛЕКТНОЙ КОЛЛЕКЦИИ ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ И. И. ВОСТОЧНОМЪ.

Важно извѣстить подписчиковъ въ томъ, почему Востокъ, какъ и Европейскій востокъ и западный востокъ, въ Сибирь и Турцію.

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ СЛЕДУЮЩАЯ:

- 1) Телеграммы, сообщаемыя въ вѣстѣ газеты или отъ отдельныхъ корреспондентовъ.
- 2) Отъкъ оффиціальной—политическая корреспонденция.
- 3) Переводы газетъ, статейныя книги русскихъ обществъ и интересныя статьи на восточныхъ языкахъ, а также вопросы русской колонизации въ Востокъ.
- 4) Обзоръ русской общественной и промышленной жизни.
- 5) Политическія новости Азіи и въ частности колонизация восточныхъ странъ.
- 6) Корреспонденція въ провинціи съ русскихъ окраинъ, изъ Сибиря, Турціи, Китая, Соединенныхъ Штатовъ и изъ Америки.
- 7) Восточныя статьи—статьи въ историческомъ и политическомъ Востокѣ, статьи въ историческомъ, статистическомъ и промышленномъ.
- 8) Литературныя обзоры—критика и библиографія, особенно отъ Д. И. Писарева и М. П. Писарева.
- 9) Книжныя новости. Бюроныя статьи изъ жизни Восточной и Сибиря. Статистическія.
- 10) Фельетоны.
- 11) Судебныя новости.
- 12) Историческія статьи—статьи въ историческомъ и политическомъ Востокѣ на европейскій и азіатскій языкахъ.
- 13) Общественныя вопросы и частныя.

ОТЪ РЕДАКЦІИ.

Съ избраніемъ времени редакція отдѣлывается окрестности и жизни на русскихъ Востокѣ получать особый интересъ, заниматься изслѣдваніемъ и сообщать не только о жизни промышленности и русской общины. Живая дѣла въ возможности предвидѣть картину жизни Востока въ ее многообразіи, промышленныя, политическія, опредѣлять роль русской національности на восточныхъ Востокѣ и ее общенациональное призваніе, а также жала предать нужды и потребности русской общины на окраинахъ, какъ предпринимать издѣлія, многократное Европейскую Россію съ Азіей и Сибирью, какъ и образно жить на окраинахъ—съ жизнью и развитіемъ Россіи.

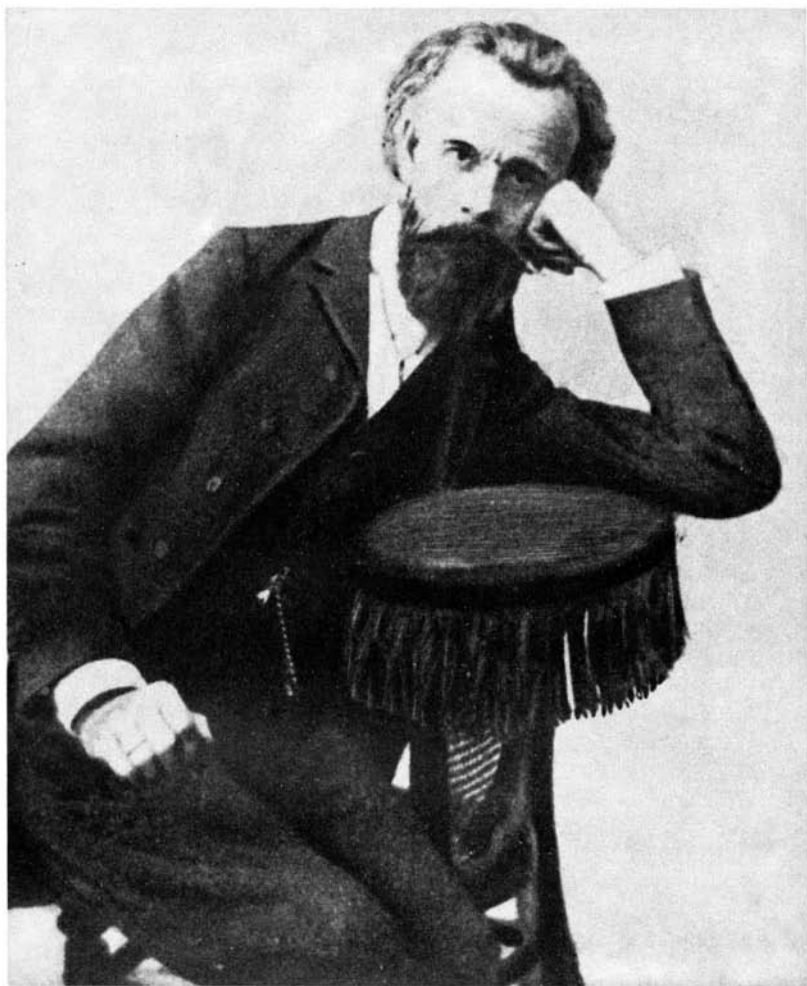
Можетъ быть мы ошибаемся, но въ данную минуту намъ глубокое убѣжденіе состоитъ въ томъ, что подробное изслѣдованіе жизни Востока можетъ оказать неоцѣненную услугу и не дѣлится лишнимъ въ средѣ русской периодической печати.

Мы полагаемъ такую задачу тѣмъ своевременнѣе, что Сибирь накануне своего 200-лѣтняго юбилея нуждается въ тщательномъ изслѣдованіи и разработкѣ различныхъ вопросовъ, подлежащихъ ее жизни. Ходатайство и предательство на интересныя вопросы восточныхъ окраинъ будетъ нашей обязанностью. Въ Петербургѣ, въ центрѣ Россіи, въ предательство можетъ привести известную пользу въ размышленіи колонизаціи края и прозрѣть который сайтъ на вѣстныхъ вопросахъ. Замышленную задачу восточныхъ окраинъ, какъ нужды, какъ дѣлать случай высказываться откровенно и беззащитно.

Искренне желаемъ нашимъ будущимъ—соединить жизнь края, живущихъ жизни Сибиря и Востока, любящихъ свой край и желающихъ добра ему. Въ то же самое время мы приглашаемъ жить колонизаціи Востока и учиться дѣлать уроки изъ предательствъ общественной жизни съ Азіей, и съ той жала готовы дѣлать обзорные и научно-исследовательскія, путешествіе и вообще жизни библиографія Востока.

Намъ бы очень было радостно видѣть и сотрудничать съ другими людьми, любящими своими трудными въ дѣлать въ Востокѣ и русскихъ восточныхъ окраинахъ. Проф. В. П. Васильевъ, проф. И. П. Минаевъ, проф. В. В. Радловъ, проф. И. Я. Фойницкій, проф. Д. И. Анучинъ, Доцентъ Петръ. Уманъ. Поддѣвъ, С. В. Максимовъ, Д. И. Завалишинъ, С. Я. Капустинъ, Н. Н. Наумовъ, М. С. Званцевъ, С. С. Шанинъ, М. В. Малаховъ, А. О. К. Дубарь, путешественники: М. В. Певцовъ, М. С. Поздковъ, Г. Н. Потанинъ, А. В. Архангельскій, и другіе.

Первый номер газеты «Восточное обозрение»,
Петербург, 1882 г.



*Н. М. Ядринцев.
Снимок 90-х годов XIX века.*

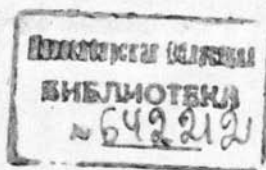
ЛИТЕРАТУРНЫЙ
СБОРНИКЪ

ИЗДАНИЕ

РЕДАКЦИИ „Восточнаго Обозрѣнія“.

Собраніе научныхъ и литературныхъ статей
о Сибири и Азіатскомъ Востока.

РЕДАКТОРЪ Н. М. ЯДРИНЦЕВЪ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, № 39).

1885.

Титульный лист «Литературнаго сборника» —
приложения к газете «Восточное обозрѣніе».
1885 г.

У нас, гимназистов, был небольшой кружок, так же чуткий к литературе. Мы уже ранее кое-что читали, любили Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, кое-кто пописывал стихи, Щукин взялся направлять наши литературные призвания, лелеял их и поощрял всеми средствами. В открытии талантов он доходил до комического обольщения. Встретив, например, купеческого сына, пишущего стишки, он воображал, что открыл поэта, и озабоченно говорил, что опыты надо послать Добролюбову и т. д. Наши детские произведения он выслушивал со вниманием и разбирал, в какой журнал они могли войти. Здесь была масса обольщения, но в то же время это поощряло нас работать и открывать свои призвания.

Сам Щукин был несчастный литератор, писавший всю жизнь, но печатавший разве одну тысячную написанного. В эту эпоху таланты открывались в глуши экспромтом, эманципаторы видели всюду самородков. Временами действительно встречались явления оригинальные. Помню рассказ И. В. Федорова-Омулевского об иркутском поэте Красноперове¹³. Красноперов этот происходил из мещан, заехал в Сибирь, был на Амуре и по поводу завоевания Амура написал стихотворение, или песню, которая быстро разошлась. Узнав об этом поэте, граф Муравьев-Амурский¹⁴ вздумал покровительствовать таланту.

Красноперову было за 20 лет, но его взяли учиться и определили в гимназию, в 1-й класс. Будущий поэт, однако, согласно возрасту и обстоятельствам, наклонен был более к водке, и воспитание не пошло.

Талант его тоже не развертывался. У него были только наброски, очерки и многообещающие способности. Когда мода на него прошла и Иркутск охладел к пьющему таланту, он исчез с горизонта. По рассказам И. В. Федорова-Омулевского, он явился в Петербург и искал здесь покровительства своему призванию в литературных кружках. Явился даже к Некрасову. Показал свои наброски, получил вспоможение и снова запил. Так он делал со многими.

Омулевский передавал, что это был человек не без таланта, и Некрасов обольстился одним его стихотворением «Солдатка».

«Солдатку» эту, недоконченное произведение, поэт совал всем, обещал кончить, но жаловался на недостаток средств. Скоро петербургские покровители так же разочаровались в нем, и он опустился в преисподнюю подвалов, ночлежных приютов и распивочных.

Когда он считался похороненным и я успел где-то упомянуть о нем, как о погибшем с год назад, тот же Омулевский заметил мне, что Красноперов вовсе не умер, и он его еще видел недавно при оригинальных обстоятельствах.

Он явился раз к Омулевскому и попросил ночлега, что и прежде бывало не редкостью.

— Откуда ты появился? — спросил его приятель.

— Из Мойки прямо, — отвечал несчастный поэт-неудачник. —

Хотел топиться, да городской, черт его возьми, багром вытащил, да вот бок распорол!..

Действительно, бок был распорот. Такова была судьба этих призваний! После этого Красноперов опять исчез и, может быть, покончил уже более удачно в Мойке или в Обводном канале.

Омулевский, нимало не обольщенный Красноперовым и знавший все его слабые стороны, говорил, что это была действительно натура не без дарования. У него было чутье к литературе, и Омулевский был поражен раз, когда Красноперов, лежа на печке, сделал ему подробную оценку и анализ романов Решетникова¹⁵, достойный художника.

Но эта натура, как видим, так и погибла неразвитою и едва была тронута литературным движением.

Явившись в Петербург, нас сразу обдало литературным движением и охватило страстью к литературе. Мы с величайшей жадностью читали все, выходявшее из-под пера тогдашних писателей. Я сейчас же приобрел избранную библиотеку из всех лучших произведений русской литературы. Интересы литературы близко касались тогдашней учащейся молодежи. Мы читали, спорили, философствовали, многих писателей знали в лицо.

На похоронах Мартынова я видел, как давала места учащаяся молодежь любимым писателям. Помню, толпа задержала около могилы В. С. Курочкина, но вдруг раздалась масса голосов: «Господа, Курочкина не пускают. Пропустите! Ведь это Василий Степанович Курочкин!» Здесь же я видел, в студенческом еще мундире с моноклем в глазу, тогдашнего поэта, впоследствии «известного» Всеволода Крестовского¹⁶.

Знакомство с литераторами и редакциями у нас завелось не сразу. Мы немало читали, но не все кинулись писать и не все были к этому готовы. Один из самых подготовленных был Г. Н. Потанин. Явившись в Петербург учиться без средств, он вынужден был использовать литературное призвание и дебютировал не без успеха.

Его участие началось в «Русском слове», где он поместил воспоминание о приисковой жизни, а затем «Полгода, проведенные в Алтае»¹⁷, одно из свежих и интересных своих воспоминаний. Гонорар, полученный им, послужил поддержкою его скромного существования. Потанин жил подвижнически; получив деньги, он прежде всего покупал книг, а затем небольшой остаток соразмерял так, чтобы едва существовать, и иногда довольствовался хлебом и квасом. Одновременно он слушал лекции в университете, и притом курс естественных наук.

Другим литератором из сибиряков, с которым я встретился, был. И. В. Федоров-Омулевский. Его произведения я читал уже у Щукина в рукописи, который восхищался ими и предсказывал ему блестящую литературную карьеру.

И. В. Федоров в тогдaшнее время был очень молод, талант его развертывался исключительно под влиянием обличительного направления. Он писал массу сатирических и юмористических стихов,

эпиграммы и т. д. После первого знакомства он сообщил о намерении создать газету, наподобие «Искры», имевшей огромное значение. Тем не менее я помню первый его неудачный литературный дебют с сонетами Мицкевича, подвергшимися суровой критике.

Видя ныне в покойном, а тогда в юном И. В. Федорове талант, мы не могли не заметить все-таки некоторого отсутствия серьезной научной подготовки.

Желая быть современным и тенденциозным, он насилывал себя и усваивал многое чисто внешним образом. Недостаток этот не исчез у него до самой смерти. К сожалению, тогдашние корифеи и покровители его развивали и поощряли в нем именно эту сторону, а безыскусственным лирическим произведениям его не придавали цены. Сам Оммулевский, по настроению тогдашней жизни, рвался сделаться тенденциозным поэтом, для чего, однако, у него не было самого главного — серьезного образования, придающего убеждениям силу и известную самостоятельность взгляда. Он мог быть только подражателем в этом роде. Заурядная, шаблонная тенденция без подготовки губила только его талант, а с другим родом поэзии примириться он не хотел, как и соразмерить свои силы. Оттого в его произведениях остается так мало безыскусственного и самостоятельного. Воспитанный известной средой и петербургским руководством, он впоследствии испытал горькую участь быть осужденным за отсутствие поэтического таланта теми, кто более всего способствовал неверному направлению этого таланта. Не входя в оценку его литературной карьеры, мы должны сказать, что известный талант в нем был, что натура эта была чуткая, впечатлительная, художественная, он любил литературу, воспитывал себя в ней и крепко работал. Масса сил его впоследствии ушла на ремесленное добывание куска хлеба. Как горько доставался ему этот хлеб, известно из биографии и nekрологов.

Мы застали его в блестящую пору его планов и надежд. Он был неистощимо весел и постоянно в припадках вдохновения, хотя иногда и ложно направленного. Жил он как художник и поэт. Потанин, познакомившись с ним, застал его живущим вместе с учеником художественной академии в маленькой, но чистенькой квартире с живописным беспорядком. Бывая у него, я припоминаю кучу горшков с красками. Сам И. В. Федоров бывал изящно одет, опрятен, деликатен и конфузлив. Потанин передал мне, что, сделав ему первый визит, он застал его утром со щеткой в руках, что смутило очень хозяина, но он тотчас же ответил гостю фразой:

— Извините, знаете — наш общий друг Теккерей сказал, что кто не имеет прислуги, тот сам себе комнату метет.

И. В. Федоров в это время со своей деликатной, красивой наружностью и поэтическим видом был любимцем женщин, и, кажется, в его молодости не раз билось его сердце счастливым волнением от побед над женщинами.

Горькая жизнь впоследствии, конечно, стерла эти розы юности. После И. В. Федорова нашим знакомым и товарищем был выступавший как писатель земляк Н. И. Наумов; тогда он еще не был известен рассказами из народной жизни. Приехав в Петербург и начав, по обыкновению, тяжелую, полную лишений жизнь, он должен был вскоре так же приняться за перо и обработать свои наблюдения над солдатскою жизнью, дав несколько очерков в «Светоче», издававшемся Милюковым¹⁸.

Н. И. Наумов имел уже определенное призвание и литературный навык. Он начал писать в гимназии, конечно, с подражаний, писал во время военной службы, упражнялся во всех родах литературных произведений, хотя, конечно, вполне по-детски, но у него выработался, благодаря этому, литературный слог и манера. Литературный талант его был замечен сразу. Поместив свои очерки в журнале, Наумов получил доступ в один литературный кружок, и я помню его восторженные рассказы по возвращении с вечеров, где он видел и такого-то писателя, и такую-то знаменитость. Удачный литературный дебют его по части рассказов из военного быта не устранил, однако, испытываемой горькой нужды в Петербурге и давал только временное и случайное обеспечение. Наумов помещал кое-что в знаменитой «Искре» и после отъезда моего дал очерк «На перевозе», где уже наметился род его будущей деятельности. Наумов был молод, весел и беспечен, как и все мы. Литературный талант тогда, однако, не гарантировал его от бедственной жизни, и скоро он должен был отправиться на родину, поступив в казенную службу. Только через несколько лет он воротился опять к своему призванию.

Не менее выдающимся дарованием, хотя и в другом роде, заявил себя в Петербурге и еще один наш земляк, с которым мы свели тогда знакомство, а именно С. С. Шашков.

Мы услышали о нем через некоторых из учеников духовной академии. С. С. Шашков, когда мы познакомились с ним, оставил духовную академию и перешел в университет на восточный факультет, где был, однако, недолго. Происходя из священнических деятелей, как известно из его биографии, он учился в Иркутской семинарии, а затем в Казанской духовной академии, где был замешан в истории по поводу панихиды над бездненскими жертвами. Дарования С. С. Шашкова сказались в детстве. В Иркутске он уже писал стихи и сатиры; сатирическое направление не оставляло его целую жизнь. Когда мы познакомились с ним в Петербурге, он уже успел поместить кое-что в тогдашнем журнале «Век»¹⁹, издававшемся артелью, и составлял ученые и исторические статьи. К этому времени относится его монография о шаманстве в Сибири, напечатанная в записках Императорского географического общества; мы нашли Серафима Серафимовича, ныне также покойного, серьезным и весьма трудолюбивым юношей. Он основательно знал уже немецкий язык и читал много путешествий; кроме того, у него было основательное знание истории и привычка заниматься научной литературой. После Пота-

нина это был самый образованный из моих земляков того времени. Способности у него были блестящие, память изумительная и трудолюбие замечательное.

Застали мы его бедняком в квартире дома Фредерикса, среди книг и рукописей. Сюда я часто заходил к нему и всегда встречал его за какой-нибудь очередной работой. Он говорил мало о своих планах и произведениях, над которыми работал; эта привычка к сдержанности сохранилась за ним на всю жизнь и раз привела к непредвиденному недоразумению. Я и он некоторое время жили вместе, написали по одним материалам почти тождественную статью и послали в разные журналы.

Произошло это потому, что я не знал, что он пишет по тем же документам.

В это же время петербургской жизни Серафим Серафимович написал несколько очерков из истории Сибири, помещенных в «Библиотеке для чтения»²⁰, и сотрудничал в «Очерках»²¹, имел знакомство с Григорием Захаровичем Елисеевым²², которого глубоко уважал и ценил всю жизнь.

С. С. Шашков вел необыкновенно скромную жизнь в Петербурге; познакомившись со студентами, он не принимал никакого участия в веселье и кутежах. Живой ум и юмор его проявлялись, однако, часто самым блестящим образом. Он пробовал свое сатирическое перо в «Искре».

Кстати сказать здесь, что юмористические и сатирические наклонности были общею чертою наших сибиряков-писателей. Не знаю, имеет ли это связь вообще с нашим характером, но Щапов отметил черту насмешливости у сибирских жителей. Теперь из приведенных лиц я припоминаю, что Щукин был большой насмешник в частной жизни, обличитель по натуре, у него было много иронии в рассказах. Потанин не прочь был поиронизировать добродушно; тонкая сатира, насмешливость всегда проявлялись в произведениях Г. З. Елисеева; Н. И. Наумов слыл зорлом даже в гимназии, он был одним из юмористов «Искры». Я начал свое литературное поприще произведениями в юмористическом роде, и впоследствии любил памфлетный род; даже Федоров-Омулевский пробовал себя в сатире и юмористическом роде, хотя это плохо ему удавалось.

Шашков был положительно с сатирическим направлением, что мешало ему, как историку вообще и как историку литературы в частности. Щапов имел острую обличительную сторону; прибавьте к этому двух сибирских художников-карикатуристов, выступавших в 60-х и 70-х годах, М. С. Знаменского²³ и Калганова²⁴, и вы увидите, какая доля сатирических призваний располагалась в маленьком кругу сибирских писателей.

С. С. Шашков написал в своей жизни немало сатирических стихов, в большинстве, к сожалению, неизвестных в печати. Дарования его давали себя чувствовать. Петербург его направлял на серьезную дорогу, и останься он здесь, из него, несомненно, вышел бы очень видный ученый деятель. Я видел несколько раз

в жизни, с какой легкостью он усваивал и как овладевал языками и различными отраслями знания, изучая постепенно историю, юридические науки, экономическую литературу, работая по женскому вопросу, а впоследствии отдавшись истории литературы. С. С. Шашков много поработал на поприще русской журналистики, хотя все обстоятельства жизни с самого начала не благоприятствовали ему; уже сама петербургская жизнь давалась ему не легко. Можно ли было думать о серьезных научных работах, которые требовали времени, когда он должен был в то же время обрабатывать свои произведения в месяц, два, среди лишений; понятно, что он перешел к журнальным компиляциям. Неблагодарный труд, лишения, наконец, явившаяся общая нам всем потребность местной деятельности заставили его оставить Петербург в 1863 г., подобно другим. С Казани уже С. С. Шашков был знаком со Щаповым.

Щапов в мое время также жил в Петербурге, но я раза два всего видел его издали и знал о нем через других; среди студентов много рассказывали о его уме, огромном таланте и необыкновенной оригинальности. Мы знали, что он был наш сибиряк, привезен из Казани и пострадал. Молодежь к нему льнула. Шашков был его учеником, любил его, но знал все его слабости и относился к нему весьма трезво и даже строго. Одно время они жили на одной квартире, и С. С. Шашков, помню, жаловался на чересчур несдержанную его домашнюю жизнь. Щапов часто кутил. Я видел его в Павловске, помню его гордую фигуру, отчасти с инородческим лицом, густыми волосами, в циммермане и каком-то пальмерстоне. В это время Щапов по поводу своих журнальных статей получил письмо от Герцена, письмо это я читал, в нем выразилось сочувствие литературной деятельности Щапова и его направлению. Щапов в это время переживал кризис, он переходил от прежних своих самобытных взглядов и встретился с потоком петербургского западнического направления, положившего печать на все последующие его труды. С нашим кружком он не был знаком, хотя и послал привет Сибири и сибирякам по приезду в Петербург в виде одного стихотворения²⁵, но это, кажется, был последний вздох его по Сибири. С нею суждено было ему встретиться при ином настроении.

Что касается моего личного литературного развития и знакомства с литераторами, то я постараюсь не слишком об этом распространяться, потому что не пишу автобиографии. Произведения мои были очень юны в это время, чтобы передавать историю их зарождения. Я много писал в гимназии, вел дневники, сочинял повести и стихи, но это было ребячество. Петербургская атмосфера не могла, конечно, не возбудить во мне литературной страсти, но я не решался ничего нести в редакцию, да и не имел нужды, как мои товарищи. Надо помнить, что двигает в этом случае все-таки, главным образом, нужда. Только три года спустя после петербургской жизни я познакомился с кружком «Искры» и отдал Василию Степановичу Курочкину один из своих

юмористических очерков. Напечатанная статейка ободрила меня, и тогда я дал несколько очерков в ту же «Искру». Мы скромно отпраздновали с приятелями первый мой литературный дебют. Мой ментор Г. Н. Потанин был весьма доволен, что я вступил на литературное поприще. В В. С. Курочкине я встретил добродушного и милого редактора, никакого генеральства в нем не было. Я часто проводил у него редакционные утра и слушал весьма дельные разговоры и пользовался советами и замечаниями. Иногда встречал я здесь Стопановского²⁶, Д. Д. Минаева²⁷, И. Ф. Горбунова²⁸. Должен сказать, что никогда во время посещений редакции я не видел ничего разгульного и распущенного. То, что рассказывали о кутежах В. С. Курочкина, совершалось, может быть, в домашнем кругу, за кулисами, но о публичной его деятельности я вспоминаю с уважением. Это был знаток литературы, замечательно образованный человек и деятель с неуклонно честными убеждениями. Я помню «Искру» и в хорошие и в дурные времена. Несмотря на то, что дела «Искры» под конец шли плохо, В. С. Курочкин делился с сотрудниками последним. Тем тяжелее через 15 лет для меня было встретить этого почтенного ветерана литературы в горькой нужде, измученного, изнервованного, в тяжелом положении, питавшегося поденной работой, как будто ничего не было за ним, как будто он ничего не заслужил, не заработал и был таким же рядовым, как и вступавшие на литературное поприще. Жизнь ему улыбнулась на минуту перед концом, когда он был приглашен фельетонистом в «Биржевые ведомости»²⁹, но он был болезнен, и скоро смерть покончила с ним. Такова была его участь, как и многих наших писателей. После «Искры» я имел некоторые сношения еще с редакцией «Эпохи»³⁰, в лице М. М. Достоевского, я снес ему большую рецензию на одно сочинение о Сибири Ипполита Завалишина³¹, помню, что я работал над нею много, написал десятки листов, благодаря неопытности и незнанию литературных приемов, так что М. М. Достоевский, посмотрев на рукопись, изумился прежде всего ее величине и просил дать ей более подходящий размер. Я свою рукопись взял обратно. Это охладило несколько мой литературный пыл, и я возобновил попытки уже в Сибири. Охлаждение писательского рвения заставляло задумываться и работать над собою, на других оно не действовало, хотя помню то неприятное ощущение для молодого автора, когда он является в редакцию в первый раз.

— Какую вы статью оставляли у нас? — спрашивал редактор, роясь озабоченно в рукописях. — Вы, кажется, принесли «Кавказскую барышню»?

Краска бросается в лицо молодому автору. Он написал критическую серьезную статью, которая, по его мнению, должна была произвести фурор, и вдруг его мешали в общей куче с «Кавказской барышней».

В высшие литературные кружки никто из нас не проникал пока, но жизнь и настроение тогдашней литературы на нас имели

неотразимое влияние. Едва ли когда-либо общество стояло в такой тесной связи с литературой, как в то время. Позволю себе сказать о нашем литературном воспитании. Развертываясь в начале 60-х годов, мы усвоили любовь к литературе наших предшественников, людей 40-х годов. С точки зрения органического духовного развития общества это было богатое наследие. Мы, когда-то резко разрывавшие связи со старой литературой, должны сознать в конце, что все-таки были многим ей обязаны. Она проложила дорогу и научила общество интересоваться книгой, повестью, романом, критикой, поэзией. Дух романтизма веял и на нас при восходах нашей жизни, мы усвоили любовь к искусству: хорошие стихи, прекрасные образы доставляли нам наслаждение. Мы зачитывались с детства Пушкиным, Гоголем, Тургеневым. Несмотря на отрицание эстетики, мы оставались эстетиками и впоследствии возвратились к ней, когда последующее поколение уже ничего не имело общего с ней и потеряло чутье к красоте и гармонии. Вторая черта, которую мы унаследовали, это гуманизм романтиков 40-х годов и стремление к идеалу. Этот гуманизм когда-то прежде граничил с сентиментальностью, но у людей развитых он имел более высшую форму человеколюбия и сострадания. Под влиянием этого гуманизма развивалась масса мягких чувств. В нашем воспитании, хотя и барческом, эти чувства культивировались, мы были общительны и вежливы. Мягкость и гуманизм сохранились у нашего поколения, несмотря на острую моду 60-х годов с ее базаровщиной, которой все молодые люди в свое время подражали. Базаровщина, однако, была проходящей модой, и люди нашего поколения скоро обнаружили те же привычки лоска и воспитания. Не то было с другим поколением.

На пути наших идеальных стремлений нас встретила свежая литература, охватив новую область жизни общественной. Понятно, что она еще живет приковала нас. Неопределенные стремления к идеалу нашли выход, подготовленный к живому и горячему восприятию общественных вопросов. Мы увидели самую тесную связь литературы с жизнью.

Литература же в нас затронула стремление к знанию и любознательность, когда старая школьная схоластика отвратила нас от книжной науки.

Чувствуя свои пробелы, мы охотно принимались за азбуку, изучали естествознание, историю, в век материализма многие изучали Гегеля. Усвоение новых теорий не мешало знать и изучать предшествовавшие.

В этом отношении мы отличались от поколения последующего, отрицавшего науку вообще с метафизическим началом и судившего о литературе по одной части ее временного проявления; уважение к литературе и науке проникло в нашу душу вообще, мы никогда не кощунствовали над ними в самые худшие времена. Напротив, искали здесь подкрепления, утешения и веры в человеческий прогресс. Эта вера осталась на целую жизнь.

Литература и наука, являвшиеся во всем ореоле, покорили навеки наши сердца, ибо мы видели их в самых лучших проявлениях. Мы понимали и читали литературу, как могучее орудие для духовной деятельности человека, для всего общечеловеческого прогресса, и не рассматривали с одной, партионной точки зрения, не презирали ее за уродливые и временные явления. Мы считали человеческое слово за лучшее из средств для победы знания над невежеством, для торжества идеи, для завоевания человеческого права. Что удивительного поэтому, что многие из нас мечтали сделаться писателями, и литература взяла многих в свои жрецы. Что мудреного, что многие до конца служили ей, полагая в этом главную задачу своего гражданского долга.

Время перелома, критики старых начал мы пережили живо, отдаваясь ему. Наши земляки, как я замечал, были весьма восприимчивы к новым теориям, к новаторству, из них выходили самые ревностные прозелиты новых направлений. Я могу объяснить это разве тем, что сибиряки вообще не имеют традиций, предрассудков, у них нет ничего позади, и взор их устремлен вечно в будущее. Точно так же они не были лишены твердости и мужества в преследовании своих убеждений. Я почти не знаю из наших товарищей ренегатов и отступивших впоследствии от лучших традиций своей юности, и несчастный, полупомешанный Щукин составлял исключение. Наше поколение в общих теориях осталось на грани между 60-ми и 70-ми годами. Не восприняв крайностей последних, унаследовав самые светлые и лучшие верования первых, писатели моего времени перенесли эти лучшие надежды на свою родину и взлелеяли их. Теория 70-х и 80-х годов только отвлекла сибиряков от их родины и почти не дала заметных деятелей на поприще литературы, исключая Кушевского, который был скорее продуктом нашего же времени. Из общих литературных стремлений выродилась у нас потребность служить своему краю. История наших местных симпатий и попыток местной литературы должна составить предмет особого очерка.

«Восточное обозрение», 1884, №№ 6, 26, 33, 34. Печатается по книге Н. М. Ядринцева «Сибирские литературные воспоминания. Очерки первого сибирского землячества в Петербурге», Красноярска, 1919.

¹ Потанин Григорий Николаевич (1835—1920) — ученый, путешественник, писатель-публицист, общественный деятель-областник.

² Песков Михаил Иванович (1834—1864) — художник, ученик Академии художеств, один из 13 художников, демонстративно покинувших Академию накануне ее окончания (впоследствии — передвижники). Им написаны картины «Ермак, сговаривающий волжских атаманов к походу в Сибирь», «Кулачный бой при Иоанне Грозном» и др., высоко оцененные художественной критикой.

³ Яблочкина Ольга Павловна — сведений нет.

⁴ Курочкин Василий Степанович (1831—1875) — поэт, журналист, общественный деятель, тесно связанный с революционным движением 60-х гг., редактор сатирического журнала «Искра» с 1859 г. до его прекращения за «вредное направление» в 1873 г.

⁵ См. Н. Шукин «Крылов, следователь Сибири (из иркутской хроники 1758—1761 гг.)» — сб. «Луч», 1866; «Сибирские воеводы» — «Дело», 1866, № 1 (о том же). По делу П. Н. Крылова, допустившего в Иркутске возмутительные безобразия, есть статья С. Шашкова «Иркутские погромы 1758—1760 гг.» — «Азиатский вестник», 1872, № 1.

⁶ Шукин Семен Семенович (ок. 1795—1868), директор иркутской гимназии, собирал исторические материалы о Сибири. Брат писателя-краеведа Николая Семеновича Щукина (1792—1883), его часто путают с Н. С. Щукиным-младшим (1836—1870), о котором рассказывает Ядринцев.

⁷ Джогин Павел Павлович (1834—1885) — художник, учился в Академии художеств вместе с М. И. Песковым, автор многих живописных работ, с 1867 г. — академик.

⁸ Шишкин Иван Иванович (1832—1898) — выдающийся художник-пейзажист.

⁹ Смирнов Капитон Иванович — студент Петербургского университета, впоследствии директор 2-й петербургской гимназии.

¹⁰ Мартынов Александр Евстафьевич (1816—1860) — актер, оказавший влияние на развитие прогрессивного сценического искусства. Его похороны превратились в большую демонстрацию.

¹¹ Бозио Анджелина (1830—1859) — итальянская оперная артистка, в 50-х годах выступала в Петербурге и в Москве.

¹² Возможно, Н. Г. Чернышевский.

¹³ Красноперов — возможно, Н. М. Ядринцев имеет в виду Краснопольского (ок. 1835—?), начинающего литератора.

¹⁴ Муравьев-Амурский Николай Николаевич (1809—1881) — генерал-губернатор Восточной Сибири (1847—1861).

¹⁵ Решетников Федор Михайлович (1841—1871) — писатель, автор романов: «Где лучше?», «Глумовы», «Свой хлеб».

¹⁶ Крестовский Всеволод Владимирович (1840—1895) — писатель, автор романа «Петербургские трущобы», сотрудничал в «Русском вестнике», писал клеветнические произведения о событиях 60-х годов.

¹⁷ Статья Г. Н. Потанина «Полгода в Алтае» опубликована в передовом журнале «Русское слово», 1859, №№ 9 и 12. Журнал выходил с 1859 г. под редакцией Г. Е. Благоветлова и вместе с «Современником» закрыт правительством в 1866 г.

¹⁸ «Светоч» (1860—1862) — журнал славянофильского направления, издавался в Петербурге Д. И. Калиновским: видимо, Ядринцев ошибся.

¹⁹ «Век» (1861—1862) — журнал, издававшийся в Петербурге П. И. Вейнбергом.

²⁰ «Библиотека для чтения» (1834—1865) — ежемесячный «Журнал словесности, наук, художеств и промышленности». Выходил в Петербурге. Редакторы — О. И. Сенковский и Н. И. Греч.

²¹ «Очерки» — политическая и литературная газета, издавалась в Петербурге в 1863 г. под редакцией Г. З. Елисеева.

²² Елисеев Григорий Захарович (1821—1891) — журналист, публицист, один из редакторов журнала «Отечественные записки» (1868—1884), член редколлегии журнала «Искра».

²³ Знаменский Михаил Степанович (1833—1892) — художник, писатель, выступал с сатирическими рисунками в журнале «Искра», печатался в «Литературном сборнике» (1885), в газете «Восточное обозрение».

²⁴ Калганов — художник-карикатурист из Тюмени, о нем см. в статье Ядринцева «Искусство в Сибири» («Восточное обозрение», 1889, № 43).

²⁵ Стихотворение А. П. Щапова «К Сибири» появилось в рукописном сборнике «Либералство» (Иркутск, 1867). Впервые опубликовано в книге Е. Д. Петряева «Люди и судьбы» (Чита, 1957, с. 30—31). Текст стихотворения см. также в книге Г. Н. Потанина «Письма», т. 1, Иркутск, 1977, с. 30 (есть разночтения).

²⁶ Степановский Михаил Михайлович (1830—1877) — писатель-публицист, сотрудничал в журналах «Искра», «Отечественные записки», «Современник», был связан с кружком екатеринославских литераторов-разночинцев обличительного направления.

²⁷ Минаев Дмитрий Дмитриевич (1835—1889) — поэт и переводчик.

²⁸ Горбунов Иван Федорович (1831—1895) — писатель и актер.

²⁹ «Биржевые ведомости» (1880—1894) — газета «биржи, финансов, торговли, политики и общественной жизни», выходила в Петербурге.

³⁰ «Эпоха» (1864—1865) — литературный и политический журнал, издавался в Петербурге М. М. Достоевским, а после его смерти (1864 г.) Ф. М. Достоевским. Ядринцев ошибся: в 1863 г. он заходил в редакцию журнала «Время» братьев Достоевских.

³¹ Завалишин Ипполит Иринархович (1809—1869) — автор книги «Описание Западной Сибири» (3 тома, М., 1862—1867), брат декабриста Д. И. Завалишина.

СВЕТЛЫЕ МИНУТЫ

*(Из воспоминаний прошлого
ко дню открытия университета)*

Помню вас, юные, краснощекие, полные жизни юноши, с одушевленными искрящимися глазами, с вдохновенною речью, помню вас и себя, когда тепло жизни — юность согревала нас, солнце надежды нам светило ярко и мечты наши парили высоко, высоко в лазурной дали будущего. В это время говорили, спорили; все казалось так доступно, осуществимо, не было невозможного, мечта воплощалась в живые формы, созидались дворцы фантазии, сердце билось усиленно, и кипучие силы молодости, готовые vorочать горы, чувствовали жажду деятельности.

Вот в это время, почти 28 лет назад, в оживленном кружке студентов-сибиряков Петербургского университета шел разговор о сибирском университете. Как занесена была эта идея, кем, я не помню, но она была принята с восторгом. Мысль и предложение, погребенное с 1803 г. (дня пожертвования 100 000 р.), мысль, оставленная администраторами, как преждевременная, возродилась и охватила юные сердца.

Помню наши первые студенческие собрания в квартире художника Джогина в Академии художеств, собрания на студенческих квартирах, где длились наши беседы о родине, о будущем университете. Помню и лиц[а] университетантов: Н. М. Павлинов¹, братья А. и И. Черемшанские, А. К. Шешуков², Сидоров³, кандидат математик, томич, Федоров-Омулевский, будущий поэт, художник Песков, иркутянин (будущая известность), Г. Н. Потанин (будущий путешественник), забайкальцы: братья Лосевы⁴, бурят И. Пирожков⁵, учившийся в университете, Перфильев⁶ (ныне председатель одного из судебных учреждений в России), впоследствии присоединились к кружку С. С. Шашков, известный писатель, и братья Селетовы⁷, Перетолчин⁸ и др.⁹. Все это были молодые силы, жаждавшие знания и в то же время беззаветно преданные родине и предававшиеся радужным мечтам о ней. Среди студентов-земляков тогда много было перешедших из Казани веселых юношей, которых охватила, однако, столичная атмосфера и общественные вопросы. Это было время, памятное время, когда все ликовало, все полно было ожиданиями чего-то прекрасного, великого, точно гул пасхальных колоколов

переливался по русской земле. Это было возрождение русской жизни.

Сибиряки не остались чужды веянию времени, но их вопросы получили местный оттенок. Сочувствием или не сочувствием университету измерялась преданность и гражданская добродетель. Не сочувствовать этой идее не мог никто, но разговоры и споры заключались в частности.

Помню, как Перфильев иногда спорил с Омuleвским, причем дебаты тянулись часами, помню пылкие речи других ораторов, фанатическую преданность идее сибирского университета математика Сидорова, человека умного, способного, но до сумасшествия самолюбивого. Это самолюбие и строптивость были несчастьем его жизни. Впоследствии он заявил претензии к диктатуре и потерял репутацию у товарищей. Рядом с этим кипучим характером сидел мечтательный юноша с головой Рафаэля и угрюмый, сосредоточенный Потанин. Но все: угрюмые и сангвиники, скептики и идеалисты,— все отдавались одинаково самым радужным мечтам.

В юном воображении нам представлялся уже университет открытым, мы представляли его вроде роскошного здания, к которому стеклись все разнообразные произведения нашей родины.

Портик должен быть из белого мрамора с золотой надписью «Сибирский университет». Нет, лучше на черном, внутренность из малахита, яшм, кругом сад, в котором сосредоточивается вся сибирская флора. В кабинеты доставлены коллекции со всей Сибири, общественная подписка дала огромные средства. Аудитории кишат народом, где мы встречаем рядом с плотными, коренастыми сибиряками наших инородцев, наш друг Пирожков, изучивший философию Гегеля, был для нас примером, университет привлечет японцев и китайцев — говорили другие. Так развивалась мечта.

— Доживем ли до этого? — раздавался скептический голос. И потом опять сменялось детской радостью и кончалось пеннем «*Gaudeamus igitur*»* и казанской студенческой песни «От зари до зари, как зажгут фонари...»

* * *

С мечтами об университете мы воротились на родину, но после 60-х годов вопрос этот смолк в обществе и в литературе, он стал как будто запретным. Много пережилось, перекипело, перебродило. Юноши превратились в солидных и пожилых людей, проза жизни, действительность научила быть их терпеливыми, а многих и равнодушными.

Не могу не остановиться на моменте, когда выплыл университетский вопрос в 1874 г. Это памятный для меня год в личной жизни. После долгих годов разочарований и довольно горького

* «*Gaudeamus igitur*» (лат.) — «Будем веселиться» — начало старинной студенческой песни.

существования в глуши, я жил в Петербурге. В Западной Сибири кончалось управление генерал-губернатора А. П. Хрущева, честного ветерана Севастополя, но весьма вялого администратора, время было бесцветное. Изредка появлялась в газетах корреспонденция об омских скандалах, но номер газеты отбирали от подписчиков адъютанты.

Вдруг получается известие, что генерал Хрущев умер. Все жившие в Петербурге сибиряки заинтересовались, кто будет назначен взамен его. Скоро стало известным, что назначен генерал-адъютант Казнаков. Но что это будет за генерал-губернатор, многие не знали.

В это время я познакомился с Михаилом Константиновичем Сидоровым — известным северным деятелем, который когда-то пожертвовал заявленные им золотоносные площади и золотой самородок на университет. Хотя эти площади не имели особой цены, но покойный М. К. Сидоров оставался приверженцем вопроса о сибирском университете. При встрече с ним я спросил, кто такой генерал-губернатор и что можно ожидать от него. М. К. Сидоров знал всех генералов и адмиралов, постоянно посещая их приемные с своими проектами об оживлении севера.

— Знаю, знаю-с,— заговорил скороговоркой М. К. Сидоров,— отличнейший человек, ужасно заинтересован Сибирью, занят теперь чтением всевозможных сочинений о ней.

— Сочинений? — переспросил я. Мне показалось это новым. Генерал интересуется литературой, а не одними докладными записками.

— Прекрасный человек,— продолжал М. К. Сидоров,— он обещает для Сибири много сделать, я и о севере говорил...

— А что он думает о сибирском университете?

— Не знаю-с, я поговорю. Да не хотите ли с ним познакомиться, он доступный.

Я изъявил согласие. Так началось наше знакомство в 1874 г., длившееся в течение всего его управления Сибирью, а затем не оставленное и в Петербурге. Я сохранил прекрасную память об этом человеке доброй души, человеке, очень образованном, живого ума и желавшем обновить Сибирь новыми учреждениями.

С первого визита мне пришлось переговорить с ним о многих сибирских вопросах. Кабинет его был завален книгами о Сибири, между прочим, он интересовался тогда книгой Н. И. Наумова. Генерал говорил со мной много о ссылке, которой я тогда занимался, а дело о сибирском университете взял из министерства для ознакомления. Все начали стекаться к генерал-адъютанту Казнакову, бывшие служащие в Сибири, разные сведущие люди, литераторы.

Помню такую сцену. В приемной генерала я встретил исхудалого пожилого человека, видимо, в чужом фраке, в руках его был толстый сверток рукописей. Я помню, что видел этого человека: худое болезненное лицо, ранняя проседь в больших, откинутых гривой волосах, морщины и в то же время лихорадочный взор;

нервная подвижная фигура мне запечатлелась. Припомнил я рассказы о нем. Когда-то мечтатель, идеалист, потом неудачник, человек, испытавший много горя, невзгод, он не потерял, однако, живучести, бродил по редакциям, по разным департаментам и министерствам с проектами, которые весьма равнодушно принимались. Вспомнил, что один доктор рекомендовал его мне, как весьма способного человека.

Вышел в приемную генерал, блестящий, раздушенный и обволаживающий обращением.

— Здравствуйте,— сказал он ласково исхудалому человеку,— я прочел одну вашу записку, очень дельный и смелый проект.

Худое лицо неудачника оживилось, глаза заискрились, он увидел то сочувствие, которого искал давно.

— Я еще, еще имею представить вашему высокопревосходительству...

— Хорошо, благодарствую.

Он повел его в кабинет, где долго оживленно беседовал. Впоследствии я узнал, что этот бедняк писал проекты и о путях сообщения, и о народном образовании, как бескорыстный труженик, не требуя никакой награды и закладывая свои вещи. Новый генерал-губернатор понял его способности и приютил его.

Возвращаюсь к университету. От этого-то доступного генерала мне удалось услышать благую весть, когда я раз пришел к нему и он принял меня в блестящем мундире, возвратясь с какого-то торжества и ласково взяв меня за руку.

— Сообщу вам радостную весть,— сказал он с улыбкой и свойственной ему грацией.— По моему докладу о том, что пора сибирским уроженцам дать возможность получить высшее образование, а также ввиду имеющихся реформ государь император приказал мне представить проект сибирского университета. Поздравляю вас и Сибирь.

Помню, что вскоре я бежал по Литейной в одну из редакций, совершенно отуманенный. Улицы, дома для меня не существовали. Я переносился мыслью в далекое прошлое, когда мы мечтали юношами о том, чему суждено свершиться чрез много лет.

Сияющий и веселый, придя домой, я переселовал семью свою. Этот день мы провели как-то торжественно. Мои ощущения были тем сильнее, что я знал то, что другие еще не знали, и мне выпало передать благую весть на родину. Те, кто завидуют и смотрят с улыбкой на наше ликование, на наши минутные восторги, пусть будут снисходительны, ибо эти радости не часто выпадали нам. Еще немало прошло времени с 1874 г. до 1888 года.

Я видел когда-то бодрого, энергичного инициатора этого дела Н. Г. Казнакова чрез несколько лет в Петербурге слабым, разочарованным, большим, умирающим, а университетский вопрос не был кончен. С 1874 года было много пережито и перечувствовано. Жизнь и смерть сменяли постоянно друг друга. Тех, с кем мы делились радостями, нет. Слезы и теперь капают на дорогие могилы, личное счастье, может быть, утеряно, разбито, опрокинуто на-

всегда, но ведь мы хоть минуту хотели жить общественными радостями, мы желали счастья другим, грядущим поколениям. От пережитой жизни с ее скорбями и трагедиями не останется в душе ничего, кроме горечи, тоски и отчаяния, но потребностью души будет всегда ожидание светлого, радостного, счастливого дня для других. Кто ощутил, угадал и видел хотя слабые признаки иного лучшего времени, кто ощутил первое биение общественного сердца, тот может сказать спокойно: «Ныне отпускаеши раба твоего с миром!»

«Восточное обозрение», 1888, № 29.

¹ Павлинов Николай Михайлович — студент-юрист, участник сибирского землячества, впоследствии работал в Иркутске.

² Шешуков Адриан Кондратьевич — сын тюменского купца, технолог.

³ Сидоров — из казаков города Кузнецка, математик, инициатор создания сибирского землячества до приезда в Петербург Потанина и Ядринцева.

⁴ Лосевы, братья — сыновья верхнеудинского купца, перевелись в Петербург из Казанского университета.

⁵ Пирожков Иннокентий — бурят, учившийся в Петербурге.

⁶ Перфильев Венедикт — студент-юрист.

⁷ Селетов Михаил Александрович — знакомый Г. Н. Потанина, посещал собрание сибирского землячества; о втором брате сведений нет.

⁸ Перетолчин Владимир Иванович — студент Петербургского университета.

⁹ Н. М. Ядринцев называет далеко не всех. Собрания сибирского землячества посещали Налетов, сын забайкальского купца, Ананий Красиков, сын сибирского чиновника, Буланов, математик, сын томского крестьянина, В. М. Березовский, участник студенческого движения 60-х годов, Шестаков, технолог, Куклин, студент, рано умерший, Н. Ф. Усов, учившийся в высшем военном учебном заведении, И. А. Худяков, впоследствии ученый-фольклорист и революционер-каракозовец, Д. Л. Кузнецов, впоследствии учитель и редактор «Томских губ. ведомостей» до ареста в 1865 г. Видимо, состав участников сибирского землячества в Петербурге учесть невозможно из-за его текучести.

К МОЕЙ АВТОБИОГРАФИИ

Предисловие публикатора

В светлый теплый день 9-го мая 1894 года я расстался на старом Нижегородском вокзале с Николаем Михайловичем Ядринцевым, отправлявшимся в Барнаул для организации и руководства статистическими работами, впервые насаждавшимися в Алтайском горном округе Томской губернии. Всегда энергичный и бодрый, с необыкновенно живым темпераментом для своего 52-летнего возраста, Николай Михайлович в этот раз ехал в горячо любимую Сибирь с унынием и предчувствием неудач, которые могут отразиться и на его работе и даже на его жизни. Грустные письма посылал он с дороги своим друзьям. Уже в Томске его душевное настроение заметно ухудшилось, и в Барнаул он приехал с удручающей тоской, преждевременно оборвавшей его жизнь. Все усилили друзей и врачей, трудившихся над возвращением его к жизни, оказались тщетными, и 7-го июня 1894 года Сибирь в лице угаснувшего Н. М. Ядринцева потеряла самого популярного своего публициста, самого горячего представителя

ее нужд и желаний, неутомимого общественного деятеля и автора крупных работ о Сибири («Сибирь как колония», «Сибирские инородцы» и «Русская община в тюрьме и ссылке»).

Еще в петербургский период издания «Восточного обозрения» (1882—1887 гг.) Н. М. Ядринцев под именем Добродушного сибиряка от времени до времени давал литературные портреты лиц, с которыми его соединяли годы дружбы и литературная и общественная деятельность (С. С. Шашков, Омулевский и др.). Уже в этих небольших, но горячо любимых очерках были рассеяны воспоминания автобиографического характера. Впоследствии, когда «Восточное обозрение», потерявшее право выхода без предварительной цензуры, было перенесено в Иркутск, в очерке, посвященном гимназическим годам, рельефно сказалось намерение Николая Михайловича написать полную автобиографию. Литературная и научная деятельность, которой была полна жизнь сибирского писателя, вероятно, отдаляла его от надуманного плана, который окончательно был разрушен преждевременной смертью; тем не менее в его литературном портфеле, врученном мне Николаем Михайловичем пред его роковым отъездом из Москвы в Сибирь, нашлись и очерки, охватывающие тот или другой период его плодотворной жизни, но, к сожалению, значительно не dokonченные. Между ними была и настоящая рукопись, посвященная годам его изгнания из Сибири в Архангельскую губернию. Рукопись написана торопливым почерком, без поправок, как бы за один, много — два приема, в апреле 1894 года в Большом селе Пронского уезда, куда Николай Михайлович поехал проститься с родственниками и могилой Аделаиды Федоровны, его жены, светлой личности и неизменного сотрудника в его напряженной деятельности, никогда не знавшей усталости.

В. Семидалов

Я родился в 1842 году в Омске и вывезен был из Омска нескольких недель. При рождении был слаб и хил, и родители боялись, что умру. Всю жизнь телосложение мое было слабое. С родителями путешествовал до 10 лет. Был в Тобольске 4 года, в Тюмени 4 года и 9 лет привезен в Томск. Учиться начал 6 лет, учил много стихов. В Тюмени 7 лет был в частном пансионе. В Томске до поступления в гимназию в пансионе пробыл 4 года, где выучился говорить по-французски. 12 лет определен был в Томскую гимназию и учился до 17 лет. В 6 классе пробыл 2 года. Перед окончательными экзаменами вышел и поехал в Петербург с матерью, для поступления в университет. С 1860 г. был вольнослушателем до 1863 г. Перестал слушать лекции после беспорядков в университете и вышел с другими, не желая принять новых правил. Начал писать в журналах с 1862 г.¹. В Петербурге мною с Потаниным основано было 1-е сибирское землячество*. Мы решили ехать в Сибирь. В 1863 г. выехал в Сибирь, в город Омск, где был до половины зимы, жил с Потаниным. Устраивал литературные чтения. Сведено было знакомство с казачьими офице-

* О сибирском землячестве я дам особый очерк². (Примечание автора.)

ИЛЛЮЗИЯ ВЕЛИЧІЯ

и

НИЧТОЖЕСТВО

РОССІЮ ПЯТЯТЬ НАЗАДЪ

Н. Ядринцева.

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ



CAROUGE (GENEVE)
M. ELPIDINE, LIBRAIRE-EDITEUR
1897

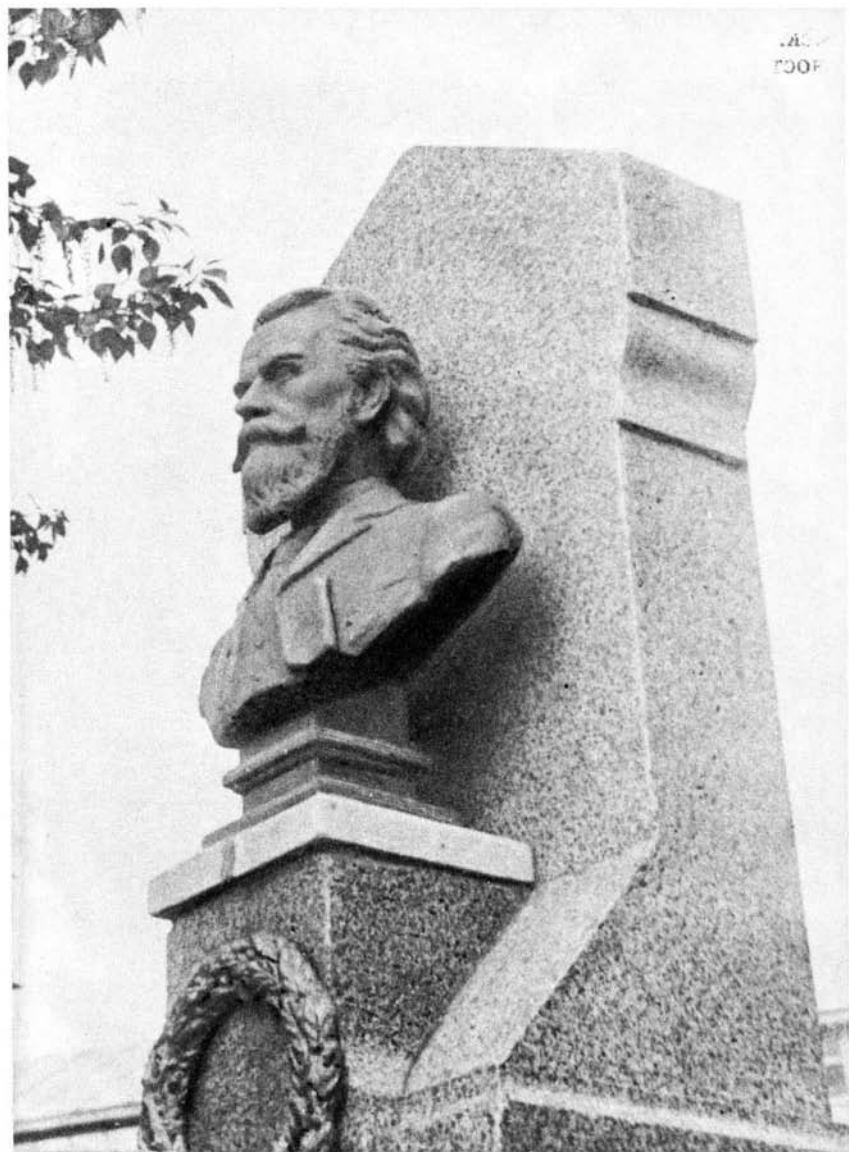
*Обложка второго зарубежного издания памфлета
Н. М. Ядринцева «Иллюзия величия и ничтожество.
Россию пятят назад». 1897 г.*



*Н. М. Ядринцев во время экспедиции.
1891 г.*



*Могила Н. М. Ядринцева
в день открытия памятника в Барнауле,
7-е июня 1900 г.*



*Бюст на могиле Н. М. Ядринцева
(фрагмент памятника).
Фото А. А. Позднякова, 1978 г.*

рами. В Омске было много ссыльных поляков. В 1863 г. съездил в Томск передать сестре часть наследства, векселя и возвратился в Омск. В Томске свел знакомство с семинаристами. Нашею деятельностью было тогда направлять молодежь в университет. В Томске же познакомился с Пичугиным, даровитой личностью, группировавшей кружок около себя. Это был самородок философ³.

Возвратясь в Омск в 1863 г., жил год домашним учителем у Кузнецова, местного капиталиста. В 1864 г. устроил литературный вечер, где читал «Об общественной жизни сибирских городов», указывая на апатию, неподвижность жизни и т. д. (публичные чтения были напечатаны в «Томск. губ. вед.», 1864 г.). В Омске я жил, воротясь из Петербурга, в лихорадочной деятельности, основывал кружки и влиял на молодежь. Многие из корпуса и из казачьих офицеров поехали тогда в университет.

В Омске мои занятия кончились, и Потанин, возвратившийся из экспедиции, вызывал меня в Томск, куда он переехал служить секретарем статистического комитета. В это время мы вели деятельную переписку с Потаниным⁴ и задавались разными планами.

Мы мечтали издавать газету, сборник, памятные книжки. Мы желали пропагандировать необходимость основания университета. Потанин принимал меня в Томске пока сотрудничать в «Губернских ведомостях». Сначала я отнесся с предубеждением, и мне казалось, что в официальной газете едва ли можно найти место для выражения наших желаний. Эта неофициальная часть «Ведомостей» мне казалась всегда губернаторской прихотью, где литературничали угодливые чиновники. Но при безвыходности я, наконец, согласился и по приезде в Томск начал ряд статей. Оригинально было то, что для первой статьи я взял эпиграф из Герцена: «Vive la mort* — и да водрузится будущее!» Мы работали в неофициальной части «Том. губ. вед.» около полугода и старались сделать эту часть литературной. Это были первые шаги выяснения местных вопросов: к этому времени относятся мои публицистические опыты — «Сибирь пред судом русской литературы» (по поводу статей Шелгунова)⁵, «Инородческий вопрос»⁶ и друг. Зимой 1864—65 гг. приехал в Томск Шашков из Красноярска и прочел несколько публичных лекций. Они касались истории Сибири, но в то же время в них затрагивались животрепещущие вопросы, указывалась потребность университета, эмансипация инородцев и проч. Лекции произвели необыкновенный фурор, особенно среди молодежи и семинаристов. Об этих лекциях мы писали горячие письма нашим друзьям в Омск и Иркутск.

Наступила весна 1865 года, мы были в самом радужном настроении, и наши патриотические планы все разрастались. Как вдруг внезапно в мае месяце 1865 г. разразилась над нами гроза. Мы были с Потаниным и Е. Я. Колосовым (поручиком артиллерии в отставке, имевшим частную школу в Томске)⁷ на заимке Пичугина на естественно-исторической экскурсии, когда нас вызвали

* «Vive la mort» — да здравствует смерть (фр.).

в город и подвергли домашнему аресту. Бумаги наши были захвачены. Мы сначала не знали, по какому делу, но мрачные предчувствия нас охватили. Через 3 дня нас отправили с жандармами в Омск, и здесь начались новые мытарства и горькие испытания. В Омске нас представили к и[сполняющему] д[олжность] генерал-губернатора и затем отправили в острог. Каково было ощущение, каковы были первые минуты неволи, описано в моей книге «Русская община в тюрьме и ссылке»⁸. Началось следствие.

Дело сибирского сепаратизма, или «Дело об отделении Сибири от России и образование республики подобно Соединенным Штатам», — громкое название, какое было дано ему, — наделало шума. По этому делу было сделано много арестов в Омске, Томске, Красноярске, Иркутске, Москве, Петербурге, Уральске. Свезено было весьма много народу и офицеров, уехавших в разные учебные заведения. Об этом деле писал Катков, печатали даже в лондонском «Times». Можно было подумать, что это было нечто грандиозное. Об этом деле меня многие спрашивали, и нередко эти вопросы сопровождались ироническими улыбками: «Как вы отделяли Сибирь?» Конечно, в этом отношении много было повода поглумиться над горстью сибиряков-юношей, задававшихся какими-то несбыточными планами. Отделять Сибирь, по понятию многих, пустыню и страну ссылки, мечтать вести войну с огромным государством, — это могли только сумасшедшие или дети. Мне не приходится никому рассказывать подробностей этой истории, но должен сказать, что дело было не столько в определенно задуманном намерении, сколько в обвинении, которое стремилось навязать это намерение. Подлинное дело, возвращенное в 1868 г. из сената, хранится в Омском архиве⁹. Оно состояло из нескольких томов, представляло запутанные и, при сильных налеганиях обвинителей, детские показания. Следствие велось пристрастно, и комиссия, состоявшая из члена совета главного управления, жандармского штаб-офицера, двух аудиторов и стряпчего, старалась установить обвинение, во что бы то ни стало связывая лиц, часто совсем не знакомых, или придавая товарищескому знакомству вид заговора. Наконец, следствие соединило в одно несколько отдельных событий и фактов, независимых и относящихся к разному времени. Первое, что обнаружено было — это кружок офицеров и кадетов в г. Омске, которые имели сношение со мной и с Потаниным: в этом кружке велась будто бы пропаганда сепаратизма. Многие из этого кружка отправились в высшие учебные заведения, но были арестованы на дороге или в столице. Во-вторых, обнаружено было, что единомышленники сибиряки жили и в других городах: Томске, Иркутске (Щукин), в Красноярске (Шашков). В-третьих, у сибирских сепаратистов было открыто воззвание или прокламация, найденная в Омске и в Иркутске. В-четвертых, обнаружилось из переписки, что сибирский кружок существовал уже в Петербурге среди студентов сибиряков. В обширной переписке высказывалось недовольство против правитель-

ства и часто заключались оскорбительные отзывы о правящих лицах. Таким образом, из всего этого была соткана сеть для обвинения, и многое подтверждалось, повидимому, «чистосердечными признаниями», как выражались аудиторы, вынуждавшие к сознанию.

Но достаточно указать на повод и на начало дела, чтобы увидеть, сколько в нем было случайного и преувеличенного.

Кадет Усов¹⁰, роясь в столе, где лежали бумаги брата его, казачьего офицера, нечаянно с учебными тетрадками захватил листок, в котором были изложены взгляды на безотрадное положение Сибири и ее историю. Это произведение было написано, правда, горячо, во вкусе листков, распространившихся в столицах в 60-х годах. Кадет показал в корпусе это письмо товарищу, который взял его и начал пугать, что покажет начальству, если тот не даст ему пирогов. Наконец, этот кадет ловится с папиросой надзирателем и вместо табаку, сохраняя папиросы, отдает ему запретный листок, которого сам не читал. Надзиратель, конечно, был изумлен и представил листок начальству. Тогда был произведен обыск у старшего брата Усова — штаб-офицера, взята была переписка, и полетели телеграммы и депеши в разные концы¹¹. Кадеты также были арестованы и сидели с нами 3 года на гауптвахтах. Из 12- и 14-летних они вышли взрослыми юношами и поступили в юнкера. На гауптвахтах же содержался учитель Кузнецов (редактор «Томских ведомостей») с сыном 4-х лет, сиротой¹². Здесь же был привезенный из Иркутского военного училища мальчик 12 лет, Золотин, обвинявшийся в том, что принес прокламацию Шукину, учителю в Иркутске. Множество было свезено и причастно к делу лиц самых разнообразных профессий, между прочим, старик, бывший аракеевский писарь, шлявшийся в Иркутске по кабакам¹³. Но в этой же среде обвинялись патриоты-писатели: Потанин, Шашков и я. Нас обвиняли в пропаганде, в составлении воззвания, в том, что мы писали в «Томск. губ. ведом.» (официальном органе) сепаратистские статьи, в том числе о необходимости для Сибири университета. «Кто вас просил об этом?» — говорили омские чиновники. Мысль об университете еще 10 лет после нашего дела считалась делом сепаратистов, и такие мнения высказывались даже после основания университета, хотя желание высшего учебного заведения едва ли могло относиться к идее сепаратизма*.

Шашкову на допросах задавались вопросы об его лекциях, причем были курьезы такого рода, что листки лекций и рукописей

* Не могу не припомнить по поводу статей в «Томск. губ. ведом.», что одновременно был предан суду и цензор, вице-губернатор¹⁴, человек пустой, ограниченный и легкомысленный. Он так долго находился под судом сената, что в 1876 г., когда я явился в Сибирь к генерал-губернатору Казнакову на службу чиновником, он спросил меня, не могу ли я ему написать ответ по поводу вопросов: какие статьи он пропускал? «Боже мой! — воскликнул я, — неужели вы еще под судом! Напишите, что вы пропускали статьи о сибирском университете, т. е. о чем ходатайствовал нынешний генерал-губернатор». (Примечание автора.)

перемешивались, и лекции по общей истории смешались с сибирской историей. Следователи задавали вопрос, почему, говоря о Сезострисе¹⁵, вы переходите к истории губернатора Чичерина¹⁶? Шашков ужасно иронизировал по этому поводу, и когда нам задали вопросы, чего бы мы желали для нашего края и что побудило нас к оппозиции, Шашков давал самые иронические ответы. Эти вопросы, видимо, предложены были по приказанию из Петербурга, а не были инициативой следственной комиссии. Что мы могли ответить на них? В нашем сердце было искреннее желание блага нашей забытой родине; нашу мечтою было ее просвещение, гражданское преуспеяние. В юношеских мечтах и желаниях многие местные вопросы еще были смутны и получили известную форму и жизнь только впоследствии. Мы отвечали, что желаем Сибири нового гласного суда, земства, больше гласности, поощрения промышленности, большей равноправности инородцам. Что тут было преступного? Было ли преступно горячо любить свою родину? Но здесь патриотизм был принят за сепаратизм. Что касается мечтаний и параллелей, что Сибирь когда-нибудь должна быть подобна Американским Соединенным Штатам, то эти мысли были высказаны по поводу чтения истории колоний и их отделения ввиду несправедливостей метрополии. Об этом говорилось, как о факте отдаленного будущего. В данную минуту не могло быть никакой опасности от детей и юношей, составлявших общество, но не заговор.

Какова будет судьба нашей родины через 100, 200, 500 лет? Кто это может предугадать? Каковы будут отношения между дочерью (колонией) и матерью (метрополией), как обе они разовьются и выступают, как образуются гражданские интересы и вопросы той и другой стороны? Этого не могут предсказать ни мечтательные дети, ни умудренные старцы-философы. Едва ли достигнут цели какие-либо воззвания и обращения, когда общество неразвито, тупо, малограмотно и когда не проснулись в нем не только политические инстинкты, но и простое сознание собственного достоинства. Скоро минет 30 лет (в 1895 г.) с тех пор, когда явилось обвинение нас, первых патриотов, в сепаратизме. Это обвинение не изгладилось, несмотря на то, что многие сотоварищи мои перемерли, другие окончили блестящей карьерой, были, как Усов, полковыми командирами и т. д. Сменялись целые поколения молодых людей, и только после 1865 г. было два-три кружка сибиряков в процессах 70-х годов (Кашкин¹⁷ и еще кто-то), которые говорили о сепаратизме. Но я видел целый ряд юных выпусков сибиряков, которые трудно усваивали даже идеи патриотизма. Гораздо скорее усваивались разные социальные теории и направления русских молодых партий (народничество, марксизм, социализм и т. д.). После этого кличка или титул сепаратиста, которую мне давали, до конца оставалась только за мною*.

* Между прочим, не раз скверная печать в лице «Сибирского вестника»¹⁸ старалась обновить эти обвинения. (Примечание автора.)

Причинявшая много мне беспокойств и неприятностей, эта кличка, наконец, потеряла для меня всякое значение, и я стал равнодушен к ней. Если бы меня допросила под конец моей жизни какая-нибудь власть и вновь за мой патриотизм назвала бы меня сепаратистом, я бы сказал, что в целом ряде юного поколения она не найдет задатков сепаратизма, что и дел таких не возникало. Ежели же меня за мои убеждения и прошлое принято называть сепаратистом, как последнего из могикан, то я примирюсь, но тогда пусть власть успокоится, потому что едва ли может предстоять какая-либо опасность для государства от единственного сепаратиста, который скоро сойдет со сцены.

Дело было не в сепаратизме, а в уничтожении нежелательных патриотических стремлений в Сибири. После 1-го земляческого кружка в 60-х годах в Петербурге и после сибирского дела 1865 г. тенденция патриотизма, считаясь недозволительной, замирает на время. Но она не могла исчезнуть и выступила через несколько лет. Она должна была выступить при большем сознании местного общества и выяснении себе нужд края. Выступил вопрос об университете, выступил вопрос о ссылке. Появилась местная патриотическая печать. Само правительство желало удовлетворить некоторые местные нужды и требования и дало реформы.

В деле 1865 г. была выдвинута на первый план политическая сторона; остальное было припутано и усиливало обвинение, хотя многое не могло явиться обвинением. Более всех обвиняли меня, Потанина, Шашкова и Щукина; остальные юные товарищи считались совращенными. Многие пали духом, запутывали показания. Но странно, что при самом пристрастном следствии, при всем розыске авторов сибирского воззвания не нашли. Это воззвание было написано в Петербурге; я и покойный Шашков его редактировали, настоящий же автор не был взят и скрыт в тумане¹⁹, да он и не был выдающимся лицом. При следствии он сыграл бы дурную роль. Суд был к нам строг: меня, Потанина и Шашкова сначала приговорили 12 лет каторги, но после смягчили наказание ввиду молодости и долгого содержания под следствием. Мы просидели 3 года в Омске, маленьком городке, сначала на гауптвахте, потом в остроге, ибо на гауптвахте было тесно. Мы помещались по 4 и 5 человек и начали болеть. Жили мы впроголодь, иногда питаюсь чаем и калачами. Нас спасла молодость. Тянулись года, в России совершались события, реформы, явилось земство, новый суд, разрослась каракозовщина²⁰. Наше дело было в комиссии Муравьева²¹. Худяков²², один из участников каракозовского дела, был сибиряк; я его знал в Петербурге.

В тюрьме и на гауптвахтах мы сокращали тюремные дни занятиями. Потанин выхлопотал право разбирать областной архив; я, Шашков и он работали над ним. Шашков извлек богатые материалы для своих исторических монографий, Потанин издал акты по истории Сибири XVII и XVIII вв., а я писал статьи — «История сибирской женщины в XVIII ст.». Наконец, в тюрьме я занялся этнографическими работами и собрал материал о ссыльных и бро-

дягах для книги «Русская община в тюрьме и ссылке». В тюрьме мы учились и много читали²³.

Через 3 года тяжелого заключения вышла конфирмация. Потанину объявили приговор на эшафот, заковали в кандалы и увезли в Свеаборг²⁴. Помню это тягостное впечатление, это прощание и его, сидящего на полу с крупными каплями пота, звон заковки... Я кинулся отыскивать ему подкандалники, чтобы не терло ноги. Арестанты острога выражали живое участие, и подкандалники были кинуты через забор. Я помню бледное, утомленное лицо моего друга и учителя, его помутившийся взгляд, а затем тройку с жандармами и взвившуюся пыль.

В тюрьме были и жертвы. Несчастный Щукин, бывший большим агитатором и пропагандистом, помешался: у него явился мистический бред и, наконец, он отрекся от прошлого. Когда он шел с нами в ссылку на север России, он много причинял неприятностей. Он умер в Пинеге от воспаления мозга.

Когда кончилось дело, меня, братьев Усовых, Шайтанова (казачьего офицера)²⁵, Золотина — мальчика и Шашкова отправили на север России. Это была обратная ссылка из Сибири: кажется, единственный случай, когда Сибирь была признана чьим-то отечеством и из него нужно было выдворить. Множество сыльных, конечно, пожелали бы этого выдворения.

Нас повели по этапу. Этот путь до Архангельска я описал в одной из глав книги «Русская община в тюрьме»²⁶. Мы шли с июня до сентября от Нижнего пешком; иногда к нам придирались, хотели заковать в ручные кандалы, но мы отстаивали свои права. В Перми нас жестоко выбранил инспектор пересыльной части за то, что мы, справившись с законом, просили отдельного помещения. Мы испытали арестантскую баржу и были покрыты блохами сплошь в пересыльных этапах. Особенно тяжело было положение болезненного Шашкова, не могшего идти пешком и ехавшего на телеге. В Костроме у нас затеряли документы, и мы прожили в замке 2 недели. Шашков ждал денег из редакции, и письмо раз переслал через палача, пользовавшегося в тюрьме льготами. Мы видели массу острогов, и наши наблюдения над тюремным бытом обогатились. Север России — Вологодская и Архангельская губ. — напомнил нам Сибирь по народу и нравам. У нас на дорогу по 10 руб. (с ними мы прошли всю Россию), данных благотворителями. Деньги истощились, платье изнашивалось. Были только казенные халаты и рубахи, которые при проверке причиняли массу беспокойства. «Серафима Шашкова, — выкликивал полуграмотный унтер-офицер, — юбка, каптурь есть?» А выходил наш товарищ Шашков, впоследствии известный писатель. Кого только не приходилось встречать: буянов-сыльных, баричей, смотавшихся дворян, удалых молодцев — поволжских скитальцев без паспорта, всяких разночинцев, богомольцев, попадавших в острог, крестьянина с покорным видом, подлипца, несчастную жену, возвращаемую на родину с отхожего промысла, и т. д.

Помню — раз Шашкова везли на телеге с сумасшедшим стари-

ком и девушкой, большой сухоткой. Чего не насмотрелись и с какой компанией мы не перебивали! Впоследствии, странствуя и путешествуя, я не мог уже найти тех типов, которые давал этап. Эти острожники, эти страшные лица, эти измученные люди, давно уже, верно, покончившие жизнь в лесах и на каторге, вставали предо мною, когда я впоследствии писал свою книгу о русской тюрьме. Они вставали так живо, что мои нервы переживали прежние ощущения, да еще в усиленной степени. Я понимаю Достоевского, я галлюцинировал ими и переживал с ними их трагедию. Понятно, что мои собственные нервы стали чувствительны до болезненности.

Измученные и усталые, мы явились в Архангельск, где были встречены сначала грубо и сурово местным полицмейстером, даже фамилия которого гармонировала с его суровостью — он назывался Штуцер²⁷. Мы были без гроша. Нас заперли в полицейскую кутузку. Но, к счастью для нас, скоро обхождение изменилось. Губернатором в Архангельске был кн. Гагарин²⁸, благородная и прекрасная личность. Это был тип джентельмена и аристократа-администратора, мягкого и гуманного. Получив заранее бумаги о нас и смотря на нас, как на лиц, сосланных не за уголовное преступление, он приказал с нами, как с пострадавшими за увлечение, обходиться мягко и деликатно. Действительно, нас перевели в часть и дали лучшее помещение. Полицмейстер Штуцер стал мягок, услышав команду «к ноге». Ведь и Штуцер может в хороших руках быть не только смертоносен, но даже служить простой арматурой и украшением. С переводом в часть наше положение, однако, мало улучшилось. Предстояла ссылка в дальние округа. В Архангельск явились Шайтанов (казак), Ушаров и я. Шашков остался в Шенкурске по болезни. Щукин отстал по дороге (в Костроме) и пришел после. Наше положение без гроша, глухой осенью было почти безвыходное. Я решил подать прошение губернатору, прося остаться недели на 2, на 3 в Архангельске до получения гонорара из редакции. Но частный пристав предупреждал, что Штуцер прошения не передаст. Ушаров подал такую же просьбу, прося остаться по болезни. Однако, к удивлению полицейских, нас оставили и приказали перевести в больницу в Соломбалу. Больница была прекрасная (какой-то бывший адмиральский дом: в нем сохранились еще прекрасные обои и т. д.). Мы поместились с Ушаровым, а Шайтанов решил идти по этапу в Пинегу. Шайтанов, казачий офицер, мягкая, симпатичная личность, в ожидании приговора немного страдал нервами, дорогой был апатичен и оправился только впоследствии (по возвращении из ссылки он служил в Усть-Каменогорске офицером). Ушаров был иркутский славянофил, этнограф, добрая натура, но в высшей степени несчастная по характеру и привычкам. Он был привезен из Иркутска. Всю жизнь он бедствовал и находил приют и покой только в казенных больницах. В архангельской комфортабельной больнице он поселился с удовольствием. Но я не мог оставаться без дела, без книг, без занятий. Поместившись в больнице, я написал письмо

П. П. Чубинскому²⁹ — ссыльному по делу малороссов, но принятому на службу в Архангельске, — и Альбертини³⁰, известному писателю, бывшему также в ссылке. Они мне прислали книг, газет, а затем ко мне приехал и Чубинский. Это был энергичный и даровитый человек (впоследствии возвращенный, он занялся этнографическими исследованиями в Киеве). Он мне рассказал об архангельском режиме. Губернатор Гагарин была прекрасная личность: он был аристократ и тип гуманного администратора, которого дали 60-е года. Человек без той двуличности и энтузиазма, какой иногда свойствен на высших постах людям его положения, кн. Гагарин пользовался советами и сотрудничеством административных ссыльных: Чубинского, Покровского (московский студент ссыльный)³¹, Стронина (социолог)³², Альбертини.

Прошли две недели в больнице, когда приехал ко мне Чубинский и просил подготовить записку о положении русской тюрьмы в виду предстоящей тюремной реформы. Эту записку взялся губернатор свезти в министерство, собираясь ехать в Петербург. Я принял это предложение и работал недели две. В это время я исписал груды бумаги, впечатления были свежи, аппетит писать громадный. Губернатор и Альбертини, прочитывая мои описания, приходили в восторг, как передавал Чубинский. В больницу мне присылали разные лакомства, виноградное вино и т. д. Когда я кончил записки, губернатор приехал для осмотра госпиталя и, войдя без свиты, благодарил меня (я был в арестантском халате, накинув его на свой пиджак) и в знак своего благоволения предложил мне выбрать лучший уездный город в Архангельской губ. Я избрал Шенкурск, куда меня препроводили с полицейским рассыльным в экипаже, а не по этапу. Записка моя была представлена в министерство без моего имени. Не раз в жизни я представлял проекты и записки в министерства и разные учреждения. Писал после кн. Гагарину, гр. Соллогубу, генерал-губернатору Казнакову, министру Игнатьеву³³, для комиссий по тюремному вопросу. Я знал, что печатью одной не проведешь вопроса. Моими записками охотно пользовались административные деятели, как и услугами других: ссыльные при Гагарине писали много проектов. В Сибири участвовали в разных проектах декабристы: Штейнгель, Дмитрий Завалишин при Муравьеве³⁴ и т. д. Было время, когда администрация и бюрократия охотно прибегали к помощи писателей, ученых, исследователей. Воздух канцелярии как бы вентилировался доступом свежего воздуха и независимого взгляда.

В Шенкурске я встретил Шашкова, полубольного, в оригинальной обстановке: у него был на послугах польский ксендз Ювенал, как когда-то у Вольтера иезуит Адам (не первый человек на свете). Потянулись долгие годы ссылки. В Шенкурске было несколько ссыльных сотоварищей: А. Христофоров (бывший казанский студент), подполковник Соколов (автор «Отщепенцев»), после приехав — Пругавин, Натансон³⁵, несколько поляков и ксендзов. Ксендзы вошли в общение с местным обществом и очень нравились.

Мы жили отдельным кружком, выписывали газеты, книги. Шаш-

ков работал в журналах. В ссылке я начал ряд журнальных статей в «Деле» о сибирской тюрьме и ссылке. В связи с этим я начал интересоваться уголовным вопросом и выписал много иностранных книг. Но главная цель была разоблачить несостоятельность сибирской ссылки. В 1872 г. издана книга «Русская община в тюрьме и ссылке». Я разобрал ее в этом отношении со всех сторон. В то же время я изучал историю колоний, учился английскому языку и занялся вопросом централизации и децентрализации в различных европейских государствах. Вопрос этот мне казался важным для изучения областного вопроса в России. Таким образом, во все время ссылки я готовился к публицистической деятельности, изучая европейскую историю и историю колоний. По истории колонизации были помещены мною статьи в «Деле», по истории французской провинции — в «Камско-Волжской газете»³⁶. Беседы и обмены с такими образованными людьми, как Христофоров, Стронин и Шашков, давали возможность выяснять вопросы.

Кроме того, я, интересуясь всегда жизнью крестьянства, не забывал интересоваться бытом архангельских крестьян. Собрал сведения о хозяйстве шенкурского крестьянина и поместил в «Неделе»³⁷. С мировым посредником, жившим в Шенкурске, Огаревым выработывал проекты ссудо-сберегательных товариществ и писал прошения для крестьян. В одном случае я выхлопотал сложение недоимки.

В 1872—73 гг. возвращен был из арестантских рот Потанин и поселился сначала в Тотьме, а потом в Никольске, Вологодской губ. У нас началась оживленная переписка³⁸. Хотя она была под контролем и шла через исправника, но мы не стеснялись обмениваться мыслями, предлагать темы статей и проч. (исправник, бывший гвардейский офицер, говорил мне, что читает нашу переписку с интересом, только ради любопытства). Обрадовавшись возвращению своего друга, я ожил. Масса сибирских тем вертелась в голове. Я писал огромные письма Потанину, он отвечал мне. Его переписку за это время я сохранил.

К этому времени относится наше сотрудничество в «Камско-Волжской газете», начавшееся с 1873 года. Потанин познакомился с ее редактором К. В. Лаврским в ссылке³⁹. Видя бедность газеты, он предложил примкнуть к ней и пригласить сибиряков сотрудничать. Помещая статьи о Сибири, в то же время я принимал ряд статей по областному вопросу. Каждая русская область могла иметь свои интересы, и воззрения провинциала были особые от столичного централизатора. Вот какова была исходная точка. Потанин, я и Лаврский были солидарны. Статьи в «Камско-Волжской газете» полны были оригинальности. У нас явилась смелость нападать на столичную печать, и в то же время я подверг разбору провинциальные органы. Мы начали проводить направление децентралистическое и идею областного провинциального возрождения. Скоро газета выдвинулась, она обратила на себя внимание в столичной прессе, и Шелгунов, как и Мордовцев, в своих провинциальных обозрениях отводил ей первое место. Мы писали с

жаром, свободно, не стесняемые редакцией. Это был орган, где мы были равноправными с редакторами. К этому времени относятся самые пылкие, горячие и вдохновенные статьи как по сибирским вопросам, так и областным. Даже серьезный ученый, друг мой Потанин, сделался на это время публицистом.

Здесь же я начал свои фельетоны под именем «Добродушного сибиряка»*. Писали мы в «Камско-Волжской газете», не рассчитывая на гонорар, но я писал с удовольствием и забросил работу в столичных журналах.

Несмотря на эту работу, тоска изгнания давала себя чувствовать. Я в это время имел слабость отдаваться в стихах лирическому излиянию⁴⁰ и кое-что напечатал в «Камско-Волжской газете» с разными псевдонимами. Их у меня было бесчисленное количество в жизни, начиная с Семилуженского, Затуранского, Восточного поэта, Саламатова и т. д.⁴¹

Иногда я так много писал статей, что мне совестно было подписываться одной своей фамилией, да, наконец, и смысл статей часто требовал псевдонима. Саламатов был, например, мещанин при Сперанском, явившийся в Петербург для ходатайства за Сибирь и подавший прошение государю.

Я пробыл в ссылке 6 лет, с тюрьмой около 10 лет,— 10 лучших лет юности. Не все время жилось легко и беззаботно, иногда тоска и безнадежность сокрушали дух. Наша ссылка была бессрочная. В заключении товарищи уезжали или переводились. Стронин уехал, Христофоров тоже, Шашков был переведен на юг, Натансон тоже, как и Пругавин. Я оставался один с Ушаровым. Этот несчастный человек требовал постоянной опеки: он был неисправимый алкоголик. Последнюю зиму он простудился, получил воспаление легких и умер на моих руках. Я хоронил его один. Впечатление было тягостное. До последней минуты я не оставлял его. Он умер в казенной больнице, его положили в коленкорovém халате и башмаках, платье у него было свое, гроб — казенный, несли гроб служители и уголовные ссыльные, жившие в городе. Пасмурный день, бедная церковь, желтые свечи и этот труп в халатике уснувшего страдальца, писателя-земляка — вот что осталось в памяти. Ушаров был тип, подобный Якушкину, и мне хотелось бы сделать портрет этой личности⁴².

После смерти Ушарова мое одиночество в Шенкурске стало еще тягостнее. Я с полгода начал переписку с Петербургом и обратился к бывшему тобольскому губернатору, члену совета министров Деспоту-Зеновичу⁴³, а также к графу Соллогубу, занимавшемуся тюремным вопросом, прося их ходатайствовать о моем освобождении. Благодаря ходатайству этих лиц и поданному прошению на имя графа Шувалова⁴⁴, я был прощен и поехал в Петербург.

* Я собирался всё соединить фельетоны «Добродушного сибиряка» из «Камско-Волжской газеты» и «Восточного обозрения», но, вероятно, не удастся. (Примечание автора.)

В Петербург я ехал измученный ссылкой, изможденный, усталый, нервный. Дорогой у меня сделалось страшное сердцебиение, но я кое-как доехал до Петербурга в 1874 г. Начались поиски за работой. Я писал в «Деле» и «Неделе», в этом году, к нашему горю, любимая «Камско-Волжская газета» прекратила существование: цензура ее была перенесена в Москву. Причина — статьи о самарском голоде.

Литературная работа в первое время в Петербурге давалась туго. Кроме того, я работал у графа Соллогуба, оканчивавшего тюремные проекты. Граф Соллогуб — старичок-чудак, вышедший в 70-х годах точно из мертвых (в 60-х годах он ступешался). Граф встал сразу против ссылки, как наказания, и в своем проекте процитировал всю мою книгу. В этом отношении я считал долгом его поддерживать. Граф иногда шутя говорил мне: «А Сибирь мне должна поставить памятник!» Я его видел в конце умирающим, полупомешанным стариком. За его борьбу против ссылки и ясное понимание ее вреда для края, который он выяснил, нельзя не воздать ему доброй памяти и признательности.

В других вопросах с графом мы не имели ничего общего. У графа Соллогуба я встречал массу разных тюрьмоведов, представителей министерств, генералов, профессоров. Здесь же я познакомился с профессором И. Я. Фойницким⁴⁵, который явился солидарным с нами по вопросу о ссылке. Через него я знал о всех проектах. Эти знакомства мне дали возможность знать воззрения разных административных лиц и ученых по вопросу о ссылке. В то же время я учился быть представителем сибирских интересов и ходатаем за Сибирь. Впоследствии мои связи в административных кругах расширились.

Несмотря на эти сношения с высшими административными лицами, мое личное положение не улучшилось, и, работая у графа Соллогуба, я не имел никакого обеспечения. Я явился раз к Некрасову в «Отечественные записки» и получил вежливый, но сухой прием. Мне предлагали принести статьи для образца⁴⁶. А между тем я уже написал книгу, которая произвела свое действие. Даже Елисеев, редактор «Отечественных записок», не знал моей книги о Сибири.

Скоро судьба моя, однако, изменилась, и я почувствовал прилив особой энергии в своей деятельности.

По приезде в Петербург, по поручению Г. Н. Потанина, я познакомился с корреспонденткой «Камско-Волжской газеты» Аделаидой Федоровной Барковой, жившей с матерью в Петербурге. Полгода она была моим почти секретарем, я совещался с ней о делах любимой «Камско-Волжской газеты», и это связало нас духовными интересами. В 1874 году я женился на ней и нашел товарища, друга и сотрудника⁴⁷.

14 лет помогала мне покойная жена моя Аделаида Федоровна. Я не имел времени написать достойную оценку всего, что она внесла в мою жизнь и насколько содействовала моему возрождению к общественной деятельности. Но если бы я и написал, я

полагаю, что всего бы я не сказал, так велико было ее благотворное влияние. Ее обширное образование, знание нескольких языков, ее характер, ее трудолюбие и усердие удвоивали и утроивали общие труды наши. Ее участие в деле покровительства и помощи учащимся сибирякам отмечено было в некрологах ее, и юное поколение увенчало венком ее могилу. Я узнал, что может внести женщина интеллигентная и умная в жизнь человека. Я оценил ее тем более, что впоследствии я узнал, как женщины разбивают человеческую жизнь и парализуют всякую деятельность.

Уже в то время, когда Аделаида Федоровна была моей невестой, мы ездили с ней в Нижний Новгород устраивать дела погибавшей «Камско-Волжской газеты» и проектировали новое издание провинциальных сборников: такой и появился в лице «Первого шага»⁴⁸, изданного в Казани. В июле месяце была наша свадьба. Женясь, я был бедняком-литератором, с случайным редакционным заработком, но моя подруга не посмотрела на это, ее не остановила будущая бедность, она разделяла только мои лучшие цели и стремления приносить пользу обществу и родине. Начать семейную жизнь безбедно и в удобной обстановке дала нам возможность теща, мать Аделаиды Федоровны, Александра Ивановна Баркова, когда-то жена миллионера-золотопромышленника, она потеряла состояние после смерти мужа, но воспитывала дочь своими заботами. Это было ее единственное сокровище, и она мне его вверила. Эта святая старушка опекала моих детей, когда Аделаида Федоровна умерла; до конца она любила меня, как сына, и сочувствовала и содействовала моим планам и деятельности. Когда и она умерла через несколько лет после смерти жены, я совершенно осиротел и чувствовал себя ужасно тяжело, одиноко. Страшная тоска сокрушала меня, и я не находил уже таких неизменных друзей, такой нравственной поддержки. Я не мог отдаваться так деятельности, как прежде. Неприятности и ухудшившиеся обстоятельства убивали дух мой, в эти трудные минуты я не находил близ себя людей, которые бы меня поддержали. Я понял, как важно жить в родной семье, когда окружен попечениями*.

Я часто бросался и искал людей, которые могли быть друзьями и поддержкой, но часто ошибался, и это увеличивало мое горькое чувство и напоминало о понесенной потере. Я касаюсь этого, потому что это близкое настоящее, и с тем больше благодарностью и сладким чувством останавливаюсь на прошлом.

Прежде всего мы начали с покойной женой искать работы. Она делала переводы и поместила перевод Мак-Гагана о походах в Туркестан, я же начал печатать статьи в «Неделе» и в «Отечественных записках». Провинциальный вопрос продолжал занимать меня, и в «Неделе» я давал очерки, указывая на важность про-

* Воспоминания о жене моей Аделаиде Федоровне я желал бы написать для дочери Лидии⁴⁹ и постараться это выполнить. (Примечание автора.)

винциального и областного возрождения. По этому поводу у меня написаны были «Провинциальные письма», целое profession de foi*, которые не были напечатаны, исключая одного письма в «Молве»⁵⁰. Письма эти мертвы в моем архиве; «Неделя» дала место моим мнениям, но они так туго понимались в столице, что редактор П. А. Гайдебуров⁵¹, прежде чем стать моим единомышленником, долго ограничивал меня. Вопрос запутался к тому же новой тенденцией «о деревне», которую проводил Червинский⁵² (под именем Ч.). Русская интеллигенция, стремясь в народ, понимала под провинциальной деятельностью в деревне для мужика. Это обуживало и деятельность и самую идею областного движения. Мы разумели обобщение и пробуждение интеллигентной жизни в провинции. В столице, в столичной печати, была самая неблагоприятная почва возбуждать вопрос о провинции. Вопрос, по-моему, имеющий огромную важность в гражданском и политическом смысле для развития России, вопрос об области и ее участии в жизни народной, поднятый Щаповым и установивший новое историческое воззрение, решительно был не понят. Для столичного жителя провинция — глушь, образец застоя, невежества, проявление грубых инстинктов массы и крепостнических отживших интересов. Провинциальная интеллигенция — мелочь, ничтожество, провинциальная печать — убожество. А между тем русская провинция и область просыпались. Работа уже в одном земстве доказала, какая жизнь здесь могла быть сосредоточена. О группировке провинциальной интеллигенции и ее сплочении никто не думал. Течение «народничества» в его общей расплывчатой неопределенной форме овладело столичным направлением. Но что такое народничество без участия высшей духовной и гражданской жизни в провинции? Так или иначе в провинциальных обозрениях, в столичных журналах касались жизни провинции, но вопрос никогда не поднимался во всю ширь, глубину, и тон провинциальной защиты никогда не возвышался так, как вырвался у нас в областной печати, и в «Камско-Волжской газете», и в «Первом шаге».

В столице в журналистике даже сторонники провинции Шелгунов, Мордовцев являлись более централизаторами. После статей Мордовцева я написал ему ответ: «Один из русских централизаторов» («Неделя»)⁵³. Уверившись, что русская провинция совсем не имеет представителей в столице и что она не сгруппировалась, не созрела, не выработала программы, я обратился снова к нашим сибирским делам. Впоследствии я убедился, как слабо проявлялась вообще областная идея и областное единение в Европейской России. Оно живо выражено было только на окраинах. В Великороссии же всегда господствовала идея централизации, и это наложило историческую, традиционную и наследственную печать на русскую интеллигенцию и на центральную столичную печать. Впоследствии эта привычка рассматривать народную

* Кредо (фр.).

жизнь с централистической точки зрения перешла и в либеральные, оппозиционные, народнические и революционные теории. Централисты-бюрократы сменяются централистами-культуртрегерами, централистами, идущими в народ, централистами-якобинцами и т. д. Интеллигенция давно приучилась смотреть на народ, область, провинцию свысока и мнит распоряжаться его судьбами, производить реформы, перевороты из какого-либо центра, заставляя народ подчиняться тем или другим направлениям. Физическая сила централистов может смениться какой-либо организацией, бюрократической или партийной, но не изменить своего характера и тенденции. Пример — Франция. Центральная, великорусская, московская Россия долго, вероятно, останется централистской, и областные течения ей останутся непонятны.

Видя непонимание чувств, наклонностей, стремлений местных и нужд, областник или окраинец сторонится от централистов-интеллигентов, замыкается в себе или продолжает свою деятельность в провинции. Я замечал также, что провинциал или областник превращался постепенно в столице в централиста*.

Получив разочарование в столице в смысле сочувствия своим областным симпатиям, областник и провинциал тем более сосредоточивался на своей идее.

Я остался верен своей родине и начал тем усиленнее проводить сибирские вопросы в столичную печать. Я стал давать отдельные статьи, фельетоны в газеты и приносить даже корреспонденции с известным направлением. В это время я сотрудничал в «Неделе», в «Голосе»⁵⁷, в «Молве», «Биржев. ведом.» Полетики⁵⁸. По вопросу о ссылке, протестуя против нее, я поместил целый ряд статей и даже начал статьи полемические: против Маслова — ответ в «Голосе»⁵⁹ и против Спасовича в «Биржевых ведомостях» — открытое письмо Спасовичу⁶⁰. Спасович, описывая тюрьму предварительного заключения, коснулся вопроса о ссылке, упомянул о новых проектах, легкомысленно решающих зачеркнуть это наказание, наконец выразился, что Сибирь обязана заселением ссыльным. Я написал горячее возражение. (Впоследствии, через несколько лет, Спасович сам сделался противником штрафной колонизации и делал доклад об этом.) Точно так же я делал доклады и прислал реферат о ссылке в юридическое общество. Уголовный вопрос стал моей специальностью, и меня считали тюремоведем, каким я на самом деле не был.

Точно так же я посвятил статьи и другим сибирским вопросам, например, по вопросу о золотопромышленности — «Убытки золотого дела» («Петербург. ведом.», 1874 г., № 301—308⁶¹) и «Наши аргонавты» («Неделя») под псевдонимом «Гаврила Мошаров»⁶². Мошаров был пионер золотопромышленник. При этом случился следующий курьез. Увидя эту фамилию, какой-то аристократ — камер-юнкер начал выпытывать в редакции, кто писал статью.

* Из писателей малороссов — Мордовцев⁵⁴, Гайдебуров, Гусев⁵⁵ (фельетонист), Абрамов⁵⁶ и другие. (Примечание автора.)

Я разрешил сказать. Явясь ко мне, это лицо объявило себя наследником проданного его отцу Мошаровым участка земли, и он принял меня за потомка Мошарова. Конечно, недоразумение разъяснилось. В статье я поднимал вопрос о помощи рабочим и облегчении их судьбы. Точно так же пришлось напомнить о создании университета в Сибири. У Сидорова⁶³ были собрания, и думали основать общество для собирания пожертвований.

В 1875 г. зимою я узнал, что в Западную Сибирь назначается новый генерал-губернатор Н. Г. Казнаков. От известного северного деятеля М. К. Сидорова, с которым я вел знакомство много лет, я узнал о личности нового генерал-губернатора. Оказалось, что он интересовался литературой о Сибири и собирал сведения по вопросу о сибирском университете. Я просил Сидорова познакомиться меня с ним и представился генералу Казнакову. Он совершенно очаровал меня. Показал мне, что он читал книгу Наумова, мою книгу «Русская община» и вообще интересуется живо сибирскими вопросами. «Скажите, что я могу сделать для Сибири?» — спрашивал он. Передав на словах о нуждах нашей окраины, я просил позволения представить ему записки и проекты по главным вопросам, между прочим, о ссылке, с программой, какие необходимо собрать сведения о современном положении ссылки и по истории сибирского университета и настоящей потребности в нем.

Мысль об университете живо заняла генерал-губернатора Казнакова.

Я был в восторге, что нашел администратора, который так живо интересовался сибирским вопросом. Возвратясь домой, я передал моему другу, жене моей, о впечатлении и принятом обещании написать ряд записок.

Мой дорогой преданный друг и товарищ разделил мою радость, мои надежды; она знала, как я любил свою родину, как я желал ей блага. Однако вслед за этим явился один практический вопрос. За записками я должен был проработать с месяц или недель 6 и оставить текущие заработки по журнальной работе. Как быть? «Не беспокойся,— сказала Аделаида Федоровна,— как-нибудь устроимся. Работай, пиши и пользуйся случаем, такой редко выпадает!» Я полагался на нее и не спросил, где мы добудем денег, чтобы жить.

В несколько недель я кончил записки, а у жены, как заметил, куда-то исчезли два дорогие золотые браслета, принесенные ею в приданое. Я догадался и горячо поцеловал эти руки, которые отдали свое приданое в долю другого приданого, другой невесте, моей родине, начинавшей новую жизнь и обновление.

Записки я приносил г. Казнакову, и каждый раз наши беседы становились продолжительней. Он сознавал хорошо вред ссылки и настоящую надобность университета. Когда я ему передал последние работы, я нашел Н. Г. Казнакова в мундире, воротившегося из дворца. Он передал мне радостную весть, что по его докладу государь согласился на создание университета в Сибири

и поручил выработать ему проект. Н. Г. Казнаков поздравил меня, как сибиряка, и поцеловал. Я принял этот привет и поздравление нового друга Сибири. Для Сибири начиналась новая заря. Я писал в это время целый ряд статей в «Голосе» по поводу назначения нового генерал-губернатора и тех ожиданий, какие наполняют Сибирь. Я напоминал, как ждала Сибирь Сперанского⁶⁴, как ждет она давно правосудия, и т. д. Статьи эти были раскатами петербургского грома над трепетавшими сибирскими чиновниками, успокоившимися при Хрущеве⁶⁵ и погрузившими Сибирь в застой, мрак и безгласность.

Мы проводили генерал-губернатора Казнакова. Пред отъездом он сказал мне, что постарается оправдать наши ожидания. Действительно, скоро донеслись известия, какое впечатление произвел его въезд в Сибирь. Многие бросили места, чуя угрозу. Он атаковывал встретивших его чиновников неожиданными вопросами о сибирских делах, о ссылке, и все изумлялись, откуда новый генерал-губернатор узнал все это. В Сибири привыкли видеть генерал-губернаторов незнакомыми с местными делами и брали их в руки. Здесь было наоборот. Генерал-губернатор Казнаков явился как бы ревизором.

Я остался в Петербурге, окончив свою миссию адвоката — Саламатова, подававшего петиции.

В Петербург явился и освобожденный мой друг Г. Н. Потанин. Мы радостно встретились и часто виделись. Он писал по поручению П. П. Семенова⁶⁶ прибавление к «Землеведению Азии» Риттера. В это время он был женатым. Все изменилось, и люди, бывшие в опале, в ссылке, появились вновь у очага сибирских дел.

Летом мы уезжали в деревню к нашим родственникам, а зимой я жил в Петербурге.

Зимой 1875 года я познакомился и виделся часто с сибирским путешественником и милым человеком П. А. Ровинским⁶⁷. Это бывший профессор, деятель 60-х годов, живучая, страстная натура, любившая Сибирь (он жил долго в Славянских землях и Черногории). Мы много говорили с ним о том, что назрело время для сибирской печати и необходимо было бы издавать хотя сборники. Ровинский предложил мне познакомиться с Б. А. Милютиным⁶⁸, служившим в Вост. Сибири и издававшим там даже газету. У него была мысль издавать газету «Восток» в Петербурге. Он ходатайствовал, но ее не разрешили, потому что при Лонгинове — начальн. главн. управ. печати — был период, когда на увеличение газет смотрели не особенно благосклонно.

Целую зиму шли советы. Я посещал собрания у Милютина, но дело не выгорело. Зато выгорело другое. Наш приятель А. П. Нестеров⁶⁹ в Иркутске приобрел газету «Сибирь» от Клиндера, газету, захиревшую в неумелых руках. Сначала телеграфировали нам, чтобы мы взяли эту газету в Петербург, и я хотел действительно передать ее Милютину, войдя и с своей редакцией (Наумов, Потанин и я были налицо в Петербурге). Но комбинация эта не удалась ввиду разницы наших воззрений и кружка

Милютин. Газете суждено было остаться в Иркутске; в ней приняли участие Нестеров, Вагин⁷⁰, Загоскин⁷¹, и газета просуществовала много лет. Во все время мы ее поддерживали деятельным сотрудничеством.

При выходе ее с новой редакцией, однако, случился курьез.

В Иркутске у редактора и издателей иркутский полицмейстер (впоследствии судившийся за поджог и разные преступления) произвел обыск по тому поводу, что редакция имеет сношение с сепаратистами Потаниным и Ядринцевым, хотя мы были давно свободные люди. Этот самовольный поступок не получил одобрения со стороны властей в Иркутске, и газета начала выходить. Какие она испытала в Иркутске гонения и препятствия впоследствии, изложено в одной хронике в «Отеч. записках» (не помню год, 1880 или 81 года). Во время пребывания в Петербурге я деятельно корреспондировал в газету. Познакомился я и с будущим почтителем и строителем сибирского университета В. М. Флоринским⁷². Проект университета выработывался, но стал вопрос, где основать его — в Омске или в Томске. Я стоял за Томск.

Зимой 1876 г. приехал в Петербург генерал-губернатор Казнаков и при свидании пригласил меня на службу. Предложение было соблазнительное — опять видеть родину. Генерал сказал: «Ядринцев, поедете со мной, вы любите свою Сибирь, вы так изучили ее нужды, ее вопросы, будем работать вместе». Это было приглашение благородного администратора и вызов патриота. Я понял все доверие нашим добрым желанием, нашим взглядам. Но для вступления на службу у меня не было никаких прав, я жил по паспорту, взятому из Архангельской губ. Когда я передал предложение генерал-губернатора родным и жене и спросил, согласны ли они будут, чтобы я вступил на службу и оставил Петербург, они благословили меня и дали согласие. Мы продали все свое имущество, оставили уютную квартиру в Петербурге, где так покойно жилось, я взял жену, ребенка и кормилицу и повез в Сибирь. Ехал на свой счет, так как разрешения на службу не было, и оно пришло через полгода в Омск, пройдя через комитет министров. При определении моем были солидные рекомендации ввиду моих литературных работ.

История моей службы длилась около 5 лет в Омске. Я писал массу проектов для генерал-губернатора, между прочим — о положении ссылки. Записка представлена была министру.

Совершил в это время 2 экспедиции в Алтай. Во все время генерал-губернатор покровительствовал мне, но чиновники не любили меня.

За отличие я был представлен к чину, но меня не утвердили, так как на основании циркуляра к 1-му чину за отличие не представляют, а нужно прослужить весь срок — для меня 9 лет.

Н. Г. Казнаков заболел и выехал в Петербург. А я после экспедиции в Алтай решил тоже оставить службу и обратился к литературной деятельности. Об этой новой эпохе жизни я напишу когда-нибудь.

Время управления Н. Г. Казнакова было выдающимся управлением, и я о нем, если будет время, сообщу подробнее.

«Русская мысль», 1904, № 6. Подлинник хранится в Томском Обл. краеведческом музее (ТОКМ), ф. Г. Н. Потанина, д. № 24. Публикация в журнале принадлежит другу Н. М. Ядринцева Семидалову Вениамину Ивановичу (1865—1917). Он — уроженец Енисейска, по профессии врач-психиатр, автор многих работ по медицине, активный сотрудник журнала «Вопросы психиатрии». Перед отъездом в Барнаул Н. М. Ядринцев передал ему значительную часть своего архива.

¹ См. «Хронику жизни и творчества Н. М. Ядринцева» — в воспоминаниях «К моей автобиографии» есть неточности.

² В ТОКМ хранятся наброски очерка («30-летие сибирского землячества»). В литературе высказано мнение, что и до приезда в Петербург Потанина и Ядринцева сибирское землячество существовало. Видимо, с их приездом собрания землячков участились и оживились.

³ Пичугин Андрей Прокопьевич — небогатый торговец в Томске, энтузиаст просвещения.

⁴ Письма Потанина к Ядринцеву этих лет см. в книге Г. Н. Потанина «Письма», Иркутск, 1977.

⁵ Н. В. Шелгунов в 1862 году выехал в Сибирь с целью ознакомиться с положением населения в канун революционных событий в России. Однако правительство уже приступило к разгрому передовых сил: были арестованы многие революционеры-демократы, приостановлены такие журналы, как «Современник» и «Русское слово», и сам Шелгунов вскоре оказался в ссылке. Его сибирские впечатления отразились в двух специальных статьях: «Сибирь по большой дороге» и «Гражданские элементы Иркутского края» («Русское слово», 1863, №№ 2, 3, 9 и 10). Ядринцев в статье «Сибирь перед судом русской литературы» полемизировал с Шелгуновым: «В стране он не находит ни малейших признаков богатства. Сибирскую торговлю он считает не имеющей значения и думает, что Сибирь никогда не может быть экономической самостоятельной...» («Томские губ. ведомости», 1865, № 9). Между тем скрытый пафос статей Шелгунова в другом: показать бедственное положение сибирских крестьян, рабочих, сырьевых производителей, показать незначительный вес Сибири в общероссийской экономике.

⁶ Статья по «инородческому вопросу» называлась «Этнологические особенности сибирского населения». («Томские губ. ведомости», 1865, №№ 15, 17—18.)

⁷ Колосов Евгений Яковлевич (1840 — ок. 1903) — офицер, осужден по делу «сепаратистов» и выслан в Нерчинск, где учительствовал.

⁸ Одна из глав книги «Русская община в тюрьме и ссылке» (СПб., 1872) называется «Первые минуты неволи».

⁹ Видимо, документы «дела» сохранились в Омском архиве не полностью. В. Вегман (1873—1938) в статье «Эпизод из жизни А. Щапова» («Сибирские огни», 1926, № 1—2) писал: «В распоряжении пишущего эти строки имеется все делопроизводство процесса сепаратистов... Этот ценный материал... чисто случайно спасен от гибели. Выкраденный из Омского архива, он попал в руки какого-то омского базарного лавочника, который начал употреблять драгоценные исторические листки на оберточную бумагу. Это заметил проходивший мимо учитель, который приобрел у лавочника эти дела и передал их в Омский музей, откуда они и попали в Сибархив» (с. 139). В. Вегман стремился собирать такого рода документы в Новосибирске.

¹⁰ Усов Гавриил (по другим источникам — Григорий) Николаевич (1849—?) — шестнадцатилетний участник процесса «сепаратистов».

¹¹ Усов Федор Николаевич (1839—1888) — казачий офицер, осужден по процессу «сепаратистов» и сослан в Каргополь Олонецкой губ. В 1872 г.

Потанин сообщал Ядринцеву: «Федор и Григорий Усовы получили дозволение возвратиться на родину, и первый с возвращением чинов и орденов» («Письма», Иркутск, 1977, с. 69). Ф. Н. Усов дослужился до полковника, написал «Очерки по истории сибирского войска» и «Хронологический указатель событий, относящихся к истории Западной Сибири» за годы с 1485 по 1881. См. некролог в «Восточном обозрении», 1888, № 44.

¹² Кузнецов Дмитрий Львович (1835 — ок. 1900) — учитель словесности в Томской мужской гимназии, устроитель первой публичной библиотеки в Томске, с 1863 г. редактор газеты «Томские губ. ведомости», участник дела «сепаратистов».

¹³ Всего было арестовано в 1865 г. 44 человека (сведения по уже упомянутой статье В. Вегмана «Эпизод из жизни А. Шапова»).

¹⁴ Видимо, речь идет о П. Фризеле, тогда временно занимавшем пост вице-губернатора.

¹⁵ Сезострис (Сесострис) — фараон древнего Египта (около 2000 г. до н. э.).
¹⁶ Чичерин Денис Иванович (1720—1785) — сибирский губернатор с 1763 по 1780 г.

¹⁷ Кашкин — возможно, Николай Сергеевич Кашкин, известный как петрашевец, высланный рядовым на Кавказ. Его отец С. Кашкин привлекался по делу декабристов и был сослан в Архангельск.

¹⁸ «Сибирский вестник» (1885—1905) — газета в Томске, созданная по инициативе губернатора И. И. Красовского с целью противопоставить ее прогрессивной печати. Издатель В. П. Картамышев, «идейные вдохновители» — Е. В. Корш и П. М. Полянский, сосланные в Сибирь за уголовные преступления.

¹⁹ Автором возвания «Патриотам Сибири» называют обычно иркутянина Степана Степановича Попова (ок. 1810—1896). Ядринцев никого не называет, но признается, что он и Шашков возвание редактировали.

²⁰ «Каракозовщина» — так выражено отрицательное отношение Ядринцева к террору.

²¹ Комиссия Муравьева — в апреле М. Н. Муравьев был назначен председателем комиссии по делу Д. В. Каракозова, а затем и по делам других борцов против царизма.

²² Худяков Иван Александрович (1842—1876) — революционер, осужден по делу Д. В. Каракозова, фольклорист и этнограф. См. о нем книгу Эм. Виленской «Худяков». М., «Молодая гвардия», 1969.

²³ Все трое, сидя в тюрьме, написали и опубликовали ряд работ: С. Шашков — «Очерки русских нравов в старинной Сибири» («Отечественные записки», 1867, №№ 17—20, 22—24), «Сибирские инородцы в XIX столетии» («Дело», 1867, № 8) и др.; Г. Потанин — книгу «Материалы для истории Сибири» (М., 1867) и несколько статей в «Записках РГО». (СПб.); Н. Ядринцев выступал с фельетонами в «Искре» (1866), со статьями «Женщины в Сибири в XVII и XVIII веках» («Женский вестник», 1867, № 8), «Письма о сибирской жизни» («Дело», 1868, № 5) и др., вел дневник, который лег в основу книги «Русская община в тюрьме и ссылке».

²⁴ «Приговор на эшафот» — на крепостной площади города Омска над Г. Н. Потаниным был совершен обряд гражданской казни, его провезли на позорной колеснице к позорному столбу и заставили стоять возле него со связанными руками. Такой чести он был удостоен через четыре года после гражданской казни Н. Г. Чернышевского.

²⁵ Шайтанов Александр Дмитриевич (1840—?) — осужден по делу «сепаратистов», отбывал ссылку в Пинеге Архангельской губ., возвратился в Западную Сибирь в 1873 г., служил в Усть-Каменогорске офицером.

²⁶ Глава «История одного странствия» из книги Ядринцева опубликована Н. А. Некрасовым в «Отечественных записках», 1871, № 12.

²⁷ Штуцер — по-немецки карабин.

²⁸ Гагарин — губернатор, других сведений найти не удалось.

²⁹ Чубинский Павел Платонович (1839—1884) — статистик, этнограф, см. некролог в «Восточном обозрении», 1884, № 4.

³⁰ Альбертини Николай Викентьевич (1826—1890) — писатель, публицист, сотрудник «Отечественных записок» Краевского, газеты «Голос» и др. изданий.

³¹ Возможно, что Покровский Михаил Павлович — один из активных участников студенческого движения 60-х годов. См. о нем подробнее в книге Л. Ф. Пантелеева «Воспоминания». (М., «Художественная литература», 1958.)

³² Стронин Александр Иванович (1827—1889) сослан за пропаганду революционных идей, автор книги «Политика как наука» (1872).

³³ Соллогуб Владимир Александрович (1814—1882) — председатель комиссии по тюремному законодательству. По возвращении из ссылки в Петербург Ядринцев стал его домашним секретарем.

Казнаков Николай Геннадиевич (1824—1885) — генерал-губернатор Западной Сибири с 1875 по 1881 г. См. некролог Н. М. Ядринцева в «Восточном обозрении», 1885, № 8.

Игнатъев Николай Павлович (1832—1908) — министр внутренних дел, основатель «священной дружины» по борьбе с революционным движением.

³⁴ Завалишин Дмитрий Иринархович (1804—1892) — декабрист, оставшийся в Чите и после амнистии. Занимался амурскими проблемами при Н. Н. Муравьева-Амурском.

³⁵ Христофоров Александр Христофорович (1840—1913) — сослан за участие в студенческом движении, в 1875 г. уехал за границу, где издавал журнал «Общее дело» (1877—1890).

Соколов Николай Васильевич (1832—1889) — революционер, автор книги «Отщепенцы», уничтоженной цензурой, привлекался по делу Каракозова, из ссылки бежал.

Пругавин Александр Степанович (1850—1920) — этнограф.

Натансон Марк Андреевич (1850—1919) — организатор общества «чайковцев», активный участник общества «Земля и воля» (1876), неоднократно арестовывался и ссылался.

³⁶ «Камско-Волжская газета» (1872—1874) выходила в Казани, редакторы Н. Я. Агафонов и К. В. Лаврский. В 1873—1874 гг. Н. М. Ядринцев и Г. Н. Потанин принимали в ней активное участие.

³⁷ «Неделя» (1866—1901) — еженедельная политическая и литературная газета либерально-народнического направления, выходила в Петербурге под редакцией П. А. Гайдебурова.

³⁸ См. книгу «Письма Н. М. Ядринцева к Г. Н. Потанину». Вып. I. Красноярск, 1918. Выпуск 2-й не состоялся. Часть писем опубликована в журнале «Сибирские записки», 1916, №№ 1—4; 1917, №№ 1—6; 1918, №№ 2—4; 1919, № 1. Остальные из собрания В. М. Крутовского не опубликованы и хранятся в архиве М. К. Азадовского. Письма пространные, в некоторых из них до 50 страниц машинописного текста.

³⁹ Лаврский Константин Викторович (1844 — ок. 1920) — публицист, редактор «Камско-Волжской газеты», принимал участие в студенческом движении 60-х гг.

⁴⁰ Первые стихи собраны в книге «Сборник избранных статей, стихотворений и фельетонов Н. М. Ядринцева», Красноярск, 1919.

⁴¹ См. наиболее полный перечень псевдонимов Н. М. Ядринцева в книге Е. Д. Петряева «Словарь псевдонимов». Новосибирск, «Наука», 1973.

⁴² См. некролог Н. М. Ядринцева «Сибирский писатель Н. В. Ушаров» в «Камско-Волжской газете», 1873, № 129. Здесь автор сравнивает Ушарова, вероятно, с этнографом и фольклористом Павлом Ивановичем Якушкиным (1820—1872).

⁴³ Деспот-Зенович Александр Иванович (1828—1895) — бывший тобольский губернатор, затем член Государственного совета, выделялся культурой и демократизмом.

⁴⁴ Шувалов Петр Андреевич (1827—1908) — шеф жандармов, с 1866 по 1873 г. начальник III отделения.

⁴⁵ Фойницкий Иван Яковлевич (1847—1913) — юрист-криминалист, с 1871 г. профессор Петербургского университета, одновременно служил в сенате.

⁴⁶ Непонятно: Н. М. Ядринцев печатался у Н. А. Некрасова в «Отечественных записках» в 1871 г.

⁴⁷ Ядринцева (урожденная Баркова) Аделаида Федоровна (1856? —

1888) — жена и помощник Н. М. Ядринцева, деятельно участвовала в газете «Восточное обозрение».

⁴⁸ «Первый шаг», Казань, 1876. В сборнике опубликованы статьи и стихи Н. М. Ядринцева.

⁴⁹ Ядринцева-Доброва Лидия Николаевна (1885—1942) — дочь Н. М. Ядринцева, этнограф, историк, выступала в «Восточном обозрении», «Сибирской жизни» и «Сибирских огнях», автор книги «Туземцы Туруханского края», Новосибирск, 1925.

⁵⁰ «Молва» — газета издавалась в 1876 г. в Петербурге.

⁶¹ Гайдебуров Павел Александрович (1841—1893) — писатель-публицист, с 1876 г. редактор и издатель газеты «Неделя».

⁵² Червинский Петр Павлович (1849—1931) — публицист народнического направления, участник студенческих волнений 60-х гг., сотрудник газеты «Неделя».

⁵³ «Один из русских централистов» — «Неделя», 1875, № 45.

⁵⁴ Мордовцев Даниил Лукич (1830—1905) — историк, писатель.

⁵⁵ Гусев — сведений найти не удалось.

⁵⁶ Абрамов Николай Александрович (1812—1870) — собиратель материалов о сибирских учителях. Библиография его трудов дана в журнале «Странник» (1870, № 12).

⁵⁷ «Голос» (1863—1884) — политическая и литературная газета, издававшаяся в Петербурге А. А. Краевским.

⁵⁸ Полетика Василий Аполлонович (1820—1888) — публицист, экономист, основатель газеты «Биржевые ведомости» (1880—1916).

⁵⁹ Видимо, имеются в виду статьи «Благодеяния ссылки», «Исправительное значение ссылки», «Что стоила Сибири ссылка», опубликованные в газете «Голос», 1874, №№ 336, 343, 349.

⁶⁰ «Отмена русской ссылки» — «Биржевые ведомости», 1874, № 254.

⁶¹ Статья опубликована под псевдонимом «С-л-матов».

⁶² Газета «Неделя», 1874, № 44.

⁶³ Сидоров Михаил Константинович (1823—1887) — промышленник-мещанат, жертвовал большие деньги на изучение Севера. Краевед, пионер горного дела на севере Сибири, напечатал много работ по географии и прикладной зоологии. Библиография его трудов дана в журнале «Природа», 1921, № 10—12.

⁶⁴ Сперанский Михаил Михайлович (1772—1839) — государственный деятель, в 1819—1821 гг. занимал пост генерал-губернатора, произвел ревизию и выявил чудовищные злоупотребления сибирской администрации.

⁶⁵ Хрущев Александр Петрович (1806—1875) — генерал-губернатор Западной Сибири (1866—1874).

⁶⁶ Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович (1827—1914) — ученый-географ, путешественник, сенатор, член Государственного совета, редактировал многолетнюю «Живописную Россию», перевел и дополнил «Землеведение Азии» К. Риттера.

⁶⁷ Ровинский Павел Аполлонович (1831—1918) — этнограф, славяновед, путешественник, член общества «Земля и воля», предпринимал попытку освободить Н. Г. Чернышевского.

⁶⁸ Милютин Борис Алексеевич (1831—1886) — журналист, брат военного министра Д. А. Милютина, член редакции газеты «Амур», редактор газеты «Сибирский вестник» (Иркутск, 1864—1868), издал ценный «Сборник историко-статистических сведений о Сибири» (СПб., 1876).

⁶⁹ Нестеров Андрей Павлович (1838—1901) — казачий офицер, журналист, был привлечен по делу «сепаратистов», но в 1868 году освобожден, так как обвинения не были доказаны; издавал в Иркутске газету «Сибирь» (1878—1883).

⁷⁰ Вагин Всеволод Иванович (1823—1900) — журналист-публицист, с 1874 по 1877 г. издавал и редактировал газету «Сибирь»; автор работ «Сороковые годы в Иркутске» («Литературный сборник», СПб., 1885), «Исторические сведения о деятельности М. М. Сперанского в Сибири» в 2-х томах, СПб., 1872 и др.

⁷¹ Загоскин Михаил Васильевич (1830—1904) — писатель и общественный деятель, редактор «Иркутских губ. ведомостей» (1857), вместе с другими сибиряками создал первую в Сибири частную газету «Амур», затем активный

сотрудник газет «Сибирь» и «Восточное обозрение», автор романа «Магистр» в сборнике «Сибирь», 1876.

⁷² Флоринский Василий Маркович (1833—1899) — доктор медицины, профессор по кафедре акушерства и гинекологии в Казанском университете, общественный деятель, археолог и историк (см. его труды «Башкирия и башкирцы», 1874, «Первобытные славяне по памятникам их доисторической жизни», 1890). Он — автор популярного «Лечебника для народного употребления» (1880, несколько изданий). На Флоринского были возложены строительство и организация Томского университета (См. «Заметки и воспоминания (1875—1880) В. М. Флоринского» — «Русская старина», 1906, №№ 1—6.)

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

- Абрамов Н. А.— 334, 341
Агафонов Н. Я.— 340
Аделаида Федоровна (см. Ядринцева А. Ф.)— 320, 331, 332, 335
Адрианов А. В.— 10
Азадовский М. К.— 340
Аксаков К. С.— 19, 211, 225
Александр I — 210, 214
Александр II — 44, 210, 211, 214, 220, 222, 225
Александр III — 30, 44, 225
Альбертини Н. В.— 328, 339
Ананьин Н. И.— 281, 290, 296, 304
Андреев (А-в) Я. Г.— 275, 290
Анненков И. А.— 253, 264
Аристотель — 159
Аскоченский В. И.— 17
Атамановская Н. А.— 5
Аткинсон Д. А.— 177

Б

- Базилевский Н. Ф.— 253, 262
Байрон Д. Г.— 185
Бакунин М. А.— 43, 230, 240, 281, 291, 296, 304
Баркова А. Ф. (см. Ядринцева А. Ф.)
Баркова А. И.— 332
Барыков (или Барыкин) — 256
Беер — 114
Белинский В. Г.— 16, 230, 262, 278— 281, 304

- Белоголовый Н. А.— 288, 291
Бенедиктов В. Г.— 113
Беранже П. Ж.— 227
Берг Ф. Н.— 56, 58
Березовский В. М.— 293, 319
Бетховен Л.— 61
Благосветлов Г. Е.— 20, 314
Бозио А.— 314
Боливар С.— 183, 186
Брамбеус (см. Сенковский О. И.)
Брет-Гарт Фр.— 160, 186
Бриссо Ж. П.— 280, 290
Буланже Ж.— 240
Буланов — 319
Булгарин Ф. В.— 57, 262, 265
Бунге А. А.— 121, 122, 177, 186
Бутин М. Д.— 159, 186
Бюхнер Л.— 55, 57

В

- Вагин В. И.— 337, 341
Валиханов Ч.— 18
Вегман В. Д.— 338, 339
Вейнберг П. И.— 314
Вержбицкий Н.— 5
Вершинин — 166
Виггинс — 26
Виланд К. М.— 165, 186
Виленская Э.— 339
Виниске — 56
Виргилий — 151
Вольтер Ф. М.— 280, 290, 328

Г

- Тагарин — 327, 328, 339
 Гайдебуров П. А.— 333, 334, 340
 Гакстгаузен А.— 209, 224
 Гамбетта Л. М.— 185, 186
 Гартман Л. Н.— 224, 226
 Гациский А. С.— 6
 Гварацци Ф. Д.— 184, 186
 Гегель Г.— 299, 312, 316
 Гейне Г.— 133, 163, 165, 186, 193
 Гельмерсен Г. П.— 176, 177, 186
 Герцен А. И.— 16, 18, 26, 39, 43, 224,
 229, 240, 264, 310, 321
 Геснер (Геслер Брунск) — 183, 186
 Гете И. В.— 61, 159, 165, 186
 Гладстон У. Ю.— 223, 226
 Глинский Б.— 5
 Гоголь Н. В.— 31, 61, 262, 278, 304,
 305, 312
 Головачев П. М.— 10
 Гомер — 159
 Гончаров И. А.— 33, 132, 133, 197
 Горчаков — 253
 Горький А. М.— 5
 Горбунов И. Ф.— 311, 315
 Грановский Т. Н.— 280
 Грессер П. А.— 221, 222, 226
 Греч Н. И.— 314
 Грибоедов А. С.— 31
 Григорьев Ап.— 58
 Гуд — 49
 Гусев — 334, 340
 Гутенберг И.— 138
 Гюго В.— 227

Д

- Д'Аламбер Ж. Л.— 280, 290
 Данилевский Н. Я.— 119, 224, 225
 Дарвин Ч.— 219
 Демидов Акинфий — 114

- Дённигес Елена — 172, 186
 Державин Г. Р.— 262, 278, 315
 Деспот-Зенович А. И.— 330, 340
 Джогин П. П.— 299, 301, 314, 315
 Дидро Д.— 280, 290
 Добролюбов Н. А.— 58, 280, 281, 296,
 305
 Долгомостьев И. Г. (псевдоним —
 Игдев) — 17, 18, 58
 Домаевский В. П.— 6
 Достоевские (братья) — 17
 Достоевский М. М.— 55, 57, 58, 311,
 315
 Достоевский Ф. М.— 19—21, 23, 31,
 39, 57, 58, 197, 315, 327
 Дурново П. Н.— 215, 216, 225
 Дюссо — 217, 225

Е

- Екатерина II — 194, 210, 213, 214, 225
 Елисеева Е. П.— 39
 Елисеев Г. З.— 18, 309, 314, (331)
 Ершов П. П.— 9, 272, 284, 290, 301

Ж

- Жуковский В. А.— 278

З

- Завалишин Д. И.— 315, 328, 340
 Завалишин И. И.— 311, 315
 Загоскин М. В.— 337, 341
 Занд Жорж — 253
 Зерчанинов А. А.— 133
 Златовратский Н. Н.— 24
 Знаменский М. С.— 265, 309, 314
 Золотин — 323, 326

И

- Иванов А. А.— 160, 186
 Игдев (см. Долгомостьев)

Игнатъев Н. П.— 328, 340

Игнатъев С. И.— 279

Измер И. И.— 50

К

Кавелин К. Д.— 219, 282, 283, 291

Казнаков Н. Г.— 27, 317, 318, 323,
328, 335—338, 340

Калганов — 309, 314

Калиновский Д. И.— 314

Камбек Л.— 17

Кандеева А. Г.— 5, 6

Кант И.— 159

Капустин М. Я.— 288, 291

Капцевич — 127

Каракозов Д. В.— 339

Карамзин Н. М.— 262

Каронин-Петропавловский Н. Е.— 34

Картамышев В. П.— 339

Катков М. Н.— 17, 19, 30, 57, 215,
225, 332

Каханов М. С.— 225

Кашкин (Н. С. Қашкин?) — 324

Кашкин С.— 339

Кеннан Д.— 222, 223, 226

Клиндер — 336

Қлюшников — 19

Коваль С. Ф.— 7, 265

Колосов Е. Я.— 321, 338

Колумб Х.— 158

Кольцов А. В.— 132

Кондорсе Ж. А.— 280, 290

Корейша И. Я.— 55, 57

Коржавин В. К.— 7—15

Корш Е. В.— 339

Косица (см. Страхов Н. Н.)

Костомаров Н. И.— 219, 282, 283,
291, 299

Кошаров П. М.— 276, 290

Кошелев Я. Р.— 7

Краевский А. А.— 339, 341

Красиков Ананий — 319

Красноперов (Краснопольский?) —
305, 306, 314

Красовский И. И.— 339

Крестовский В. В.— 19, 198, 306, 314.

Крутовский В. М.— 5, 340

Крылов П. Н.— 297, 314

Крюков — 293

Кузин — 253, 264

Кузнецов — 257, 321

Кузнецов Д. Л.— 319, 323, 339

Кук Д.— 171, 186

Куклин — 319

Кукольник Н. В.— 262, 265

Кунцевич Иосафат — 57

Купер Ф.— 272

Курочкин В. С.— 16—18, 198, 296,
306, 310, 311, 313

Кущевский И. А.— 33, 42, 266, 288,
289, 313

Л

Лаврский К. В.— 329, 340

Лапин Н. А.— 7

Лассаль Ф.— 172, 186

Лемке М.— 25, 239

Ленин В. И.— 5, 8, 11

Леонтьев К. Н.— 19, 55, 57, 224, 225

Леотар Ж. М.— 50, 53

Лермонтов М. Ю.— 253, 255, 278,
280, 305

Лерон Ж.— 290

Лесков Н. С.— 19

Лонгинов — 336

Лонгфелло Г.— 272

Лосев — 303

Лосевы (братья) — 293, 315, 319

Лунду — 53

Любимов Ф. В.— 37

М

- Магницкий М. Л.— 273, 290
 Мак-Геган — 332
 Максимов С. В.— 20, 21, 23, 275, 290, 304
 Макушин П. И.— 289
 Манаков — 159, 186
 Маркс К.— 224
 Мартынов А. Е.— 198, 299, 306, 314
 Маслов — 334
 Менделеев Д. И.— 288
 Мешалкин И.— 255
 Микель-Анджело — 157, 182
 Милот — 269
 Милюков — 308
 Милютин Б. А.— 336, 337, 341
 Милютин Д. А.— 221, 226, 341
 Минаев Д. Д.— 311, 314
 Мирзоев В. Г.— 7, 10
 Михайловский Н. К.— 5
 Мицкевич А.— 307
 Мишель Луиза — 223, 226
 Мостков Ю. М.— 6
 Мордовцев Д. Л.— 285, 329, 333, 334, 341
 Мошаров Г.— 334, 335
 Муравьев-Амурский Н. Н.— 305, 314, 328, 340
 Муравьев М. Н.— 325, 339
 Муратов П. Д.— 290

Н

- Надсон С. Я.— 162, 186
 Налетов — 319
 Наполеон (Наполеон Бонапарт) — 174, 186, 257
 Наполеон III (Луи Наполеон Бонапарт) — 168, 186
 Натансон М. А.— 328, 330, 340
 Наумов Н. И.— 24, 26, 28, 33, 34, 267, 346

- 269, 278, 281, 288, 290, 296, 308, 309, 317, 335, 336
 Некрасов Н. А.— 19, 20, 27, 290, 291, 305, 331, 339, 340
 Немирович-Данченко Вас. Ив.— 19
 Нестеров А. П.— 331, 336, 341
 Неугодников — 256
 Никитин И. С.— 132
 Николай I — 225
 Николай II — 225
 Новиков И. С.— 26
 Новиков — 219
 Норденшельд А.— 26

О

- Огарев А. П.— 264
 Огарев — 329
 Оммулевский И. В. (Федоров-Оммулевский) — 33, 288, 289, 291, 293, 297, 299, 300, 301, 305, 306—309, 315, 316, 320

П

- П. Б. (Буткеев?) — 266
 Павлинов Н. М.— 299, 315, 319
 Павлиновы (братья) — 293
 Палкин — 217, 225
 Паллас П. С.— 114
 Панаев И. И.— 279, 290
 Пантелеев Л. Ф.— 340
 Перетолчин В. И.— 315, 319
 Перфильев В.— 293, 315, 316, 319
 Песков М. И.— 293, 313—315
 Петерман А.— 288, 291
 Петр I — 210, 214, 225
 Петри (П.) Э. Ю.— 172, 186, 224, 287, 288, 291, 325, 326, 331
 Петряев Е. Д.— 6, 314, 340
 Пирожков И.— 290, 298, 302, 315, 316, 319
 Писемский А. Ф.— 19

- Пичугин (А. П.) — 133, 321, 338
 Победоносцев К. П.— 215—217, 225
 Погодин М. П.— 58, 282
 Покровский М. П.— 328, 340
 Полетика В. А.— 334, 341
 Полянский П. М.— 339
 Поникаровский Д. А.— 272, 278, 281, 290
 Попов С. С.— 339
 Постнов Ю. С.— 6
 Потанин Г. Н.— 8—10, 14, 18, 26, 27, 41, 287, 288, 290—295, 298, 299, 301, 306—309, 311, 313—316, 320—323, 329, 330, 336—340
 Поэ (По) Э.— 178, 186
 Прозоровский — 266, 276
 Пругавин А. С.— 25, 328, 330, 340
 Прудникова Т. П.— 7
 Прудон П. Ж.— 14
 Прядильщиков Ф. А.— 266, 273, 275, 278
 Пугачев Е.— 134
 Пушкин А. С.— 61, 204, 253, 255, 262, 278, 280, 290, 304, 305, 312,
 Пыпин А. Н.— 282, 291

Р

- Раковиц Янко — 186
 Раппопорт Г. П.— 5
 Рафаэль С.— 316
 Решетников Ф. М.— 28, 306, 314
 Риттер К.— 166, 244, 336, 341
 Ровинский П. А.— 336, 341
 Руссо Ж. Ж.— 185, 227, 280, 290
 Рюмин — 253
 Рязанов — 292

С

- Савельевы (братья) — 281, 296
 Салтыков-Шедрин М. Е.— 5, 18, 19, 25—27, 31, 34, 38, 39, 44, 58, 162, 186, 199, 211, 225
 Самарин Ю. Ф.— 211, 225
 Сандараков С.— 131
 Свистунов П. Н.— 253, 264
 Селетов М. А.— 319
 Селетовы (братья) — 315
 Семенов-Тянь-Шанский П. П.— 290, 336, 341
 Семидалов В. И.— 318—319, 239, 338
 Сенковский О. И. (Брамбеус) — 278, 290, 314
 Сергиев Я. С.— 272—275, 278—290.
 Сесюнина М. Г.— 8
 Сигида Н. К.— 226
 Сидоренко — 275
 Сидоров — 283, 287, 292, 302, 303, 315, 316, 319
 Сидоров М. К.— 317, 335, 341
 Скавронский А. (псевдоним Г. П. Данилевского) — 58
 Скавронский Н. (псевдоним А. С. Ушакова) — 58
 Словцов П. А.— 9, 284, 291
 Смирнов К. И.— 299, 314
 Собанский — 127
 Соколов Н. В.— 328, 340
 Соллогуб В. А.— 328, 330, 331, 340
 Софокл — 159
 Сперанский М. М.— 330, 336, 341.
 Спасович В. Д.— 282, 291, 334
 Спундэ А. А.— 6
 Суворин А. С.— 30
 Суворов А. В.— 221, 257
 Сукачев В. П.— 30
 Суханов Н. Е.— 218, 225
 Сухомлинов М. И.— 282, 291
 Стопановский М. М.— 311, 314
 Страхов Н. Н. (псевдоним Косица) — 17, 55, 57, 58
 Стронин А. И.— 328—330, 340

Т

- Теккерей В.— 307
 Телль Вильгельм — 183, 186
 Тецлав — 274
 Тихомиров — 221
 Толстой Д. А.— 215, 216, 225
 Толстой Л. Н.— 19, 197
 Тонар Ф. М.— 256
 Тургенев И. С.— 33, 61, 219, 272, 278,
 297, 305, 312
 Турунов А. Н.— 264
 Тыжнов — 292

У

- Усов Г. Н.— 323, 338, 339
 Усов Н. Ф.— 319
 Усов П. С.— 57
 Усов Ф. Н.— 323, 324, 338, 339
 Усовы (братья) — 326
 Успенский Г. И.— 5, 24, 35
 Устрялов Н. Г.— 279, 290

Ф

- Фарафонтова Т. М.— 38, 198, 199, 240
 Филиппов Т. И.— 216, 225
 Флоринский В. М.— 337, 341
 Фойницкий И. Я.— 331, 340
 Фон-Визина Н. Д. (Фонвизина Н. Д.)
 — 254, 265
 Фонвизин М. А.— 265
 Фредерикс — 309
 Фризель П.— 323, 339

Х

- Хваленская Е. Ю.— 5, 7
 Хлебников П. И.— 132
 Христофоров А. Х.— 256, 265, 328—
 330, 340
 Хрущев А. П.— 317, 336, 341
 Худяков И. А.— 319, 325, 339
 348

Ц

- Цебрикова М. К.— 218, 225

Ч

- Ч. (Чернышевский?) — 300, 314
 Червинский П. П.— 333, 340
 Черемшанские (братья) — 288, 302,
 315
 Черемшанский А. Е.— 255, 265
 Черемшанский Е. М.— 255, 265
 Черемшанский И. Е.— 255, 265
 Чернышевский Н. Г.— 16, 18, 19, 44,
 56—58, 218, 219, 224, 225, 290, 291,
 339, 341
 Чехов А. П.— 29
 Чигир — 275
 Чичерин Б. Н.— 55, 57
 Чичерин Д. И.— 324, 339
 Чихачев П. А.— 170, 177, 186
 Чубинский П. П.— 328, 339

Ш

- Шайтанов А. Д.— 326, 327, 339
 Шашков С. С.— 9, 10, 18, 39, 256, 265,
 287, 288, 302, 308—310, 314, 315,
 320—330, 339
 Шевченко Т. Г.— 128, 198
 Шейнфельд М. Б.— 7
 Шекспир В.— 133, 159
 Шелгунов Н. В.— 321, 329, 333, 338
 Шестаков — 293, 319
 Шешуков А. К.— 315, 319
 Шиллер Ф.— 61, 133, 230, 275
 Шишкин И. И.— 209, 299, 314
 Шишков А. С.— 273, 290
 Шлоссер Ф.— 133
 Штейнгель В. И.— 40, 253, 254, 264,
 265, 328

Штраус Иоганн — 50, 53
Штуцер — 327
Шувалов П. А.— 330, 340

Щ

Щапова О. И.— 39
Щапов А. П.— 12, 31, 288, 291, 309,
310, 314, 333
Щедрин (см. М. Е. Салтыков-Щед-
рин)
Щукин Н. С.— 16, 41, 42, 211, 225, 280,
281, 288—290, 292—297, 302, 304—
306, 309, 313, 314, 322, 323, 325—
327
Щукин Н. С. (1792—1883) — 314
Щукин С. С.— 297, 314
Щуровский Г. Е.— 112, 114, 177, 186

Э

Эккерт — 33

Ю

Юркевич П. Д.— 55, 57

Я

Яблочкина О. П.— 296, 313
Ядринцева А. Ф. (см. Баркова А. Ф.)—
331, 340
Ядринцева-Доброва Л. Н.— 332, 340
Ядринцева Ф. В.— 40
Ядринцев Л. Н.— 5
Якушкин П. И.— 330, 340
Яновский Н. Н.— 6, 16—44
Ярославцев А. К.— 284, 291, 302

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции	5
В. К. Коржавин. К характеристике сибирского общественного движения второй половины XIX века	7
Н. Н. Яновский. Проза Н. М. Ядринцева	16

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Петербург в его прелестях (<i>Письма</i>)	4
Козни злонамеренных (<i>Нечто о погибающих</i>)	53
История этапного странствия обыкновенного смертного (<i>Из записок беспаспортного</i>)	58
На чужой стороне (<i>Из нравов поселенцев в Сибири</i>)	64
Глава I. На роздыхе	64
Глава II. Тюмень	72
Глава III. Перед выходом на поселение	79
Глава IV. Профессии ссыльных	87
Глава V. Кампания ссыльных против крестьян	93
Глава VI. Побег и бродяжеская поэзия	97
Эпилог бродяжества	105
Сибирская Швейцария (<i>Из путевых записок об Алтае</i>)	110
Странник на Золотом озере. (<i>Из путешествий по Алтаю</i>)	123
На чужбине (<i>Из исповеди абсентеиста</i>)	128
Из «Очерков общественной жизни на окраинах»	132
Бойкий мужчина и сто тысяч несчастий (<i>Из знакомых типов</i>)	138
Глава I. Происхождение героя и случайности судьбы	138
Глава II. Станция и счастливые знакомства	142
Глава III. Знакомство с городом и богатая почва	145
Глава IV. Свидание друзей и цивилизация черной банды	151
Письма сибиряка из Европы	158
Рейн и Иртыш	162
Швейцария	168
Женевское озеро и алтайские озера	174
В горах и долинах Швейцарии	180

На обетованных землях (<i>Из путешествий по Алтаю</i>) . . .	<u>187</u> ✓
Майские впечатления	192
Люди шестидесятих годов	195
В тайге (<i>Летние впечатления</i>)	199
Калмычка	<u>203</u>
Иллюзия величия и ничтожество. Россию пятят назад . . .	209
Ночь в «Avenue de l'Орега»	226
В дальних странствиях. (<i>Из путешествия в Алтай</i>)	240

ВОСПОМИНАНИЯ

Детство	253
Воспоминания о Томской гимназии	265
Сибирские литературные воспоминания	291 ✓
Светлые минуты. (<i>Из воспоминаний прошлого ко дню открытия университета</i>)	315
К моей автобиографии	<u>319</u> ✓
Именной указатель	343

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО СИБИРИ

Т О М 4

Составитель Н. Н. ЯНОВСКИЙ

Редактор *Ю. М. Мостков*
Художник *В. П. Кириллов*
Художественный редактор *А. Н. Тобух*
Технический редактор *М. Н. Коротаева*
Корректор *В. К. Кречетникова*

ИБ № 668

Слано в набор 06.02.79. Подписано в печать 13.09.79.
МН 16006. Бумага тип. № 1. Формат 60×90/16. Гарнитура
литературная. Печать высокая, вкл. офсетная. Усл.
печ. л. 23,0+1,0 вкл. Уч.-изд. л. 26,3+0,92 вкл. Ти-
раж 10 000. Заказ № 13. Цена 3 р. 60 к.

Западно-Сибирское книжное издательство,
Новосибирск, Красный проспект, 32.
Полиграфкомбинат, Новосибирск, Красный проспект, 22.



